

# АНДРЕЙ БЕЛЫЙ



Валерий  
Делин



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

## Annotation

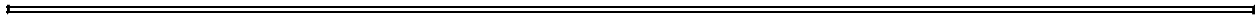
Книга доктора философских наук В. Н. Демина (1942–2006) посвящена одной из знаковых фигур Серебряного века – Андрею Белому (1880–1934). Оригинальный поэт, прозаик, критик, мемуарист, он вошел в когорту выдающихся деятелей русской культуры и литературы XX века. Заметный след оставил Андрей Белый и в истории отечественной философии как пропагандист космистского мировоззрения, теоретик символизма и приверженец антропософского учения. Его жизнь была насыщена драматическими коллизиями. Ему довелось испытать всеобщее поклонение и целенаправленную травлю, головокружительные космические видения и возвышенную любовь к пяти Музам, вдохновлявшим его на творческие свершения. В центре внимания автора – рыцарская дружба Андрея Белого с Александром Блоком, его взаимоотношения с Валерием Брюсовым, Дмитрием Мережковским, Зинаидой Гиппиус, Максимилианом Волошиным, Вячеславом Ивановым, Максимом Горьким, Мариной Цветаевой, Всеволодом Мейерхольдом и другими властителями дум российской интеллигенции.

---

- [Валерий Демина](#)
  - [Вступление](#)
  - [Глава 1](#)
  - [Глава 2](#)
  - [Глава 3](#)
  - [Глава 4](#)
  - [Глава 5](#)
  - [Глава 6](#)
  - [Глава 7](#)
  - [Глава 8](#)
  - [Глава 9](#)
  - [Глава 10](#)
  - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АНДРЕЯ БЕЛОГО\[68\]](#)
  - [БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)

- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)

- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)



# Валерий Демин Андрей Белый

*Мы – ослепленные, пока в душе не вскроем Иных  
миров знакомое зерно...*

*Андрей Белый*

*Из моря слез, из моря муки  
Судьба твоя – видна ясна:  
Ты простираешь ввысь, как руки,  
Свои святые пламена —*

*Туда, – в развалы грозной эры  
И в визг космических стихий, —  
Туда, – в светлеющие сферы,  
В грома летящих иерархий.*

*Андрей Белый*

*А вот что всерьез – это моя любовь к России и  
русскому народу, единственная цельная нота моей  
души.*

*Андрей Белый*

*Когда думаю о литературе, что сделал для нее  
Андрей Белый, то чувствую себя совершенно  
ничтожным, какой я литератор.*

*Михаил Пришвин*

## Вступление НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МИРОВ

Он родился в Москве на Арбате (точнее – в угловом доме на перекрестке Арбата и Денежного переулка), написал об этом городе множество книг, стихов, статей, эссе и воспоминаний, и хотя самый известный его роман посвящен Петербургу, он до конца жизни был предан своей родной улице, где прожил чуть ли не три десятка лет (здесь в четырехэтажном доме № 55 ныне находится музей-квартира, носящий его имя). Затем скитался по арбатским переулкам, пока не обосновался на Плющихе. Возле арбатского «дома с аптекой», как его именуют москвичи, есть другой мемориальный дом – где после женитьбы на Н. Н. Гончаровой жил А. С. Пушкин.<sup>[1]</sup> Их бронзовые изваяния теперь обращены лицом к своему московскому пристанищу. Чуть дальше, к центру, памятник еще одному арбатскому поэту – Булату Окуджаве, также проживавшему неподалеку.

Но Андрею Белому суждено было первым воспеть Арбат. Во втором томе своих мемуаров, названном «Начало века», он посвятил ему целую главу. По существу, это ностальгически-лирический гимн одной из самых знаменитых московских улиц, гимн – чуть ли не каждому ее дому и церквушке (большинство из которых не сохранилось до наших дней), гимн ее насельникам и гостям, извозчикам и околоточным, гимн ее «настроению» – меняющемуся в разные часы дня и времена года. «Помнится прежний Арбат: Арбат прошлого; он от Смоленской аптеки вставал полосой двухэтажных домов, то высоких, то низких; у Денежного – дом Рахманова, белый, балконный, украшенный лепкой карнизом, приподнятый круглым подобием башенки, три этажа. В нем родился; в нем двадцать шесть лет проживал.

Дома – охровый, карий, оранжево-розовый, палевый, даже кисельный, – цветистая линия вдаль убегающих зданий, в один, два и три этажа; эта лента домов на закате блистала оконными стеклами; конку тащила лошадка; и фура, „Шиперко“ (название арбатской конторы по фамилии ее владельца. – В. Д.), квадратная, пестрая, перевозила арбатцев на дачи; тащились вонючие, канализационные бочки от церкви „Микола-на-камне“ до церкви „Смоленская Божия матери“ – к Дорогомилову, где непросошное море стояло. <...> Осенями здесь капало; зимами рос

несвозимый сугроб; и обходы Арешева, пристава, не уменьшали его.

Посредине, у церкви Миколы (на белых распузых столбах), загибался Арбат. <...> Сам Арбат – что, коли не Миколина улица? Назван же он по-татарски, скрипели арбы по нем; Грозный построил дворец на Арбате; и Наполеон проезжался Арбатом; Безухий, Пьер (см. „Война и мир“), перед розовою колокольнею Миколы-Плотника, что не на камне, бродил, собираясь с Наполеоном покончить; Микола – патрон, потому что он видел Арбат... <...>»

Арбат неспроста находился под небесным покровительством своего патрона – Николая Мирликийского, русского Миколы. Именно здесь пришло к Борису Бугаеву первое поэтическое вдохновение, здесь же он обрел и свой псевдоним – Андрей Белый. И именно здесь начали посещать его видения – не только житейские или литературные, но и воистину космические. Ноосферу<sup>[2]</sup> он чувствовал интуитивно или, еще говорят, нутром; она стучалась в каждую нервную клетку, рождая вихри мыслей и бури эмоций. Она определяла его поступки, направляла и защищала.

Хорошо знавший Белого философ Федор Степун так и написал о нем в своих мемуарах «Бывшее и несбывшееся»: «<...> Его пророческое сознание жило космическими взрывами и вихрями». И еще: «<...> Белый занимал в иерархически-монадологическом строе Вселенной, бесспорно, очень высокое место (одно из самых первых среди современников), ибо – в этом вряд ли возможны сомнения – он отражал тот мир „рубежа двух столетий“, в котором жил и из глубины которого творил, с максимальной четкостью и ясностью».

Да и сам Белый о начале своего творческого пути позже напишет в мемуарах: «Я задумывал космическую эпопею». Одним из первых среди русских писателей и мыслителей он стал писать слово «Космос» с прописной буквы. Космическая тема лейтмотивом вселенской симфонии прошла через его жизнь и творчество. Во всем улавливал он нескончаемую и расщепленную на множество ипостасей вселенскую борьбу между Хаосом и Космосом, пытающимся обуздать и упорядочить этот Хаос. (Даже в интимном блоковском цикле «Стихи о Прекрасной Даме» Белый усматривал войну между «апокалипсическим Зверем» и «Женой, облеченной в солнце». Что же говорить тогда о его собственном романе «Петербург» и других прозаических и стихотворных произведениях?!)

Сказанное, впрочем, можно отнести и к другим поэтам и писателям Серебряного века, а также к русскому символизму в целом. (Именно русскому, а не, к примеру, французскому, английскому или скандинавскому.) Философ Николай Бердяев очень верно охарактеризовал

эту особенность русского литературно-художественного космизма: «<...> Мироощущение поэтов-символистов стояло под знаком Космоса, а не Логоса. Поэтому Космос поглощает у них личность; ценность личности была ослаблена: у них были яркие индивидуальности, но слабо выражена личность. А. Белый даже сам говорил про себя, что у него нет личности. В (русском интеллектуально-художественном. – В. Д.) ренессансе был элемент антиперсоналистический. Языческий космизм, хотя и в очень преображенной форме, преобладал над христианским персонализмом». К этому Бердяев добавляет: у Белого человек окончательно «погрузился в космические вихри».

Белый с рождения воспринимал пульс Вселенной как свой собственный. В автобиографической повести «Котик Летаев», навеянной впечатлениями детства, он так и написал: «<...> Пучинны все мысли: океан бьется в каждой; и проливается в тело космической бурею; восстающая детская мысль напоминает комету...» Провидческий же дар Белого проявился, между прочим, в том, что почти за тридцать лет до бомбардировки Хиросимы он предсказал и взрыв атомной бомбы, и массовую гибель («гекатомбу») людей:

Мир – рвался в опытах Кюри  
Атомной, лопнувшей бомбой  
На электронные струи  
Невоплощенной гекатомбой...

Это, так сказать, во всемирном масштабе. Но известен и другой трагический факт, уже личного порядка: в 1903 году он предсказал собственную смерть «от солнца». Так, в общем-то, и произошло: спустя три десятилетия он умер от кровоизлияния в мозг – последствия солнечного удара...

В конце 1920-х годов Андрей Белый вместе с женой на нескольких листах ватмана начертил в цвете грандиозную диаграмму своей жизни. Она так и называется «Линия жизни» и в настоящее время находится в Мемориальном музееквартире поэта. (В письмах и дневниках он тоже пытался нарисовать «параболы и спирали» своей жизни и творчества.) Ломаная графическая линия то взмывает вверх, то падает вниз, обозначая творческие взлеты и падения, победы и поражения. Она вполне соответствует понятию «мировой линии», введенному в научный оборот Германом Минковским и выражавшему единство пространства и времени



(Андрей Белый, получивший высшее *естественно-научное и физико-математическое* образование, безусловно, был хорошо знаком с этой концепцией).

«Линия жизни», по существу, и отображала пространственно-временной континуум, только была не прямой, а изломанной. Цветными карандашами на схеме показано, какие идеи и люди оказывали на писателя влияние на протяжении его жизни. Стрелки, идущие снизу вверх, – это происки недругов. А те, что направлены сверху вниз, обозначают незримую помощь, оказанную писателю со стороны *невидимых космических сил*. «Я знаю, – писал Белый в одном из писем, – *есть силы Космоса* и есть забываемая всеми *космэтика*» (неологизм, придуманный писателем для обозначения *космической этики*. – В. Д.). Аналогичным образом и фактически в то же самое время описывал ноосферное воздействие на свою жизнь и судьбу К. Э. Циолковский, называвший это *неизвестными разумными силами Вселенной*.

Осмыслить до конца, что с ним происходит, Андрею Белому удавалось не всегда. Поэтому он и облекал свои ощущения и грезы в мистические, трансцендентальные и религиозные понятия. Правда, и с понятиями не все было просто. Вместе с друзьями-символистами он в невероятных муках бился над дефинициями, призванными прояснить философскую суть собственных воззрений, названных *символизмом*. Мало кому удалось дать четкое и ясное определение избранного направления и его фундаментальных основоположений, хотя подобных попыток было с избытком (одному Белому принадлежит не менее трех десятков разных дефиниций). В этом, однако, и выражалось не только таинство творчества, но и сакральность единения самих творцовизбранников с вещественным и духовным миром.

И все же Космос всегда оставался Космосом, для его обозначения не требовалось никаких вычурных абстракций. Он был всегда рядом – днем горел ослепительным солнцем, ночью манил бисером звезд и постоянно звучал в душе аккордами неземных сфер, предпочитая общаться с миром людей посредством символов. Обостренное чувство сопричастности к единству Макрокосма и Микрокосма было присуще всем поэтам-символистам. Они постоянно улавливали позывные Вселенной, но не всегда умели их разгадать. За полвека до начала практического освоения космического пространства они вслед за Циолковским сумели приблизить Вселенную к человеку и человека ко Вселенной. Судьба трех выдающихся русских космистов связана с Арбатом. Это – жившие здесь Андрей Белый, Константин Бальмонт и Александр Скрябин.

Совсем рядом с Арбатом, на Остоженке, в Молочном переулке, близ Зачатьевского монастыря, долгое время обитал крупнейший мыслитель-космист Николай Федорович Федоров (1829–1903), где его навещал Лев Толстой, чей дом находился поблизости – в Хамовниках. Здесь же, на Остоженке, в середине XIX века родился великий философ Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900), оказавший колоссальное влияние на развитие русского символизма не только своими метафизическими трудами, но и оригинальнейшей поэзией. Андрей Белый изредка встречался со своим кумиром: в том же доме на Арбате этажом ниже проживал брат Владимира Соловьева – Михаил, к нему философ навещался всякий раз, когда приезжал из Петербурга в Москву (случалось, он заглядывал и к семье Андрея Белого).

Философия Владимира Соловьева сыграла в формировании мировоззрения Андрея Белого решающую роль. Главное в ней – *учение о Всеединстве*. Многие программные статьи А. Белого (например «Апокалипсис в русской поэзии») навеяны философскими идеями Вл. Соловьева: «Нет никакой раздельности. Жизнь едина. Возникновение многого только иллюзия. Какие бы мы ни устанавливали перегородки между явлениями мира – эти перегородки невещественны и немислимы прямо. Их создают различные виды отношений чего-то единого к самому себе. Множественность возникает как опосредствование единства. <...>». (Точно так же и поэзия, по Белому, олицетворяет «единство в многообразии».)

А философия Владимира Соловьева особого рода *космизм*, неразрывно связанный с вселенским образом-символом Софии Премудрости Божией, которая лучезарным светом разливается по всему Мирозданию. В отличие от абстрактно-философской категории «всеединства» София Премудрость доступна чувственному восприятию, но только подвижникам и только в минуты наивысшего вдохновения (экстаза). София, как она представлялась русским философам и поэтам (а до них – христианским мистикам), – типичное ноосферное явление со всеми вытекающими отсюда следствиями. Сам Соловьев трижды пережил явление вселенского символа Любви в образе премудрой Софии и описал эту встречу в автобиографической поэме «Три свидания» – евангелии русского символизма.

Соловьев считал себя выразителем народного благоговения пред святой Софией. Он искал в Софии «последнего единства Космоса и последнего оправдания его, в ней – тайна вселенскости, долженствующая завершиться тайной Богочеловечества». Постичь вселенскую сущность и

природу Софии человеку непосредственно удается в моменты мистического экстаза, поэтического вдохновения или философского всеведения, а также в окружении иконописного мира православных храмов. В этом Богочеловеческом мире София Премудрость не может не занимать центрального места. Вместе с бесчисленными образами Божественного мира она со всех сторон смотрит на человека мириадами человеческих же очей. София всегда считалась покровительницей России, лучезарным духом возрожденного человечества и небесно-космической сущностью, что отразилось в архитектуре храмов, ей посвященных, в иконописи и живописи, устном и письменном слове, гармонии семейного и государственного общежития, в тверди веры и религиозных традициях.

Философия Владимира Соловьева явилась для Андрея Белого, как верно подметил Николай Бердяев, «окном, из которого дул ветер грядущего». Потому и Космос Андрея Белого – это прежде всего *Софийный Космос*, а процесс его постижения он называл *теургическим* (от греч. *teurgia* – божественное чудо).<sup>[3]</sup> «...София-Премудрость зажигает нам звездные светочи из-за мрака: в этом звездном венце приближается Она к нам». Сказанное – главное, остальное – производное. Софийно-космической настрой определял все творчество Белого – как прозу, так и поэзию:

Я – сын эфира, Человек, —  
Свиваю со стези надмирной  
Своей порфирию эфирной  
За миром мир, за веком век.  
<...>

Поэтому философия Андрея Белого – это прежде всего *космософия!* «Человек – ведь в нем же есть нечто космическое!» – говорил он и еще повторял: «*Excelsior!*» – «*Всё выше!*» В начале 1900-х годов Белый даже написал о себе целую поэму (две тысячи стихов) под названием «Дитя-Солнце», впоследствии уничтоженную. Русские космисты не просто считали себя частицей бесконечного Универсума – они саму Вселенную считали *частью себя* и настаивали на своей сопричастности ко всему, что происходит в мире реальных вещей и духовных феноменов. «Воспоминание о космическом знании выводит нас из нас... <...>» – писал Андрей Белый. Данный тезис он переосмысливает в рамках извечной философской проблемы единства Макрокосма и Микрокосма: «Появление

Макрокосма в развешанном микрокосмическом мире есть знак; <...> Макрокосм, к нам спустившийся, не обычная эмпирия. Он есть эмпирей, или страна существа, обитающего под коростой понятийной мысли, где нет ни материи, ни мысли, ни мира в ветшающем смысле. <... > Макрокосм проступает во всем; передвигаются всюду пороги сознания к истокам познаний, где древним хаосом запевают в нас „физики“ – Анаксимандр, Гераклит. <...>». Гераклита он вспомнит и в автобиографической повести «Котик Летаев»: «<...> Старый Гераклитианец – я видывал метаморфозы Вселенной в пламенных ураганах текущего...» И здесь же заявляет: «Мне Вечность – родственна; иначе – переживания моей жизни приняли бы другую окраску».

Космистское мировоззрение пронизывает все творчество Белого – от первых публикаций до произведений, подводющих итог его развития (к примеру, поэмы «Первое свидание»). Космическая напряженность особенно усиливается в пору грозных испытаний, выпавших на долю России. В предчувствии первой русской революции поэт писал, обращаясь к вечности:

Мои друзья упали с выси звездной.  
Забыв меня, они живут в низинах.  
Кровавый факел я зажег над бездной.  
Звездою дальней блещут на вершинах.

Та же тема развивается в повести «Возврат» – третьей из цикла прозаических «симфоний» (ее название навеяно излюбленной символистской идеей «вечного возвращения»), где скучной логике и бессмысленности обыденной жизни противопоставляется неисчерпаемость космического бытия:

«Ему казалось, что Вселенная заключила его в свои мировые объятия... Все опрокинулось вокруг него.

Он светился над черной бездной, в неизмеримой глубине которой совершался бег созвездий. <...>

Его тянуло в эти черные, вселенские объятия. Он боялся упасть в бездонное...»

Это сказано в самом начале творческого пути. Но и в последнем своем романе – «Маски» – А. Белый писал: «<... > Летучие ужасы мира стремительно вниз головою низринулись – над головою не нашей планетной системы, – чтобы зодиак был возложен венком семицветных

лучей! И Вселенная звездная стала по грудь: человек – выше звезд!»

Конец XIX и начало XX века ознаменовались необычным природным явлением – красным свечением неба. Особенно сильное впечатление оно производило при восходе и заходе солнца. «<Было душно от зорь, нестерпимых, бесовских и алых, / Их запомнили все мы до конца наших дней», – писала впоследствии Анна Ахматова. Красные зори настолько будоражили население европейской России, что их именем даже называли улицы в городах (одна такая, упоминающаяся в романе А. Толстого «Аэлита», до сих пор существует в Москве). В людях проснулось архаичное арийское мировоззрение. (Общеизвестно, что богиня Зари *Ушас* занимает одно из центральных мест в ведийском пантеоне.)

Как отмечал сам А. Белый, вся художественная и писательская элита разделилась на «наших» и «не наших» – в зависимости от того, кто улавливал «зоревую сущность» окружающего мира и насколько предчувствовал в природе и социуме «зоревое откровение». Русские поэты и мыслители увидели в «красных зорях» знамение, предвещавшее кровавые катаклизмы, и сумели передать это тревожное предчувствие своим читателям и слушателям. Одновременно «красные зори» наяву демонстрировали реальность самих *символов*.

В действительности этот небесный феномен объяснялся вулканическими процессами в разных местах Земли. Еще в 1883 году произошло катастрофическое извержение вулкана Кракатау в Индонезии, во время которого в атмосферу было выброшено около 19 кубических километров (!) вулканического пепла; его концентрация на большой высоте *на протяжении многих лет* вызвала зори по всему миру. В 1902 году такое же мощное извержение вулкана произошло на острове Мартиника в Карибском море, и пепел, рассеявшийся в атмосфере, дал аналогичный световой и цветовой эффект. В России необычное явление природы восприняли как символ, как знак беды или, по меньшей мере, как предостережение.

Красные зори произвели на Белого такое сильное впечатление, что он сохранял его до последних дней жизни: «Вечное появляется в линии времени зарей восходящего века, туманы тоски вдруг разорваны красными зорями совершенно новых дней. Мережковский начинает писать исследования о Толстом и Достоевском, где высказывается мысль о том, что перерождается самый душевный состав человека и что нашему – именно – поколению предстоит выбор между возрождением и смертью. <... > И мы эти лозунги сливаем с грезами Соловьева о Третьем Завете, Царстве Духа. Срыв старых путей переживается Концом Мира, весть о

новой эпохе – Вторым Пришествием. Нам чужется апокалипсический ритм времени. К Началу мы устремляемся сквозь Конец».

И вновь тема Вечного Возвращения! Космизм Белого – это мироощущение Посвященного, оно интуитивно, нередко иррационально и оставляет множество вопросов *без ответа*: «Бриллиантовые узоры созвездий неподвижны в черном, мировом бреду, где все несется и где нет ничего, что есть. Земля кружится вокруг Солнца, мчащегося к созвездию Геркулеса! А куда мчится созвездие Геркулеса? – Сумасшедшая пляска бездонного мира. Куда мы летим? Какие пространства пересечем, улетаая? Летя, улетим ли? Кто полетит нам навстречу? И то тут, то там, подтверждая странные мысли, золотые точки зажигаются в небесах; зажигаются, сгорают в эфирно-воздушных складках земной фаты. Зажигаются, тухнут – и летят, и летят прочь от Земли сквозь бездонные страны небытия, чтобы снова через миллионы лет загореться. Хочется крикнуть минутным знакомым: Здравствуйте! Куда летите?.. Поклонитесь Вечности!..» Такое вот обостренное чувство первородного Хаоса, которому предстоит стать гармоничным Космосом. Он уловил эту тенденцию в бурной истории России первой трети XX века – уловил, понял и отобразил в своей хаосоподобной и вместе с тем космизированной поэзии и прозе.

Космичность мироощущения Андрея Белого, как и у других русских мыслителей-космистов, неотделима от чувства слитности с Родиной. Еще в одной из ранних своих статей «Луг зеленый», давшей впоследствии название книге («луг зеленый» – образ, заимствованный из стихотворения Валерия Брюсова, – олицетворение, символ России), Белый писал:

«Верю в Россию. Она – будет. Мы – будем. Будут люди. Будут новые времена и новые пространства. Россия – большой луг зеленый, зацветающий цветами.

Когда я смотрю на голубое небо, я знаю, что это небо моей души. Но еще полнее моя радость от сознания, что небо моей души, родное небо.

Верю в небесную судьбу моей родины, моей матери.

Мы пока молчим. Мы в будущем. Никто нас не знает, но мы знаем друг друга – мы, чьи новые имена восходят в душах вечными солнцами».

Андрей Белый *космизировал и мифологизировал* не только Россию, но и Москву, сравнивая ее со Вселенной! Переплетение московских улиц и переулков казалось ему пересечением мистических энергетических токов, идущих из глубин бесконечного Космоса, звучащих, подобно эоловой арфе, и затрагивающих незримые струны души и сердца. «...Не Арбат, не Пречистенка – места наших прогулок, – писал он, – а – Вечность». Какой-нибудь невзрачный московский дворик, никому и ничего не говорящий

перекресток, унылое однообразие мокрых или заснеженных крыш могло вызвать у поэта бурю восторга и мощный прилив творческих сил.

\* \* \*

Уже при жизни Андрея Белого называли «звездным гением». Его современники давали ему такие характеристики: «Инопланетный Гастролёр» (О. Форш); «собиратель пространства» (О. Мандельштам); «абсолютная безбрежность»; «необъятный горизонт его сознания непрерывно полыхает зарницами неожиданнейших мыслей» (Ф. Степун); «дух, летающий по Москве» (Н. Валентинов); «он всегда говорит для Вселенной и вечности» (И. Одоевцева); «поток вне берегов» (И. Эренбург); «...поэт бирюзоглазый, улетающий и вечно проносющийся и в жизни и в пространствах, точно облако белеющее, <... > и приветствует лазурь, и ждет пришествия, и изнывает от томлений по закатам огненно-златистым над Арбатом... <...>» (Б. Зайцев); «казалось, что под черепом Белого сознание с бессознательным обменялись местами» (Р. Гуль); «насквозь русский, эмоциональный, мягкий, увлекающийся, живущий в своем мире фантазии; гениальный импровизатор» (М. Морозова); «он весь пронизан светом» (Н. Мандельштам); «заряжен миллионами вольт электричества» (В. Ходасевич); «весь извивающийся, всегда танцующий, уносящийся в пространство на крыльях тысячи слов» (З. Гиппиус); «гениальный, единственный, весь растерзанный: между антропософией, Заратустрой и Гоголем» (А. Ремизов); «весь напряжение, устремление, зоркость, весь пророчество, – тончайший, озаренный, вибрирующий струнами, как эолова арфа, горя, не сгорающий» (Н. Петровская); «он, казалось, на мгновение причалил к этой планете из Космоса, где иные соотношения мысли и тела, воли и дела, неведомые нам формы жизни; <...> он не умел видеть мир иначе как в многогранности смыслов, передавая это виденье не только словом: жестом, очень пластическим, взлетающим, звуком голоса, вовлечением аудитории во внутреннее движение» (Н. Гаген-Торн).

Самобытный русский художник Кузьма Петров-Водкин, много лет друживший с Андреем Белым, ставил писателя выше всех других литераторов. Его считали своим учителем не только Борис Пастернак и Борис Пильняк, подписавшие в газете «Известия» некролог, где назвали Андрея Белого гением, но и классик западноевропейской литературы Джеймс Джойс. А Игорь Северянин, которого величали «королем поэтов», посвятил Белому сонет, в котором сравнил его ни больше ни меньше как с

самим Богом:

В пути поэзии, как Бог, простой  
И романтичный снова в очень близком, —  
Он высится не то что обелиском,  
А рядовой коломенской верстой.  
<... >

Более приземленным и приближенным к простому человеческому образу Белый предстает в посвященных ему стихах, написанных в ссылке известным ученым-этнографом и литератором Ниной Ивановной Гаген-Торн (1901–1986), считавшей себя его ученицей и другом:

Положи мне на лоб ладонь,  
Помоги как всегда:  
Дрожит, упираясь, конь,  
Чернеет в провалах вода.  
А мне надо: идя во льдах,  
Слушать твои стихи.  
Только кони впадают в страх  
Перед разгулом стихий.

\* \* \*

Писать об Андрее Белом одновременно легко и чрезвычайно сложно. Легко потому, что о большей и главной части своей жизни он оставил подробные трехтомные мемуары (планировалось пять томов, но смерть помешала довести задуманное до конца) и необъятное эпистолярное наследие. Сложно – потому, что и в его мемуарах, и в воспоминаниях современников, и в свидетельствах общавшихся с ним людей, как правило, предстает далеко не один и тот же человек. (К тому же здесь масса фактических неточностей; собственные стихи он и то цитировал с искажениями.) Белый многолик, как античный бог Протей. У него несколько ипостасей и измерений. Похоже, что и сам поэт не постиг себя до конца. Что же тогда говорить о многочисленных мемуаристах, чьи отзывы нередко взаимно исключают друг друга. Андрей Белый также не



отличался объективностью. Его оценка себя самого, своих друзей и исторических событий, очевидцем которых он был, неоднократно менялась в разные периоды жизни. Известного публициста Н. Валентинова (Н. Вольского) просто обескураживала эта черта писателя-символиста:

«За годы встреч с Белым мне пришлось видеть у него ошеломляющие повороты. Принцип, прокламированный в понедельник, в субботу уже отрицался. Яростный „левый“ заскок сменялся таким же заскоком вправо. Оценка некоторых писателей изменялась в течение самого короткого времени. Сегодня увлечение, например, Л. Андреевым, завтра презрительный приговор: некультурный талантик. Положительная рецензия на какую-нибудь книгу, помещенная Белым в „Весах“, дней через десять заменялась в разговоре отрицательной. Вопросы попадают те, кто, судя по напечатанному Белым, думают, что это в данный момент выражало его мысли и убеждения. Подобную ошибку делают все, лично его не знавшие. <...>. Часто бывало, что рядом с тезой, напечатанной Белым, находилась антитеза словесная, и именно она, а не теза, представляла в тот момент его убеждение. Антитез могло быть несколько. <...>».

Для большинства поклонников и особенно поклонниц он всегда оставался ПОЭТОМ, хотя созданное им в прозе (беллетристике, критике, мемуаристике и эссеистике) по объему многократно превосходит написанное в стихах. А ведь он был еще оригинальным философом, теоретиком символизма, убежденным последователем антропософского учения. Его-то и символистом можно назвать с большой долей условности. Н. Бердяев, к примеру, считал его не символистом, а *футуристом*, далеко опередившим в теории и практике всех, кто принадлежал к «будетлянам» (Хлебников, Маяковский, братья Бурлюки, Крученых).

В начале XX века Андрей Белый, подобно сверхновой звезде, ярко блистал на небосклоне отечественной культуры, где и без него было достаточно тесно. После Октябрьской революции его заслонили собой другие фигуры. Массовый читатель также стал отдавать предпочтение другим именам. Белый и сегодня во многом остается автором для узкого круга, хотя издание его произведений и литературы о нем не прерывалось ни на один год.

По-прежнему притягивает к себе как магнит незаурядная личность писателя и поэта, о которой его современник Евгений Замятин (1884–1937) сказал: «Математика, поэзия, антропософия, фокстрот – это несколько наиболее острых углов, из которых складывается причудливый облик Андрея Белого, одного из оригинальнейших русских писателей. То, что он писал, было так же причудливо и необычно, как его жизнь»... Пожалуй,

наиболее точно мысли и чувства всех, кто знал его и любил, выразил в стихах Эрих Голлербах (1895–1942), написанных в 1921 году и так и названных – «Андрей Белый»:

Златую чашу зелий мировинных  
Над сонными полями расплескав,  
Он вызвал к жизни семена глубинных,  
Отравленных, благоуханных трав.

И верим мы – возможно ли не верить? —  
Что ворожке пронзительных зрачков  
Дано раскрыть неведомые двери,  
Осилить плен невидимых оков.

Сквозь строй времен, сквозь бредомуть мгновенья  
Он зарево грядущего несет,  
«Безвременную боль разуверенья»  
И мудрости тысячелетний мед.

Все строже мысль, тоска все безутешней,  
Угрюмей лик, белее пепел косм.  
Нежданый весь, нечаемый, нездешний,  
Вихрящихся прозрений микрокосм.

Быть может, он приснился наяву нам?  
Смотрите же, смотрите на него,  
Неистовым, безумным, вечно юным  
Не надобно от жизни ничего.

Крылатый гений, реющий над бездной,  
Над бурями безвидной пустоты, —  
В наш рабский век, бездушный век железный,  
Как необычен, как чудесен ты!..

# Глава 1

## ПРЕДЗВЕЗДИЕ

Итак, Борис Николаевич Бугаев. Литературный псевдоним – Андрей Белый, принятый им в начале XX века, – не имеет абсолютно никаких реальных корней или параллелей в семейной генеалогии. Псевдоним придумал его сосед по дому Михаил Сергеевич Соловьев, брат Владимира Сергеевича Соловьева. Смысл один – мистический, восходящий к народной мифологеме «белый свет», обозначающей, между прочим, Мироздание, другими словами, синонимичной понятию «Космос».<sup>[4]</sup> Имя Андрей – тоже со значением – в честь высокочтимого на Руси апостола Андрея Первозванного.

Отец писателя – Бугаев Николай Васильевич (1837–1903) – был известным математиком, профессором Московского университета, а в год рождения единственного сына – еще и деканом физико-математического факультета, президентом Московского математического общества. По его учебнику арифметики для начальной школы училась вся российская детвора. Добрейший и талантливейший человек, любимец коллег и студентов, профессор Бугаев был притчей во языцех из-за своей рассеянности (что, впрочем, естественно для типичного математика). Занудой и «человеком в футляре» никогда не был, беллетристику ценил, но избирательно. Новые веяния в поэзии и прозе отметал начисто. Но до того, чтобы в запальчивости выплеснуть вместе с водой и ребенка, не доходил.

Николай Васильевич серьезно интересовался философией и даже написал ряд серьезных работ на тему «математика и научно-философское мирозерцание». Из философов-классиков на первое место ставил Лейбница – великого мыслителя и не менее великого математика, открывшего одновременно с Ньютоном и независимо от него дифференциальные исчисления. Под влиянием учения Лейбница о *монадах* – первичных духовно-вещественных элементах бытия – написал в 1893 году философскую работу «Основные начала эволюционной монадологии», состоявшую из 184 тезисов (строгих, как математические теоремы). Последний из них гласил: «Человек... есть живой храм, в котором деятельно осуществляются высшие цели и задачи мировой жизни». Как видим, у отца – то же космистское мироощущение, что и у сына (разве что в более рациональном оформлении). «Математика – гармония сферы, –

утверждал он вслед за Пифагором (в дальнейшем любимым античным философом сына). – Риза мира колеблется строем строгих законов: по ней катятся звезды...» И добавлял о небе-космосе: «Оно – сфера: гармония бесподобного Космоса – в нем: по нем катятся звезды законами небесной механики...»

Научные убеждения отца несомненно повлияли и на космистское мировоззрение сына. Это признавал и сам А. Белый. В двух стихотворениях, посвященных памяти отца, он вспоминал философские беседы во время совместных прогулок по подмосковным полям:

Ты говорил: «Летящие монады  
В эонных волнах плещущих времен, —  
Не существуем мы; и мы – громады,  
Где в мире мир трепещущий зажжен».

«В нас – рой миров. Вокруг – миры роятся.  
Мы станем – мир. Над миром встанем мы.  
Безмерные вселенные глядятся  
В незрячих чувств бунтующие тьмы».

«Незрячих чувств поверженные боги, —  
Мы восстаем в чертоге мировом».  
И я молчал. И кто-то при дороге  
Из сумерек качался огоньком.  
<... >

Мать Андрея Белого – Бугаева Александра Дмитриевна (урожденная Егорова) (1858–1922), настоящая красавица, происходила из разорившейся купеческой семьи (однажды на официальном чествовании Тургенева ее специально посадили рядом с великим писателем, так сказать, для украшения стола), была более чем на двадцать лет моложе Николая Васильевича, вышла замуж за него не по любви, а, скорее, от безысходности: молодому человеку, которого она самозабвенно любила (сыну фабриканта Абрикосова), запретили жениться на бесприданнице. Истеричная и взбалмошная от рождения, она не понимала и не принимала образа жизни мужа-математика (а впоследствии и сына), постепенно превращая их повседневную жизнь (заодно и всех окружающих) в сущий ад. Тем не менее их дом всегда был полон именитых гостей, сослуживцев и

учеников профессора Бугаева. Большинство из них даже не подозревало об истинных отношениях между радушным хозяином и хозяйкой.

Сам Белый так описал обстановку в своей семье: «Трудно найти двух людей, столь противоположных, как родители, – писал он в своих мемуарах. – Физически крепкий, головою ясный отец и мать, страдающая истерией и болезнью чувствительных нервов, периодами вполне больная; доверчивый, как младенец, почтенный муж и преисполненная мнительности, почти еще девочка; рационалист и нечто вовсе иррациональное; сила мысли и ураганы противоречивых чувств, поданных страннейшими выявлениями; безвольный в быте муж науки, бегущий из дома: в университет, в клуб; – и переполняющая весь дом собою, смехом, плачем, музыкой, шалостями и капризами мать; весьма некрасивый и „красавица“; почти старик и – почти ребенок, в первый год замужества играющий в куклы, потом переданные сыну; существо, при всех спорах не способное обидеть и мухи, не стесняющее ничьей свободы в действительности, и – существо, непроизвольно, без вины даже, заставляющее всех в доме ходить на цыпочках, ангелоподобное и молчаливое там, где собираются парки-профессорши и где отец свирепо стучит лезвием ножа в скатерть с „нет-с, я вам докажу“; слышащий вместо Шумана шум, и – насквозь музыкальное существо; полоненный бытом университета, хотя давно этот быт переросший, и во многом еще не вросшая в него никак: не умеющая врать; во многом не принятая в него...

Что могло выйти из жизни этих существ, взаимно приковавших себя друг к другу и вынужденных друг друга перемогать в небольшой квартирочке на протяжении двадцати трех лет? И что могло стать из их ребенка, вынужденного уже с четырех лет видеть происходившую драму: изо дня в день, из часа в час, – двадцать сознательных лет жизни?»

Мальчик вырос в обстановке перманентных скандалов, на 99,99 процента инспирированных женской стороной и травмировавших его душу. Осознавая трагичность создавшейся ситуации, он очень страдал: «Я нес наимучительный крест ужаса этих жизней, потому что ощущал: я – ужас этих жизней; кабы не я, – они, конечно, разъехались бы; они признавали друг друга: отец берег мать, как сиделка при больной; мать ценила нравственную красоту отца; но и только; для истеричек такое „цененье“ – предлог для мученья: не более». Впоследствии состояние собственного затаенного страха и тревогу за обоих родителей он выразил в своих автобиографических повестях и романах.

Весной 1921 года в Петербурге Андрей Белый поведал эту историю случайно встретившейся ему в Летнем саду молодой поэтессе Ирине

Одоевцевой (1901–1990):

«Родители вели из-за меня борьбу. Я был с уродом папой против красавицы мамы и с красавицей мамой против уroda папы. Каждый тянул меня в свою сторону. Они разорвали меня пополам. Да, да. Разорвали мое детское сознание, мое детское сердце. Я с детства раздвоенный. Чувство греха. Оно меня мучило уже в четыре года. Грех – любить маму. Грех – любить папу. Что же мне, грешнику, делать, как не скрывать грех? Я был замкнут в круг семейной драмы. Я любил и ненавидел, – и шепотом и почти с ужасом: – Я с детства потенциальный отцеубийца. Да, да! Отцеубийца. Комплекс Эдипа, извращенный любовью. Мама била меня за то, что я любил папу. Она плакала, глядя на меня: „Высоколобый, башковитый. В него, весь в него. В него, а не в меня“. <...>

Мама была настоящей красавицей. Ах нет. Достоевский не прав – красота не спасет мир! Какое там – спасет! Мама была очень несчастлива. Знаете, красивые женщины всегда несчастны и приносят несчастье другим. Особенно своим единственным сыновьям. А она была красавицей. Константин Маковский писал с нее и со своей тогдашней жены, тоже красавицы, картину „Свадебный обряд“. <...> А маме от ее красоты радости не было никакой. Одно горе. Ей и мне».

В постоянном метании между отцом и матерью и крылась, по словам друзей, причина его *двуличия* – другого слова не подберешь, но в отношении Андрея Белого оно имело несколько иное значение, чем обычно применяемое к людям. Подобное *двуличие* имело позитивно-диалектическое наполнение и объяснялось многогранностью и многоаспектностью самой жизненной реальности, а не злонамеренностью писателя. «Он полюбил, – пишет о Белом Владислав Ходасевич в своих мемуарах, получивших название „Некрополь“, – совместимость несовместимого, трагизм и сложность внутренних противоречий, правду в неправде, может быть – добро в зле и зло в добре. Сперва он привык таить от отца любовь к матери (и ко всему „материнскому“), а от матери любовь к отцу (и ко всему „отцовскому“) – и научился понимать, что в таком притворстве нет внутренней лжи. Потом ту же двойственность отношений стал он переносить на других людей – и это создало ему славу *двуличного* человека. <...>».

И тем не менее Белый признавал: «Отец влиял на жизнь мысли во мне; мать – на волю, оказывая давление; а чувствами я разрывался меж ними». По общему мнению, отец был некрасивым мужчиной, однако, глядя на его фотографии, сохранившиеся до наших дней, этого никак не скажешь: профессор как профессор – сотни таких было, есть и будет. Думается, это

было мнение посредственностей, ничего не представлявших собой московских обывателей, от безделья перемывавших косточки всем окружающим,<sup>[5]</sup> а не настоящих друзей Н. В. Бугаева, среди коих числились Владимир Соловьев и Лев Толстой, и тем более не коллег по университету и многочисленных учеников. Сам же Андрей Белый описывал внешность отца так: «Улыбка отца была нежная, просто пленительная; лицо – славное; не то Сократа, не то – печенег». Иногда вместо «печенег» употреблял слова «скиф» и даже «китаец», к тому же «крещеный». «Печенег—скиф» неоднократно пытался заниматься с Борей, но все его благие намерения пресекались в корне: Александра Дмитриевна демонстративно не допускала мужа к воспитательному процессу, боясь, что под его влиянием в семье появится еще один математик (в ее мещанском сознании это означало крушение жизни). Мать сознательно, полусознательно и бессознательно пыталась феминизировать воспитание сына. В раннем детстве он даже носил девчачьи платица и волосы – длинные, как у девочки.

Мать он, безусловно, любил, несмотря на ее фантастическую тиранию, проистекающую от гипертрофированного материнского инстинкта, помноженного на наследственную неуравновешенность. К тому же она была исключительно музыкальна и приучила сына к высокой классике. Одно время он даже не мог заснуть без мелодий Бетховена, Шумана, Шопена, которые перед сном наигрывала мать. Зато его собственное обучение игре на фортепиано превратилось в сплошное мучение. Мать контролировала каждый урок, беспощадно и больно била карандашом по пальцам, если сын брал неверную ноту. Обладая великолепными декламаторскими способностями, Александра Дмитриевна приобщила сына и к литературной классике. Сколько замечательных книг прочли они вместе! Особенно запомнился диккенсовский «Дэвид Копперфилд», до конца дней остававшийся для Андрея Белого настольной книгой. Мать читала его сыну, когда тот еще не знал грамоты. А когда ему было десять лет, она прочитала ему Гоголя, ставшего с тех пор для Белого любимым русским писателем. Гоголь поразил будущего символиста яркостью метафор и интонацией фразы, а напевный стиль «Тараса Бульбы» он вообще воспринимал не как прозу, а как поэзию.

Так или иначе, семья – какой бы она ни была – сыграла очень важную роль в формировании мирозерцания будущего поэта и писателя. Сквозь призму семейных отношений он воспринимал и жизнь страны, и весь остальной мир. Позднее в мемуарах написал: «Начинается мне вместе с семейной историей вообще русская история, а с ней и история мира».

Первые семь лет своей жизни он считал «сказочным периодом», с которого и начался для него *символизм*: «В песне, в сказке и в звуках музыки дан мне выход из безотрадной жизни; мир мне теперь – эстетический феномен; ни бреда, ни страха перед эмпирикой нашей жизни; жизнь – радость; и эта радость – сказка; из сказки начинается моя игра в жизнь; но игра – чистейший символизм». Многие для приобщения Бори к этому удивительному миру сделали бонны и гувернантки, которые из-за неизбежных конфликтов с Александрой Дмитриевной, как правило, в семье Бугаевых надолго не задерживались. К некоторым из них Белый на всю жизнь сохранил самые теплые чувства: одна немка познакомила его с творчеством Андерсена и братьев Гримм, другая доводила до дрожи и дикого ужаса, читая ему балладу Гёте «Лесной царь». Особенное влияние на развитие будущего писателя оказала мадемуазель Бэлла Радэн – француженка по отцу и немка по матери. Она прослужила в семье Бугаевых дольше всех – более трех лет, и была для Бориса не только любимой воспитательницей, но и настоящим старшим другом.

Заниматься с мадемуазель Бэллой, с благодарностью вспоминал позже Андрей Белый, было одно удовольствие: она умела превратить всякий урок в увлекательную игру. Географию мальчик изучать начал по романам Купера о Кожаном Чулке. Сперва они вместе находили на карте Северную Америку, где разворачивалось действие приключенческих романов. Затем вполне закономерно возникал вопрос: как из Америки попасть в Россию, и таким образом, мысленно совершая кругосветные путешествия, он постепенно изучал весь земной шар. От физической географии незаметно переходили к экономической и политической – страны, столицы, народонаселение, хозяйство, государственное устройство, армия, флот и т. д. и т. п. Точно так же осваивались и другие дисциплины, биографии ученых, художников, композиторов, писателей и поэтов, их произведения, одним словом, культура в самом широком смысле этого слова.

«При мадемуазель, – пишет Белый, – я начинаю много бегать и лазить по деревьям; из меня вырабатывается великолепный лазун; и вдруг обнаруживается подлинная гимнастическая ловкость, предмет удивленья мальчишек; она добивается того, что по воскресеньям нас с ней отпускают в немецкое гимнастическое общество; и я два года, еще до гимназии, и марширую, и прыгаю, и упражняюсь... (впоследствии, отроком, я щеголял различными фокусами на трапеции, быстротой бега, высотой прыжка, умением ходить с зажженной лампой на голове и взлезать на четыре поставленных друг на друга стула). Толчок ко всему этому – мадемуазель».



В сентябре 1891 года период домашнего воспитания для Бори Бугаева благополучно завершился. Десятилетним отроком (через месяц исполнится одиннадцать) он поступает в престижную частную гимназию Л. И. Поливанова, располагавшуюся на Пречистенке и считавшуюся в Москве одной из самых лучших. Впоследствии Андрей Белый в письме к Иванову-Разумнику (псевдоним известного критика и публициста Разумника Васильевича Иванова) (1878–1946) изобразит свой жизненный путь в виде графических и нумерологических схем (отчасти они напоминают упомянутую выше диаграмму «Линия жизни»), где первые шестнадцать лет разделены на этапы, названные несколько высокопарно «эпохами». Так вот, здесь первые этапы становления будущего писателя и поэта представлены как движение от «сказочности» к «сознанию» и переход от «роли гувернанток в моей жизни» к «эпохе гимназии» и пробуждения творчества.

Лев Иванович Поливанов (1838–1899) – выдающийся русский педагог, литературовед и общественный деятель, разработал множество нетривиальных методик преподавания литературы, русского и древних языков. Андрей Белый писал: «Лев Иванович Поливанов был готовый художественный шедевр; тип, к которому нельзя было ни прибавить и от которого нельзя было отвлечь типичные черточки, ибо суммой этих черточек был он весь: не человек, а какая-то двуногая воплощенная идея: гениального педагога». И добавлял: «Молнии поливановских уроков зажигали меня». Талантливый педагог буквально завораживал своих учеников, когда рассказывал им о творчестве Гомера, Софокла, Шекспира, Пушкина и других русских классиков, когда читал им «Слово о полку Игореве». Это обычных-то гимназистов! Что же тогда говорить о впечатлительном Борисе Бугаеве. По позднему свидетельству Белого, Л. И. Поливанов вдохнул в него своим «почти гениальным преподаванием» любовь к русской словесности. За время гимназического учения он также впервые заинтересовался философией и с пятого класса гимназии читал все выпуски журнала «Вопросы философии и психологии».

Через непродолжительное время произошло то, чего и следовало ожидать, – вспышка болезненной страсти (иначе не назовешь) к чтению отечественной и мировой литературы. В домашней библиотеке было мало беллетристики и много математической литературы – книг и периодики. У матери был свой шкаф, запираемый на ключ (книг она никому не давала,

чтобы не испортились дорогие позолоченные переплеты). Борис обзавелся дубликатом маминого ключика и таким образом получил доступ к ее книжным сокровищам. Однако все эти книги были давным-давно читаны и перечитаны. На покупку же новинок семейный бюджет денег не предусматривал. «Запретные» книги, вызывающие обычно в его возрасте повышенный интерес, вроде французских романов Золя и Мопассана, мальчик незаметно вытаскивал из-под подушки матери и читал на языке оригинала, когда мать отсутствовала. Оставались еще учебные хрестоматии – русская, старославянская, греческая, латинская и прочие (составленные самим Поливановым), но этого явно недоставало.

И вот однажды, по пути в гимназию юноша решил заглянуть на часок в общественную читальню – познакомиться хотя бы с каталогом. И всё! Как сказал его любимый Гоголь (правда, по другому поводу): пропал казак, пропал для всего казацкого рыцарства! Борис просидел в читальне до самого ее закрытия. Пришел туда на следующий день и с тех пор стал приходить ежедневно. Так продолжалось почти два месяца, которые позже он назовет «сказкой пятидесяти дней». Чего он только за это время не прочитал! Фактически – все новинки отечественной и зарубежной беллетристики. Но главное, конечно, – «полный» Достоевский и Ибсен: оба отныне стали для Белого «канонами жизни» (а последний еще и в одночасье превратил шестнадцатилетнего юношу в *символиста*)! Кроме этого – Тургенев и Гончаров, Некрасов и Фет, Полонский и Надсон, «Фауст» Гёте и «Эстетика» Гегеля, из новейших поэтов – Сологуб, Гиппиус, Бунин.

Ни дома, ни в гимназии все это время не догадывались о причинах «болезни» Бориса Бугаева. Но его долгое отсутствие на занятиях не могло не встревожить педагогов. Провинившийся гимназист принял самое верное решение – сказать правду! Но не всем, а только отцу. Тот переговорил с директором гимназии, и никаких репрессалий не последовало. Оба взрослых, посвященные в мальчишескую тайну, похоже, даже были по-своему удовлетворены. На их лицах словно было написано: «Молодец! На твоём месте мы поступили бы так же...»

В середине 1890-х годов состоялось знакомство Бориса Бугаева с Михаилом Толстым – сыном великого писателя. Оба учились в Поливановской гимназии, Миша – на класс старше, но в описываемое время остался на второй год и оказался одноклассником Бори Бугаева. Они стали друзьями. По неписаной традиции семьи стали обмениваться визитами. Впрочем, Николай Васильевич бывал у Толстого и раньше. Лев Николаевич по делам тоже посещал арбатскую квартиру Бугаевых, брал

тогда еще маленького Бореньку на колени, и мальчику на всю жизнь запомнилась огромная и щекочущая борода писателя. Первой навестила арбатскую квартиру Бугаевых вместе с сыном Софья Андреевна Толстая. Вскоре в субботний день приемов в доме Толстых в Хамовниках побывал и Борис с матерью. Знакомство с семейством «великого Льва» оставило у Бориса двойственное впечатление, от которого он не смог избавиться и по прошествии тридцати лет. Дочери Толстого Татьяна, Александра и Мария ему понравились – каждая по-своему. А вот родители их – Лев Николаевич и Софья Андреевна – не так, чтобы очень: в их отношениях с окружающими чувствовались какая-то натянутость, неискренность и искусственность.

Одноклассники Бориса и Михаила, также приглашавшиеся в гости, затеяли однажды традиционные детские игры (хотя было им 15–16 лет, то есть не малые дети), вроде «кошек-мышек» и прятков, с шумом и гамом носились по всему двухэтажному дому; несмотря на запрет, вторглись в святая святых – кабинет великого писателя, где их и застал недовольный хозяин. Борис не любил шумных игр, но сверстников не сторонился и внимательно наблюдал за происходящим, а впоследствии описал все с фотографической точностью:

«В разгар игры в гостиную вошел Лев Николаевич, – тихо, задумчиво, строго, как бы не замечая нас: поразила медленность, с какой он подходил к нам легкими, невесомыми шагами, не двигая корпусом, с руками, схватившимися за пояс толстовки; поразили: худоба, небольшой сравнительно рост и редящая борода; впечатления детства высекли его образ гораздо монументальней: небольшой старичок – вот первое впечатление; и – второе: старичок строгий, негостеприимный; увидав нас, он даже поморщился, не выразив на лице ни радости, ни того, что он нас заметил; между тем он подошел к каждому; и каждому легко протянул руку, не меняя позы, не сжимая протянутой руки и лишь равнодушно ее подерживая; помнится, остановившись передо мной, он оглядел меня пытливо, недружелюбно и подал руку, как если бы подавал ее воздуху, а не живому мальчику, растерявшемуся от встречи с ним... <...>».

Из впечатлений отрочества запомнилось также посещение выставки французской живописи, где впервые в России демонстрировались картины импрессионистов. Работы Дега и знаменитые «Стога» Клода Моне вызывали у московских обывателей нечто похожее на тихий ужас. А Борис Бугаев зачарованно любовался цветовой палитрой полотен, в них он улавливал мелодии природы.

Примерно в это же время случилось еще одно знаменательное

событие: в освободившейся квартире этажом ниже поселилась семья Соловьевых – Михаил Сергеевич (сын знаменитого историка и брат не менее знаменитого философа), его жена – художница и переводчица Ольга Михайловна, их сын Сергей – почти на пять лет младше Бориса. Вскоре они станут друзьями. Но поначалу их общение дальше игры в солдатики не пошло: их ради нового соседа Борис извлек из кучи ставших ему ненужными игрушек. Зато Сережины родители почти сразу стали неформальными старшими друзьями и подлинными наставниками Бориса. «Семья Соловьевых на целое семилетие втянула в себя силы моей души», – напишет Андрей Белый. У них всегда можно было взять почитать новинки отечественной и зарубежной литературы, иностранную периодику и русский журнал «Мир искусства». Здесь впервые Борис Бугаев услышал имена европейских и российских символистов и познакомился с юношескими стихами Александра Блока, пока еще ходившими в рукописях. С каждым членом этой семьи его отношения строились по-разному: чувствами тянулся к Сереже, умом – к очень начитанной и интеллигентной Ольге Михайловне, которая «чуткой душой соединяла интересы к искусству с интересами религиозно-философскими» и про которую он впоследствии также скажет: «Ей обязан я многими часами великолепных, культурных пиров».

Михаил Сергеевич Соловьев неназойливо формировал волю и логическую культуру Бориса – «проницающими радиолучами своей моральной фантазии». Старший наставник в ту пору был занят подготовкой к изданию собрания сочинений брата – Владимира Соловьева. В кабинете Михаила Сергеевича повсюду громоздились пухлые папки с рукописями, стол и стулья были завалены корректурами. Борис с благоговением перелистывал страницы, испещренные почерком философа, где особенно выделялись тексты, написанные так называемым «автоматическим письмом» во время медитации. (Считалось, что подобные фрагменты и законченные произведения создавались в периоды софийного озарения, которое на современном языке именуется ноосферным.) О Михаиле Сергеевиче Соловьеве Андрей Белый писал:

«Михаил Сергеевич Соловьев был воистину замечательною фигурою: скромн, сосредоточен, – таил он огромную вдумчивость, пронизательность, мудрость; соединял дерзновенье искателей новых путей с дорическим консерватизмом хорошего вкуса. Он, кажется, был единственный из Соловьевых, не соблазнившийся литературной и общественной славою. Но к нему единственно прибегал Владимир Сергеевич Соловьев, с ним считаясь в кризисах своей жизни и мысли: М.

С. был подлинным инспиратором Владимира Соловьева; лишь он понимал до конца степень важности теософических устремлений покойного. М. С. был вдвойне замечателен: был не менее, если не более замечателен своего знаменитого брата, являя во внешнем и внутреннем облике полный контраст с В. С.; тихий, спокойный, уравновешенный, не блестящий во внешних явлениях жизни, не походил он на бурного и всегда блестящего брата; малорослый, голубоокий, блондин с небольшим пухлым ртом, обрамленным светлейшими белокуроыми усами и такую же кудрявой бородкой, с ясным, не вспыхивающим взглядом, и с бледным лицом, он во внешнем облике разительно отличался от огромного, темноволосого Владимира Соловьева, блещущего лихорадочно серыми, обведенными точно углем, глазами.

Стоило посмотреть на двух братьев, когда они усаживались за шашки, отхлебывая чай и просиживая над столиком, чтобы увидеть огромное различие их; и вместе с тем – непередаваемую духовную общность».

Общение с семьей Соловьевых очень сильно повлияло на формирование миросозерцания Бориса. Он познакомился с шедеврами восточной и западной философии – отрывками из Упанишад, трактатами Лао-цзы, Конфуция, Канта, Гегеля, прочел теософские работы Елены Блаватской. «Мир как волю и представление» Артура Шопенгауэра читал запоем и конспектировал по главе в день. К шестнадцати годам Борис Бугаев вполне созрел для адекватного восприятия философии Владимира Соловьева. На детей этот человек вообще производил неизгладимое впечатление. Известен такой факт: когда одному ребенку показали фотографию этого чернобородого человека с бездонными глазами и спросили в шутку: «Кто это?» – тот на полном серьезе ответил: «Это – Бог!»

Андрей Белый в своих воспоминаниях описал его так: «Громадные очарованные глаза, серые, сутулая его спина, бессильные руки, длинные, со взбитыми серыми космами прекрасная его голова, большой, словно разорванный рот с выпяченной губой, морщины – сколько было в облике Соловьева неверного и двойственного! У французов есть одно слово, непередаваемое на русский язык. Оно характеризовало бы впечатление, которое оставлял на окружающих Владимир Сергеевич. Француз сказал бы про него: „Il était bizarre“ („Он был странен“ – *фр.*). Гигант – и бессильные руки, длинные ноги – и маленькое туловище, одухотворенные глаза – и чувственный рот, глаголы пророка...»

И еще: «Соловьев всегда был под знаком ему светивших зорь. Из зари вышла таинственная муза его мистической философии (*она*, как он называл

ее). Она явилась ему, ребенку. Она явилась ему в Британском музее, шепнула: „Будь в Египте“. И молодой доцент бросился в Египет и чуть не погиб в пустыне: там посетило его видение, пронизанное „лазурью золотистой“. И из египетских пустынь родилась его гностическая теософия – учение о вечно женственном начале божества. Муза его стала нормой его теории, нормой его жизни. Можно сказать, что стремление к заре превратил Соловьев в долг, и раскрытию этого долга посвящены восемь томов его сочинений, где тонкий критический анализ чередуется с расплывчатой недоказательной метафизикой и с глубиной мистических переживаний необычайной».

А вот впечатление Андрея Белого от манеры чтения Владимира Соловьева: «<... > он читал свою „Повесть об антихристе“. При слове: „Иоанн поднялся, как белая свеча“ – он тоже приподнялся, как бы вытянулся в кресле. Кажется, в окнах мерцали зарницы. Лицо Соловьева трепетало в зарницах вдохновения». Это было незадолго до скоропостижной смерти философа, потрясшей всю культурную Россию...

\* \* \*

Примерно в пятнадцать-шестнадцать лет Борис Бугаев начал писать стихи – подражательные и слабые, вскоре уничтожил их и потом стеснялся этих стихов всю жизнь, но тем не менее никогда не забывал. Неожиданно замкнутый и малообщительный Борис стал весьма разговорчивым. Как сам он потом вспоминал: «Я хлынул словами на все окружающее». Остановиться он уже не смог – как и в своих музыкальных пристрастиях. У отца с матерью были два постоянных абонента в Большой зал Консерватории, но Николай Васильевич своим никогда не пользовался, предпочитая проводить свободное время у друзей или в клубе. И перед Борисом Бугаевым распахнулись двери в безбрежный мир музыки. На первом месте – Вагнер, Григ, Римский-Корсаков.

Обучение в гимназии подходило к концу. Предстояло определиться с дальнейшим образованием. Дилемма оказалась не из легких. Борис разрывался между наукой и искусством. Его привлекала гуманитарная сфера, но отец настаивал на поступлении на физико-математический факультет университета. В сентябре 1899 года Борис Бугаев становится студентом естественного отделения физико-математического факультета Московского университета. Однако для себя он решил твердо: после окончания физмата сразу же поступит на филологический факультет и

станет, как он выражался, *эстетико-натуралистом* (или, что одно и то же – *натуроэстетиком*). Пока что всецело отдался физике, математике и биологии (последняя вместе с химией, географией и этнографией в то время находилась в ведении физмата – самостоятельных факультетов не существовало – были лишь отделения).

Борису Бугаеву сказочно повезло: ему преподавали светила русской науки – Николай Алексеевич Умов (1846–1915), Климент Аркадьевич Тимирязев (1843–1920), Дмитрий Николаевич Анучин (1843–1923), Владимир Иванович Вернадский (1863–1945), Николай Дмитриевич Зелинский (1861–1953) и другие именитые ученые. Каждый оставил в душе Белого частицу своего гения. Почти каждому из них благодарный питомец посвятил лучшие страницы своих мемуаров. Погружение в безбрежный мир науки поэтически настроенный студент Бугаев начал с курса географии и этнографии, который «с хронической улыбкой вечности» читал Д. Н. Анучин. Про него впоследствии написал так:

«<...>Анучин – все седенький до желтизны, размохрастый, с огромнейшим носом, но с маленьким лобиком, плачущим той же морщиной, в то время как рот под усами седыми до... желчи оранжевой цвел той же лисьего вида улыбкою; плечи – покатые; впалая грудка; всегда в сюртуке; выше – издали; около – маленький-маленький; дико вихры жестковатые встали, как будто нацелясь; головка же – полувытянута, полуопущена как бы под тяжестью турьих рогов: турьерогий; по волосяному покрову, по козьей бородке – вполне дряхлолетнее козлище, очень спокойно копытце влагающее в сюртучок, чтобы, из бокового кармана платочек доставши, схватиться за мясо могучего сизого носа, навислины очень достойной; анфас – хитрый лис; профиль же козерожий; с трибуны, из ложи мог в прежнее время и грозным казаться: на университетском акте, усевшись пред публикой на возвышенье, Анучин, увидя высокого и власть имущего чина, – так вскинул свой профиль пред тысячной аудиторией, что я подумал: с межбровья зубчатая молния, вспыхнувши, чина сразит: но электрического явления не было; истечения электричества были тихи; и профилем виделся Д. Н. издали».

Борис Бугаев заявил Анучину, что намерен изучать народный *орнамент*, применив для этого математический метод. Молодого исследователя интересовали трансформации морфологических линий орнамента и формализация соотношения цветов. Но умудренный житейским и научным опытом профессор скептически отнесся к экстравагантной идее и уговорил его взяться за «нормальную» географическую тему, посвященную образованию оврагов.

О другом корифее русской науки – К. А. Тимирязеве Андрей Белый писал так: «Ходил Тимирязева слушать я изредка, чтоб увидеть прекрасного, одушевленного человека, метающего большие голубые глаза, с привзвизгом ритмическим вверх зигзагами мчащегося вдохновенного голоса, выявляющего фигурой и позой – взлет ритма. Я им любовался: взволнованный, нервный, с тончайшим лицом, на котором как прядала смена сквозных выражений, особенно ярких при паузах, когда он, вытянув корпус вперед, а ногой отступая, как в па менуэтном, готовился голосом, мыслью, рукою и прядью нестись на привзвизге, – таким прилетал он в большую физическую аудиторию, где он читал и куда притекали со всех факультетов и курсов, чтоб встретить его громом аплодисментов и криков. <... > В Тимирязеве поражал меня великолепнейший, нервно-ритмический зигзаг фразы взлетающей, сопровождаемый тем же зигзагом руки и зигзагами голоса, рвущегося с утеса над бездной, не падающего, взлетающего на новый, крутейший утес, снова с него взвивающегося до взвизгов, вполне поднебесных; между взлетами голоса – фразу секущие паузы, краткие, полные выразительности, во время которых бурное одушевление как бы бросалось сквозь молодеющий лик; и – падала непокорная прядь на глаза: он откидывал эту прядь рывом вскинутой вверх головы, поворачивая направо, налево свой узкий, утонченный профиль с седеющей узкой и длинной бородкою; то отступая (налево, направо), а то выступая (налево, направо), рисуя рукою, сжимающей мел, очень легкие линии, точно себе самому дирижируя, – он не читал, а чертил свои мысли, как па; и потом, повернувшись к доске, к ней бежал, чтоб неразборчиво ткани сосудов чертить нам. Казался таким легконогим, безбытным; а для меня посещение его лекций было менее всего изучением физиологии тканей, а изучением жеста ритмического... <...>»

Студент Бугаев встречался с профессором Тимирязевым и в неформальной обстановке. Они были даже, как бы сейчас сказали, соседями по даче. Когда очень скоро имя Андрея Белого прогремело на всю Россию, Климент Аркадьевич однажды даже пришел на лекцию своего бывшего студента в Большой зал Политехнического музея, чем очень смутил выступавшего. Лекция эта была посвящена философии Фридриха Ницше, ставшего тогда философом № 1 для многих представителей русской интеллигенции – молодежи в особенности. Сам Белый позже так рассказывал о своих ницшеанских увлечениях:

«С осени 1899 года я живу Ницше; он есть мой отдых, мои интимные минуты, когда я, отстранив учебники и отстранив философии, всецело отдаюсь его интимным подглядам, его фразе, его стилю, его слогу; в



афоризме его вижу предел овладения умением символизировать: удивительная музыкальность меня, музыканта в душе, полоняет без остатка; и тот факт, что Ницше был и в буквальном смысле музыкантом, вплоть до композиции, в этот период мне кажется не случайным; ведь и я в те годы утайкою пробирался к роялю и часами отдавался музыкальным импровизациям своим, когда родителей не было дома. Философ-музыкант мне казался типом символиста: Ницше мне стал таким символистом вплоть до жестов его биографии и до трагической его судьбы. <... >

Ницше мне никогда не был теоретиком, отвечающим на вопросы научного смысла: но и не был эстетом, завивающим фразу для фразы. Он был мне творцом самих жизненных образов, теоретический или эстетический смысл которых откроется лишь в пути сотворчества, а не только сомыслия. Наконец Ницше – анархист, Ницше – борец с вырождением, сам изведавший всю его глубину, Ницше – рубеж меж концом старого периода и началом нового – все это жизненно мне его выдвигало. Я видел в нем: 1) „нового человека“, 2) практика культуры, 3) отрицателя старого „быта“, всю прелесть которого я испытал на себе, 4) гениального художника, ритмами которого следует пропитать всю художественную культуру. Период с осени 1899 года до 1901 мне преимущественно окрашен Ницше, чтением его сочинений, возвращением к ним опять и опять; „Так говорил Заратустра“ стала моей настольною книгою». <sup>[6]</sup>

\* \* \*

О знаменитом русском физике и мыслителе-космисте Н. А. Умове Андрей Белый писал не только в мемуарной прозе, но и в стихах. В автобиографической поэме «Первое свидание» он воссоздал атмосферу своих студенческих лет и образ профессора:

И было: много, много дум,  
И метафизики, и шумов...  
И строгой физикой мой ум  
Переполнял профессор Умов.

Над мглой космической он пел,  
Развив власы и выгнув выю,  
Что парадоксами Максвелл

Уничтожает энтропию, —

Что взрывы, полные игры,  
Таят Томсоновские вихри  
И что огромные миры  
В атомных силах не утихли,  
Что мысль, как динамит, летит  
Смелей, прикидчивей и притче...

Умов стал предтечей биотизации Космоса. Он еще в начале 1870-х годов, задолго до первых публикаций по теории относительности, выдвинул идею о взаимодействии энергии и массы. Андрей Белый, который был не только студентом профессора Умова, но и знал его как друга семьи, оставил о нем впечатляющие воспоминания, характеризующие его как ученого-космиста. Умов точно выступал «в созерцании физических космосов», его речь была блистательной и образной, а лекции по физике походили на драмы-мистерии, из которых студенты запоминали афоризмы, вроде: «Мы – сыны светозарного эфира» или «Бьют часы Вселенной первым часом».

Сам Умов так сформулировал свое кредо естествоиспытателя: 1) утверждать власть человека над энергией, временем и пространством; 2) ограничить источники человеческих страданий; 3) демократизировать способы служения людям и содействовать этическому прогрессу; 4) познавать архитектуру мира и находить в этом познании устои творческому предвидению. Вселенная, по Умову, «всегда рациональна», то есть доступна познанию. «Во Вселенной дано все: для нее нет прошлого и будущего, она – вечное настоящее; ей нет пределов ни в пространстве, ни во времени». Ученый постоянно подчеркивал, что нам известна в «жизни необъятного колосса, именуемого Космосом», лишь незначительная часть его неисчерпаемых закономерностей. Все открытия в области естествознания, включая космологию, еще впереди. Наибольшей отдачи в процессе дальнейшего познания природы он ожидал от «царства лучистой энергии».

Убежденный картезианец<sup>[7]</sup> – так охарактеризовал Умова Андрей Белый – он, однако, менее всего был склонен к «механицизму», и, подобно другим картезианцам, мысли Умова были обращены не к прошлому, а к настоящему и будущему. В последнем докладе «Эволюция физических наук и ее идейное значение» русский физик сформулировал своего рода

квинтэссенцию естествознания XX века: «В необъятной Вселенной, вмещающей в себя все случайности, могут образовываться электрические индивиды, эти зародыши и семена материи, быть может, на перекрестке лучей. Одни из этих семян путем излучениярастают; другие, или поглощают энергию, или процессом, сходным с катализом, станут родоначальниками миров. Итак, лучистая энергия рассеивает и создает материю; ее великая роль во Вселенной – поддерживать круговорот материи».

И далее, размышляя о том, как безмолвно работают в глубинах мира и пространствах неба невидимые «ткачи материи и жизни», – Умов приходит к выводу, предвосхищая идеи Вернадского о ноосфере – о необходимости включить в научную картину мира *познающий разум*. Тем самым вновь смыкаются Макрокосм и Микрокосм. «Седая древность и молодая наука сходятся в слова, которые говорят этому гению (разуму. – В. Д.): сын неба, светозарной лучистой энергии! Он был и будет апостолом света!»

Андрей Белый в мемуарах делает поразительное признание: уже на первом курсе университета он стал задумываться о пространственно-временном континууме и о том, что в физике именуется *принципом относительности*. Под влиянием ли профессора Умова родились эти мысли или к ним студент пришел самостоятельно – теперь не столь важно. Важно другое: идеи эти возникли за несколько лет до опубликования первой работы А. Эйнштейна.

Двадцатилетний период жизни Бориса Бугаева завершился вместе с XIX веком; следующие три с половиной десятилетия прошли под звучным и теперь всему миру известным именем – Андрей Белый.

## Глава 2

# ДЕКАДЕНТЫ

Изучая естественные науки, Борис Бугаев все больше ощущал потребность выразить в слове – устном или письменном – те мысли и образы, что прорывались к нему откуда-то из бездны. Они не имели ничего общего с прописными истинами, внушаемыми ему университетскими профессорами, и с собственным багажом знаний, накопленным в течение двадцати лет жизни. Он почувствовал в себе провидческий дар и одновременно осознал, что способен понимать гораздо больше, чем кто-либо из окружавших его людей. Он почувствовал в себе *задатки гения*. Хаотические идеи требовали упорядочения. А чтобы они не забылись, не канули в небытие, откуда так неожиданно появились, необходимо было довериться бумаге, изложить все в стихах и прозе. Так началось строительство нового, доселе никому не известного мира – Вселенной Андрея Белого...

Казалось, сам Космос приоткрыл для него дверь в святая святых, указал путь к разгадке своих самых сокровенных тайн. Но сделал это с помощью особых *образов-символов*, позволяющих постичь сущность Мироздания. На свет появился (точно исторгнулся из недр первобытного Хаоса, превращающегося в Космос) еще один мыслитель-символист – писатель, поэт, философ, эстетик, летописец самого движения, его вдохновитель и одновременно – живое воплощение. *Символизм* (от греч. *symbolon* – знак, метка, сигнал, признак) как новое направление в литературе и искусстве, зародившееся во второй половине XIX века во Франции, будоражил к тому времени общественное мнение уже не менее тридцати лет. Но это – если вести счет от французских поэтов-символистов Шарля Бодлера, Поля Верлена, Артюра Рембо, Стефана Малларме. Однако символистское искусство зародилось задолго до них. К классикам символизма уже принято относить и англичанина Уильяма Блейка (1757–1827), и американца Эдгара По (1809–1849). Картины Иеронима Босха (1450/60—1516), Питера Брейгеля Старшего (1525/30—1569) или офорты Франсиско Гойи (1746–1828) также не менее (если не более) символичны, чем полотна крупнейших художников конца XIX–XX века – Пьера Пюви де Шаванна, Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Одилона Редона, Мориса Дени, Габриела Россетти, Эдуарда Бёрн-Джонса, Обри Бердслея, Арнольда

Бёклина, Фердинанда Ходлера, Михаила Врубеля, Льва Бакста, Виктора Борисова-Мусатова, Николая Рериха, Эдварда Мунка, Густава Климта, Аксели Галлен-Каллелы, Кузьмы Петрова-Водкина, Павла Филонова и многих других.

Символисты – мыслители, художники, литераторы, композиторы – считали символы особыми идеальными сущностями (наподобие *эйдосов* Платона) или *знакообразами*, которые в качестве опосредованного связующего звена не просто обеспечивают контакт между действительностью и познающим субъектом, но зачастую выражают саму суть объективного и субъективного мира. Такое сущностное познание мира через опосредованную символику противопоставлялось натуральному и фотографическому представлению о реальности. Андрей Белый как никто другой много сделал для теоретического обоснования исходных принципов символизма. «Символизм, – отмечал он, – подчеркивает примат творчества над познанием, возможность в художественном творчестве преобразовать образы действительности; в этом смысле символизм подчеркивает значение формы художественных произведений, в которой уже сам по себе отображается пафос творчества; символизм поэтому подчеркивает культурный смысл в изучении стиля, ритма, словесной инструментовки памятников поэзии и литературы; признает принципиальное значение разработки вопросов техники в музыке и живописи. Символ есть образ, взятый из природы и преобразованный творчеством; символ есть образ, соединяющий в себе переживание художника и черты, взятые из природы. В этом смысле всякое произведение искусства символично по существу. <...>».

Источник любых символов – *ноосфера*; это она шифрует свои объективные закономерности и транслирует закодированную информацию через различные каналы, открывающиеся творцам и символистам-дешифровщикам. И вселенский код сей проявляется в самых различных формах. Это могут быть обычные художественно-поэтические, математические, химические и некоторые другие символы, гармония чисел как таковая. Однако ноосферное происхождение имеют не только вербальные тексты (научные и художественные, устные и письменные), но также и изобразительные и музыкальные образы. Один из представителей русского символизма Константин Дмитриевич Бальмонт (1867–1942) – осознавая существование ноосферы (да и биосферы<sup>[8]</sup>) – писал: «...Когда в мире создавались Солнце, Луна, Звезды и Земля, те могучие духи, которые создавали их, пели песню, любя свое творение, и звуки той песни, не забытые, остались в душах людей и в памяти птиц. <...> Вся жизнь мира

окружена музыкой. Когда Земля при своем создании была уже готова к жизни в первое свое утро, жизни все-таки еще не было. Тогда вдруг ветер промчался над морем и над лесом, и в волнах возник плеск, а в лесных вершинах гул. Через это в мире возникла музыка, и мир стал живой».

Андрей Белый, по существу, открыл и обосновал еще одну разновидность ноосферной символики – *глубинную ритмику природы и жизни*. Всеми фибрами души он ощущал этот сущностно-временной ритм Вселенной – иногда торжественно-победный, иногда тревожно-метущийся, иногда мистически-неразгаданный. И конечно же пытался выразить свои интимные ощущения, переживания в слове – поэтических и прозаических текстах, многочисленных устных выступлениях, подчас казавшихся читателям и слушателям излишне нервными, сумбурными, алогичными. Свои доклады – даже в университетской и академической аудитории – он сопровождал ритмическими движениями, напомиравшими какой-то мистериальный танец. Мелодии космических сфер и скрытые ритмы иерархий прорывались к нему в виде отрывистых фраз и рубленых строк. Многим они казались непонятными и диковинными. Для Белого же это была первоизданная стихия, означавшая саму жизнь! Она подстегивала поэта, нашептывала продолжение одной завершенной мысли, превращения ее во все новые и новые. То есть символ (в широком смысле этого понятия) более важен, чем обыденная действительность. Последняя – буднична, монотонна, скучна и однообразна; а символ – огненный знак, факел, способный зажечь сердца, осветить унылые сумерки повседневности и помочь прорваться к глубинам запредельности.<sup>[9]</sup> Вне всякого сомнения, А. Белый разделял общеизвестный философский тезис Шопенгауэра и Ницше о том, что за видимым миром скрывается вторая *подлинная* (!) действительность, а первая попросту представляет собой своего рода *иллюзию восприятия* (или, как тогда говорили, используя индийскую терминологию – «*покрывало Майи*»). Поэтому ориентироваться следует вовсе не на апробированные научные методы и логические законы, а на интуицию, мистический опыт, догадки-озарения и воображение (естественно, у каждого они свои, разные).

Из всего вышесказанного вытекает следующий вывод: так как расшифровка и правильное понимание символов доступны не всем, а исключительно *избранным*, последние совершенно естественным образом превращаются в незаменимых посредников между бесконечным Мирозданием и человечеством, влачащим жалкое существование на бренной земле. Таким образом, символ становится своего рода скрытой и абсолютной истиной, которая через посвященных – писателей, поэтов,

художников, композиторов, провидцев, пророков и прочие харизматические личности – открывается остальным людям. Другими словами, *символ – истина, действительность – всего лишь житейская мишура*. В результате подобного субъективного подхода у каждого из посвященных оказывается своя истина; в целом же истин, якобы отображающих одну и ту же (пусть даже запредельную) реальность, получается превеликое множество. Однако если плюрализм мнений – это нормальная ситуация, то плюрализм истин – нонсенс, поскольку истина может быть только одна!

Андрей Белый считал язык главным носителем смысловой символики. «Язык, – писал он, – наиболее могущественное орудие творчества. Когда я называю словом предмет, я утверждаю его существование. Всякое познание вытекает уже из названия. Познание невозможно без слова. Процесс познания есть установление отношений между словами, которые впоследствии переносятся на предметы, соответствующие словам. Грамматические формы, обуславливающие возможность самого предложения, возможны лишь тогда, когда есть слова; и только потом уже совершенствуется логическая членораздельность речи. Когда я утверждаю, что творчество прежде познания, я утверждаю творческий примат не только в его гносеологическом первенстве, но и в его генетической последовательности.

Образная речь состоит из слов, выражающих логически невыразимое впечатление мое от окружающих предметов. Живая речь есть всегда музыка невыразимого; „мысль изреченная есть ложь“, – говорит Тютчев. И он прав, если под мыслью разумеет он мысль, высказываемую в ряде терминологических понятий. Но живое, изреченное слово не есть ложь. Оно – выражение сокровенной сущности моей природы; и поскольку моя природа есть природа вообще, слово есть выражение сокровеннейших тайн природы. Всякое слово есть звук; пространственные и причинные отношения, протекающие вне меня, посредством слова становятся мне понятными. *Если бы не существовало слов, не существовало бы и мира»* (выделено мной. – В. Д.).

Онтологизация, более того, *космизация* слова и смысла, превращение языка в бытийную категорию – одно из типичнейших утверждений философов XX века, впрочем, заимствованных ими у предшествующих мыслителей. Далее всех здесь пошел философ и богослов Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944). По Булгакову, словотворчество есть чисто космический (ноосферный) процесс, ибо слова по природе и сущности своей содержат в себе энергию Мира: реальное светило – Солнце составляет истинную душу слова «солнце», в прямом смысле присутствуя в

нем своей идеальной энергией: «Когда человек говорит, то слово принадлежит ему как Микрокосму и как человеку, интегральной части этого мира. Через Микрокосм говорит Космос. <...> Слово так, как оно существует, есть удивительное соединение космического слова самих вещей и человеческого о них слова, притом так, что то и другое соединены в нераздельное сращение». Космический характер носит и сам акт наименования. Булгаков поясняет это на примере естественно-математических наук. Химические названия и алгебраические обозначения не явились неизвестно откуда, а порождены актом наименования: в них алгебраизируется и химизируется Космос, потому-то возникает алгебра и химия, а не наоборот.

Как уже было сказано, для Андрея Белого слово тоже являлось выражением *символа* как такового, главного соединительного звена между «миром идей» и «миром вещей», с помощью которого эти на первый взгляд «параллельные миры» превращаются в подлинное *объективное единство* и без которого такое единство попросту невозможно: оно рассыплется как карточный домик. Вот почему *символ* и *слово* для писателя и мыслителя-символиста – тождественные понятия. В статье «Магия слов», включенной в сборник «Символизм», он так развивает и аргументирует свою мысль:

«Мое „я“, оторванное от всего окружающего, не существует вовсе; мир, оторванный от меня, не существует тоже; „я“ и „мир“ возникают только в процессе соединения их в звуке. Внеиндивидуальное сознание, как и внеиндивидуальная природа, соприкасаются, соединяются только в процессе наименования; поэтому сознание, природа, мир возникают для познающего только тогда, когда он умеет уже творить наименования; вне речи нет ни природы, ни мира, ни познающего. В слове дано первородное творчество; слово связывает бессловесный, незримый мир, который роится в подсознательной глубине моего личного сознания, с бессловесным, бессмысленным миром, который роится вне моей личности. Слово создает новый, *третий мир* – мир звуковых символов, посредством которого освещаются тайны вне меня положенного мира, как и тайны мира, внутри меня заключенные; мир внешний проливается в мою душу; мир внутренний проливается из меня в зори, в шум деревьев; в слове, и только в слове, воссоздаю я для себя окружающее меня извне и изнутри, ибо я – слово, и только слово».

Обращаю особое внимание на выделенное мной высказывание: оно не менее чем на полвека опережает современную философскую концепцию «третьего мира», незаслуженно приписываемую Карлу Попперу (1902–1994), имеющую фактически то же самое содержание.



У русского символизма – в России он по традиции именовался *декадентством*, а его приверженцы – *декадентами* (от фр. *decadence* – упадок) – долгая и захватывающая история. К моменту появления Андрея Белого на литературном и философском небосклоне русский символизм уже вполне оформился во влиятельное, напористое, хотя и разномастное течение. К началу XX века всей культурной и читающей России были известны имена писателей и поэтов: Дмитрия Сергеевича Мережковского (1865–1941), его жены – Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945), Федора Сологуба (Федора Кузьмича Тетерникова) (1863–1927), составлявших группу так называемых «старших символистов», но уже заявили о себе и, по существу, примкнули к ним Валерий Брюсов (1873–1924) и Константин Бальмонт.

К 1898 году полностью выполнил свою просветительскую миссию и закрылся журнал «Северный вестник», благоволивший к мировому символизму в целом и русскому в частности. Зато продолжался расцвет другого и уже чисто символистского журнала – «Мир искусства» (1898–1904), объединявшего вокруг себя не только писателей и поэтов, но и талантливых художников: Александра Бенуа, Константина Сомова, Валентина Серова (который, кстати, относился к символизму негативно), Михаила Врубеля, Ивана Билибина, Николая Рериха, Бориса Кустодиева, Льва Бакста, Евгения Лансере, Мстислава Добужинского, Анну Осстроумову-Лебедеву, Зинаиду Серебрякову, Николая Сапунова, Сергея Судейкина, Георгия Нарбута, Александра Головина, Игоря Грабаря, Сергея Чехонина, Дмитрия Митрохина и других.

К поэтам-символистам принято причислять и Владимира Соловьева. Его стихотворное наследие во всех антологиях и хрестоматиях рассматривается в разделе «символисты», хотя сам философ относился к декадентам резко отрицательно и, к примеру, не оставил камня на камне от изданных Валерием Брюсовым сборников «Русские символисты». Тем не менее его поэзия поистине символична и пронизана столь же символистской методологией и гносеологией:

Милый друг, иль ты не видишь,  
 Что всё видимое нами —  
 Только отблеск, только тени  
 От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,  
Что житейский шум трескучий —  
Только отклик искаженный  
Торжествующих созвучий?  
<...>

При этом поэзию Соловьева, как уже отмечалось выше, отличает высокий космистский накал:

Милый друг, не верю я нисколько  
Ни словам твоим, ни чувствам, ни глазам,  
И себе не верю, верю только  
В высоте сияющим звездам.  
<...>

Соловьев и его адепты продолжили высокую миссию мировой поэзии и во многом приблизили решение грандиозной философской задачи – дать всестороннее обоснование *космической сущности любви*, предвосхитив одновременно и будущую био-ноосферную теорию. Человеку только кажется, что он является единственным носителем любовной потенции, подкрепленной всей гаммой эмоций. В действительности же сексуальная энергия (то, что древние именовали Эросом) имеет космическое происхождение. Говоря современным языком, она рассеяна в звездно-вакуумном и информационно-энергетическом пространстве, взаимодействуя в прямом смысле со всей Вселенной (Соловьев подчеркивал ее божественную ипостась). Конкретные индивиды – мужчины и женщины – лишь временно аккумулируют и ретранслируют то, что в природе существует извечно. Получая заряд космической по своей природе сексуальной энергии, они реализуют ее в акте любовного соития, дабы дать продолжение роду и удовлетворить свои потребности носителей любви.

«*Das Ewig-Weibliche*» (*Вечная женственность*) (образ, идущий от Гёте) – так Владимир Соловьев назвал стихотворение, написанное незадолго до смерти:

Знайτε же: Вечная Женственность ныне

В теле нетленном на землю идет.  
В свете немеркнущем новой богини  
Небо слилось с пучиною вод.

Всё, чем прекрасна Афродита мирская,  
Радость домов, и лесов, и морей, —  
Всё совместит красота неземная  
Чище, сильней, и живей, и полней.

Интуитивное созерцание поэта раскрывало перед читателями и многочисленными последователями в философии и поэзии величие *Женского Начала*: в Мироздании и человеческих сердцах – повсюду царствует Космическая Любовь. Она же – воплощение Истины, Добра и Красоты. Развивая мысль Достоевского «Красота спасет мир», Соловьев утверждал: «В конце Вечная красота будет плодотворна, и из нее выйдет спасение мира». В его поэзии существует целая система образов – *Дева Радужных Ворот*, *Подруга вечная*, *Лучезарная подруга* и другие, – ставших главными категориями русского символизма – в том числе и творчества Андрея Белого.

\* \* \*

Мировоззрение и творчество Андрея Белого формировались под воздействием соловьевских категорий и символов. Каждая женщина, встреченная им на жизненном пути, каждая возлюбленная – земная или «небесная» – была воплощением какой-либо из бесчисленных ипостасей Вечной Женственности. И первой из таких женщин стала Маргарита Кирилловна Морозова (1873–1958), жена промышленника и мецената Михаила Абрамовича Морозова (1870–1903). К началу XX века русские магнаты Морозовы представляли уже огромный клан. Они оставили о себе в Москве добрую память. До сих пор исправно функционируют построенный ими комплекс клиник на Большой Пироговской улице и знаменитая на всю страну детская Морозовская больница, Некрасовская библиотека и другие общественные объекты. Морозовы активно поддерживали русских художников, композиторов, писателей и поэтов – в особенности символистского направления.

Из разветвленного рода русских магнатов наибольшую известность

получил Савва Морозов, на чьи деньги (главным образом!) был основан и содержался на первых порах Московский художественный театр (МХТ). Но и Михаил – муж Маргариты – не отставал от двоюродного дяди. Достаточно сказать, что его избрали общественным казначеем Московской консерватории, и он вкладывал немалые деньги в ее развитие. На одном из симфонических концертов в Большом зале Консерватории Маргариту Кирилловну и увидел впервые Борис Бугаев. Одна из первых красавиц России, мгновенно ставшая его Музой, произвела неизгладимое впечатление на начинающего писателя. Конечно, он и до этого не был равнодушен к представительницам прекрасного пола, но тут его охватила буквально всепоглощающая мистериальная страсть. В Маргарите Кирилловне поэт увидел не предмет плотского вожделения, а высшее, неземное проявление Вечной Женственности.

Ночью он написал ей первое послание и утром отнес его на почту. Письмо это (как и десятки последующих) Маргарита Кирилловна, несмотря на все трагические перипетии своей судьбы, хранила до конца своих дней:

«Многоуважаемая Маргарита Кирилловна! – писал Борис Бугаев. – Человеку, уже давно заснувшему для жизни живой, извинительна некоторая доля смелости. Для кого мир становится иллюзией, тот имеет большие права. Кто в действительности открыл вторую действительность, тот вне условий. Если Вам непонятно мое письмо, смотрите на него так, как будто оно написано не Вам, но Вашей идее... Мы все переживаем зорю...<sup>[10]</sup> Закатную или рассветную. Разве Вы ничего не знаете о великой грусти на зоре? Озаренная грусть перевертывает все; она ставит людей как бы вне мира. Зоревая грусть, – только она вызвала это письмо... Близкое становится далеким, далекое – близким; не веря непонятному, получаешь отвращение к понятному. Погружаешься в сонную симфонию... Разве Вы ничего не знаете о великой грусти на зоре?.. Так тяжело оставаться без молитвы! Если Вы знаете, что такое молитва, Вы не осудите меня... Вы не осудите молитву! Мы устали от вечной зори. Мы проделали все, что следовало, но солнце не взошло, зоря не погасла. Мы повесили над прошлым безмирный цветок, обратили взор к далекому Бенаресу, ждали новых времен... Новые времена не приносили новостей. Новые времена затенились прошедшим... Солнце опять не взошло, но и зоря не погасла. И вот мы очутились одни, с зорей как и прежде... Выпили чашу до дна и на дне увидели собственное отражение, насмешливое... Ужаснулись до крайних пределов, возвратились, вернулись обратно... детьми... Но все изменилось... Я нашел живой символ, индивидуальное знамя, все то, чего

искал, но чему еще не настало время совершиться. Вы моя зоря будущего. В Вас грядущие события. Вы – философия новой эры. Для Вас я отрекся от любви – Вы – запечатленная! Знаете ли Вы это?.. Когда я подошел к бездне, дошел до конца, „явилося великое знамение на небе: Жена, облеченная в солнце; под ее ногами луна и на голове ее венец из двенадцати звезд“ (Иоанн). Тайна обнаружилась. Вы – запечатленная! Знаете ли Вы это? С тех пор мне все кажется, будто Вы мой товарищ... по тоске, будто я сорвал нетленную розу, раздвинул небо, затопил прошлое. Вы – запечатленная! Знаете ли Вы это? Я осмелился Вам написать только тогда, когда все жгучее и горькое стало ослепительно ясным. Если вы спросите про себя, люблю ли я Вас, – я отвечу: „безумно“. Но из боязни, что Вы превратно поймете мою любовь, – я объявляю, что совсем не люблю Вас. Вот безумие, прошедшее все ступени здравости, лепет младенца, умилившегося до Царствия Небесного. Не забудьте, что мои слова – только молитва, которую я твержу изо дня в день, – только коленопреклонение. Молитва и коленопреклонение! Каждый человек имеет несколько „raison d'etre“. Он – и сам по себе, и символ, и прообраз. Мне не надо Вас знать, как человека, потому что я Вас узнал, как символ, и провозгласил великим прообразом... Вы – идея будущей философии. Ваш рыцарь».

Вскоре она получила от Бориса Бугаева второе письмо. У него был эпиграф – первая строфа из вышеприведенного стихотворения Владимира Соловьева, посвященного Вечной Женственности. Вот отрывок из этого письма: «Если в Вас воплощение Души мира, Софии Премудрости Божией, если Вы символ Лучесветной Подруги, Подруги Светлых путей, если наконец Зоря светозарна, просветится и горизонт моих ожиданий. Моя сказка, мое счастье! И не мое только. Мое воплощенное откровение, благая весть моя, тайный мой стяг. Развернется стяг. Это будет в день Вознесения. Бросаю крик мой в созвездие. И не на Вас смотрю я, смотрю на Ту, которая больше Вас... Та близится, ибо время близко. „Я озарен“. Ваш рыцарь».

И в следующем письме можно было прочесть примерно то же самое: «Где-то „там“ Вас любят до безумия... Нет, не любят, а больше, гораздо больше. „Там“ вы являетесь глубоким, глубоким символом, чем-то вроде золотого, закатного облака. „Там“ Вы туманная Сказка, а не действительность».

Сказка! – под таким именем Маргарита Морозова и вошла в историю русской культуры начала XX века. Сказка – это одновременно и имя героини его очередного произведения, написанного ритмической прозой, «Симфония (2-я, драматическая)» (здесь, вопреки всем символистским канонам он почему-то писал ее имя-прозвание не с прописной, а со

строчной буквы). Судя по названию, была еще и «1-я симфония». Действительно, была – и называлась «Северная»! Издавались они, однако, в таком порядке: сначала 2-я, затем 1-я. Когда Маргарита познакомилась со «2-й симфонией» (а читала она все, что исходило от символистов), то сразу догадалась, кто скрывался под псевдонимом «Ваш рыцарь». Переписка продолжалась несколько лет. И ни разу Андрей Белый не раскрыл своего подлинного имени, даже когда им суждено было познакомиться лично. Случилось это уже после того, как Маргарита Морозова потеряла мужа, умершего от хронической болезни почек, и родив четвертого ребенка, стала в одночасье молодой вдовой, наследницей многомиллионного состояния (которое, впрочем, она тотчас же переписала на имя своих детей, юридически став их опекуной).

«2-я драматическая симфония» стала первой публикацией Бориса Бугаева, к тому же впервые подписанной псевдонимом – Андрей Белый. Поначалу он выбрал совсем другой – Борис Буревой. Но М. С. Соловьев дружески раскритиковал этот псевдоним, сказав, что «Буревой» бессознательно будет восприниматься всеми, как «Бори вой», и предложил свой вариант – Андрей Белый, что и было с благодарностью принято. Михаил Сергеевич (вместе с супругой он стал первым слушателем необычного произведения) настоял на немедленном его издании и оказал в этом деле, непросто для любого начинающего автора, всяческое содействие. «Симфонии» Белого (а всего их было четыре) вообще явились новым жанром в русской и мировой литературе. Создавались они по образцу музыкальных симфоний и состояли из нескольких частей, написанных в разном темпе и с разным настроением, выражавшими скрытую ритмику Вселенной, ощущаемую автором-провидцем. *Он мечтал писать так, чтобы читались слова, а слышалась музыка!* Сам же он ее слышал постоянно, а искусство именовал *золотым ковром Аполлона над музыкальной бездной...*

Неискушенному читателю «2-я драматическая симфония» (впрочем, как и все остальные) представлялась какой-то бессюжетной фантазмагорией (и именно поэтому многим они нравились!), где, наряду с заурядными или незаурядными персонажами, действуют мифологические фантомы, вроде кентавра, в котором Андрей Белый изобразил самого себя. Здесь же персонифицируются и оживляются природные феномены, наподобие Утренней и Вечерней зари (Белый пишет «зоря»), вступающей в общение с обычными действующими лицами и вызывающей в памяти образ ведийской богини Зари – Ушас, одновременно олицетворяющей и главный символ нового мировоззрения – Софию Премудрость. В полном

соответствии с принципами космистской философии персонифицируется также и образ Вечности, ведущей диалог то с одним, то с другим героем «симфонии». На глазах изумленного читателя Вечность вдруг превращалась в зловещий символистский образ «черной женщины», напоминающей Черного человека из предсмертной поэмы Сергея Есенина (на которого «симфония» Белого вполне могла оказать непосредственное влияние):

«Сама Вечность в образе черной гостьи разгуливала вдоль одиноких комнат, садилась на пустые кресла, поправляла портреты в чехлах, по-вечному, по-родственному.

<...>Вечность шептала своему баловнику: „Все возвращается... Все возвращается... Одно... одно... во всех измерениях.

Пойдешь на запад, а придешь на восток... Вся сущность в видимости. Действительность в снах“. <... >

Так шутила Вечность с баловником своим, обнимала черными очертаниями друга, клала ему на сердце свое бледное, безмирное лицо... <...>»

В итоге Вечность превращается в Бессмертную Возлюбленную Подругу Вечную из поэмы «Три свидания», под коей подразумевалась София Премудрость Божия (у Вл. Соловьева, кстати, тоже есть стихотворение «Око Вечности»). Такая поистине космическая метаморфоза позволяла Андрею Белому в образной форме выразить и квинтэссенцию собственного философского миропонимания, базирующегося на пифагорейско-ницшеанской идее «вечного возвращения»:

«<...> Ему было жутко и сладко, потому что он играл в жмурки с Возлюбленной.

Она шептала: „Все одно... Нет целого и частей... Нет родового и видового... Нет ни действительности, ни символа.

Общие судьбы мира может разыгрывать каждый... Может быть общий и частный Апокалипсис.

Может быть общий и частный Утешитель.

Жизнь состоит из прообразов... Один намекает на другой, но все они равны.

Когда не будет времен, будет то, что заменит времена.

Будет и то, что заменит пространства.

Это будут новые времена и новые пространства.

Все одно... И все возвращаются...“»

Во «2-й драматической симфонии» одним из персонажей является и сам Владимир Соловьев (к тому времени уже умерший), точнее, его

космизированный призрак, который, наподобие «Тени отца Гамлета», шествует по московским крышам Арбата, Пречистенки и Остоженки. В изображении Андрея Белого все это выглядит подлинной мистерией, в действительности же отображающей скрытые и непознанные «пружины» хаотического и безысходного окружающего нас обыденного мира:

«В тот час в аравийской пустыне усердно рычал лев; он был из колена Иудина.

Но и здесь, на Москве, на крышах орали коты.

Крыши подходили друг к другу: то были зеленые пустыни над спящим городом.

На крышах можно было заметить пророка.

Он совершал ночной обход над спящим городом, умиряя страхи, изгоняя ужасы.

Серые глаза метали искры из-под черных, точно углем обведенных, ресниц. Седящая борода развевалась по ветру.

Это был покойный Владимир Соловьев.

На нем была надета серая крылатка и большая, широкополая шляпа.

Иногда он вынимал из кармана крылатки рожок и трубил над спящим городом.

Многие слышали звук рога, но не знали, что это означало.

Храбро шагал Соловьев по крышам. Над ним высыпали бриллианты звезд.

Млечный путь казался ближе, чем следует. Мистик Сириус сгорал от любви.

Соловьев то взывал к спящей Москве зычным рогом, то выкрикивал свое стихотворение:

„Зло позабытое  
Тонет в крови!..  
Всходит омытое  
Солнце любви!..“

Хохотала красавица зорька, красная и безумная, прожигая яшмовую тучку...»

\* \* \*



Между тем учеба в университете шла своим чередом. Борис Бугаев ходил на лекции и семинары, писал рефераты и курсовые работы (тогда они назывались кандидатскими сочинениями), трудился в лаборатории, много времени уделяя практическим занятиям. Однако все это постепенно отодвигалось на задний план. Центр тяжести интересов неумолимо перемещался в сторону литературного творчества и увлечения новыми течениями в философии, теософии, эстетике, искусстве. Он постоянно что-то писал – стихи, прозу, теоретические и критические эссе, мистерии, письма. Помимо общения с университетскими светилами, расширялся круг его литературных и эстетических знакомств: Мережковский, Гиппиус, Брюсов, Бенуа, Дягилев, Бальмонт – все эти люди уже давно утвердили себя в литературе и искусстве.

Но было еще множество молодых друзей – исключительно талантливых и активных, чей путь только начинался. Особенно сблизился он с поэтом Львом Кобылинским (принявшим псевдоним Эллис) и музыкальным критиком и журналистом Эмилием Метнером (его брат – композитор Николай Метнер – также входил в число ближайших друзей Белого). Вступила в пору зрелости и взаимответственности и его давняя дружба с Сергеем Соловьевым. Всех их сближали приверженность к философии Ницше и Владимира Соловьева, увлечение новыми течениями в литературе и искусстве, поиски новых форм творческого самовыражения и теоретическое обоснование собственных озарений, сопряжение их с общемировыми и – шире вселенскими – процессами, во многом не познанными и неизвестно – познаваемыми ли вообще.

Занимались они и переводами. Особенно преуспел в этом Эллис, внебрачный сын Л. И. Поливанова – поклонник Шарля Бодлера, познакомивший читателей со многими ранее не переведенными на русский язык шедеврами французского поэта-символиста. Эллис, рассорившись с семьей, снимал номер в меблированных комнатах «Дон», которые одной стороной выходили на Смоленский бульвар, а другой – на арбатский дом, где жил Андрей Белый. Так что до холостяцкой обители нового друга было рукой подать. Комната Эллиса была круглосуточно открыта для всякого, богемная жизнь здесь была ключом. Масса разношерстной публики, малоизвестные люди (некоторые из них бесцеремонно устраивались ночевать прямо на полу), горячие дискуссии на всевозможные темы, дружеское (и не очень) обсуждение только что написанной здесь же на подоконнике или табурете заказанной статьи, которую поутру требовалось срочно нести в редакцию журнала – вот что представляла собой жизнь молодого Андрея Белого.<sup>[11]</sup>

Оставалось лишь придумать название талантливому и жаждущему признания сборищу. Подходящее название, на ура принятое всеми, придумал хозяин удивительного гостиничного номера – «*Аргонавты*», в память о древнем мифе, повествующем о путешествии на корабле «Арго» героев Эллады в мифическую страну Колхиду за золотым руном. Впоследствии Андрей Белый подробно расскажет о деятельности этого творческого объединения, душой, идейным вдохновителем и неформальным лидером очень скоро он сделался сам:

«„Аргонавтизм“ – не был ни идеологией, ни кодексом правил или уставом; он был только импульсом оттолкновения от старого быта, отплытием в море исканий, которых цель виделась в тумане будущего; потому-то не обращали внимания мы на догматические пережитки в каждом из нас, надеясь склероз догмата растопить огнем энтузиазма в поисках нового быта и новой идеологии <...> Кобылинский хвалил жизнь, построенную на параллелизме; Владимирова мечтал о новых формах искусства, о новом восстании народного мифа; он волил коммуны символистов; Малафеев же сфантазировал по-своему новую крестьянскую общину. <...>

Собственно, – никто не держался за кличку, и, вероятно, многие затруднились бы определить, в чем именно заключается пресловутый „аргонавтизм“; провозглашал обыкновенно Эллис, придя в восторг от того или этого: „он – аргонавт“. <... >

Представьте себе кучку полуистерзанных бытом юношей, процарапывающихся сквозь тяжелые арбатские камни и устраивающих „мировые культурные революции“ с надеждою перестроить в три года Москву; а за ней – всю вселенную; и вы увидите, что в составе кружка могли быть „одни чудаки“ или чудящие... <...>

И тем не менее „аргонавты“ оставили некоторый след в культуре художественной Москвы первого десятилетия начала века; они сливались с „символистами“, считали себя по существу „символистами“, писали в символических журналах (я, Эллис, Соловьев), но отличались, так сказать, „стилем“ своего выявления. В них не было ничего от литературы; и в них не было ничего от внешнего блеска; а между тем ряд интереснейших личностей, оригинальных не с виду, а по существу, прошел сквозь „аргонавтизм“.

В нашем кружке не было общего, отштампованного мировоззрения, не было догм: от сих пор до сих пор; соединялись в исканиях, а не в достижениях; и потому многие среди нас оказывались в кризисе своего вчерашнего дня; и в кризисе мировоззрения, казавшегося устаревшим; мы

приветствовали его в потугах на рождение новых мыслей и новых установок».

Сам Белый следующим образом описывает сакральную структуру символики золотого руна и отождествление его с солнцем: «Мое желание солнца все усиливается. Мне хочется ринуться сквозь черную пустоту, поплыть сквозь океан безвременья; но как мне осилить пустоту? <...> Стенька Разин все рисовал на стене тюрьмы лодочку, все смеялся над палачами, все говорил, что сядет в нее и уплывет. Я знаю, что это. Я поступлю приблизительно так же: построю себе солнечный корабль – Арго. Я – хочу стать аргонавтом. И не я. Многие хотят. Они не знают, а это – так.

Теперь в заливе ожидания стоит флотилия солнечных броненосцев. Аргонавты ринутся к солнцу. Нужны были всякие отчаяния, чтобы разбить их маленькие кумиры, но зато отчаяние обратило их к Солнцу. Они запросились к нему. Они измыслили невысказанное. Они подстергли златотканые солнечные лучи, протянувшиеся к ним сквозь миллионный хаос пустоты, – все призывы; они нарезали листы золотой ткани, употребив ее на обшивку своих крылатых желаний. Получились солнечные корабли, излучающие молниезарные струи. Флотилия таких кораблей стоит теперь в нашем тихом заливе, чтобы с первым попутным ветром устремиться сквозь ужас за золотым руном. Сами они заковали свои черные контуры в золотую кольчугу. Сияющие латники ходят теперь среди людей, возбуждая то насмешки, то страх, то благоговение. Это рыцари ордена Золотого Руна. Их щит – солнце. Их ослепительное забрало спущено. Когда они его поднимают, „видящим“ улыбается нежное, грустное лицо, исполненное отваги; невидящие пугают[ся] круглого черного пятна, которое, как дыра, зияет на них вместо лица.

Это все аргонавты. Они полетят к солнцу. Но вот они взошли на свои корабли. Солнечный порыв зажег озеро. Распластанные золотые языки лижут торчащие из воды камни. На носу Арго стоит сияющий латник и трубит отъезд в рог возврата.

Чей-то корабль ринулся. Распластанные крылья корабля очертили сияющий зигзаг и ушли ввысь от любопытных взоров. Вот еще. И еще. И все улетели. Точно молнии разрезали воздух. Теперь слышится из пространств глухой гром. Кто-то палит в уцелевших аргонавтов из пушек. Путь их далек... Помолимся за них: ведь и мы собираемся вслед за ними.

Будем же собирать солнечность, чтобы построить свои корабли! Эмилий Карлович, распластанные золотые языки лижут торчащие из воды камни; солнечные струи пробивают стекла наших жилищ; вот они ударились о потолок и стены... Вот все засияло кругом...

Собирайте, собирайте это сияние! Черпайте ведрами эту льющуюся светозарность! Каждая капля ее способна родить море света. Аргонавты да помолятся за нас!»

Мифологические образы корабля «Арго» и золотого руна – заветной цели эллинских аргонатов – вскоре станут символами и первого поэтического сборника Андрея Белого – «Золото в лазури», до краев насыщенного космистской символикой: «золото» = «солнце», «лазурь» = «небо» (под последним древние и средневековые философы подразумевали бесконечный Космос, а свои космологические трактаты именовали просто – «О небе»).<sup>[12]</sup> «Аргонавты», которые, по свидетельству Нины Петровской, тянулись к Белому, как подсолнечники к солнцу, безоговорочно признавали лидерство своего идейного вдохновителя, считая его писательский и поэтический талант недостижимым для прочих представителей литературного цеха. Эллис писал: «Во всей современной Европе, быть может, есть только два имени, стигматически (здесь – „в виде клейма“. – В. Д.) запечатлевшие наше „я“, наше разорванное, наше безумное от лучей никогда еще не светившей зари „я“, только два имени, ставшие живыми лозунгами, знаменами из крови и плоти того центрального устремления лучших душ современного человечества, заветной целью которого является жажда окончательного выздоровления, призыв к великому чуду преобразования всего „внутреннего человека“, к новым путям и новым далям созерцания через переоценку всех ценностей, к иным формам бытия через переоценку самого созерцания, говоря одним словом, к зарождению и развитию нового существа или новой духовной породы существа, новой грядущей расы. Два эти имени: Ницше в Западной Европе и А. Белый у нас, в России».

Члены кружка «аргонатов» ухитрились мифологизировать вокруг себя всё и вся. Любили поозорничать: воображая себя кентаврами, единорогами, фавнами, устраивали игрища и действия прямо на московских просторах (вроде «галоп кентавров» на Девичьем поле), мистифицировали знакомых и незнакомых людей, в общем, дурачились настолько, насколько позволяли их молодость и фантазия. Дошло до того, что собственные фантазии стали им представляться реальностью. «Почти у всех членов нашего кружка с аргонатическим налетом, – отмечал Белый, – были ужасы – сначала мистические, потом психические и, наконец, реальные». Впоследствии он вспоминал в стихах:

Бывало: за Девичьем полем  
Проходит клиник белый рой;

Мы тайну сладостную волим,  
Вздыхаем радостной игрой:  
В волнах лучистого эфира  
Читаем летописи мира.  
Из перегаров красных трав  
В золотокарей пыли летней,  
Порывом пыли плащ взорвав,  
Шуршат мистические сплетни.

\* \* \*

Все это будет позже. Пока же начинающий писатель завоевывал известность и место под солнцем, знакомясь и общаясь с именитыми литераторами Серебряного века. Этому всячески способствовали М. С. и О. М. Соловьевы: в их квартире и происходили судьбоносные встречи с москвичом Брюсовым, петербуржцами Мережковским, приехавшим в Москву, чтобы прочесть реферат в Московском психологическом обществе и его женой Гиппиус.

Впрочем, Брюсова Андрей Белый знал давным-давно. Они оба учились в Поливановской гимназии – когда Боря Бугаев поступил в первый класс, будущий претендент на роль вождя русских символистов учился уже в седьмом. (Вообще же Брюсов был старше Белого почти на тринадцать лет.) На первоклашку будущее светило символистской поэзии подчеркнуто не обращал никакого внимания. Такое высокомерие (или его элементы), по правде говоря, сохранялось на протяжении их последующего долгого знакомства. Настоящая дружба так никогда и не сложилась. Постоянные колебания – то взлеты, то падение, то сближение, то охлаждение чуть ли не до точки полного замерзания. Однажды дело дошло даже до вызова на дуэль. По счастью, она не состоялась. Во 2-м томе опубликованных мемуаров Белый подробно опишет начало их сближения:

«Пятого декабря 901 года я встретился с Брюсовым. У меня сидел Петровский, когда я получил листок от О. М. Соловьевой: „У нас – В. Я. Брюсов: ждем вас“; позвонился, входим; и – вижу, за чайным столом – крепкий, скуластый и густобородый брюнет с большим лбом; не то – вид печенег, не то вид татарина, только клокастого (клок стоит рогом): как вылеплен, – черными, белыми пятнами; он поглядел исподлобья на нас с напряженным насупом; и что-то такое высчитывал. Встал, изогнулся и,

быстро подняв свою руку, сперва к груди отдернул ее, потом бросил мне движеньем, рисуящим, как карандаш на бумаге, какую-то египетскую арабеску в воздухе; без тряса пожал мою руку, глядя себе в ноги; и так же быстро отдернул к груди; сел и – в скатерть потупившись, ухо вострил, точно перед конторкой, готовясь с карандашом что-то высчитать, точно в эту квартиру пришел он на сделку, но чуть боясь, что хозяева, я и Петровский его объегорим. Этот оттенок мнительности, недоверия к людям, с которыми впервые вступал он в общение, был так ему свойственен в те годы: он был ведь всеми травим...»

В свою очередь В. Я. Брюсов в дневнике записал такое впечатление о новом символисте-попутчике: «Был у меня Бугаев, читал свои стихи, говорил о химии. Это едва ли не интереснейший человек в России. Зрелость и дряхлость ума при странной молодости». Андрей Белый в долгу не оставался. Несмотря на иной подход к символизму, а также психологическую несовместимость темпераментов и характеров, он и в теоретических своих работах старался дать объективную оценку старшему коллеге по «литературному цеху». Как поэта и писателя Белый долгое время ставил старшего коллегу выше себя самого и других символистов. Он никогда не отрекался от собственных слов, возносящих Брюсова на вершину русского Парнаса: «Валерий Брюсов – первый из современных русских поэтов. Его имя можно поставить наряду только с Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, Фетом, Некрасовым и Баратынским. Он дал нам образцы вечной поэзии. Он научил нас по-новому ощущать стих. Но и в этом новом для нас восприятии стиха ярким блеском озарилась приемы Пушкина, Тютчева и Баратынского. То новое, к чему приобщил нас Брюсов, попало в русло развития поэзии отечественной. На последних гранях дерзновения на Брюсове заблестал венец священной преемственности. От повседневного ушел он в туман исканий. Но только там, за туманом неясного заходящее солнце пушкинской цельности озолотило упругий стих его. Он – поэт, рукоположенный лучшим прошлым. Только такие поэты имеют в поэзии законодательное право: порывая со старым, они по-новому восстанавливают лучшие традиции прошлого. Только такие поэты спасают прошлое от обветшания: бичуя недостатки прошлого, они заставляют достоинства его говорить за себя».

Положа руку на сердце, приходится однако признать, что спустя более чем сто лет вышеприведенная оценка выглядит явно завышенной. С сегодняшней точки зрения: если выстроить русских поэтов-символистов в одну шеренгу, Валерий Яковлевич ни при каких условиях не окажется правофланговым. Брюсов действительно обладал обширнейшими

познаниями в науке, литературе, эзотерике, отличался феноменальной памятью, прекрасными организаторскими способностями, поразительной усидчивостью и работоспособностью. Но во многих его стихах, прозаических и критических произведениях подчас не хватало того, что принято называть «божьей искрой». Это нисколько не мешало ему иметь множество искренних почитателей и толпы восторженных поклонниц. К женскому же полу он и сам был мало сказать не равнодушен (как, впрочем, и большинство других символистов). К Андрею Белому, однако, последнее пока не относилось. Некоторое время он продолжал хранить рыцарскую верность одной-единственной даме сердца – Маргарите Морозовой. После смерти мужа в 1904 году тайная Муза писателя более чем на год уехала с детьми в Швейцарию, а когда вернулась домой, в России вовсю полыхала первая революция...

\* \* \*

В гостеприимной семье М. С. и О. М. Соловьевых Андрей Белый впервые встретился с самыми знаменитыми на тот момент символистами – супругами Дмитрием Сергеевичем Мережковским и Зинаидой Николаевной Гиппиус. Знакомство состоялось 6 декабря 1901 года. Впечатление от первой встречи сохранилось на всю жизнь. В первую очередь, конечно, притягивала внимание Зинаида Гиппиус:

«<... > Тут зажмурил глаза; из качалки – сверкало; З. Гиппиус точно оса в человеческий рост, коль не остов „пленительницы“ (перо – Обри Бердслея); ком вспученных красных волос (коль распустит – до пят) укрывал очень маленькое и кривое какое-то личико; пудра и блеск от лорнетки, в которую вставился зеленоватый глаз; перебирала граненые бусы, уставясь в меня, пята пламень губы, осыпаясь пудрою; с лобика, точно сияющий глаз, свисал камень: на черной подвеске; с безгрудой груди тархтел черный крест; и ударила блестками пряжка с ботиночки; нога на ногу; шлейф белого платья в обтяжку закинула; прелесть ее костяного, безбокого остова напоминала причастницу, ловко пленяющую сатану.

<...> [Мережковский] тут же сидел: в карих штаниках, в синеньком галстучке, с худеньким личиком, карей бородкой, с пробором зализанным на голове, с очень слабеньким лобиком вырезался человек из серого кресла под ламповым, золотоватым лучом, прорезавшим кресло; меня поразил двумя темными волосами (так!) почти до скул зарастающих щек; синодальный чиновник от миру неведомой церкви, на что-то обиженный;

точно попал не туда, куда шел; и теперь вздувал вес себе; помесь дьячка с бюрократом... <...>»

Более обобщенную характеристику звездной супружеской пары дает свояченица Брюсова Бронислава Погорелова: «Странное впечатление производила эта пара: внешне они поразительно не подходили друг к другу. Он – маленького роста, с узкой впалой грудью, в допотопном сюртуке. Черные, глубоко посаженные глаза горели тревожным огнем библейского пророка. Это сходство подчеркивалось полуседой, вольно растущей бородой и тем легким взвизгиваньем, с которым переливались слова, когда Д[митрий] С[ергеевич] раздражался. Держался он с неоспоримым чувством превосходства и сыпал цитатами то из Библии, то из языческих философов.

А рядом с ним – Зинаида Николаевна Гиппиус. Соблазнительная, нарядная, особенная. Она казалась высокой изза чрезмерной худобы. Но загадочно-красивое лицо не носило никаких следов болезни. Пышные темно-золотистые волосы спускались на нежно-белый лоб и оттеняли глубину удлинённых глаз, в которых светился внимательный ум. Умело-яркий грим. Головокружительный аромат сильных, очень приятных духов. При всей целомудренности фигуры, напоминавшей скорее юношу, переодетого дамой, лицо З. Н. дышало каким-то грешным всепониманием. Держалась она как признанная красавица... <...>»

Мало кто награждал Зинаиду Гиппиус – при всем ее несомненном авторитете – благозвучными прозвищами или эпитетами. Проницательная Ольга Михайловна Соловьева, восхищавшаяся ее стихами, после личного знакомства с поэтессой высказалась весьма лаконично: «Змея!» Сергей Соловьев, возненавидевший мистическую чету, перещеголял мать и одним махом развеял ореол сакральности в едкой и злой эпиграмме: *«Святая дева с ликом бляди / Бела, как сказочный Пегас, / К церковной шествует ограде / И в новый храм приводит нас. // Хитра, как грек, и зла, как турка, / Ведет нас к Вечному Отцу, / И градом сыплет штукатурка / По Зинаидину лицу. // В архиерейской ставши митре / И пономарском стихаре, / Законный муж ее Димитрий / Приносит жертву в алтаре...»* Словом, непростые и далеко не безоблачные отношения складывались с самого начала в символистской среде... Большинство называло ее совсем уж зловещим именем – «Сатанесса». Тем не менее ее поэтический талант ценили почти все за малым исключением; восторг почитателей иногда переходил всякие границы – вроде высказывания: «Пушкин – нуль по сравнению с Гиппиус». Дмитрий Сергеевич к тому времени также уже был прославленным и общепризнанным автором двух частей трилогии «Христос и Антихрист» – «Смерть богов. (Юлиан Отступник)» и «Воскресшие боги. (Леонардо да



Винчи)». Журнал «Мир искусства» к тому времени завершил публикацию его фундаментального исследования «Л. Толстой и Достоевский». Стихи Мережковского были намного слабее его прозы, философских и богоискательских эссе: лиризмом, экспрессивностью, религиозным экстазом и другими параметрами они явно уступали сакральной таинственности и обволакивающей «вечноженственности» поэзии его супруги. После отъезда блистательной супружеской пары из Москвы Борис Бугаев вступил с ними в переписку. Одно письмо за подписью «Студент-естественник» он даже рискнул опубликовать в январском номере журнала «Новый путь».

\* \* \*

Общение Андрея Белого с представителями культурной элиты и друзьями-«аргонавтами», заряженными пассионарной энергией, повлекло за собой и небывалый подъем собственных творческих сил. В апреле 1902 года в издательстве «Скорпион» вышла в свет «2-я драматическая симфония», моментально ставшая российским бестселлером. Одновременно молодой автор трудился над следующими двумя (3-й и 4-й) «симфониями» и подготавливал к печати 1-ю, написанную раньше остальных. Учебные занятия явно отвлекали его от теперь уже ставшей главной линии жизни. Белый все реже и реже посещал университет – за исключением разве что химической лаборатории и некоторых семинаров, интересных ему своей тематикой. Зато его всегда можно было встретить на симфонических концертах в консерватории или заседаниях студенческого филологического общества, где он выступил с докладом «О формах искусства».

Лето он провел в имении Серебряный Колодезь, расположенном в Тульской губернии, незадолго перед тем купленном отцом для семейного отдыха. Здесь Белый непрерывно и помногу писал – стихи и прозу, читал в подлиннике Канта и впервые познакомился с философским шедевром Ницше «Так говорил Заратустра», ставшим отныне его настольной книгой. Даже спустя тридцать лет, когда его просили назвать трех любимых авторов, Белый неизменно отвечал: Евангелие, Гоголь, Ницше («Заратустра»).

По возвращении в Москву жизнь молодого декадента вновь завертелась в бешеном ритме. В середине ноября он лично познакомился с С. П. Дягилевым и А. Н. Бенуа, а уже в декабрьском номере издаваемого

ими журнала «Мир искусства» были опубликованы две статьи Белого «Певица» и «Формы искусства» (последняя написана на основе доклада, сделанного в студенческом обществе). Его продолжали волновать принципиальные теоретические вопросы, и спустя полгода в «Хронике журнала „Мир искусства“» появляется написанный Андреем Белым страстный манифест под названием – «Несколько слов декадента, обращенных к либералам и консерваторам». Здесь Белый выступает от имени всей творческой молодежи, катастрофически теряющей понимание у старшего поколения (к началу XX века классическое противоречие между «отцами и детьми» обострилось в России до предела). Аргументы молодого символиста подчас представляются парадоксальными (но как тут не вспомнить хрестоматийный пушкинский афоризм: «Гений – парадоксов друг»):

«Нас укоряют в беспринципности. Но это – иллюзия. Видимая беспринципность несравненно благодетельнее ограниченного принципа. Ограниченный принцип ведет к активному противодействию тем положительным началам, которые не включены в этот принцип в силу его ограниченности. А таких начал может быть несравненно больше, нежели включено их в известный принцип. Видимая беспринципность – меньшее зло сравнительно с принципиальной ограниченностью. Часто – это ночь на исходе... <...>»

Он пояснял: каждое поколение нервнее, тоньше, нежнее; с каждым поколением нужно обращаться все бережней и бережней. Часто более утонченные запросы молодежи отвергаются или над ними грубо смеются. Тогда нормальный рост прерывается и утонченность переходит в извращенность. «Волей-неволей мы загнаны в ледники, – констатирует Белый, – смешон нам страх к ледникам». И продолжает:

«Да, мы суровы к прошлому. Мы – мост, по которому пройдут наши более счастливые дети. <... > Наши дети пройдут по нашим телам. Они вскарабкаются на еще большие кручи. Они прислушаются – уловят первое предрассветное веяние, чтобы с чистым сердцем возвестить солнцу. Быть может, из нас тоже будут такие, которым дано это счастье.

В этом бескорыстном назначении наша гордость, наше бесстрашие, наша сила, наше презрение, наш вызов смерти. <... > Было бы смешно полагать, что нас много, что именно из нас и состоит молодежь. Мы – „декаденты“ – имеем претензию полагать, что мы – зерно современной молодежи, мы – преторианцы, идущие во главе ее войска».

Журнал «Мир искусства» издавался в Петербурге. Его символистским собратом в Москве стал журнал «Весы», зародившийся в русле

книгоиздательства «Скорпион». Основателем того и другого был Сергей Александрович Поляков (1874–1942) – крупный текстильный фабрикант, меценат, покровитель московских символистов, знаток искусства и переводчик входившего в то время в моду писателя-декадента Кнута Гамсуна (Поляков в совершенстве владел норвежским языком). С виду скромный, застенчивый и малоразговорчивый Поляков не жалел денег на дорогостоящие издания и гонорары для отечески опекаемых им писателей, поэтов и художников-оформителей, целиком доверяясь Брюсову как главному идеологу всего направления и прекрасному организатору редакционно-издательской деятельности.<sup>[13]</sup> Редакция «Скорпиона», разместившаяся в построенной в модернистском стиле гостинице «Метрополь», быстро превратилась в штаб-квартиру московского символизма. Другим центром притяжения, естественно, стала редакция «Весов». Среди многочисленных авторов, кормящихся от щедрот русского мецената Полякова, помимо общепризнанного мэтра Брюсова особенно выделялись два поэта, впоследствии ставшие классиками Серебряного века – Константин Бальмонт и Вячеслав Иванов (1866–1949).

Когда в «Весках» или «Скорпионе» появлялся Бальмонт, все становилось с ног на голову. Поляков – знаток не только символистской литературы, но и изысканных вин – любил устраивать своим друзьям-поэтам роскошные застолья, душой коих неизменно был Бальмонт. Вернее так: по свидетельству современников, в трезвом состоянии Бальмонт отличался замкнутостью и горделивой нелюдимостью, молчал и капризно показывал, что никого не слушает. Вино же совершенно перерождало его: он сразу становился общительным и разговорчивым, принимался очень навязчиво ухаживать за дамами, так и сыпал стихотворными экспромтами. Начиная вдруг рассказывать невероятно смелые истории, где правда сливалась с безудержной фантазией в стиле своего любимого поэта Эдгара По, которого Бальмонт почти полностью перевел на русский язык. Среднего роста, рыжеватый блондин с бородкой, он о себе говорил в третьем лице – «поэт» – и вдобавок ко всему отличался удивительным косноязычием: когда читал свои стихи, то слова звучали как-то не по-русски. Происходило это не только от презрительной небрежности в произношении, но также и от какого-то прирожденного дефекта: некоторых согласных он не произносил. Или, наоборот, говорил скороговоркой одни согласные: к примеру, знакомясь впервые с кем-то, свою фамилию произносил «Блмнт», вместо «не знаю» мог сказать «нзн», вместо «все неверно» – «вс нврн» и т. д. и т. п. Зато у женщин и барышень пользовался феноменальным успехом, появилась даже особая категория поклонниц,

прозванных «бальмонтистками» – своей активностью, напористостью и шумливостью они превосходили почитателей других поэтов – всех вместе взятых.

Иным был Вячеслав Иванов, повсюду появлявшийся со своей импозантной женой – поэтессой Лидией Дмитриевной Зиновьевой-Аннибал (1866–1907), дальней родственницей Пушкина по материнской линии. Современникам Вячеслав Иванов запомнился пухлым блондином с брюшком, небольшого роста, с красным лоснящимся лицом, с пушистыми волосами, небольшой бородкой. За стеклами пенсне недоверчивые маленькие глаза, и от их взгляда присутствующим становилось неуютно. Как только он заговаривал, сразу же бросались в глаза многосложность и изысканность, в которую он облакал самые обыденные мысли. Манера держаться представлялась какой-то двойственной: он одновременно давал понять, что знает себе цену, и вместе с тем проявлял какую-то нерусскую утонченность в обращении. Поляков явно благоволил этой чете и никогда не отказывал в щедрых денежных авансах «певцу вакхических радостей» и его супруге.

В феврале 1903 года, точно порыв свежего ветра, в среду московских символистов ворвался молодой поэт и художник Максимилиан Волошин (1877–1932) – поклонник Ницше и Владимира Соловьева. Как же ему было не сойтись с Андреем Белым! В Россию Волошин прибыл из Парижа, где постигал таинства живописи и приобщался к европейской модернистской культуре. Исключенный за три года до того с юридического факультета Московского университета со свидетельством о неблагонадежности, он с тех пор успел побывать в Австрии, Германии, Швейцарии, Италии, Франции, Испании, Греции, Средней Азии. На Монпарнасе моментально стал своим человеком. Завсегдатай кафе и художественных студий, в мгновение ока превратился в настоящего парижанина. (Кстати, в Париже на бульваре Эксельман установлен бюст русскому художнику и поэту Волошину.)

В Россию Волошин привез много стихов, которые сразу же понравились взыскательным друзьям-символистам. А с Бальмонтом он подружился еще за границей. Внешний вид Макса (так его величали все – от мала до велика) начисто опровергал ходячие представления о поэте-романтике: низкорослый коротконогий толстяк с львиной шевелюрой курчавых волос; чуть ли не босяцкое одеяние – какой-нибудь немислимый хитон и живописный жилет, бархатные шаровары, рубашка навыпуск, на голове цилиндр или широкополая шляпа. При всем при том добрейшее существо, не переносившее никаких склок и писательских распри, вечно

кого-то миривший или уговаривавший не горячиться, хотя сам мог вспылить и довести дело до дуэли. Лучшее подтверждение тому знаменитая дуэль с Николаем Гумилёвым из-за Черубины де Габриак (Елизаветы Дмитриевой), произошедшая через шесть лет.

Все знали: Волошин вместе с матерью затеял строительство дома в Крыму и хочет сделать его пристанищем для русских поэтов. Так оно и случилось. Андрея же Белого с Максом жизнь прочно связала до самой смерти. Белому довелось и пожить в Доме поэта, и солнечный удар, в конечном счете ставший причиной его смерти, он получил в Коктебеле. Сам же Белый впоследствии вспоминал: «В те же дни, т. е. весной 1903 года, я встретился с Максимилианом Волошиным; Брюсов писал о нем несколько ранее: „Юноша из Крыма... Жил в Париже, в Латинском квартале... Интересно... рассказывает о Балеарах... Уезжает в Японию и Индию, чтобы освободиться от европеизма“ („Дневники“. Февраль 1903 года), и: „Макс не поехал в Японию, едет... в Париж. Он умен и талантлив“ („Дневники“. Осень 1903 года). Эти короткие записи Брюсова – характеристика М. А. Волошина тех отдаленных годов: умный, талантливый юноша, меж Балеарами и между Индией ищет свободы: от европеизма, и пишет зигзаги вокруг той же оси – Парижа, насквозь „пропариженный“ до... цилиндра, но... демократического: от квартала Латинского; демократическим этим цилиндром Париж переполнен; Иванов, по виду тогда мужичок, появлялся с цилиндром в руке, как Волошин. Москва улыбалась цилиндру. <... >

М. А. Волошин в те годы: весь – лоск, закругленность парламентских форм, радикал, убежденнейший республиканец и сосланный в годы студенчества... <... > Всей статью своих появлений в Москве заявлял, что он – мост между демократической Францией, новым течением в искусстве, богемой квартала Латинского и – нашей левой общественностью. <...> Везде выступая, он точно учил всем утонченным стилем своей полемики, полный готовности – выслушать, впитать, вобрать, без полемики переварить; и потом уже дать резолюцию, преподнести ее, точно на блюде, как повар, с приправой цитат – анархических и декадентских. <... > Максимилиан Волошин умно разговаривал, умно выслушивал, жаля глазами сверлящими, серыми, из-под пенсне, бородой кучерской передергивая и рукою, прижатой к груди и взвешенной в воздухе, точно уцепившая в воздухе ему нужную мелочь; и выступив, с тактом вставлял свое мнение. Он всюду был вхож...»

В свою очередь Макс Волошин, испытывая искреннюю симпатию к Белому, как истинный художник также составил почти что живописный его

портрет: «В Андрее Белом есть (некоторая. – В. Д.) звериность, только подернутая тусклым блеском безумия. Глаза его, <...> точно обведенные углем, неестественно и безумно сдвинуты к переносице. Нижние веки прищурены, а верхние широко открыты. На узком и высоком лбу тремя клоками дыбом стоят длинные волосы... <...>»

\* \* \*

В целом же 1903 год оказался одним из самых трагичных в жизни Андрея Белого: в первую его половину ему пришлось пережить сразу три потери: сначала умерли Михаил Сергеевич и Ольга Михайловна Соловьевы, затем, спустя четыре месяца – отец. 16 января скорострительно скончался Михаил Сергеевич. В тот же день в состоянии глубокого аффекта, будучи не в силах пережить утрату супруга, застрелилась из револьвера Ольга Михайловна. Потрясенный Борис посвятил памяти старших друзей, коим был стольким обязан, проникновенное стихотворение, выдержанное в символистском духе:

Могилу их украсили венками.  
Вокруг без шапок мы в тоске стояли.  
Восторг снегов, крутящийся над нами,  
В седую Вечность вихри прогоняли.  
<... >

Внезапно осиротевшему другу Сергею Соловьеву, жившему временно у родственников, о смерти родителей пришлось сообщать Борису, не ведавшему, что через четыре с половиной месяца ему придется испытать то же самое...

Белый давно задумал устроить у себя в квартире нечто вроде литературного салона. Пробный шар был запущен в конце апреля. На литературную вечеринку, совмещенную с легким ужином и чаепитием, из поэтов пришли Брюсов, Бальмонт, Балтрушайтис, Эллис, из издателей – Поляков и Соколов, остальные – просто друзья. Больше всего Борис боялся, что консервативно настроенный отец, не приемлющий устоев символизма, затеет нервную и ненужную дискуссию, уведя разговор в бесплодное русло. По счастью, этого не произошло: Николай Васильевич держал себя с достоинством и более запомнился гостям как веселый и

радушный хозяин. Мать вела себя точно великосветская львица, чай из самовара разливала так, будто совершала тайный мистический ритуал. Только Эллис ухитрился омрачить творческую и благожелательную атмосферу: он начисто разругался с раззадорившим его Брюсовым.

Между тем приблизилось серьезное испытание – выпускные экзамены в университете. Нужно было осилить с десятков 500-страничных томов по проблемам, весьма далеким от поэзии, эстетики и философии. Кроме того, освоение курсов ботаники, зоологии, анатомии и физиологии и прочего требовало регулярного посещения практических занятий. Как вспоминал впоследствии Белый, одна мысль о строении черепа рыбы костистой бросала его в дрожь... И все же, благодаря уникальной памяти, он преодолел все казавшиеся неприступными препятствия. Проявив природный талант и смекалку, он за неделю осиливал неподъемные фолианты, на изучение которых иным потребовался бы год, а то и два:

«Я, к изумлению, курс анатомии все ж одолел, педантичнее следуя методу запоминанья, который придумал себе: перед каждым экзаменом засветло я раздевался, как на ночь; и мысленно гнал пред собою весь курс; и неслись, как на ленте, градации схем, ряби формул; то место в программе, где был лишь туман, я отмечал карандашиком; так часов пять-шесть гнался курс; недоимки слагались в списочки; в три часа ночи я вскакивал, чтоб прозубрить недоимки свои до десятого часа, когда уходил на экзамен; вздерг нервов, раскал добела ненормально расширенной памяти длился до мига ответа; ответив, впадал в абулию (безволие. – В. Д.): весь курс закрывался туманом.

„Я не терплю этого декадентишки“, – Сушкин шипел про меня: до экзамена; „тройка“, полученная у него, – мой триумф!»

28 мая 1903 года Борис Бугаев получил диплом 1-й степени об окончании естественного отделения физико-математического факультета МГУ, а в ночь с 28-го на 29-е у отца случился смертельный приступ. Матери дома не оказалось: она уехала в Серебряный Колодезь. Пришлось срочно вызывать назад телеграммой. Все организационные хлопоты легли на плечи Бориса – разумеется, при помощи многочисленных друзей и коллег отца по Московскому университету...

\* \* \*

После печальных событий Андрей Белый на целое лето уехал в Серебряный Колодезь. Здесь ему вольно дышалось и хорошо работалось.

Почти два месяца работал он над первым своим собственно поэтическим сборником: обрабатывал старые стихи, писал новые; постепенно сложилось и название – «Золото в лазури». В середине августа по предварительной договоренности отправил рукопись бандеролью Брюсову. Остальное время ушло на несколько принципиально важных статей (среди них «Символизм как миропонимание») и продолжение углубленного изучения в подлиннике трудов Канта. Суммарно и лапидарно описывал свое отшельническое житье-бытье так: «Стихи, статьи, Кант, переписка с друзьями; и – лето мелькнуло, как сон. <...> Основательно бороною оброс; дико выглядел; перегорел под солнцем, и решение ствердилось (так!) в душе: упорядочить рой разнородных стремлений в друзьях».

В Москву Белый вернулся только в середине сентября. Нужно было думать о хлебе насущном. Отец никаких капиталов не оставил (у матери же их отродясь не бывало), все накопления в свое время ушли на покупку и приведение в порядок тульского имения. Был еще неосвоенный участок под Адлером, бесплатно выделенный отцу как выдающемуся преподавателю императорского университета. Борис задумал продать землю, дабы хотя бы на первых порах иметь средства к собственному существованию и содержанию матери, оказавшейся на его иждивении. Что касается гонораров за опубликованные работы, то они были случайными и мизерными.

С продажей земли ничего не вышло, и Белый обратился к друзьям отца с просьбой помочь ему организовать в университете чтение лекций о новых литературных течениях. Однако репутация декадента действовала на классически ориентированную профессию и консервативную администрацию как красная тряпка на быка. Пришлось искать аудиторию на стороне. С тех пор чтение лекций стало одним из постоянных занятий молодого писателя и поэта, становившегося популярным не по дням, а по часам. После выхода в свет «Золота в лазури» и опубликования о его авторе нескольких скандальных рецензий народ повалил валом на выступления экстравагантного поэта. У него также появилась толпа восторженных поклонниц, конечно, не такая большая, как у Брюсова или Бальмонта, но все же...

Стихотворный сборник «Золото в лазури» сделал Белого одним из ведущих и наиболее ярких представителей русского символизма. Соратники улавливали в нетривиальных стихах молодого поэта гамму немислимых оттенков и вихрь небывалых чувств, не доступных простым смертным. Восторгу Эллиса, например, вообще не было предела. В рецензии на «Золото в лазури» он писал:



«<...> Существует еще специальная, особенно интимная связь между „Драматической симфонией“ и последним отделом „Золота в лазури“, озаглавленным „Багряница в терниях“. В них – сокровенное чаяние, самый дерзкий и самый безумный экстатический порыв, в них ясновидение сквозь многогранную призму символизма, в них первые движения самого глубокого разочарования, чувство конца и отчаяние несбывшихся ожиданий, в них самый горький и болезненный крик исступления, в них самый яркий образец новой формы прозы и лирики!..

„Багряница в терниях“, как лирика, еще интимнее, еще субъективнее и проникновеннее возвещает о том же, о чем и „Вторая симфония“, еще горячее и трепетнее стремится превратить созерцание в магический акт, поэзию – в заклинательную молитву, субъективное предчувствие – в пророчество, творчество – в служение... Не познание сущего, не радость постижения, а жажда совершенства, восторг священной любви и ужас обреченности вдохновили эту святую книгу».

В сборнике «Золото в лазури» символично всё – сама книга, каждый ее образ, каждое стихотворение, каждая строка и каждое слово в этом стихотворении. Главный символ – «золотое руно», путешествие за ним самого поэта и его друзей – молодых русских «аргонавтов» – трактовалось как «плаванье» за Великой Истиной, сокрытой в глубинах Мироздания. Его сущность зашифрована (закодирована) во множестве сакральных символов, и именно «золотое руно» является тем ключом, с помощью которого можно отпереть любые наглухо закрытые двери и проникнуть в самые сокровенные тайники. Понять же таинства мира и его законы через символы способны лишь те, кто постиг решающую роль последних в познании *неразрывного единства Макрокосма (Вселенной) и Микрокосма (Человека)*. Так рождались эстетическое космовидение и миропознание, осмысленные, как *преображение действительности через ее духовное освоение и иррационально-мистическое озарение*, позволяющие постичь мистериальный смысл многоуровневой реальности. На поэтическом языке все вышесказанное звучало предельно просто, хотя и истолковывалось вовсе не как иллюстрация плаванья героев эллинского мифа – аргонавтов, а как мысленно-символический полет Детей Солнца к своему космическому отцу Гелиосу и далее – в безбрежные просторы Вселенной:

Золотая, эфир просветится  
и в восторге сгорит.  
А над морем садится  
ускользающий солнечный щит.

И на море от солнца  
золотые дрожат языки.  
Всюду отблеск червонца  
среди всплесков тоски.

.....  
И блеском объятый,  
светило дневное,  
что факелом вновь зажжено,  
несясь,  
настигает наш Арго крылатый.

Опять настигает  
свое золотое  
руно...

О цветомузыке в поэзии Белого все тот же Эллис писал: «Цветами мы можем характеризовать самые сложные психологические состояния. Одно настроение можно представить лазурью с розово-золотыми оттенками, другое – цветом серым с лилово-зелеными отсветами, третье – черным цветом с желтыми и рыжими пятнами. Темно-лиловый цвет и черный отражают мир катастроф, душевных надломов, смертельных растлений, падений в бездну, самосжигание, сатанизм, сумасшествие, удушение Астартой. С помощью цветов, их соединений, их оттенков неизрекаемое и неизреченное становится показанным, запечатленным. Мы, символисты, умеем цветами сказать о Вечности, Безвременности, Закате Души, Зове Зари, Напоре Эпохи, Душевной Тени, Страхе Ночи, Мире Неуловимых Шепотов, Неслышных Поступей». В самом деле, кто из корифеев мировой поэзии писал когда-либо о «бирюзовой Вечности»?!<sup>[14]</sup> Да и кто вообще, кроме Белого, называл Вечность своей возлюбленной?! (Недаром молодая Марина Цветаева, встречавшаяся с молодым Андреем Белым в кружке «аргонавтов», за глаза называла его – «тот самый, который – Вечность».)

Другие, напротив, ставили в укор Белому именно увлечение «цветовыми эффектами» за счет сущностного смысла и органической целостности. В частности, прославленный в будущем философ Павел Флоренский (1882–1937), но пока что такой же молодой, как и автор «Золота в лазури» (вскоре у них завяжется содержательная переписка), отмечал в неопубликованной рецензии, что в стихах новоявленного поэта

чувствуются яркость отдельных образов, красочная сочность деталей, ослепительная фейерверочность, но нравственного центра люди не видят, не видят единства, потому что не становятся на точку зрения автора-творца. «Для них это разрозненные перепевы других поэтов, и они склонны отрицать Белого как личность, стоящую на определенной точке. <... > Необходимо найти центр перспективы, благодаря чему келейное и плоскостное станет передавать глубинное и бесконечное. Необходимо так стать, чтобы увидеть, что „образы“, конкретное у Белого прозрачно, что через него видно иное». Но Белый *видел* то, что другим было совершенно недоступно (даже проницательнейшему мыслителю и эстету Флоренскому). Он смело провозглашал: «Люди произошли из звуков и света!»

Вернувшись в середине сентября в Москву, Белый затеял у себя на квартире регулярные воскресные встречи. Начало, положенное весной, получило достойное продолжение. Потенциальных участников уговаривать не пришлось, труднее всего оказалось определиться с днем недели – почти все уже были «расписаны» и заняты: Бальмонтом, Брюсовым, издательствами «Гриф» и «Скорпион», другими символистами. На первом воскресном собрании Белый выступил с рефератом, подготовленным на основе собственной программной статьи «Символизм как миропонимание», написанной еще летом. Главная задача – установление философских корней современного символизма. Первым, кто, по Белому, пробудил европейскую мысль ото сна и позволил преодолеть наивные заблуждения как сенсуализма, так и рационализма, был Кант, ударивший в колокол *познавательного критицизма*. После чего Шопенгауэру и Ницше уже ничего не стоило решительно повернуть философию в сторону символизма. Символистское миропонимание и творчество – удел гениев, основная цель которых – познание Вечности путем преображения обновленной личности. Лучший пример для подражания – Лермонтов и Блок.

Что касается словосочетания «чтение реферата», то применительно к Белому такое понятие весьма условно. Он никогда не привязывался к подготовленному тексту, предпочитал экспромт и импровизацию, говорил свободно, вдохновенно. Во время выступления ходил по комнате, залу, сцене, даже бегал, подпрыгивая и пританцовывая. На эту манеру общения со слушателями обращали внимание многие мемуаристы. Федор Степун – сам опытный лектор и глубокий мыслитель – вспоминал: «Говорил он... изумительно. <... > Своей ширококрылою ассоциацией он в вихревом полете речи молниеносно связывал во все новые парадоксы, казалось бы,

никак не связуемые друг с другом мысли. Чем вдохновеннее он говорил, тем чаще логика его речи форсировалась фонетикой слов: ум превращался в заумь, философская терминология – в символическую сигнализацию. Минутами прямой смысл почти исчезал из его речи, но, несясь сквозь невнятицы, Белый ни на минуту не терял своего изумительного, словотворческого дара... <...>» Приведенное мнение удачно дополняют впечатления Н. И. ГагенТорн, пусть даже и относящиеся к более позднему времени, но ничего не меняющие в отношении поведения писателя на трибуне:

«<...> На кафедру вышел докладчик. И – все стерлось кругом. Как передать наружность Андрея Белого? Впечатление движения очень стройного тела в темной одежде. Движения говорят так же выразительно, как слова. Они полны ритма. Аудитория, позабыв себя, слушает ворожбу. Мир – огранен, как кристалл. Белый вертит его в руках, и кристалл переливается разноцветным пламенем. А вертящий – то покажется толстоносым, с раскосыми глазками, худощавым профессором, то вдруг – разрастутся глаза так, что ничего, кроме глаз, не останется. Все плавится в их синем свете. Руки, легкие, властные, жестом вздымают все кверху. Он почти танцует, передавая движение мыслей.

Постарайтесь увидеть, как видели мы. Из земли перед нами вдруг вырывался гейзер. Взметает горячим туманом и пеной. Следите, как высок будет взлет? Какой ветер в лицо... Брызги, то выше, то ниже... Запутается в них солнечный луч и станет радугой. Они то прозрачны, то белы от силы кипения. Может быть, гейзер разнесет все кругом? Что потом? – Неизвестно. Но радостно: блеск и сила вздымают. Веришь: сама уж лечу! Догоню сейчас, ухвачу сейчас гейзер. Знаю, знаю! В брызгах искрится то, что знала всегда, не умея сказать. Вот оно как! А мы и не ведали, что могут раскрыться смыслы и обещаются новые открывания: исконно знакомого где-то, когда-то, в глубинах неизвестного. Нельзя оторваться от гейзера... <...>»

На уникальность и неповторимость Белого-оратора обращали внимание и его «идейные противники», в частности поэт-имажинист Вадим Шершеневич (1893–1942): «Андрей Белый замечательно говорил. Его можно было слушать часами, даже не все понимая из того, что он говорит. Я не убежден, что он и сам все понимал из своих фраз. Он говорил или конечными выводами силлогизмов, или одними придаточными предложениями. Если он сказал сам про себя, кокетничая: „Пишу, как сапожник!“ – то он мог еще точнее сказать: „Говорю, как пифия“. Сверкали „вечностью“ голубые глаза такой бесконечной синевы, какой не бывает

даже у неба Гагр, а небо Абхазии синее любого синего цвета. Волосы со лба окончательно ползли на затылок. Белый мог говорить о чем угодно. И всегда вдохновенно. Он говорил разными шрифтами. В его тонировке масса почерков». (От себя добавлю: Шершеневичу и в голову не могло прийти, что А. Белый говорил не столько сам, сколько транслировал то, что ему «подсказывала» ноосфера. Сам Белый это знал, но не мог объяснить рационально.)

\* \* \*

Женщины всех возрастов (молодые – в особенности) непрерывно порхали вокруг декадентов, точно ночные бабочки вокруг зажженных светильников. К. В. Мочульский вспоминал: «Как из-под земли возникли рои модернистических девушек: тонкие, бледные, хрупкие, загадочные, томные, как героини Метерлинка, они переполняли залу Литературно-художественного кружка и символистические салоны». Вполне естественно, что многие из представительниц прекрасного пола отваживались на решительные шаги и по отношению к Андрею Белому, предпринимая отчаянные попытки к любой форме сближения. Однако к такого рода «активисткам» поэт применял безотказно срабатывающую тактику. С глазами ангельской чистоты он говорил каждой из назойливых поклонниц примерно одно и то же: «Почитайте, пожалуйста, пока что „Критику чистого разума“ Канта, а потом мы с Вами поговорим». Как правило, на следующее рандеву никто уже не приходил. В целом же, по свидетельству современников, Белому импонировало внимание порхавших вокруг него женщин и он не без удовольствия кружил им головы.

Абстрактное поклонение Прекрасной Даме также не могло продолжаться вечно. И хотя на смену одному Бессмертному Идеалу очень скоро придет другой, это не помешало Андрею Белому, так сказать, параллельно вести образ жизни, мало чем отличавшийся от жизни других русских поэтов. В. Ф. Ходасевич, хорошо знавший Белого на протяжении почти двух десятилетий, откровенничает на сей счет:

«Женщины волновали Андрея Белого гораздо сильнее, чем принято о нем думать. Однако в этой области с особенною наглядностью проявлялась и его двойственность. <...> Тактика у него всегда была одна и та же: он чаровал женщин своим обаянием, почти волшебным, являясь им в мистическом ореоле, заранее как бы исключаящую всякую мысль о каких-либо чувствительных домогательствах с его стороны. Затем он внезапно

давал волю этим домогательствам, и, если женщина, пораженная неожиданностью, а иногда и оскорбленная, не отвечала ему взаимностью, он приходил в бешенство. Обратное: всякий раз, как ему удавалось добиться желаемого результата, он чувствовал себя оскверненным и запятанным и тоже приходил в бешенство. Случалось и так, что в последнюю минуту перед „падением“ ему удавалось бежать, как прекрасному Иосифу, – но тут он негодовал уже вдвое: и за то, что его соблазнили, и за то, что все-таки недособлазнили».

Одной из первых «земных» (в отличие от «небесных») любовий студента и поэта Бориса Бугаева стала писательница Нина Петровская (1884–1928) – одна из знаковых и трагических фигур Серебряного века. Ее муж Сергей Соколов, публиковавший стихи под псевдонимом Кречетов, был более известен как владелец издательства «Гриф», а в дальнейшем – редактор журнала «Перевал». С самого начала примкнул он к «аргонавтам», на заседания (если только дружеские вечеринки можно назвать заседаниями), как правило, являлся в сопровождении жены – эффектной красавицы декадентского типа, отличавшейся независимыми взглядами и подчеркнуто свободным поведением. Поскольку Соколов-Кречетов был отпетым сердцеедом, Нине просто ничего не оставалось, как заигрывать с общими друзьями прямо на глазах у супруга. Впрочем, в это время у нее за плечами уже был непродолжительный, но бурный и «роковой» роман с Константином Бальмонтом.

Общение на литературном поприще естественным образом и достаточно быстро переросло в интимные отношения. Поначалу Борис пытался направить нарождающееся чувство по уже проторенному руслу мистериальной любви, которую описал в романтической балладе «Преданье», посвященной мужу Нины Петровской С. А. Соколову: здесь он изобразил самого себя в лице «пророка», а свою «бессмертную возлюбленную» – в лице пророчицы «сивиллы (сибиллы)»:

Он был пророк.  
Она – сибилла в храме.  
Любовь их, как цветок,  
горела розами в закатном фимиаме.

Под дугами его бровей  
сияли взгляды  
пламенносвятые.  
Струились завитки кудрей —

вина каскады пеннозолотые...

Он ей сказал: «Любовью смерть  
и смертью страсти победивший,  
я уплыву, и вновь на твердь  
сойду, как бог, свой лик явивший»...

И била времени волна.  
Прошли года. Под сенью храма  
она состарилась одна  
в столбах лазурных фимиама...

И было небо вновь пьяно  
улыбкой брачною закатов.  
И рдело золотом оно  
и темным пурпуром гранатов...

Однако любвеобильную Нину подобный абстрактный вариант взаимоотношений мало устраивал. Вскоре ей удалось вызвать у поэта ответные и вполне земные чувства. Страстный роман продолжался недолго – менее полугода. О его накале свидетельствуют немногие из сохранившихся писем самого Белого (местоимения возлюбленной, как это было принято у всех символистов, пишется здесь с прописной буквы): «Милая, дорогая Ниночка! <...> Поручаю духам ветра осыпать Тебя моими поцелуями. Милая, милая – все это несущественно. Люблю, молюсь, радуюсь за Тебя. Целую Твой образочек. О, какая радость мне увидеть Тебя, милая, милая. Заглянуть в Твои глаза, и без слов улыбаться, улыбаться... Милая. Христос с Тобой – Он с Тобой, и я спокоен».

Письма Белого к Петровской интересны не только отблесками мимолетной любви. В одном из них молодой писатель подробно излагает свое философское кредо и высказывает вполне положительное отношение к спиритизму, коим увлекалась Нина. Для студента-естественника, казалось бы, это несколько необычно, но вспомним: среди русских приверженцев спиритизма числился и выдающийся химик-органик, создатель современной теории химического строения вещества Александр Николаевич Бутлеров (1828–1886). А будущий тесть Александра Блока – великий химик Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907), хотя и скептически относился к спиритическим феноменам, все же настаивал на

их экспериментальном изучении. Точно так же и Андрей Белый выступал за более углубленное и всестороннее исследование спиритических явлений, отвергая их истолкование на «бытовом», общераспространенном уровне, но допуская одновременно их физическую реальность:

«<...> Если я начну нападать на спиритизм [в узком смысле], то со всякой точки зрения мне представляются неистинными: *не сами феномены, а методы их уяснения*. Если спиритизм – одна из зачаточных наук, мистицизм, обволакивающий его, должен исчезнуть. Если же спиритизм всегда будет повит „дымкой мистицизма“ (так Ты пишешь), он должен оставить все эти стуки и феномены, ибо их констатирование не дает оснований к выводу о сообщениях с духами».

Что касается земной любви, то Андрея Белого (в отличие от Нины) как раз таки по-прежнему тянуло в сферы неземного и возвышенного; напротив, плотские отношения тяготили и угнетали. В своем интимном дневнике, не предназначавшемся для чужих глаз, поэт писал: «Произошло то, что назревало уже в ряде месяцев, – мое падение с Ниной Ивановной; вместо грез о мистерии, братстве и сестринстве оказался просто роман. Я был в недоумении: более того, – я был ошеломлен; не могу сказать, что Нина Ивановна мне не нравилась; я ее любил братски; но глубокой, истинной любви к ней не чувствовал; мне было ясно, что все, происшедшее между нами, – есть с моей стороны дань чувственности. Вот почему роман с Ниной Ивановной я рассматриваю как падение; я видел, что у нее ко мне – глубокое чувство, у меня же – братское отношение преобладало; к нему примешалась чувственность; не сразу мне стало ясно, поэтому не сразу все это мог поставить на вид Нине Ивановне; чувствовалось – недоумение, вопрос; и главным образом – чувствовался срыв: я ведь так старался пояснить Нине Ивановне, что между нами – Христос; она – соглашалась; и – потом, вдруг, – „такое“. Мои порывания к мистерии, к „теургии“ потерпели поражение».

Спустя три десятилетия во втором томе мемуарной трилогии Андрей Белый не без смятения чувств оценивал свой давний роман с Ниной Петровской: «Раздвоенная во всем, больная, истерзанная несчастною жизнью, с отчетливым психопатизмом, она была – грустная, нежная, добрая, способная отдаваться словам, которые вокруг нее раздавались, почти до безумия; она переживала все, что ни напевали ей в уши, с такой яркой силой, что жила исключительно словами других, превратив жизнь в бред и в абракадабру; меня охватывало всегда странное впечатление, когда я переступал порог дома ее. <...> Она меня незаметно втянула в навязанную ею роль: учителя жизни; и укрепила в иллюзии думать, что я



ей необходим, что без меня-де – погибнет она; так заботы о ней начинали незаметно переполнять мои дни, переполненные и так; заходы к ней учащались до почти ежедневного появления; беседы вдвоем удлинялись; казалось: из всех живых существ она одна только правильно понимала меня. Она была и добра, и чутка, и сердечна; но она была слишком отзывчива: и до... преступности восприимчива; выходя из себя на чужих ей словах, она делалась кем угодно, в зависимости от того, что в ней вспыхивало; переживала припадки тоски до душевных корч, до навязчивых бредов, во время которых она готова была схватить револьвер и стрелять в себя, в других, мстя за фикцию ей нанесенного оскорбления; в припадке ужаснейшей истерии она наговаривала на себя, на других небылицы; по природе правдивая, она лгала, как всякая истеричка; и, возводя поклеп на себя и другого, она искренно верила в ложь; и выдавала в искаженном виде своему очередному confidentу слова всех предшествующих confidentов; я узнал от нее тайны Бальмонта; Бальмонт, вероятно, – мои; она портила отношения; доводила людей до вызова их друг другом на дуэль; и ее же спасали перессоренные ею друзья, ставшие врагами; она покушалась на самоубийство под действием тяжелого угнетения совести; вокруг нее стояла атмосфера – опасности, гибели, рока... <...>»

Нина зримо и телесно воплощала для Белого диалектически-сакральную двойственность Женского Начала – божественного и греховного. Именно в то время он написал: «В воздухе чувствуется „Вечная Женственность“ („Жена, облеченная в солнце“). Но и великая блудница не дремлет».<sup>[15]</sup> Любовная связь между Андреем Белым и Ниной Петровской прекратилась так же неожиданно, как и началась. Не оборваться она попросту не могла, ибо на горизонте появилось главное солнце его юношеской любви – Любовь Дмитриевна Менделеева-Блок. Узнав об истинной причине разрыва, Нина Петровская решила поступить так, как должна была на ее месте поступить любая нормальная декадентка. Согласно неписаным модернистским канонам, роковая любовь должна иметь роковой конец. Писательница, оставленная любовником, стала носить в сумочке заряженный револьвер, не зная толком, кого следует застрелить – бросившего ее любовника или же саму себя – несчастную жертву. Позже Белый рассказывал, что однажды Нина все же попыталась выстрелить в него, однако револьвер дал осечку. Преследуемый, хоть и с трудом, все-таки сумел успокоить отчаявшуюся подругу, а для помощи в столь деликатном деле обратился к опытному арбитру в разрешении подобного рода вопросов – Валерию Брюсову.

Поначалу создавалось впечатление, что Нине Петровской, в принципе,

было все равно, в лучах какого солнца купаться, – лишь бы оставаться на виду и в центре всеобщего внимания. Уже совсем скоро она получила от острого на язык Владислава Ходасевича ехидное и немедленно прилипшее к ней прозвище – «Египетская Корма» (по последним строчкам известного брюсовского стихотворения: «*О, дай мне жребий тот же вынуть, / И в час, когда не кончен бой, / Как беглецу, корабль свой кинуть / Вслед за египетской кормой*»). Однако, несмотря на экстравагантное начало, быстро вспыхнувшая любовь между Ниной Петровской и Валерием Брюсовым в конечном счете оказалось одной из самых прекрасных и запоминающихся в истории Серебряного века. «Я полюбила *тебя* с *последней* верой в *последнее* счастье», – писала поэту его новая муза. Брюсов также многократно прославил свою новую возлюбленную, обессмертив ее в стихах и прозе. В сонете, посвященном Нине Петровской, писал:

Ты, слаще смерти, ты, желанней яда,  
Околдовала мой свободный дух!  
И взор померк, и воли огонь потух  
Под чарой сатанинского обряда.

В коленях – дрожь, язык – горяч и сух,  
В раздумьях – ужас веры и разлада;  
Мы – на постели, как в провалах Ада,  
И меч, как благо, призываем вслух!  
<... >

Любовная коллизия получила также отражение в самом известном романе В. Я. Брюсова на средневековую тему – «Огненный ангел», где в образе красавицы Ренаты выведена Нина Петровская, а в образе рыцарей-соперников Рупрехта и Генриха – Брюсов и Андрей Белый.

Расставшись с подругой, Белый вскоре стал искренне о том сожалеть и испытывать чувство ревности к удачливому сопернику. «Брюсов меня гипнотизирует, – записывал он в дневнике, – всеми своими разговорами он меня поворачивает на мрак моей жизни; я не подозреваю подлинных причин такого странного внимания ко мне Брюсова: причина – проста: Брюсов влюблен в Н. И. Петровскую и добивается ее взаимности; Н. И. – любит меня и заявляет ему это; более того, она заставляет его выслушивать истерические преувеличения моих „светлых“ черт; Брюсов испытывает ко мне острое чувство ненависти и любопытства; он ставит себе целью:

доказать Н. И., что я сорвусь в бездну порока; ему хотелось бы меня развратить; и этим „отмстить“ мне за невольное унижение его; вместе с тем: любовь к сомнительному психологическому эксперименту невольно поворачивает его на гипноз; он не удовольствуется разговорами со мной на интересующую меня тему; он старается силой гипноза внушить мне – любовь к разврату, мраку. <... > С Брюсовым устанавливаются холодные, жуткие отношения; кроме того: я чувствую, что какая-то дверь, доселе отделявшая меня от преисподней, – распахнулась: точно между мной и адом образовался коридор: и – вот: по коридору кто-то бежит, настигая меня; чувствую: этот бегущий – враг, меня осенило: враг – Брюсов».

Нина Петровская вошла в историю русской литературы как одна из самых верных подруг Валерия Яковлевича, на протяжении целых семи лет благотворно влиявшая на его творчество. Сохранились и частично опубликованы их обширная любовная переписка, интимный дневник и воспоминания самой Петровской. Конец Музы, вдохновлявшей четырех поэтов (Бальмонта, Кречетова, Белого и Брюсова), трагичен: выехав в 1911 году за границу, она пристрастилась к наркотикам, впала в жесточайшую нищету и покончила жизнь самоубийством (отравилась газом).

## Глава 3

# ДЕВА РАДУЖНЫХ ВОРОТ

Андрей Белый и Александр Блок были одногодками – Белый, проживавший в Москве, был всего на месяц и два дня старше Блока, обосновавшегося в Петербурге, но на лето, как правило, приезжавшего в Подмоскovie, где его дед – известный ученый-ботаник (и одно время – ректор Петербургского университета) Андрей Николаевич Бекетов (1825–1902) владел усадьбой в поселке Шахматово. Рядом в селенье Боблово находилась дача другого корифея отечественной науки – Дмитрия Ивановича Менделеева, чья старшая дочь Любовь Дмитриевна стала невестой, а затем и женой Александра Блока. Его мать Александра Андреевна (урожденная Бекетова, по второму браку – Кублицкая-Пиоттух) приходилась кузиной Ольге Михайловне Соловьевой. Поэтому Саша Блок в раннем юношеском возрасте приезжал на дачу к Соловьевым, дружил со своим троюродным братом Сергеем – другом Бориса Бугаева. В семье Соловьевых Андрей Белый и узнал о юном поэте Александре Блоке и прочел некоторые из его еще не напечатанных стихов (как он сам выразился позже, «катался от них по полу от восторга»). В мемуарах же высказался совсем коротко: «С Блоком я уже был знаком до знакомства».

В течение 1902 года он несколько раз обращался к Ольге Михайловне Соловьевой с просьбой заочно, через мать Блока – А. А. Кублицкую-Пиоттух – познакомиться с Александром, учившимся на филологическом факультете Петербургского университета. Однако активная переписка между двумя начинающими поэтами началась только в начале 1903 года. Не сговариваясь, они почти одновременно написали друг другу (Блок на день раньше), так что их письма, прежде чем дойти до адресатов, встретились где-то между Петербургом и Москвой. Поводом для письма Блока послужила только что опубликованная в журнале «Мир искусства» (в последнем номере за 1902 год) статья А. Белого «Формы искусства». Она опиралась в основном на материалы музыки, и Блок, откровенно признавшийся, что для него это – наиболее сложная тема, обратился к Белому за разъяснениями.

В ответ пришли блестящие по глубине и оригинальности философские размышления о реализации столь близкой для Белого идеи «вечного возвращения»: «Музыка, как внутренне-звучащее, так и внешнее ее

выражение в обычно понимаемом смысле, ближе всего к прозрению запредельного. Здесь явственный отблеск запредельного. Запредельно добро. Но и зло тоже запредельно. <... > Эти противоположные отблески звучат и борются в музыке. „Она искусство движения“. Недаром в „симфониях“ всегда две борющиеся темы; в музыкальной теме – она сама, отклонение от нее в многочисленных вариациях, и возврат *сквозь огонь диссонанса*. Ритм – как повторность временного пульса – связан с идеей Вечного Возвращения, музыкальной по своему существу (недаром Ницше, величайший стилист (т. е. музыкант в душе), автор понятия „дух музыки“, наконец, сам прекрасный музыкант и даже композитор, – первый выкрикнул это носящееся в воздухе „Возвращение“). <...> Борьба Астарты с Лучезарной Подругой (как Вы это прекрасно понимаете), Антихриста и Христа – вот она линия раскола в музыке. Борьба эстетического и мистического в ней же – вот раскол в плоскости как бы перпендикулярной. И всё борьба – вихрь боя, ритм. Недаром величайшие музыканты, Бетховен и Вагнер, ритмичны, возвратны до невозможности. Наша музыка только знак...»

Очень скоро, однако, они перешли к излюбленной теме обоих – *Вечной Женственности!* Наибольшую активность и нетерпеливость проявлял Белый: «Прежде всего пишу Вам об одном пункте, который важен для меня. Вот мы пишем друг другу о Ней, о Лучезарной Подруге, и между нами такой тон, как будто мы уже знаем то, что касается ее, знаем, кто Она, откуда говорим о Ней, а между тем этого не было: мы никогда не глядели прямо друг другу в глаза тут. Метод символов хорош: он лучше всего. То, что логически неопределимо, определится психологически. На этом основании больше всего люблю я речь образную. Это – наиболее короткий путь в глубину. Но часто бывает важно, чтобы и поверхность дала зеркальное изображение глубины: важно, чтобы логически мы шли тем же путем, каким шли интуитивно. Вот почему обращаюсь к Вам с вопросом прямым и без всякой задней мысли: определите, что Вы мыслите о Ней. Мне это очень, очень важно – важнее, чем Вы думаете... <...>»

Блок ответил пространно и абстрактно – не захотел делиться самым сокровенным с человеком, которого ни разу в глаза не видел. Еще раньше он пригласил Белого на свое бракосочетание (да еще шафером), запланированное на середину августа. Белый ответил уклончиво, так как летом ему предстояло сопровождать отца в поездке на Кавказ, куда тот собирался на лечение. Приглашение от Блока пришло в конце апреля, а через месяц Николай Васильевич Бугаев скоропостижно скончался, что вообще перевернуло жизнь его сына Белого и в обозримом будущем

сделало ее непредсказуемой. Однако переписка с Блоком в русле затронутых тем продолжалась. С середины июня до середины июля 1903 года Блок находился в Германии на курорте Бад-Наугейм, куда сопровождал мать. То, что Белый хотел услышать от далекого друга, но не услышал, тот с воодушевлением и неземным восторгом изливал в письмах к невесте – Любови Дмитриевне Менделеевой:

«<... > Ты, Ангел Светлый, Ангел Величавый, Ты – Богиня моих земных желаний. Я без конца буду влюбленный, буду страстный, буду Твой поклонник и раб. <... > Будешь Ты и буду я – одно. Об этом вихре, об этих мгновениях сладких и безумных, о которых мы всю жизнь не забудем, теперь мне говорит память о Тебе. В Твоих глазах, в Твоих движениях, в очертаниях Твоих, в Твоих дрожащих руках я видел и узнал это – то, что будет. <...> Я влюблен, знаешь ли Ты это? Влюблен до глубины, весь проникнут любовью».

«<...> Ты знай, что я люблю все в Тебе, все, что знаю и чего еще не знаю. На всем живом, что в мире, навсегда для меня легла Твоя золотистая тень; все, что мне дорого, связано так или иначе с Тобой. Никогда не забывай своего вечного первенства, своего величайшего права над моей жизнью, для меня блаженного и рокового».

«<...> Милая, Милая, Единственная, Ненаглядная, Святая, Несравненная, Любимая, Солнце мое, Свет мой, Сокровище мое, Жизнь моя – или лучше без имен. Я ничего, ничего не могу выговорить. Верь мне, я с Тобой, я всю жизнь буду у Твоих ног, я мучительно люблю, торжественно люблю, звездно люблю, люблю всемирной любовью Тебя, Тебя, Тебя Одну, Единственную, Жемчужину, Единственное Святое, Великое, Могущественное Существо, Все, Все, Все».

«<... > Никогда, никогда этого со мной не было, ничего подобного не было, мне страшно так любить, неизведанно хорошо так любить! Слова-то, слова-то какие, жалкие, каменные, точно бьюсь о камень и бессилен. Веришь? Веришь? Повтори, что веришь всему? Повтори, Искра божественная, повтори, Дева, Богородица, Матерь Света! Повтори, Любочка! <...> Спасибо Тебе, Показавшей мне Свет. <...> Я целую Твой горячий след. Я страстно жду Тебя, моя Огненная Царевна, Мое Зарево. <...> Я люблю тебя, Золотокудрая Розовая Девушка, люблю больше моих сил. <...> Боже мой, как я хочу видеть Тебя скорее и все забыть сначала, когда увижу Тебя, не думать ни о чем, даже не говорить, только смотреть в Твои глаза, моя Милая, моя Красавица, Ненаглядная, Счастье мое!»

Такой Она предстала поэту впервые, такой рисовалась ему в самых вдохновенных мечтах. Люба даже в юную пору далеко не каждому казалась

красавицей в классическом смысле данного слова. На женщин она вообще производила неоднозначное впечатление: почти все, не сговариваясь, обращали внимание на излишнюю (с их придирчивой точки зрения) полноту и очень изящную головку на не вполне пропорциональном теле.<sup>[16]</sup> Но те, кто сумели уловить внутреннюю суть Музы Александра Блока, в один голос заявляли: ничего прекраснее они до сих пор не встречали. Первым это понял сам Блок, вторым – Сергей Соловьев, третьим – Андрей Белый. Трудно теперь сказать, кому из них первому пришла в голову гениальная мысль, что Любовь Дмитриевна и есть не кто иная, как современное овеществленно-телесное воплощение Софии Премудрости Божией, – скорее всего, всем трем поочередно, но вполне самостоятельно.

На бракосочетание Блока в Шахматово Андрей Белый так и не поехал. Переутомление, связанное с выпускными экзаменами в университете, и конечно же смерть отца настолько расшатали его здоровье, что Белый вынужден был извиниться и отказаться от роли шафера на свадьбе. Осенью получил от Блока два посвященных ему стихотворения, одно из них сопровождалось эпиграфом из стихов самого Белого, посвященных *Возлюбленной – Вечности*. Здесь в поэтической и отчасти зашифрованной форме содержались ответы на поставленные еще весной сакраментальные вопросы. Сквозь поэтические дифирамбы проскальзывало и тревожное предчувствие надвигающейся беды:

## I

О, я увидел! Ты – тот – несмелый,  
Ему подобный, Ты – дух толпы...  
Я думал в страхе – то брат мой Белый,  
Но там воздвиглись ее столпы <... >  
.....  
То – заря бесконечного холода,  
Что послала мне сладкий намек...  
Что рассыпала красное золото,  
Разостлала кровавый платок...  
Что ты думала, веяла, реяла,  
Отражала в себе мою кровь,  
Что меня с колыбели лелеяла,  
Без конца нашептала любовь...

Из огня душа моя скована  
И вселенской мечте предана,  
Непомерной мечтой взволнована —  
Угадать ее имена <... >

## II

<...> Неразлучно – будем оба  
Клятву Вечности нести.  
Поздно встретимся у гроба  
На серебряном пути.

Там – сжимающему руки  
Руку нежную сожму,  
Молчаливому от муки  
Шею крепко обниму.

.....  
И тогда – в гремящей сфере  
Небывалого огня —  
Дева-Мать откроет двери  
Ослепительного Дня.

Одним словом, накликал, как говорится... Дева Радужных Ворот – воплощение Вечной Женственности – давно уже освещала своим немеркнущим сиянием самые дальние уголки восторженной души Андрея Белого. Александр Блок в пору своего недолгого семейного счастья тоже осознавал: никто другой, кроме его супруги, и не мог претендовать на земное воплощение «Жены, облеченной в солнце». В марте 1903 года в 3-м выпуске альманаха «Северные цветы» появился стихотворный цикл А. Блока, озаглавленный «Стихи о Прекрасной Даме». Из присланных двадцати трех стихотворений В. Брюсов волевым решением отобрал всего десять; он же придумал название для всего цикла. В русскую поэзию ворвался вихрь таких поэтических образов, каких она раньше никогда не знала. Подборку открывал ныне ставший хрестоматийным стихотворный шедевр:



Вхожу я в темные храмы,  
Свершаю бедный обряд.  
Там жду я Прекрасной Дамы  
В мерцании красных лампад.

.....  
О, я привык к этим ризам  
Величавой, Вечной Жены!  
Высоко бегут по карнизам  
Улыбки, сказки и сны.

О, Святая, как ласковы свечи,  
Как отрадны Твои черты!  
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,  
Но я верую: Милая – Ты.

Личное же знакомство Андрея Белого с четой Блоков – Любовью и Александром – состоялось лишь в январе следующего, 1904 года. Белый неоднократно и с разными подробностями рассказывал об этом событии:

«Десятого января 904 года в морозный, пылающий день – раздается звонок: меня спрашивают; выхожу я и вижу: нарядная дама выходит из меха; высокий студент, сняв пальто, его вешает, стиснув в руке рукавицы молочного цвета; фуражка лежит.

Блоки!

Широкоплечий; прекрасно сидящий сюртук с тонкой талией, с воротником, подпирающим шею, высоким и синим; супруга поэта одета подчеркнуто чопорно; в воздухе – запах духов; молодая, веселая, очень изящная пара! Но... но... Александр ли Блок – юноша этот, с лицом, на котором без вспышек румянца горит розоватый обветр (так!)? Не то „Молодец“ сказок; не то – очень статный военный; со сдержами (так!) ровных, немногих движений, с застенчивомилым, чуть набок склоненным лицом, улыбнувшись мне; он подходит, растериваясь голубыми глазами, присевшими в складки, от явных усилий меня разглядеть; и стоит, потоптываясь (сходство с Гауптманом юным):

– Борис Николаевич?

Поцеловались. <...>»

С большей эмоциональностью и даже нервозностью рассказывал Белый о первой встрече с Блоком Ирине Одоевцевой. Оказывается, перед судьбоносной встречей он не спал всю ночь и даже не ложился. Слонялся,

точно привидение, по залитой лунным светом квартире, останавливался перед зеркалами и радостно предвкушал: завтра в них будет отражаться Блок.

«<...> Я боялся не дожить до завтра... Я его слишком любил. Я боялся, что его поезд сойдет с рельс, что он погибнет в железнодорожной катастрофе, так и не встретившись со мной.

Но в условленный час – минута в минуту – раздался звонок. Я понесся в прихожую. Горничная уже успела впустить их. Я смотрел на него. Я весь дрожал. Никогда в жизни – ни прежде, ни потом – я не испытывал такой жгучей неловкости. И разочарования. Обман, обман! Меня обманули. Это не Блок. Не мой Саша Блок.

Но до чего он был красив! Высокий, стройный, статный. Курчавый. Весь как в нимбе золотых лучей, румяный с мороза. В студенческом сюртуке, широкоплечий, с осиной талией. От синего воротника его дивные глаза казались еще голубее. До чего красивый, но до чего земной, здоровый, тяжелый. Я почему-то – по его стихам – представлял его себе изможденным, худым, бледным и даже скорее некрасивым. А он оказался оскорбительно здоровым, цветущим, фантастически красивым. Он всем своим видом будто затмевал, уничтожал, вычеркивал меня...

Я поздоровался с ними за руку, для чего-то схватил муфту Любви Дмитриевны и, спохватившись, вернул ей ее с извинениями.

Я видел, что Саша смущен не меньше меня. Но он владел собой. Она же, совершенно спокойно и непринужденно смотрясь в зеркало, поправляла светлые волосы под большой шляпой со страусовыми перьями. Я запомнил ее палевые перчатки. Молодая светская дама, приехавшая с визитом.

Мама ждала нас в гостиной. Любовь Дмитриевна села рядом с мамой на диван. И так же спокойно и непринужденно молчала. Мы с Сашей в креслах напротив них ужасно мучились. Боже, до чего томительно и тяжело было! Говорила одна мама. О театре. И вдруг я, как сорвавшийся с горы камень, полетел и понес чепуху. И Саша застенчиво улыбнулся. Не тому, что я говорил, а мне. Улыбнулся душой моей душе. И с этой минуты я по-новому, без памяти влюбился в него. И тут же почувствовал – наша встреча не пройдет даром. Я за нее заплачу. За все заплачу...»

Ничего сверхъестественного в день знакомства и в последующие дни (Блоки недолго пробыли в Москве) в складывающемся «любовном треугольнике» не произошло – невидимые семена разлитого повсюду по Вселенной космического Эроса – древние называли их «стрелы Эроса (Купидона)» – попали на давно готовую их принять почву, но здесь им еще

предстояло прорасти. За две недели Александр Блок перезнакомился со всеми московскими литературными светилами, разочаровался в Брюсове и Бальмонте, привел в искренний и неопишуемый восторг символистскую молодежь, которая единодушно признала в нем «русского поэта № 1». Всех завораживали не только волшебные стихи Блока, но и манера их исполнения. Как вспоминала позже присутствовавшая на этих встречах Нина Петровская, поначалу чтение Блока казалось монотонным и нагоняющим скуку: все на низких, однообразных нотах, как будто каждую строчку отбивал невидимый метроном; но именно эта простота потом начинала неизъяснимо нравиться, казалась органически связанной с поэтом и его стихами.

Вместе с новыми московскими друзьями Блок с женой побывал на могиле Соловьевых, в издательствах «Гриф» и «Скорпион», успел перейти с Белым на «ты» и посетил Третьяковскую галерею, посмотрел чеховский «Вишневый сад» в постановке Московского художественного театра и наведлся в Донской монастырь, где принимал и поучал многочисленных посетителей опальный епископ Антоний, лишенный Святейшим синодом Волынской епархии «за недозволенное совершение чудес, волнующих умы».

Тогда же Белый, Блок и Сергей Соловьев основали своего рода тройственный союз – Братство Рыцарей Прекрасной Дамы. Любовь Дмитриевна стала для них Женой, облеченной в Солнце, Софией Премудростью, Прекрасной Дамой в одном лице. Но как же реагировала сама Дева Радужных Ворот на развернувшийся вокруг нее символистский ажиотаж? Хотела ли она сама быть Прекрасной Дамой? Ведь она стремилась на сцену, а тут ей поклонялись, как Богородице, которой друзья-триумвиры подчас даже в лицо смотреть не смели. С одной стороны, ей, безусловно, льстила подобная атмосфера полуобожествления и почти что религиозного поклонения. С другой стороны, она на уровне инстинкта ее отвергала: молодой, интересной, здоровой женщине хотелось нормальной человеческой любви и простого семейного счастья. Она явно не тянула ни на символистскую Мадонну, ни на Жанну д'Арк всего символистского движения. О своих подлинных мыслях и чувствах Прекрасная Дама поведала незадолго до смерти, последовавшей в 1939 году, в исключительно откровенных мемуарах, озаглавленных «И были, и небылицы о Блоке и о себе» (в основной своей части они посвящены ее непростым и запутанным отношениям с Андреем Белым). Здесь Любовь Дмитриевна подробно и бесхитростно рассказала, как трагически складывалась ее интимная жизнь и как непохожа она на воспетую в стихах

Прекрасную Даму.

Исповедь настолько обнажена, что в полном объеме ее решились опубликовать лишь спустя четверть века после написания. (Опубликование этих воспоминаний – первоначально только в отрывках – вызвало настоящий шок у всех, кто лично знал Блока или его почитателей, а Анна Ахматова назвала мемуарные записки Любы *порнографическими*.) Здесь – отчасти прямым текстом, отчасти прозрачными намеками – рассказывается, какими роковыми последствиями обернулась для «Подруги Вечной» «мистическая и софиологическая игра»: несмотря на искреннюю и возвышенную добрачную влюбленность Блока, его законная жена оставалась девственницей на протяжении более чем года после свадьбы. Противоестественно? Безусловно! Но, увы, таковы неизбежные последствия символистской мистериальной любви. Когда муж, уже имевший достаточный сексуальный опыт, перенес его на брачные отношения, это произошло случайно, и превратилось, по свидетельству молодой жены, в «редкие, краткие, по-мужски эгоистичные встречи», которые к тому же продолжались менее двух лет. В дальнейшем поэтическое вдохновение Александр Блок черпал уже в других «Прекрасных Дамах» – актрисах, вроде Натальи Волоховой или Любви Дельмас, бесчисленных поклонницах, а также «дамах полусвета», вскоре получивших собирательное название по одному из известнейших стихотворений поэта, – «незнакомках». В такой ситуации Любви Дмитриевне ничего не оставалось как считать себя «свободной от обязательств», что и подтвердила вся ее последующая жизнь...

Отъезд Александра Александровича и Любви Дмитриевны из Первопрестольной в Петербург совпал с началом Русско-японской войны. В книге «Начало века» Белый сумел описать ее в нескольких строках: «Разразилась война; над Москвой потянуло как гарью огромных далеких пожаров; уже авангард поражений на фронте давал себя знать; ПортАртур грохотал еще; в иллюстрированных же приложенях еще гарцевал с шашкой Стессель; Москва, государственная, стала ямой; в воздухе повисла – Цусима»... После отъезда Блоков оставшиеся «триумвиры» сделали культовый фотоснимок: на нем Борис и Сергей сидят за столиком, на котором рядом с Библией в рамках стоят фотопортреты Владимира Соловьева и Любви Дмитриевны.

До середины лета 1904 года Белый был целиком погружен в запутанный роман с Ниной Петровской. Переписка с Блоком приобрела эпизодический характер, но она оставалась единственной отдушиной, позволявшей надеяться на лучшее. В начале апреля он писал: «Милый,

милый Александр Александрович, спасибо за письмо. Мне стало тепло от него и уютно – стало уютно в бесприютности. Я вспомнил огневые закаты, зеленые травы и много синеньких колокольчиков. Аромат полей и несказанное блаженство приближений ушло от меня теперь, весной, а еще осенью, в ноябре, приходила весна и пела. Но почему-то я знаю, что когда, разбитый и усталый, убегающий от безумия, я приду в зеленую чащу и в изнеможении замру весь в цветах, Ты меня поймешь и не станешь спрашивать *ни о чем*. Я Тебя нежно люблю за это, как будто уже все это произошло. Я не могу сейчас говорить умных вещей о Боге, о людях – я устал и хочу думать в цветах о „*ни о чем*“... <...>

Цветов, цветов – ландышей! Мы будем бродить в лесах. Струевое серебро заблещет звоном между осоками. Мы укроем безумие в холодном серебре. Мы опояшемся серебряной лентой и, молясь, прострем ее, как орарь (так в оригинале. – В. Д.). Мы поймем луну – маленький, горький кружок, – в зеркальный орарь и спрячем серебряную ленту вместе с луной между травами. Тонконогий журавль выйдет из лесного сумрака и постучит добродушно нам в спину своим тонким, алмазным клювом. Мы начнем журавлиные игры, и потом холодный туман запахнет нас... до утра. Утром нам покажут душившее нас безумие. Громовым комом оно, раздутое, повиснет в утреннем небе. Синебледные зарницы пригрозят нам стрелами, но журавль скажет, указывая клювом на тучу: „Тщетно тщилась“. <...>»

«Высшие идеалы» по-прежнему оставались для обоих первоочередными. Блок ответил тепло и пространно, по сложившемуся обычаю приложил к письму семь стихотворений. Среди них – шедевр, написанный от лица своего идеала:

Мой любимый, мой князь, мой жених,  
Ты печален в цветистом лугу.  
Повиликой средь нив золотых  
Завилась я на том берегу.

Над тобой – как свеча – я тиха,  
Пред тобой – как цветок – я нежна.  
Жду тебя, моего жениха,  
Все Невеста – и вечно Жена.

Белый, у которого только что вышла первая книга стихов – «Золото в лазури», не замедлил с восторженным ответом: «Милый, дорогой

Александр Александрович, спасибо за письмо и за стихотворения, которые мне *страшно* понравились, сами по себе, и как нечто удивительное по нежности и мягкости. В них чувствуется *омытость лазурью*. Хожу и все повторяю: „*Павиликой средь нив золотых / Завилась я на том берегу*“... Опять *Ее* дыханье, *Ее* ласка, *Ее* улыбка. Ее ланиты – розы Вечности, Ее губы – коралл, узкий и тонкий, как багряное облачко, растянутое у горизонта, а между кораллом зубы ее – жемчужные... <...>»

\* \* \*

9 июля Москва хоронила Чехова. Он умер в Германии, куда приехал на лечение. Четырехтысячная скорбная процессия проследовала от Николаевского вокзала, куда было доставлено тело, до Новодевичьего кладбища. Всю дорогу гроб несли на руках. Андрей Белый не участвовал в траурной церемонии, но посетил могилу любимого писателя вскоре после похорон. В жизни Белого назревал новый перелом. Он подал заявление на историко-филологический факультет Московского университета с тем, чтобы получить второе образование, после чего собрался в Шахматово, к Блоку. Сопровождать его увязался один из наиболее близких друзей-«аргонавтов» – Алексей Петровский (1881–1958) – сотрудник библиотеки Румянцевского музея, однофамилец Нины). Чуть позже к ним обещал присоединиться Сергей Соловьев, заканчивавший гимназию. Прибыв не без приключений в Шахматово, друзья застали в усадьбе только мать и тетюшку Блока, он в это время вместе с женой находился на ежедневной традиционной прогулке по окрестным полям и лесу, окружающему усадьбу.

Наконец звездная пара показалась вдали. Это мгновение навеки запечатлелось в поэтическом сознании Андрея Белого: *Царевич и Царевна*, освещенные солнцем среди цветов полевых! Она – в широком, стройном, воздушном платье (цвета «розового неба»), молодая, разгоряченная, сильная, подобно магниту, притягивающая жадный взор; волосы под яркими солнечными лучами переливались золотыми струями – воистину «Жена, облеченная в солнце»! Он, шедший рядом, – высокий, статный, широкоплечий, загорелый, в сапогах и просторной белой русской рубашке с красной каймой по краям, расшитой (любимой женой!) белыми лебедями.

Обыденность дачной жизни кумира поначалу удивила и даже несколько покорила гостей: вместо «бесконечной лазури» и «вечной женственности» – хозяйственные заботы, повседневные дела, выкопанная

сточная канава. Разве за этим они сюда приехали? Однако к вечернему чаю неповторимая подмосковная природа и взаимная жажда дружеского общения расставили все по своим местам. «Никогда не забуду я этой линии тихих в своем напряжении и нарастающих дней, – писал впоследствии Андрей Белый. – Не забуду этой прекрасной в своей монотонности жизни, бурно значительной внутренне. <... > А. А. и Л. Д. жили не в главном доме, а в уютнейшем, закрытом цветами маленьком домике о двух комнатах, если память не изменяет, в домике, напоминающем что-то о сказочных домиках, в которых обитают феи. Бывало, послышатся шаги их на ступенях террасы, – и вот, веселые, тихие, входят А. А. и Л. Д., А. А. в неизменной русской рубашке, Л. Д. в розовом, падающем широкими складками платье-капоте. Разговор становится проще, линия разговора меняется: определенные разговоры, которыми мы были заняты, расширяются в неопределенное море той спокойной, немного шутливой глубины и ширины, которые всегда чувствовались в этой супружеской паре. <... >

Наши сидения по утрам воистину переходили в золотое бездорожье у берега какого-то моря, через которое вот-вот придет корабль (для меня „Арго“) и увезет всех через море в Новый Свет. Очень часто мы переходили в соседнюю комнату, просторную, светлую, обставленную уютною мягкой мебелью. Л. Д. садилась с ногами на диван, мы располагались в креслах. Я очень часто, стоя перед ними, начинал развивать какую-нибудь теорию, устраивая импровизационную лекцию. В сущности, вся линия моих слов, теорий и лекций была не в убеждении присутствующих, а в своего рода лакмусовой бумаге, окрашивающейся то в фиолетовый, то в ярко-пурпурный, то в темно-синий цвет. Ткань моих мыслей А. А. умел распестрить всеми оттенками отношений: юмором, молчанием, любопытством, доверием. „А знаешь, Боря, я все-таки думаю, что это не так“. <...> Так А. А. окрашивал одной фразой свое отношение к тому или другому философскому, религиозному или эстетическому вопросу, а я бессознательно давал ему повод к окраске, проталкивая перед ним различные ткани из теорем, утопий и домыслов.

Отсюда явствует, что он был для меня в то время своего рода окраской моих устремлений, давая мне оценку и импульс...»

Андрей Белый вспоминает, как утром перед отъездом все в последний раз собрались вместе. В такие минуты нельзя не испытывать грусть о том, что кончается эта недолгая совместная жизнь. И было что-то в этой грусти от «горней радости». «Когда подали лошадей, – пишет Белый, – казалось, что из некоего мира, где мы себя ощущали „будто мы в пространствах новых, будто в новых временах“, мы двинулись в старый мир». В

Шахматове Борис и Сергей испытали настоящее *озарение* (собственные слова Белого). По возвращении в Москву понял окончательно и бесповоротно: в его жизни наступает судьбоносный переворот. Он решительно объяснился с Ниной Петровской, и та безошибочно угадала, что ее место в сердце возлюбленного окончательно заняла другая женщина, вслух назвав ее имя – Любовь Дмитриевна, жена Блока.

Отставленная любовница не ошиблась – Андрея Белого переполняли доселе неведомые чувства. Жизнь приобрела для него оттенок сплошной радости, но с неизбежным привкусом трагизма. В конце лета он пишет Блоку: «<...> Жизнь так прекрасна, так животворна, воздушна. Мне хочется петь, веселиться, проливать радостные слезы, потому что я победил жизнь в страдании. Страданием звонит мне радость. Страданием улыбается этот белый, ослепительный день, и эти ослепительные зубы промелькнувшего лица, которое я видел сейчас на улице, так весело скалятся! О, я благодарю за день своего рождения. Моя жизнь такая прекрасная...» Удивительные слова, они предвосхищают девиз Бертраана из «Розы и креста»: «Радость – Страданье одно!» и свидетельствуют о том, что оба поэта мыслили совершенно одинаково и их сердца бились в унисон. Белый даже пошел еще дальше: в беседе с Николаем Гумилёвым он как-то развил мысль, опираясь на Евангелие от Иоанна: *мир вообще произошел из страданий*. Он ждал и жаждал *Необыкновенного*, и это Необыкновенное неумолимо приближалось – в обличье Любви и Революции...

\* \* \*

Перед началом занятий на историко-филологическом факультете Московского университета Белый успел съездить вместе с матерью на богомолье в Дивеевский монастырь под Арзамасом (город Саров). Серафим Саровский навсегда стал для него путеводной звездой – любимым святым, небесным покровителем и *символом* православной культуры. В университете сразу же записался в философские семинары ведущих профессоров Льва Михайловича Лопатина (1855–1920) (семинар по «Монадологии» Лейбница) и Сергея Николаевича Трубецкого (семинар по философии Платона). К тому же с огромным удовлетворением для себя начал слушать курс лекций последнего по древнегреческой философии, базировавшийся на доскональном знании и анализе первоисточников. Среди сокурсников Белого оказался лучший друг Эллис, а среди



участников «Студенческого историко-филологического общества» – и будущий выдающийся мыслитель Павел Александрович Флоренский, который вскоре перейдет учиться в Московскую духовную академию.

Флоренский уже раньше заходил к Белому на Арбат и с начала года состоял с ним в переписке по философским проблемам. Изредка появлялся он и на возобновившихся у Белого интеллектуальных встречах, которые стали проводиться по воскресеньям. Флоренский не чувствовал там себя свободно, все больше сидел где-нибудь в сторонке и отмалчивался. Но впитывал и переосмысливал каждое услышанное слово, к Белому испытывал безграничное уважение и еще в апреле 1904 года посвятил ему проникновенно-лирическое восьмистишие:

Ты священным огнем меня разом увлек! —  
песнопения волны носились...  
Хризолитовых струй всюду виделся ток,  
золотистые змейки искрились.

Жидким золотом вдруг засверкал океан —  
огневеющим кружевом линий.  
Потянулся столбом голубой фимиам  
и эфир отвердел темно-синий...

Непостижимо: как только на все у Андрея Белого хватало времени? Лекции и семинары в университете, творческая литературная работа и редакционная поденщина в журнале «Весы», непрерывные встречи с единомышленниками, собственные публичные выступления, посещение музыкальных вечеров, концертов и разного рода собраний, чтение в подлинниках философов-классиков, входивших в моду неокантианцев и братьев-символистов, ни на один день не прерывающаяся переписка со множеством друзей и знакомых – такой бешеный жизненный ритм выдержать мог не каждый. Но Белый выдерживал и задавал тон другим!

В октябре московское издательство «Гриф» выпустило, наконец, первую в жизни Блока книгу, заказанную почти за год до того. Конечно же это были «Стихи о Прекрасной Даме», включавшие уже 93 стихотворения (в последней канонической публикации их стало 164). На обложке первоиздания значились опережающие выходные данные – 1905 год. Выход книги – одно из важнейших событий в истории русской поэзии, обессмертивших имя ее автора...

Совершенно некстати до предела обострились отношения Белого с Брюсовым, задававшим тон и в «Весях», и в издательстве «Скорпион». Главная причина, безусловно, – недавние интимные отношения между Белым и Ниной Петровской, ставшей теперь любовницей Брюсова. Правда, мэтр символизма не хотел признаваться в этом даже себе, пряча дикую ревность как можно глубже. Но и неприязнь к Белому становилась все заметнее, пока не вылилась в желчном стихотворении, где бывший соперник сравнивался с хитрым и коварным древнескандинавским богом Локи. Андрей Белый не остался в долгу и ответил не менее едким посланием, озаглавленным «Старинному врагу»:

Ты над ущельем, демон горный,  
Взмахнул крылом и застил свет.  
И в туче черной, враг упорный,  
Стоял. Я знал: пощады нет <...>

.....

Моя броня горит пожаром.  
Копье мне – молнья. Солнце – щит.  
Не приближайся: в гневе яром  
Тебя гроза испепелит.

Но еще более убийственным стало хрестоматийное стихотворение «Маг», обращенное все к тому же Брюсову:

Упорный маг, постигший числа  
И звезд магический узор.  
Ты – вот: над взором тьма нависла...  
Тяжелый, обожженный взор.

Бегут года. Летят: планеты,  
Гонимые пустой волной, —  
Пространства, времена... Во сне ты  
Повис над бездной ледяной.

.....

Виси, повешенный извечно,  
Над темной пляской мировой, —  
Одетый в мира хаос млечный,  
Как в некий саван гробовой.

<... >

Дело чуть не дошло до дуэли, когда Брюсов однажды в пылу спора позволил себе неуважительно отозваться о Мережковском и Гиппиус (впрочем, это был всего лишь повод). Однако даже подобные инциденты не останавливали совместной журналистской работы в журнале. Сам Белый достаточно трезво оценивал ситуацию: «<... > В инциденте с Н \*\*\* (Нина Петровская. – В. Д.), поставившем меня лицом к лицу с Брюсовым, покровителем моих литературных стремлений, наставником в области стиля, идейным союзником на фронте борьбы символистов с академической рутинной; черная кошка, пробежавшая между нами в 1903–1904—1905 годах, разрослась в 1904 году просто в „черную пантеру“ какую-то; если принять во внимание, что осенью 1904 года Брюсов меня ревновал к Н \*\*\*, а в начале 1905 года вызвал на дуэль, то можно себе представить, как чувствовал себя я в „Весах“, оставаясь с Брюсовым с глазу на глаз и не глядя ему в глаза; мы оба, как умели, преодолевали себя для общего дела: работы в „Весах“, ведь нас крыли в газетах, в журналах, в „Литературно-художественном кружке“; и я должен сказать: мы оба перешагнули через личную вражду, порой даже ненависть – там, где дело касалось одинаково нам дорогой судьбы литературного течения: под флагом символизма. <...>» И все же нервы стали сдавать. Требовалось отвлечься и развеяться. Блок приглашал погостить в Петербурге. Наконец в начале января 1905 года Белый решил принять приглашение, тем более в Северную Пальмиру отправлялась и мать, попросившая ее сопровождать...

\* \* \*

Трагические события, ознаменовавшие начало первой русской революции, совпали с поездкой Андрея Белого в Петербург. Он прибыл туда утром 9 января, вошедшего в российскую историю как Кровавое воскресенье. На квартире у Блоков вместе со всеми узнал о расстреле мирной демонстрации рабочих, направлявшейся к Зимнему дворцу, чтобы вручить петицию царю. Возмущению Блока не было предела. «Я никогда не видел его в таком виде», – вспоминал Белый.

У Мережковских, куда затем направился Белый, также уже знали о случившемся. Сюда, не сговариваясь, приходило множество знакомых и незнакомых людей со все новыми и новыми ужасными подробностями:

сотни убитых, тысячи раненых. У старейшины русского символизма Федора Сологуба погибла 14-летняя дочка – она вышла посмотреть на демонстрацию. Безутешный отец откликнулся стихотворением-криком (совсем не символистского содержания) – одним из самых обличительных документов того времени, озаглавив его – «Искали дочь», где и по сей день слышится биение заолодевшего от боли и ужаса сердца:

Печаль в груди была остра,  
Безумна ночь,—  
И мы блуждали до утра,  
Искали дочь.

Нам запомнилась навеки  
Жутких улиц тишина,  
Хрупкий снег, немые реки,  
Дым костров, штыки, луна.

Всю ночь мерещилась нам дочь,  
Еще жива,  
И нам нашептывала ночь  
Ее слова.

По участкам, по больницам  
(Где пускали, где и нет)  
Мы склоняли к многим лицам  
Тусклых свеч неровный свет.

Бросали груды страшных тел  
В подвал сырой.  
Туда пустить нас не хотел  
Городовой.

Скорби пламенной язык ли,  
Деньги ль дверь открыли нам, —  
Рано утром мы проникли  
В тьму, к поверженным телам.

Ступени скользкие вели  
В сырую мглу, —

Под грудой тел мы дочь нашли  
Там, на полу.

Петербургское общество кипело от негодования. Среди столичных интеллигентов не было ни одного, кто бы не осудил действие царских сатрапов. Что же тогда говорить о рабочих? Собравшиеся у Мережковских решили от слов перейти к делу. Зинаида Гиппиус взяла инициативу на себя и предложила отправиться в Александринский императорский театр, где в качестве «демонстрации протеста» прервать спектакль. Сказано – сделано. Гиппиус, Белый и сопровождавшие их сочувствовавшие студенты расселись в разных концах зала и, когда начался спектакль, прервали его громкими выкриками, осуждавшими кровавый расстрел мирных граждан. Большинство их поддержало, занавес опустился и толпа повалила на улицу. Гиппиус с Белым отправились в Вольное экономическое общество, там шел митинг протеста. Среди многочисленной публики находился Максим Горький. Выступал поп Гапон, остриженный и переодетый для конспирации. Хриплым голосом он говорил о том, что отныне мирные средства себя исчерпали, пора переходить к другим, более радикальным, и призвал подойти к нему всех «честных химиков» (подразумевалось – знающих, как обращаться с взрывчатыми веществами). Белый заволновался: «Я ведь тоже естественник, „химик“ – значит мне надо идти?» Гиппиус едва удержала друга-поэта, вцепившись в рукав его студенческой шинели. Отовсюду доносились голоса: «Вооружаться! Вооружаться!..»

Позже Андрей Белый напишет: «Революция заслонила собою всё прочее». Заслонила, но не отодвинула совсем напрочь. У Белого не оказалось постоянного пристанища, и Мережковские великодушно предложили молодому поэту разместиться у них. Начались непрерывные ночные «бдения», когда Боря Бугаев (так его звали старшие друзья и все окружающие) иногда до утра обсуждал с Зиной (так позволила обращаться к себе Гиппиус) тысячи проблем – от политики, литературы, философии и мистики до интимных подробностей личной жизни (вытягивать из собеседника подобного рода информацию у Гиппиус было особое дарование). Мережковский участвовал в дискуссиях эпизодически. После полуночи он уходил к себе в кабинет и лишь изредка появлялся из-за двери, протестуя без особой надежды на успех: «Зина, ужас что! Да отпусти же ты Борю! Четыре часа! Вы мне спать не даете!»

Несмотря на постоянные разногласия, Белый испытывал к

«поэтической семье» искреннюю симпатию и привязанность. Он защищал обоих перед Блоком, а Брюсова за неуважительный отзыв о Мережковском, как уже говорилось выше, даже вызвал на дуэль. Вскоре после описанного общения в Питере супруги Мережковские надолго уехали за границу (у Зинаиды Гиппиус прогрессировал туберкулез, и она нуждалась в постоянном лечении). Перу Белого принадлежит любопытный портрет знаменитой символистской пары, примечательный не только запоминающимися деталями, но также и тем, что уместен всего лишь в одно предложение, занимающее, однако, почти целую страницу и лучше всяких комментариев характеризующее стилистику автора:

«[Гиппиус] протянула свою надушенную ручку с подушек кушетки, где, раскуривая душенные папироски, лежащие перед нею на столике в лакированной красной коробочке рядом с мячиком пульверизатора, она проводила безвыходно дни свои с трех часов (к трем вставала она) до трех ночи; она была в белом своем балахоне, собравшись с ногами комочком на мягкой кушетке, откуда, змеино вытягивая осиную талию, оглядывала присутствующих в лорнет; поражали великолепные золотокрасные волосы, которые распускать так любила она перед всеми, которые падали ей до колен, закрывая ей плечи, бока и худейшую талию, – и поражала лазурно-зеленоватыми искрами великолепнейших глаз, столь огромных порою, что вместо лица, щек и носа виднелись лишь глаза, драгоценные камни, до ужаса контрастируя с красными, очень большими губами, какими-то орхидейными; и на шее ее неизменно висел черный крест, вывисая из четок; пикантное сочетание креста и лорнетки, гностических символов и небрежного притирания к ладони притертою пробкою капельки туберозы-лубэн (ею душилась она), – сочетание это ей шло; создавался стиль пряности, неуловимейшей оранжерейной изысканной атмосферы среди этих красно-кирпичных, горячих и душащих стен, кресел, ковриков, озаряемых вспышками раскаленных угляшек камина, трепещущих на щеках ее; и – на лицах присутствующих; и Д. С. Мережковский, то показывающийся меж собравшихся, то исчезающий в свой кабинет, – не нарушал впечатления „атмосферы“; ее он подчеркивал: маленький, щупленький, как былиночка (сквознячок пробежит – унесет его), поражал он особою матовостью белого, зеленоватого иконописного лика, провалами щек, отененных огромнейшим носом и скулами, от которых сейчас же, стремительно вырывалась растительность; строгие, выпуклые, водянистые очи, прилизанные волосики лобика рисовали в нем постника, а темно-красные, чувственно вспухшие губы, посасывающие дорогую сигару, коричневый пиджачок, темно-синий, прекрасно повязанный галстук и

ручки белейшие, протонченные (как у девочки), создавали опять-таки впечатление оранжереи, теплицы; оранжерейный, утонченный, маленький попик, воздвигший молеленку среди лорнеток, духов туберозы, гаванских сигар, – вот облик Д. С. того времени».

В Петербурге Белый виделся с Блоком эпизодически. Гуляли по переулкам и набережным, больше молчали, чем говорили. Вместе с Любовью Дмитриевной слушали оперу Вагнера «Зигфрид». Вместе же присутствовали на танцевальном вечере блистательной Айседоры Дункан, которая в тот год впервые гастролировала в России. Все трое испытали ни с чем не сравнимое потрясение. Белый писал: «<...> Она вышла, легкая, радостная, с детским лицом. И я понял, что она – о несказанном. В ее улыбке была заря. В движеньях тела – аромат зеленого луга. Складки ее туники, точно журча, бились пенными струями, когда отдавалась она пляске вольной и чистой. Помню счастливое лицо, юное, хотя в музыке и раздавались вопли отчаянья. Но она в муках разорвала свою душу, отдала распятию свое чистое тело пред взорами тысячной толпы. И вот неслась к высям бессмертным. Сквозь огонь улетала в прохладу, но лицо ее, осененное Духом, мерцало холодным огнем – новое, тихое, бессмертное лицо ее. Да, светилась она, светилась именем, обретенным навеки, являя под маской античной Греции образ нашей будущей жизни – жизни счастливого человечества, предавшегося тихим пляскам на зеленых лугах».

В Москву Белый возвратился переполненный новых чувств и планов.

\* \* \*

В апреле из Швейцарии вернулась Маргарита Кирилловна Морозова и сразу же включилась в бурную общественную жизнь Москвы. Владелица роскошного двухэтажного особняка на Смоленском бульваре, не колеблясь, предоставила для людей самой разной политической ориентации один из просторных залов своего дома для проведения регулярных литературных и философских собраний, зачастую плавно переходивших в обсуждение злободневных социальных проблем. На одном из таких заседаний Маргарите Кирилловне впервые представили скромного студента в светло-серой тужурке. Это и был Андрей Белый – ее таинственный корреспондент, быстро ставший популярным символистским писателем и поэтом. С этого момента заочное знакомство (о нем оба не проронили ни слова) перешло в новое качество. Тогда же Муза впервые услышала декламацию своего поклонника. Белый читал стихи непривычно, так, как не читал никто –

нараспев, скорее напоминающий настоящее пение. Молодая вдова и поэт стали встречаться достаточно часто...

Но гораздо чаще пришлось ей общаться с восходящей звездой российского политического олимпа – профессором Московского университета и лидером кадетской партии Павлом Николаевичем Милюковым (1859–1943). По существу, костяк кадетов складывался на глазах у Маргариты Кирилловны. Именно в ее особняке обсуждались программные документы и проводились важные организационные собрания. Известный московский ловелас и дамский угодник П. Н. Милюков уделял повышенное внимание хозяйке роскошных апартаментов, состоял с ней в более чем приятельских отношениях и неоднократно намекал, что их дружбе давно пора перейти в нечто гораздо большее. М. К. Морозова деликатно, но непреклонно отклоняла ухаживания кадетского донжуана. Гораздо ближе по духу и мироощущению ей были Александр Скрябин и Андрей Белый. Кроме того, вскоре она сделает неожиданный и на сей раз решающий выбор: навсегда отдаст свое сердце другому избраннику – выдающемуся отечественному философу Евгению Николаевичу Трубецкому (1863–1920), младшему брату С. Н. Трубецкого (1862–1905), ректора МГУ.

Бескорыстная дружба Морозовой с Белым вызывала у Милюкова чувство плохо скрываемой ревности, а сама фигура модного поэта – ничем не прикрытое раздражение. Даже спустя много лет, когда бывший лидер кадетов и бывший министр иностранных дел в первом составе Временного правительства писал свои мемуары, он не удержался, чтобы свести счеты с более удачливым соперником, которого знал с его детских лет (а заодно и с объектом собственного былого обожания, представив Маргариту Кирилловну в своих мемуарах дамой легкомысленной и не слишком умной): «<... > В центре восторженного поклонения М. К. находился Андрей Белый. В нем особенно интересовал мою собеседницу элемент нарочитого священнодействия. Белый не просто ходил, а порхал в воздухе неземным созданием, едва прикасаясь к полу, производя руками какие-то волнообразные движения, вроде крыльев, которые умиленно воспроизводила М. К. Он не просто говорил: он вещал, и слова его были загадочны, как изречения Сивиллы. В них крылась тайна, недоступная профанам. Я видел Белого только ребенком в его семье, и все это фальшивое ломанье, наблюдавшееся и другими – только без поклонения, – вызывало во мне крайне неприятное чувство».

Салон Морозовой в годы первой русской революции напоминал растревоженный пчелиный улей, а то и развороченное осиное гнездо, где



смешались разношерстные политические платформы, взгляды и психологически несовместимые лица. Хозяйке роскошного особняка (некоторые даже называли его дворцом) подчас стоило огромных усилий хотя бы на время примирять непримиримое, укрощать самых буйных оппонентов, направлять зашедшие в тупик дискуссии в нейтральное русло и сосредоточить внимание гостей на проблемах философии, литературы и искусства. Андрей Белый вспоминает:

«Весной 1905 года получаешь, бывало, тяжелый, сине-лиловый конверт; разрываешь: на толстой бумаге большими, красивыми буквами – четко проставлено: „Милый Борис Николаевич, – такого-то жду: посидим вечерок. М. Морозова“. Мимо передней в египетском стиле идешь; зал – большой, неуютный, холодный, лепной; гулок шаг; мимо, – в очень уютную белую комнату, устланную мягким серым ковром, куда мягко выходит из спальни большая-большая, сияющая улыбкой Морозова; мягко садится: большая, – на низенький, малый диванчик; несут чайный столик: к ногам; разговор – обо всем и ни о чем; в разговоре высказывала она личную доброту, мягкость; она любила поговорить о судьбах жизни, о долге не впадать в уныние, о Владимире Соловьеве, о Ницше, о Скрябине, о невозможности строить путь жизни на Канте; тут же и анекдоты: о Кубицком, о Скрябине... <...> о Вячеславе Иванове (с ним М. К. в Швейцарии познакомилась до меня). В трудные минуты жизни М. К. делала усилия меня приободрить; и вызывала на интимность; у нее были ослепительные глаза, с отблеском то сапфира, то изумруда; в свою белую тальму, бывало, закутается, привалится к дивану; и – слушает».

К сказанному Белый добавляет: «...Маргарита Кирилловна поддерживала меня своим мягким эпическим пафосом в трудные годы мои; она чуяла глубокое, внутреннее отчаяние во мне – и вызывала меня на откровенность, чтобы смягчить мою боль; ласково бывало смеется; глаза же – (великолепные, сверкающие, голубые) – вливаются в душу, и разговор переходит с религиозного или морального обсуждения темы дня на конкретнейшие переживания моей личной жизни; да, – прямо скажу: мы ходим к Морозовой за моральной поддержкой; выкладывав ей все-все: о себе, о своих отношениях к людям; рассказывал ей о моих отношениях с А[лександром] А[лександровичем] и Л[юбовью] Д[митриевной]; Маргарита Кирилловна молча слушает, помнится, вся закутавшись в мягкую уютную тальму; лишь вспыхивающие блеском ее бриллиантовые глаза играют бывало переживаниями твоей личной жизни».

В середине июня Андрей Белый и Сергей Соловьев побывали у Блоков в Шахматове. Новая встреча с Сашей и Любой оказалась натянутой и грустной, а недельное пребывание в гостях слилось в какую-то одну общую драму, угнетающую всех ее участников. Всех точно давило вынужденное совместное присутствие. В мемуарах Белого читаем: «По приезде мы сразу же ощутили, что что-то случилось; мы встретились недоуменно; недоговоренность какая-то уж стояла; со странной натяжкой мы ощущали себя по отношению друг к другу; А. А. был другой; и Л. Д. изменилась. Казалось мне: и А. А. и Л. Д. нас не встретили с прежним радушием. <...>

Заметил я вскоре же нечто, меня огорчившее; именно: я заметил, с недоумением, – мне очень трудно „втроем“, „вчетвером“; прежде – трудностей не было; прежде С. М. [Соловьев] был цементом, связующим и А. А., и меня; так было в Москве; и – так было в Шахматове; теперь – изменилось все это; я стал замечать: „тройки“, которая возникала естественно, – нет; то был порознь с А. А., то был порознь с С. М.; вместе было нам неуютно, натянуто – не выходили сидения вместе; весь стиль моего отношения к Блокам (к А. А. и к Л. Д., к Александре Андреевне) переменялся разительно; был как бы принят в семью (младшим братом), где я отдыхал от вопросов, просиживая в Казармах; теологические вопросы меж нами без всякого уговора совсем отступили куда-то. <...>

Л. Д., *строгая наша „сестра“*, или – „око“ меж нами – переживала какую-то думу; заметил я в ней того времени обостренное психологическое любопытство. Какая-то в ней просыпалась пытливость; она изучала нас всех: в наших сходствах и в наших различиях; даже: она провоцировала, чтобы в каждом из нас проявлялось раздельное между нами. А. А. – вошел в полосу мрака; и намечалась какая-то скрытая рознь между ним и Л. Д. Уже не было молодой прежней „пары“; присоединялся семейные трудности; у Л. Д. все отчетливей нарастало какое-то отчуждение от Александры Андреевны; семейные трения углубляли в А. А. разуверенье в себе. В это время не мог он писать. <...> Былые сидения после чая закончились; <...> Л. Д. – уходила; А. А. – уходил, без нее; я – бродил в напряженной тревоге – бесцельно по малым дорожкам тенистого сада, порой опускаясь в овраг...»

Так продолжалось до самого отъезда из Шахматова. Главных причин две, тесно переплетенных между собой: крепнущее охлаждение между Блоком и его женой и крепнущие чувства Андрея Белого к Любви

Дмитриевне, в чем уже не сомневался ни один из участников «любовного треугольника». О сложившейся ситуации и очередной мистериальной любви Белого знали некоторые ближайшие друзья и, в частности, Зинаида Гиппиус, с которой юный друг «Боря» был предельно откровенен. «Зина» же страсть как любила вторгаться в чужие интимные отношения, тщетно пытаясь сыграть роль «доброй феи» и одновременно чисто по-женски ревнуя к той, кто оказался нужнее и важнее, чем она сама. Еще в июне, зная, что Белый собрался навестить Блоков, она полукокетливо напутствовала его и приглашала к себе на дачу: «<... > Не очень там увлекайтесь блочьею женой, не упускайте во времени главного, – важен, очень важен ваш приезд сюда теперь! А про Софию-премудрость я вам расскажу настоящее, реальное, прекрасное».

Перед отъездом из Шахматова Белый передал Любе через Сергея *письмо с объяснением в любви* (надо полагать, давно обдуманное и заранее написанное). Подробности неизвестны, ибо само послание до нас не дошло. Зато сохранился ответ – мягкий, но непреклонный, – отправленный вдогонку: «Милый Борис Николаевич. Я рада, что Вы меня любите; когда читала Ваше письмо, было так тепло и серьезно. Любите меня – это хорошо; это одно я могу Вам сказать теперь, это я знаю. А помочь Вам жить, помочь уйти от мучения – я не могу. Я не могу этого сделать даже для Саши. Когда захотите меня видеть – приезжайте, нам видеться можно и нужно; я всегда буду Вам рада, это не будет ни трудно, ни тяжело, ни Вам, ни мне. Я не покину Вас, часто буду думать о Вас и призывать для Вас всей моей силой тихие закаты. Любящая Вас Л. Блок».

Даже и невооруженным глазом видно: страстное (в этом не приходится сомневаться!) объяснение Белого не явилось для Любви Дмитриевны неожиданностью. Романтические чувства Белого были явно ей по душе, но для ответной положительной реакции она пока не созрела. Однако и дверь для надежды полностью не захлопнула. Этим и не преминул воспользоваться «верный рыцарь». В последующие недели и месяцы (вплоть до середины сентября) он обрушил на даму своего сердца лавину любовных признаний, из коих не сохранилось ни одного, но которые она честно показывала мужу и даже свекрови.

Как и любой влюбленный, Белый испытывал необычайный прилив творческого вдохновения. Почти на месяц он поселился в имении Серебряный Колодезь, где ему работалось особенно хорошо. Здесь он на одном дыхании написал одну из лучших своих программных статей «Луг зеленый», где в символистско-поэтической форме приветствовал ожидаемое революционное обновление Родины. Он вдохновенно

сравнивает Россию и с «Лугом зеленым», и со Спящей Красавицей, и с пани Катериной – трагическим персонажем из гоголевской «Страшной мести»: «<...> Еще недавно Россия спала. Путь жизни, как и путь смерти, – были одинаково далеки от нее. Россия уподоблялась символическому образу спящей пани Катерины, душу которой украл страшный колдун, чтобы пытаться и мучить ее в чуждом замке. Пани Катерина должна сознательно решить, кому она отдаст свою душу: любимому ли мужу, казаку Даниле, борющемуся с иноплеменным нашествием, чтоб сохранить для своей красавицы родной аромат зеленого луга, или колдуну из страны иноземной, облеченному в жупан огненный, словно пышущий раскаленным жаром железоплавильных печей. В колоссальных образах Катерины и старого колдуна Гоголь бессмертно выразил томление спящей родины – Красавицы, стоящей на распутье между механической мертвенностью и первобытной грубостью. У Красавицы в сердце бьется несказанное. Но отдать душу свою несказанному – значит взорвать общественный механизм и идти по религиозному пути дляковки новых форм жизни. Вот почему, среди бесплодных споров и видимой оторванности от жизни, сама жизнь – жизнь зеленого луга – одинаково бьется в сердцах и простых, и мудреных людей русских».

Приведенный фрагмент (да, впрочем, и вся статья) привел Блока в восторг. «Более близкого, чем у Тебя о пани Катерине, мне нет ничего», – признается он в письме Белому чуть позже. Действительно, статья написана не только под воздействием укрепившейся любви к жене Блока, но и под непосредственным влиянием тех доверительных разговоров, которые оба поэта недавно вели в Шахматове. Белый в особенности проникся неповторимой гоголевской фантазмагорией и с огромнейшим удовольствием в течение всего лета переносил ее на реалии природы Подмосковья и революционного подъема в Москве и России, облекая, разумеется, свои мысли в привычную символистскую форму:

«<...> Там, в бирюзовой, как небо, тишине, встречаются наши души; и когда из этих бирюзовых пространств мы глядим друг на друга бирюзовыми пространствами глаз, невольный вихрь кружит души наши. И бирюзовое небо над нами становится нашей общей единой Душой – душой Мира. Крик ласточек, безумно жгучий, разрывает пространство и ранит сердце неслыханной близостью. Над нами поет голубая птица Вечности, и в сердцах наших просыпается голубая, неслыханная любовь – любовь, в белизне засквозившая бездной. И мы видим одно, слышим одно в формах неоформленное. Установленные формы становятся средством намекнуть о том, что еще должно оформиться. Тут начинается особого рода символизм,

свойственный нашей эпохе. В ней намечаются методы образования новых форм жизни. <...> Я знаю, мы вместе. Мы идем к одному. Мы – вечные, вольные. Души наши закружились в вольной пляске великого Ветра. Это – Ветер Освобождения. <...> Россия, проснись: ты не пани Катерина – чего там в прятки играть! Ведь душа твоя Мировая. Верни себе Душу, над которой надмеваётся чудовище в огненном жупане: проснись, и даны тебе будут крылья большого орла, чтоб спастись от страшного пана, называющего себя твоим отцом. Не отец он тебе, казак в красном жупане, а оборотень – Змей Горыныч, собирающийся похитить тебя и дитя твое пожрать».

\* \* \*

На лето Маргарита Кирилловна Морозова вывозила детей в имение, находившееся в двадцати пяти верстах от Твери, и в августе пригласила туда погостить своего молодого друга. Вскоре они стали неразлучной парой: каждый божий день подолгу гуляли вместе, иногда до самой ночи, а то и до утра. Естественно, близкие люди и друзья звали Белого не по псевдониму, а по настоящему имени – Боря, Борис, Борис Николаевич. В мемуарах о далеких-предалеких днях молодости, написанных на склоне лет, Маргарита Морозова вспоминала:

«Слушать Бориса Николаевича было для меня совсем новым, никогда мной раньше не испытанным наслаждением. Я никогда не встречала, ни до, ни после, человека с такой, скажу без преувеличения, гениальной поэтической фантазией. Я сидела и слушала, как самые чудесные, волшебные сказки, его рассказы о том, что он пишет, или о том, что он думает писать. Это был действительно гениальный импровизатор. Помню, что особенно любимыми темами его были метели и зори, особенно закаты, похожие на „барсовую шкуру“, т. е. золотые, красноватые, и по небу были разбросаны темноватые, небольшие облачка. Он их особенно любил, но и опасался, как предвещающих что-то недоброе. Его живая поэтическая речь, которая поражала своими неожиданными чудесными образами, сравнениями, необыкновенным сочетанием слов, новыми словами, которые находили тончайшие оттенки и открывали глубины, в которые, казалось, вы заглядывали. Перед вами раскрывались какие-то просторы, освещались картины природы, двумя-тремя брошенными словами. Также и люди, часто наши общие знакомые, друзья, в этих импровизациях получали какой-то фантастический, а иногда карикатурный образ, но который раскрывал в

двух-трех штрихах их сущность. Вообще, слушая Бориса Николаевича, я всегда вспоминала Гоголя, которого я особенно с детства любила, но, конечно, Гоголя модернизированного. В беседе Борис Николаевич был единственным, ни с кем не сравнимым. Все, конечно, сводилось к тому, что он говорил один, а его собеседники его слушали как замороженные».

Мнение женского большинства, окружавшего тогда Андрея Белого, достаточно точно выразила свояченица В. Я. Брюсова Бронислава Погорелова, сотрудница брюсовского журнала «Весы» и символистского издательства «Скорпион». «В ту пору, – вспоминает наблюдательная дама, – был он красив редкой, прямо ангелоподобной красотой. Огромные глаза – „гладь озерная“, необычайно близко поставленные, сияли постоянным восторгом. Прекрасный цвет лица, темные ресницы и брови при пепельно-белокурых волосах, которые своей непокорной пышностью возвышались особенным золотистым ореолом над высоким красивым лбом. Б. Н. был необычайно учтив и хорошо воспитан. Впрочем, эта воспитанность не мешала ему быть безудержно разговорчивым. Говорить он мог без умолку целыми часами, и для него было неважно, в какой мере его слова интересны собеседнику».

На необыкновенные глаза писателя обращали внимание не только женщины. «Бирюзоглазым» называл его Борис Зайцев. Он же писал о «лазури бугаевских глаз» или о их «эмалевой бирюзе». «Зеленый взор волшебных глаз», – вторил ему Федор Степун (серьезного философа особенно трудно заподозрить в сентиментальности). «Очень любопытны его глаза, – отмечает давно забытый писатель Михаил Пантюхов, – они светло-серые, с несколько желтоватыми золотистыми лучами, слегка влажные». Сын Леонида Андреева – Вадим, в будущем тоже писатель, познакомившийся с А. Белым в эмигрантском Берлине, обратил внимание на другое: «<...> Он оставался внутри себя. Даже сияние глаз стало как бы всасываться, схваченное световыми воронками, уводящими в глубину». Что же тогда говорить о женщинах! Маргарита Морозова – первая Муза поэта – конечно же тоже обратила внимание на необыкновенно красивые глаза Белого. «Вдохновенно-безумное лицо пророка...синие лучисто-огневые глаза», – писала его вторая Муза – Нина Петровская. «Опрокинутые глаза», – скажет третья Муза – Любовь Менделеева-Блок.<sup>[17]</sup>

М. К. Морозова доверила бумаге следующее свое впечатление: «Внешность Бориса Николаевича, а особенно его манера говорить и его движения были очень своеобразны. В его внешности, при первом взгляде на него, бросались в глаза его лоб, высокий и выпуклый, и глаза, большие, светло-серо-голубые, с черными, загнутыми кверху ресницами, большою

частью широко открытые и смотрящие, не мигая, куда-то внутрь себя. Глаза очень выразительные и постоянно менявшиеся. Лоб его был обрамлен немного редующими волосами. Овал лица и черты его были очень мягкие. Роста он был невысокого, очень худ. Ходил он очень странно, както крадучись, иногда озираясь, нерешительно, как будто на цыпочках и покачиваясь верхом корпуса наперед. На всем его существе был отпечаток большой нервности и какой-то особенной чувствительности, казалось, что он все время к чему-то прислушивается. Когда он говорил с волнением о чем-нибудь, то он вдруг вставал, выпрямлялся, закидывал голову, глаза его темнели, почти закрывались, веки как-то трепетали и голос его, вообще очень звучный, понижался и вся фигура делалась какой-то величавой, торжественной. А иногда, наоборот, глаза его все расширялись, не мигая, как будто он слышит не только внутри себя, но и где-то еще здесь, какие-то голоса, и он отводил голову в сторону, молча и не мигая оглядывался и шептал беззвучно, одними губами: „да, да“. Когда он слушал кого-нибудь, то он часто в знак согласия, широко открыв глаза, как-то удивленно открывал рот, беззвучно шепча „да, да“, и много раз кивал головой».

Какова же судьба мистериальной любви к его Первой Музе – М. К. Морозовой? Она продолжалась примерно в том же духе. При невозможности увидеться лично Белый по-прежнему одаривал ее возвышенными и нежными письмами, одновременно посылая точно такие же и Третьей Музе – Любви Дмитриевне. Вот лишь несколько фрагментов из писем того времени Белого к Морозовой, некоторые из них он по-прежнему посылал инкогнито, за подписью «Ваш рыцарь», не подозревая даже, что Маргарита Кирилловна давно уже разгадала мистификацию: «<...> Хочется тихо сидеть рядом с Вами, по-детски радоваться, и смеяться, и плакать. Глядеть в глаза „ни о чем“. Пусть душа моя душе Вашей улыбается. Знаю давно Вас, то, что являлись мне в тихих снах юности. <... > Захотелось безумно сказать Вам, – нет, крикнуть через пространство, что Вы свет для меня. Не знаю, чему радуюсь, чему улыбаюсь, глядя на Вас – но, смеюсь, улыбаюсь, радуюсь. Душа моя сияет. <...> Вы зоря – Ваша душа зоревая. Падают дни в чашу Вечности. И чаша, что душа, наполняется прошлым. День за днем, капля за каплей. Знаете, я далеко слышу; быть может, мне доступна музыка Вашей души. <... > Вы – светлый луч моей жизни. <...> Опять что-то в сердце поет, ясно и хорошо на душе; и это оттого, что Вас видел сегодня! Вы такая мне сказочная, Вы мне так нужны, как человек и сказка: Вы воистину для меня символ! <...>»

Если М. К. Морозова оставалась для Белого «небесным символом», то о Любви Дмитриевне он уже мечтал как о любовнице и настоящей жене,

зная о трещине в ее отношениях с законным мужем. Наконец нетерпение и напористость Белого перешли все границы и он впервые написал вызывающее письмо Блоку. В пространном и достаточно сумбурном послании он допустил бестактное высказывание в адрес друга, о чем уже скоро искренне пожалел и за что еще немного погодя готов был столь же искренне извиниться. Вкратце суть возникшей коллизии такова. 2 октября 1905 года Блок отправил Белому очередное письмо, приложив к нему 20 новых, пока что не опубликованных стихотворений (среди них шедевр – «Девушка пела в церковном хоре», которым в дальнейшем всегда оканчивал публичное чтение собственных стихов), и как всегда поинтересовался мнением друга.

У Белого к тому времени обостренность негативного восприятия всего, что касалось Александра Блока, достигло своего апогея, и ему померещилось в полученной подборке стихов совсем не то, что из нее вытекало на самом деле. Он усмотрел в направленности тематики стихов ни больше ни меньше как *измену прежнему идеалу в лице Прекрасной Дамы*, заменой ее обыденным бытием и языческими мотивами. Самого Блока задел за живое прозрачный намек на его неискренность и покорило эмоциональное высказывание Белого насчет того, что он, дескать, «обливался кровью», читая стих Блока. Поскольку же за «преданным идеалом» явственно обозначался образ совершенно конкретной живой женщины – Любви Дмитриевны, она тоже оскорбилась не меньше мужа, ответив Белому жестко и недвусмысленно (ее письмо датировано 27 октября 1905 года): «Борис Николаевич, я не хочу получать Ваших писем, до тех пор, пока Вы не искупите своей лжи Вашего письма к Саше. Вы забыли, что я – с ним; погибнет он – погибну и я; а если спасусь, то – им, и только им. Поймите, что тон превосходства, с которым Вы к нему обращаетесь, для меня невыносим. Пока Вы его не искупите, я не верну Вам моего расположения. Меня признаете, его вычеркиваете – в этом нет правды. И в правду Вашего отношения ко мне я не верю. Вы очень чужды мне теперь. Л. Блок».

Разумеется, Белый и не думал униматься. Он все больше и больше осознавал неоспоримые права на Любовь Дмитриевну, ибо простодушно полагал: раз ее муж отрекся от идеала Прекрасной Дамы, значит, и нет никого в мире, кроме него – Белого, кто бы мог этот идеал сохранить для Жизни, для Бессмертия, для Вечности, для Настоящего и Будущего. Однако тут, помимо субъективного настроения и любовной горячки, его неудержимо захватил вихрь других событий...



Революция в России входила в стадию своей кульминации. Москва бурлила сверху и до самых низов. Говоря словами самого Белого, «все кипело, как в кратере». В университетских аудиториях вместо обычных занятий шли непрерывные митинги. Среди постоянных и наиболее ярких ораторов – Андрей Белый. Вместе с радикальным меньшинством он голосует «за немедленное прекращение всех занятий с превращением университета в трибуну революции» (резолуция не прошла). Здесь его как раз и услышал в первый раз меньшевик Николай Валентинов (настоящая фамилия – Вольский), впоследствии ненадолго, но очень тесно сблизившийся с Белым и оставивший интересные и подробные мемуары об этом периоде московской жизни под названием «Два года с символистами». С первого взгляда поражала как сама фигура молодого оратора («с дергами рук, ног и шеи, то притоптывающего, то поднимающего руки, точно подтягивался на трапеции»), так и то, что он говорил. А призывал он, ни больше ни меньше, готовиться к «взрыву такой силы, который должен *ничего не оставить не только от самодержавной государственности, но и государства вообще*» (!!!). Типичная бакунинская идея! (Надо заметить, что колоссальная по своей значимости и неповторимости фигура Михаила Бакунина в то время была чрезвычайно популярна среди молодежи, ими увлекались, в частности, Андрей Белый и Александр Блок.)

Тогда же Валентинов впервые услышал любимое словечко Белого – «волить» (от слова «воля»). Хотя эта лексема имеется в соответствующем «гнезде» «Толкового словаря» Владимира Даля, она особенно широко не прижилась в русском языке (и, как говорится, до сих пор режет слух). А вот Андрей Белый использовал ее при каждом удобном случае, и в речи с призывом о разрушении государства постоянно повторял, что теперь нужно «волить взрыва». В то время на улицах, примыкавших к университету, происходили непрерывные столкновения (пока что в основном словесные) с черносотенцами, видевшими в ненавистных им студентах один из главных источников еще более ненавистной революции. (Комплекс старых университетских зданий на Моховой улице, как известно, непосредственно примыкает к Охотному Ряду, считавшемуся оплотом консервативно и монархически настроенных националистов; отсюда и ярлык «охотнорядец».)

3 октября забастовали железнодорожники, вскоре их поддержала вся трудовая Москва, включая либеральную буржуазию и передовую

интеллигенцию. Забастовали газеты, в городе отключили электричество, и московские улицы погрузились во мрак. Обывателей охватила паника: что же станется, когда перекроют водопровод (к счастью, до этого не дошло). За несколько дней забастовка охватила всю страну и превратилась во Всероссийскую политическую стачку, длившуюся до 22 октября. 15 октября толпа вооруженных чем попало «охотнорядцев» напала на студентов и рабочих, митинговавших у здания городской думы рядом с Историческим музеем, и устроила кровавое их избиение. В центр города ввели войска. В ответ полторы тысячи студентов забаррикадировались в университетских зданиях на Моховой, создали боевую дружину и разбились на отряды по десять человек, организовав круглосуточное охранение. Вынужденные пойти на компромисс власти решили временно отвести регулярные части, а черносотенцам велели разойтись.

17 октября царь издал Манифест о предоставлении политических свобод, что вызвало волну ура-патриотических манифестаций, но революционного накала не сняло. 18 октября черносотенцем Михалиным у всех на виду ударом железного ломика по голове был убит большевик Николай Бауман, руководитель московских социал-демократов. Его похороны 20 октября превратились в массовую демонстрацию протеста против разгула реакции, в которой независимо от политической ориентации участвовало не менее тридцати тысяч человек. Впереди невиданной колонны в полном составе шел консерваторский симфонический оркестр. Андрей Белый ждал процессию на Лубянской площади. Впечатления того памятного дня, как живые, сохранились в нем и спустя четверть века:

«<...> С Лубянки, как с горизонта, выпенивалась река знамен: сплошную кровью; невероятное зрелище (я встал на тумбу): сдержанно, шаг за шагом, под рощей знамен, шли ряды взявшихся под руки мужчин и женщин с бледными, оцепеневшими в решимости, вперед вперенными лицами; перегородившись плакатами, в ударах оркестров шли нога в ногу: за рядом ряд: за десятком десятков людей, – как один человек; ряд, отчетливо отделенный от ряда, – одна неломаемая полоса, кровавящаяся лентами, перевязями, жетонами; и – даже: котелком, обтянутым кумачом; десять ног – как одна; ряд – в рядах отряда; отряд – в отрядах колонны: одной, другой – без конца; и стало казаться: не было начала процессии, начавшейся до создания мира, отрезанной от тротуаров двумя цепями; по бокам – красные колонновожатые с теми ж бледными, вперед вперенными лицами: „Вставай, подымайся!“

Банты, перевязи, плакаты, ленты венков; и – знамена, знамена,

знамена; какой режиссер инсценировал из-под выстрелов это зрелище? Вышел впервые на улицы Москвы рабочий класс. Смотрели во все глаза: „Вот он какой!“ Протекание полосато-пятнистой и красно-черной реки, не имеющей ни конца, ни начала, – как лежание чудовищно огромного кабеля с надписью: „Не подходите: смертельно!“ Кабель, заряжая, сотрясал воздух – до ощущения электричества на кончиках волос; било молотами по сознанию: „Это то, от удара чего разлетится вдребезги старый мир“.

И уже проплыл покрытый алым бархатом гроб под склонением алого бархата знамени, окаймленного золотом; за гробом, отдельно от прочих, шла статная группа – солдат, офицеров с красными бантами; и – гроба нет; опять слитые телами десятки: одна нога – десять ног; из-под знамен и плакатов построенные в колонны – отряды рабочих: еще и еще; от Лубянской площади – та же река знамен! Втянутый неестественной силой, внырнул я под цепь, перестав быть и став „всеми“, влекшими мимо улиц; как сквозь сон: около консерватории ухнуло мощно: „Вы жертвою пали!“ Консерваторский оркестр стал вливаться в процессию».

После похорон Баумана вновь произошли столкновения черносотенцев со студентами на Манежной площади и Моховой улице. Вынужденная защитить товарищей студенческая боевая дружина открыла огонь поверх голов нападавших на них «охотнорядцев», несколько пуль попало в оконные стекла Манежа, где в это время размещалась казачья сотня. Казаки, не разобравшись в ситуации, повыскакивали из закрытого помещения и открыли огонь на поражение; в результате шесть студентов оказались убитыми, около шестидесяти – ранены...

\* \* \*

Размолвка с Блоками по-прежнему не давала Белому покоя. Отношения внутри сложившегося треугольника замерзли на нулевой точке и, по существу, зашли в тупик. Находясь в гуще революционных событий, Белый все больше и больше осознал, сколь малосущественными с точки зрения *Вечности* представляются разногласия между двумя творческими натурами. Но и любовь к жене Блока не оставляла его, напротив, крепла с каждым днем. Необходимо было хоть как-то разрядить обстановку, и он решил опять ехать в Петербург...

Встреча с четой Блоков произошла на нейтральной ресторанной территории. Каждый по-своему чувствовал себя виноватым, однако долгих и мучительных для всех объяснений не последовало. Поначалу

конфузились друг перед другом, как дети. Но Блок разрядил обстановку и предложил считать самый факт встречи окончательным объяснением. Любовь Дмитриевна добавила: «Довольно играть в разбойников!» Пережитое в Шахматове и после него всем троим тотчас же показалось химерой, и они с облегченной душой перешли к обычному – как ни в чем не бывало – непринужденному разговору. Между тем снята была только эмоциональная напряженность. И у Белого, и у Блоков в те дни на слуху и на языке постоянно вертелись слова известного романса Михаила Глинки «Сомнение», в котором почти что с фотографической точностью описывались создавшаяся ситуация и умонастроение каждого: *«Уймитесь, волнения страсти! / Засни, безнадежное сердце! <...>»* (слова Нестора Кукольника). К сожалению, для Белого почти что пророческими казались последующие строки романса: *«Как сон, неотступный и грозный, / Мне снится соперник счастливый, / И тайно и злобно / Кипящая ревность пылает, / И тайно и злобно / Оружия ищет рука...»*

Тем не менее развязка романса обнадеживала: с момента достопамятной встречи в петербургском ресторане она воодушевленно зазвучала в сознании не только одного Белого, но и предмета его неизбывной страсти – Любви Дмитриевны: *«Минует печальное время — / Мы снова обнимем друг друга, / И страстно и жарко / Забьется воскресшее сердце, / И страстно и жарко / С устами сольются уста»*. С этого самого момента чувства Любви Дмитриевны вновь раздвоились. Она ощутила неотвратимое влечение к Андрею Белому, но супружеский долг постоянно предостерегал ее от дальнейших необдуманных шагов. Нет, ей не приходилось выбирать между двумя выдающимися поэтами, один из которых после смерти вообще станет считаться великим (хотя, по правде говоря, внимание обоих тоже льстило). Ей приходилось раздваиваться между всепоглощающей страстностью одного и абстрактной привязанностью другого, к тому же компенсируемой плотской любовью на стороне (о чем она прекрасно знала). Такая странная и непредсказуемая ситуация, с нервными срывами то одного, то другого, то третьего, продолжалась около года.

В Петербурге Белый на сей раз задержался почти на три недели. На второй день по приезде он на Литейном проспекте неожиданно столкнулся лицом к лицу с проживавшим поблизости Мережковским, и тот, не принимая никаких возражений, повел младшего сподвижника-символиста к себе: «Зина, посмотри! Я его на улице нашел!» Так что на ближайшие дни Белому нашлось кому излить свою душу: Зинаида Гиппиус, а также ее окружение теперь надолго сделались исповедниками и консультантами в

интимных делах, где вмешательство посторонних, как правило, больше мешает, чем помогает. Иногда Белый возвращался домой очень поздно: вместе с Блоками слушал очередную оперу из тетралогии «Кольцо Нибелунга» Вагнера, от которого Любовь Дмитриевна была без ума. Александр и Борис ее восторг разделяли.

Душа его ликовала, каждый день он летал от Мережковских к Блокам, точно на крыльях. Однажды закружился в вихревом танце с Татой (сестрой Зинаиды, художницей) так, что сломал антикварный столик. Послушаем рассказ самого Белого: «Атмосфера расчистилась; в долгих общеньях с А. А. и с Л. Д. было что-то от атмосферы, от нас независимой, необъяснимой реальными фактами биографии; вдруг становилось всем радостно и светло, – так светло, что хотелось, сорвавшись (так!) с места, запеть, завертеться, хлопнуть в ладоши; а то начинало темнеть – без причины; темнело, темнело, – темнели и мы под тяжелыми, душными тучами; тучами неожиданно обложило нас в Шахматове в 905 году; наоборот: туч почти не видали мы в ноябре – декабре в Петербурге. Я помню, что раз, возвратившись от Блоков, у Мережковских от беспричинной меня охватившей вдруг радости я устроил сплошной кавардак, взявши за руки Т. Н. Гиппиус и вертясь с ней по комнатам; бросив ее, завертелся один я, как „*derviche tournant*“ („вращающийся дервиш“. – фр.), в кабинете Д. С. Мережковского; тут с разлету я опрокинул блистающий, прибранный столик, сломав ему ножку. <...> Впоследствии, углубляясь в особенность мира поэта, я понял, что кроме явных естественных объяснений изменности (так!) настроений меж нами, необъяснимое что-то осталось: в А. А. было что-то, что – действовало; настроением он меня заражал... <...>»

Теплые воспоминания оставил Белый и о приютившем хозяине салона – Д. С. Мережковском: «О, как знакома мне такая картина. Большая комната, оклеенная красными обоями. Пунцовые угли камина тлеют тихо: будто золотой леопард, испещренный серыми пятнами, тихо потрескивают в камине. На диване З. Н. Мережковская, в белом, с краснорозовыми волосами, вся в отсветах огня, затянувшись надушенной папироской, ведет долгую, всю озаренную внутренним светом беседу с каким-нибудь новообращенным мистиком. С неженской ловкостью фехтует она диалектикой, точно остро отточенной рапирой, и собеседник, будь он тонко образованный философ или богослов, невольно отступает перед сверкающим лезвием ее анализа. А она то свертывается клубочком на диване, то ярким порывом выпрямится, выманив доказательство в свою пользу, и папироска ее опишет по воздуху огненный круг. Собеседник

побежден. Сидит у камина, опустив голову, и щипцами размешивает ярые уголья, кипящие золотым роем искр, точно искрами шипучего шампанского. И уже хмель беседы, вино новое религиозных исканий ядом сладким, благодатным неотразимо входит в его душу.

Тут в уютной квартире на Литейной сколько раз приходилось мне присутствовать при самых значительных, утонченных прениях, наложивших отпечаток на всю мою жизнь. Тут создавались новые мысли, расцветали никогда не расцветавшие цветы. <...> Тут, у себя, когда по вечерам приходили друзья, близкие, поклонники, Мережковский развертывался во всю свою величину: казался большим и близким, родным, но далеким, пронизанным лучами одного ему ведомого восторга: казался прекрасным, был своим собственным художественным произведением. Говорил слова глубочайшей искренности, а если спорил, спорил без тех приемов литературной вежливости, которая опошляет и обесценивает все коренные вопросы, в которых прежде всего трепет тайны, а не трепет вежливости, не трепет условности. <... > Да, глубокая мудрость, соединенная с проникновением в тайны природы, и доньше в Мережковском. И доньше художник он, поэт тишины, из которой рождаются грома его речений. Бывало, говорит, метель снежным в окне крылом забьет, – и он присмирет, замолчит; быстрыми шагами пройдет в переднюю. „А где же Дмитрий Сергеевич?“ Нет его: он ушел в метель».

Белому давно уже нужно было в Москву (хотя из-за революционных событий занятия в университете давно отменили), но поезда не ходили: железнодорожники вновь забастовали, а в Первопрестольной начались баррикадные бои – те самые, что войдут в историю как Декабрьское вооруженное восстание. Наконец при первой же возможности он засобиравшись домой. Отдал пистолет отчиму Блока – полковнику Францу Феликсовичу Кублицкому-Пиоттху, ибо знал: в Москве захваченного с оружием в руках могут расстрелять на месте. На вокзале его провожали Блоки. Настроение у всех троих было приподнятое. На прощание Блок сказал: «Переезжай-ка совсем к нам сюда». Люба добавила: «Скорее приезжайте: нам будет всем весело!» (Знала бы она, какое «веселье» их ждет впереди.) А через несколько дней не вытерпела и написала Белому в Москву – в ответ на его столь же нетерпеливое письмо: «Все, что Вы пишете, мне близко, близко. И я на все радуюсь и улыбаюсь. Очень хочу, чтобы Вы опять были в Петербурге, опять приходили бы к нам; тогда Вы видели бы мое к Вам отношение, даже если бы я и не говорила ничего. Ведь Вы будете так устроить свои дела, чтобы приехать в конце января? Вы знаете, как мы все этого хотим. Любящая Вас Л. Блок». (Правда,

каждый хотел своего...)

Центр Москвы за несколько дней боев между дружинниками и карателями изменился до неузнаваемости. Дома на Кудринской площади, откуда начиналась Пресня, были разворочены артиллерийскими снарядами. Повсюду поваленные телеграфные и фонарные столбы. Баррикады на проезжей части уже разобрали, но места ожесточенных боев угадывались без труда по следам пуль на стенах арбатских домов. В ходе декабрьских боев восьми тысячам вооруженных повстанцев в Москве противостояли пятнадцать тысяч солдат и две тысячи полицейских. Всего по городу было возведено восемьсот баррикад.

Мать и друзья рассказывали: совсем рядом соорудили семь баррикад, их обстрел продолжался днем и ночью. Казаки и солдаты, прорвавшие оборону, расстреливали всех подряд, кого заставляли на улице и, заведя в окна домов чью-либо голову, стреляли без предупреждения, подозревая в любом и каждом боевика. Вовсю действовало «знаменитое» предписание Трепова: «Холостных выстрелов не давать, патронов не жалеть». Всего в дни восстания погибло свыше тысячи человек, среди них 137 женщин и 86 детей; раненые же в счет не шли вообще...

Белого предупредили о «прелестях» комендантского часа: после шести вечера патрули хватают всех без разбора, избивают, отбирают деньги и часы, по группам более трех человек разрешено стрелять без предупреждения. В тот же день он заглянул к Маргарите Кирилловне Морозовой. Хотя роскошный дом ее в дни восстания оказался поблизости от эпицентра событий, снаряды его не задели, а сама хозяйка вместе с детьми пряталась в задних комнатах с окнами, выходящими во двор. Во время особенно интенсивного обстрела они спускались в подвал. О былых философских собраниях здесь в обозримом будущем нечего было и помышлять...

Московская жизнь между тем быстро входила в привычную колею. Приближался новый, 1906 год... Белого ужаснул «пир во время чумы»: миллионер Н. П. Рябушинский затеял в «Метрополе» грандиозный банкет по случаю выхода первого номера финансируемого им роскошного журнала «Золотое руно». Но не прийти он не мог – и не только потому, что здесь собрался весь символистский бомонд. Как было не прийти ему – вождю и вдохновителю «аргонавтов», чьим символом с момента основания стало «золотое руно», олицетворявшее солнце? О выпитом, съеденном, перебитом и перецелованном на сей безумно роскошной презентации долгое время потом еще ходили легенды, отголоски которых докатывались аж до Парижа... [\[18\]](#)

С января 1906 года в довольно-таки частых письмах друг к другу Блок и Белый перешли к обращению «Брат». А 14 или 15 января Блок еще и написал стихи, озаглавленные «Боре», которые так и начинались:

Милый брат! Завечерело.  
Чуть слышны колокола.  
Над равниной побелело —  
Сонноокая прошла.  
<...>

И вот Андрей Белый снова в Петербурге. Двух месяцев не прошло с последнего приезда в столицу. Чтобы не зависеть больше от Мережковских, остановился в меблированных комнатах и тотчас же послал с курьером огромный горшок с цветущим кустом гортензии для Любви Дмитриевны. Вечером – уже у Блоков. Последующие дни насыщены радостью свиданий и счастливого общения. 25 февраля Мережковские уезжали в Париж. В оставшиеся дни Белый успел после недолгой размолвки не только помириться с Дмитрием Сергеевичем, но и представить Любу своей confidentке – Зинаиде Николаевне. Та же, ссылаясь на шестое чувство и женскую интуицию, наедине заверила «Борю»: Любовь Дмитриевна не может его не любить; оба они просто созданы друг для друга...

Приближалась судьбоносная развязка. В разговоре наедине Белый убеждал Любу окончательно связать свою дальнейшую жизнь исключительно с ним. Переломный момент наступил 26 февраля 1906 года. Вместе с Блоками Белый возвращался с дневного концерта, где исполнялся вагнеровский «Парсифаль». Спустя три десятилетия Любовь Дмитриевна вспоминала: «<...> Саша ехал на санях с матерью, а я с Борей. Давно я знала любовь его, давно кокетливо ее принимала и поддерживала, не разбираясь в своих чувствах, легко укладывая свою заинтересованность им в рамки „братских“ (модное было у Белого слово) отношений. Но тут (помню даже где – на набережной, за домиком Петра Великого) на какую-то его фразу я повернулась к нему лицом – и остолбенела. Наши близко встретившиеся взгляды... но ведь *это* то же, то же! „Отрава сладкая...“ Мой мир, моя стихия, куда Саша не хотел возвращаться, – о как уже давно



и как недолго им отдавшись! Все время ощущая нелепость, немыслимость, невозможность, я взгляда отвести уже не могла... <...>»

Чтобы можно было встречаться с возлюбленной без помех, Белый нанял отдельную квартиру на Шпалерной улице, и отношения влюбленных вступили в решающую стадию. Как вспоминала Любовь Дмитриевна: «<... > Я была взбудоражена не менее Бори. Не успевали мы оставаться одни, как никакой уже преграды не стояло между нами и мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и не утоляющих поцелуев. Ничего не предвещая в сумбуре, я даже раз поехала к нему. Играя с огнем, уже позволяла вынуть тяжелые черепаховые гребни и шпильки, и волосы уже упали золотым плащом. <... > Но тут какое-то неловкое и неверное движение (Боря был в таких делах явно не многим опытнее меня) – отрезвило, и уже волосы собраны, и уже я бегу по лестнице, начиная понимать, что не так должна найти я выход из созданной мною путаницы».

Свои мемуары вдова Блока, как уже говорилось выше, написала в конце 30-х годов XX столетия. Цель преследовалась одна – по возможности описать всю историю сложных отношений с мужем. Тем не менее в них ни слова не говорится о далеко не единичных и вполне *реальных* (а не виртуальных) супружеских изменах. Среди мимолетных увлечений Любы были и друзья ее мужа (не считая Андрея Белого), их имена хорошо известны специалистам-блоковедам. Один из романов «на стороне», когда Любовь Дмитриевна вообще оставила дом и семью, надолго уехав с гастролировавшей по России театральной труппой, завершился, ко всему прочему, рождением внебрачного ребенка, умершего в раннем возрасте (сам Блок детей иметь не мог). Этому трагическому эпизоду в оборвавшейся супружеской жизни посвящены хрестоматийные стихи Блока:

Но час настал, и ты ушла из дому.  
Я бросил в ночь заветное кольцо.  
Ты отдала свою судьбу другому,  
И я забыл прекрасное лицо.  
<... >

Впечатления же Белого были записаны почти что по горячим следам, когда поцелуи Прекрасной Дамы еще, как говорится, не остыли у него на губах. Впечатления эти определенно отличаются от того, что написала спустя тридцать лет Любовь Дмитриевна. Ну хотя бы: стоило ли нанимать

квартиру ради одной встречи? Поэтому в интимном дневнике Белого и написано, что встреч было, по меньшей мере, несколько. Ощущения же мужской стороны писатель чуть позже запечатлел в беллетризированной форме в рассказе «Куст», опубликованном в седьмом – девятом (строеном) номере журнала «Золотое руно». Любовь Дмитриевна немедленно письменно отреагировала на публикацию и сделала автору запоздалое внушение за бестактность: нельзя, дескать, столь *фотографично* показывать их отношения. В чем же была усмотрена «*фотографичность*»?

Рассказ написан в «лучших традициях» символизма; в нем достаточно сложный и запутанный полусказочный сюжет, где действуют демонический любвеобильный Куст (под коим подразумевается Блок), сказочно прекрасная дочь Огородника (жена Блока) и странноватый Иван-царевич, который и с лекционной трибуны выступает, и с городовым дерется (Андрей Белый). Однако вовсе не это вызвало бурный протест со стороны Любови Дмитриевны, а эпизод, где дается натуралистическое описание поведения женщины, отдавшейся любовнику и охваченной эротическим предвкушением любовных ласк: «<... > Любила, любила: безвластная, опустила руки свои белые... и в лиственных объятиях сжатая, голову запрокинула, лия (так!) на землю медовые косы свои, <... > что говорила она, ведовскою прелестью усмехаясь, что любила, о чем воздыхала, печаловалась (так!), не услышал никто; не слышал и куст, целуя, целуя. И она упала, и выпрямился над ней владыко, <...> державные длани пышно протянул, а она теперь, склоненная перед ним, целовала зеленые его руки жадно: „Милый!“ <...>»

Если описанное – выдумка и никакому реальному событию не соответствует, то зачем, спрашивается, вообще обращать внимание на беллетристику, поднимать столько шума и столь неадекватно реагировать на полусказочную журнальную публикацию? Не спасло Андрея Белого от гневных упреков и вдохновенное описание внешности возлюбленной – настоящий прозаический гимн своей символистской Беатриче: «Белый, белый сарафан ее, заплатанный пурпуром, грудь тесня, прижимался; ее дышала грудь молодая жадно. Не смыкались уста ее красные, ее страстные чуть оттененные пухом уста персиковым, вечно шепчущие в небо голубое, прозрачное, в небо звездное ведовские свои призывы да признания. Соболиные брови, заянтаревший лик, бледно-розовых яблонь румянец да звезды-очи каким бархатным. Вкрадчивым, томным волновали душу, каким ласковым ожиданием – у, ароматом каким дыша – дурманило русалочных кос золото зеленое! А взоры? Уязвленному сердцу не вынести ее несказуемых, ее синих, ее хотя бы мимолетных взоров из-под тяжелых, как

свинец, темных ее ресниц, когда с улыбкой, ведающей соблазны, обжигала она вскользь, как миндаль, удлинненными очами. <...>». Ну, понятно – «улыбку, ведающую соблазны», Любовь Дмитриевна тоже простить не могла, усмотрев в этом порочащее женскую честь и выставление на всеобщее осмеяние интимно-святого и сокровенного. Но все это случится, как говорится, «под занавес». Пока же он (занавес) еще не закрылся...

\* \* \*

После долгих сомнений и колебаний Любовь Дмитриевна наконец решила расстаться с мужем при условии, что Белый увезет ее в Италию. Оставалось самое трудное для обоих – объяснение с Блоком. Конечно, он и сам обо всем догадывался. Но элементарная этика требовала личного разговора. Наконец он состоялся. В передаче Белого все происходило, как в декадентском романе: «Чудовищная, трагическая весна 1906 года... Я не расставался с Любовью Дмитриевной. Она потребовала – сама потребовала, чтобы я дал ей клятву спасти ее, даже против ее воли. А Саша молчал, бездонно молчал. Или пытался шутить. Или уходил пить красное вино. И вот мы пришли с нею к Саше в кабинет. Ведь я дал ей клятву. Его глаза просили: „Не надо“. Но я безжалостно: „Нам надо с тобой поговорить“. И он, кривя губы от боли, улыбаясь сквозь боль, тихо: „Что ж? Я рад“. И так открыто, так по-детски смотрел на меня голубыми, чудными глазами, так незащитно, беспомощно. Встали, прошли в кабинетик А. А., затворив плотно дверь; электричество (красненький абажур); вот и стол с деревянной папиросницей, шкаф с корешком тома Байрона, столь любимого, темно-желтая с красным ткань леопардовая какая-то, на Л. Д., шелестящая тихо, когда, точно кошка, Л. Д. припадала на жесты. Чтобы вовремя выпрыгнуть из застылости и очутиться между нами... <...>

Я все ему сказал. Все. Как обвинитель. Я стоял перед ним. Я ждал поединка. Я был готов принять удар. Даже смертельный удар. Нападай!.. Но он молчал. Долго молчал. И потом тихо, еще тише, чем раньше, с той же улыбкой медленно повторил: „Что ж... Я рад...“ Она с дивана, где сидела, крикнула: „Саша, да неужели же?..“ Но он ничего не ответил. И мы с ней оба молча вышли и тихо плотно закрыли дверь за собой. И она заплакала. И я заплакал с ней. Мне было стыдно за себя. За нее. А он... Такое величие, такое мужество! И как он был прекрасен в ту минуту. Святой Себастьян, пронзенный стрелами. А за окном каркали черные вороны. На наши головы каркали...»

Как истинный рыцарь Блок вроде бы согласился с решением Любы и Бори. Но как живой человек не мог признать ни измены, ни поражения. Уста его говорили «да», но сердце кричало «нет, нет, нет!». Вызов на дуэль еще впереди. Пока что он нашел более изящный и изощренный способ отомстить удачливому сопернику, который для Белого оказался хуже публичной пощечины. По сюжету одного весьма простенького стихотворения Блок написал театральный фарс «Балаганчик», его взялся поставить начинающий еще тогда режиссер Всеволод Мейерхольд. В полном соответствии с канонами итальянской «комедии масок» в блоковской пьесе действуют традиционные герои – Коломбина, Пьеро, Арлекин, Паяц. Но в развернутом фарсе легко угадывались действующие лица реальной любовной драмы – сам Блок, его жена и Андрей Белый. Символика мало понятна для непосвященных, но Белый понял все сразу, очень точно и оскорбился всерьез и надолго. Его задело за живое уже само название пьесы: не «Балаган» даже, а «Балаганчик», под коим подразумевалась любовь, казавшаяся столь трагической. Кроме того, предмет его возвышенной любви оказывается всего-навсего «картонной куклой», а кровь, пролившаяся на сцене, – обыкновенным «клюквенным соком». Низведение Прекрасной Дамы до «картонной куклы» – такой символики он принять не мог. Превращение символистской Мадонны в балаганную пустышку – в символистских кругах такие вещи не прощаются...

Между тем в обсуждение создавшейся ситуации втягивались все новые и новые, совершенно посторонние люди. Татьяна Гиппиус, сблизившаяся на время с Любовью Дмитриевной, прозрачно намекала, что наилучший выход из тупика – переход к «жизни втроем», какую давно уже вела сестра ее Зинаида, жившая одновременно с Д. С. Мережковским и Д. В. Философовым. Как ни странно, такая перспектива поначалу показалась Любе оптимальной. Она поделилась своими соображениями с Белым (не известно, состоялся ли аналогичный разговор с мужем), но тот в принципе отверг подобное решение проблемы. В интимных дневниковых записях он описал непростой разговор с возлюбленной и последующие события:

«Л. Д. мне объясняет, что Ал[ександр] Алекс[андрович] ей не муж; они не живут как муж и жена; она его любит братски, а меня – подлинно; всеми эти<ми> объяснениями она внушает мне мысль, что я должен ее развести с Александром] Александровичем] и на ней жениться; я предлагаю ей это; она – колеблется, предлагая, в свою очередь, мне нечто вроде *menage en trois* („любовь втроем“, „семья втроем“. – фр. ), что мне несимпатично; мы имеем разговор с Ал. Ал. и ею, где ставим вопрос, как

нам быть; Ал. Ал. – молчит, уклоняясь от решительного ответа, но как бы давая нам с Л. Д. свободу. <...> Она просит меня временно уехать в Москву и оставить ее одну, – дать ей разобраться в себе; при этом она заранее говорит, что она любит больше меня, чем Ал. Ал., и чтобы я боролся с ней же за то, чтобы она выбрала путь наш с ней. Я даю ей нечто вроде клятвы, что отныне я считаю нас соединенными в Духе и что не позволю ей остаться с Алекс[андром] Александровичем]» (выделено мной. – В. Д.).

Для поездки за границу, куда решили отправиться влюбленные, требовались деньги, – и немалые. Белый кинулся в Москву, чтобы их занять. Поначалу Люба полностью поддерживала его рвение и торопила возлюбленного в письмах: «Милый, я не понимаю, что значит – разлука с тобой. Ее нет, или я не вижу еще ее. Мне не грустно и не пусто. Какое-то спокойствие. Что оно значит? И почему я так радостно улыбалась, когда ты начал удаляться? Что будет дальше? Теперь мне хорошо – почему, не знаю. Напиши, что с тобой, как расстался со мной, понимаешь ли ты, что со мной. Люблю тебя, но ничего не понимаю. Хочу знать, как ты. Люблю тебя. Милый. Милый. Твоя Л. Б.».

Но вдруг тон переписки резко изменился. Любовь Дмитриевна опять заколебалась и впала в отчаяние. Если в одном письме она подтверждала любовь к Белому, то в следующем уже уверяла, что по-прежнему любит Блока, а в следующем за вторым – опять возвращалась на исходные позиции. Подборка выдержек из ее писем свидетельствует о полной растерянности и неуверенности ни в себе, ни в правильности сделанного выбора:

«Несомненно, что я люблю и тебя, истинно, вечно; но я люблю и Сашу, сегодня я влюблена в него, я его на тебя *не променяю*. Я должна принять трагедию любви к обоим вам. <...> Верю, Бог знает как твердо, что найду выход, буду с тобой, но и *останусь* с ним. О, еще будет мука, будет трагедия без конца; но будет хорошо! Буду с тобой! Какое счастье! Останусь с ним! И это счастье!» (13 марта 1906 года).

«<... > Саша теперь бесконечно нежен и ласков со мной; мне с ним хорошо, хорошо. Тебя не забываю, с тобой тоже будет хорошо, знаю, знаю! Милый, люблю тебя!» (14 марта 1906 года).

«Куда твои глаза манят, куда идти, заглянув в самую глубину их, – еще не понимаю. Не знаю еще, ошиблась ли я, подумав, что манят они на путь жизни и любви. Помню ясно еще мою живую к тебе любовь. Хотя теперь люблю тебя, как светлого брата с зелеными глазами...» (16 марта 1906 года).

«Боря, я поняла все. Истинной любовью я люблю Сашу. Вы мне –

брат... <...> Вы меня любите, верю, что почувете мою правду и примете ее, примете за меня мучения. <...> Боря, понимаете Вы, что не могу я изменить первой любви своей?» (17 марта 1906 года).

«Милый, бесценный мой Боря, опять мне очень тяжело. Саша почувствовал мое возвращение к тебе и очень страдает. Он думает, что это усталость от экзаменов, а я знаю, что это оттого, что я опять принадлежу поровну и ему, и тебе, милый, милый! Как ужасно, что не могу выбрать, не могу разлюбить ни его, ни тебя, тебя не могу, не могу разлюбить! Саша не хочет, чтобы ты приезжал в Петербург на Пасху, ни после – изза экзаменов. А я не могу себе представить, что не увижу тебя скоро, я хочу, чтобы ты приехал. <...> Непременно приезжай, хочу тебя видеть! Люблю тебя по-прежнему, знаю твою близость, твою необходимость для меня. Но разлука – мучительна, усложняет, путает, запутывает. Мне надо, чтобы ты был со мной, мы так непременно устроим, хотя бы и с мученьями. Господи, думала ли я месяц тому назад, что столько, столько переживу муки, признаю и полюблю ее! Не могу писать о моей любви к тебе, как хочу. Мне надо тебя видеть! Приезжай! Целую тебя долго, долго, милый. Твоя Л. Б. Получила сегодня твои все письма, мучилась ими, тобой; но ведь теперь все прошло, я твоя, твоя! (20 марта)».

Любовь Дмитриевна в самом деле никак не могла выбрать между любовью и долгом. В отчаянии делилась самым сокровенным и наболевшим с другом семьи – Евгением Ивановым: «Я Борю люблю и Сашу люблю, что мне делать. Если уйти с Борисом Николаевичем, что станет Саша делать. Это путь его. Борису Николаевичу я нужнее. Он без меня погибнуть может. С Борисом Николаевичем мы одно и то же думаем: наши души – это две половинки, которые могут быть сложены. А с Сашей вот уже сколько времени идти вместе не могу. <...> Я не могу понять стихи, не могу многое понять, что он говорит, мне это чуждо. Я любила Сашу всегда с некоторым страхом. В нем детскость была <... > и в этом мы сблизилась, но не было последнего сближения душ, понимания с полуслова, половина души не сходилась с его половиной. Я не могла ему дать настоящего покоя, мира. Все, что давала ему, давала уют житейский, и он, может быть, вредный. Может, я убивала в нем его творчество. Быть может, мы друг другу стали не нужны, а вредим друг другу. Путь крестный остаться с Сашей. Тогда я замру по-прежнему и Боря тоже. Так или иначе идти к Вере, как скажете? Это не значит, что я Сашу не люблю, я его очень люблю и именно теперь, за последнее время, как это ни странно, но я люблю и Борю, чувствуя, что оставляю его. Господи, спаси нас всех! <...>»

Кончилось все тем, что Любовь Дмитриевна серьезно заболела –

тяжелой формой бронхита или гриппа (инфлюэнцей, как тогда говорили). Блок написал Белому, чтобы тот до ее выздоровления оставался в Москве. Но после болезни в корне изменилось настроение и самой Любы. Под воздействием мужа и свекрови она решила отложить отъезд с Белым в Италию по крайней мере до осени. Главная причина – у Саши в университете приближались государственные экзамены, для успешной их сдачи нервотрепка была, конечно, ни к чему. Затем требовался отдых. Экзамены на славянорусском отделении филологического факультета действительно предстояли один сложнее другого (среди них – санскрит). Но Блок, как бы странно сие ни прозвучало сегодня, больше всего беспокоился за экзамен по русской литературе – не потому, что не знал, а потому, что экзаменаторы были резко отрицательно настроены против символистских убеждений и декадентских настроений своего питомца.

10 апреля 1906 года Любовь Дмитриевна отправила в Москву Белому письмо, с которого в их и без того неровных отношениях началось явное охлаждение: «Милый Боря, ты решил приехать раньше моей просьбы в Петербург. Делай, как хочешь, милый, но к нам не приходи, пока я не попрошу тебя. Умоляю тебя, послушай меня! Я не хочу опутывать наших с тобой отношений ложью. А пока не пройдет Сашин последний трудный экзамен, до воскресенья, мне невозможно без натяжек, без трудности тебя позвать. <...> Верь мне – я знаю меру твоей измученности. Знай и ты обо мне, щади меня. Как рада была бы я тебя видеть – если бы не вся трудность. Трудность в том, что тебя не любят у нас, как прежде. Саша боится меня потерять. Ал[ександра] Андр[еевна] все чуует – и тоже боится. Они правы! Как всем нам трудно, Боже! Господь с тобой! Твоя Л.».

Почувствовав, что почва начинает уходить из-под ног, А. Белый, несмотря на предупреждение, тотчас же выехал в Петербург. Любовь Дмитриевна лишь подтвердила то, о чем уже сообщила письменно. Попросила сделать отсрочку до осени, лето же она намеревалась провести вместе с мужем и свекровью в Шахматове. Изредка Белый продолжал бывать у Блоков, но ситуация явно изменилась не в его пользу...

\* \* \*

Между тем семейная трагедия для Блока не прошла даром. Несмотря на экзамены, он давно уже втянулся в каждодневное винопитие. По вечерам уходил из дома и до полночи, а то и до утра пропадал в третьеразрядных ресторанах и полуподвальных кабаках, где беспрерывно пил красное вино,

общаясь со случайными собутыльниками и дамами полусвета. В конечном счете эта богемная жизнь запечатлелась в одном из величайших шедевров русской лирики и всей мировой поэзии (написанном на ресторанном столике, заставленном пустыми бутылками и неубранной посудой):

По вечерам над ресторанами  
Горячий воздух дик и глух,  
И правит окриками пьяными  
Весенний и тлетворный дух.

.....

И каждый вечер друг единственный  
В моем стакане отражен  
И влагой терпкой и таинственной,  
Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков  
Лакеи сонные торчат,  
И пьяницы с глазами кроликов  
«In vino veritas!» кричат.

И каждый вечер в час назначенный  
(Иль это только снится мне?)  
Девичий стан, шелками схваченный,  
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,  
Всегда без спутников, одна,  
Дыша духами и туманами,  
Она садится у окна.

И веют древними поверьями  
Ее упругие шелка,  
И шляпа с траурными перьями,  
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный  
Смотрю за темную вуаль,  
И вижу берег очарованный  
И очарованную даль.



<... >

Когда Александр Александрович, в мятом сюртуке и еле держась на ногах, явился домой, там находились Белый и еще какие-то гости. Блок только помахал у них перед носом разрозненными листками, исписанными неровным почерком. Прочитал же впервые свои бессмертные стихи вслух на «Башне» у Вяч. Иванова. Начинаящий литератор Корней Чуковский, позже – известный критик и детский писатель, так описал восторженное впечатление слушателей: «Я помню ту ночь, перед самой зарей, когда он впервые прочитал „Незнакомку“, – кажется, вскоре после того, как она была написана им. Читал он ее на крыше знаменитой „Башни“ Вячеслава Иванова, поэта-символиста, у которого каждую среду собирался для всенощного бдения весь артистический Петербург. Из Башни был выход на пологую крышу, и в белую петербургскую ночь мы, художники, поэты, артисты, опьяненные стихами и вином, – а стихами опьянялись тогда, как вином, – вышли под белесое небо, и Блок, медлительный, внешне спокойный, молодой, загорелый (он всегда загорал уже ранней весной), взобрался на большую железную раму, соединявшую провода телефонов, и по нашей неотступной мольбе уже в третий, в четвертый раз прочитал эту бессмертную балладу своим сдержанным, глухим, монотонным, безвольным, трагическим голосом. А мы, впитывая в себя ее гениальную звукопись, уже заранее страдали, что сейчас ее очарование кончится, а нам хотелось, чтобы оно длилось часами, и вдруг, едва только произнес он последнее слово, из Таврического сада, который был тут же, внизу, какойто воздушной волной донеслось до нас многоголосое соловьиное пение».

Вяч. Иванов с женой сравнительно недавно вернулся в Россию после длительного пребывания за границей и поселился на последнем этаже дома напротив Таврического дворца, где с 1906 года начала заседать Государственная дума. Большая угловая квартира соединялась с башней-ротондой, живописно выступавшей над тротуаром. Белый описал петербургское прибежище символистской четы в выразительно-поэтических тонах: «Вселились Ивановы в выступ огромного здания, новоотстроенного над потемкинским старым дворцом, ставшим волей судьбы Государственной думой; впоследствии выступ прозвали писатели „башней Иванова“; всей обстановкой комнат со старыми витиевато глядящими креслами, скрашенными деревянною черной резьбой, в оранжево-теплых обоях, с коврами, с пылицами, с маскою мраморной, с невероятных размеров бутылью вина, с виночерпием, <... > Иванов над Думой висел,

как певучий паук, собирающий мошек, удар нанося декадентским салонам... <...>»

Вскоре здесь всю гудел представительный литературнохудожественный и интеллектуальный салон, также поименованный «Башней» и затмивший своей популярностью все, что до сих пор знали Петербург и Москва. Шумные встречи, на которых преобладала молодежь, начинались каждую среду вечером, продолжались всю ночь и заканчивались в четверг утром. В отличие от чопорного салона Мережковского—Гиппиус, где царил религиозно-мистический дух, на «Башне» Вячеслава Иванова и Зиновьевой-Ганнибал процветали богемная атмосфера и утонченный эротизм во всех возможных традиционных и нетрадиционных формах, с культом «жизни втроем» и периодической сменой партнеров.

«Ивановские среды» блестяще описаны Николаем Александровичем Бердяевым (1874–1948), до своего переезда в Москву бывавшим на них чуть ли не каждую неделю. На «Башне» утвердился «микроклимат», где каждый чувствовал себя легко, раскованно и комфортно. Образовалась утонченная культурная лаборатория, место встречи разных идейных течений, и это был факт, имевший значение в нашей идейной и литературной истории. Многие зарождалось и выявлялось в атмосфере этих беседований. Мистический анархизм, мистический реализм, символизм, оккультизм, неохристианство – все эти течения обозначались на «средах», имели своих представителей. Темы, связанные с этими течениями, всегда ставились на обсуждение. Но ошибочно было бы смотреть на «среды» как на религиозно-философские собрания. Это не было местом религиозных исканий. Это была сфера культуры, литературы, но с уклоном к предельному. Мистические и религиозные темы ставились скорее как темы культурные, литературные, чем жизненные. Многие подходили к религиозным темам со стороны историко-культурной, эстетической, археологической. Мистика была новью для русских культурных людей, и в подходе к ней чувствовался недостаток опыта и знания, слишком литературное к ней отношение. То было время духовного кризиса и идейного перелома в русском обществе, в наиболее культурном его слое. На «среды» ходили люди, которые группировались вокруг журналов нового направления – «Мира искусства», «Нового пути», «Вопросов жизни», «Весов». Повышался уровень нашей эстетической культуры, загоралось сознание огромного значения искусства для русского возрождения. И как-то сразу же русское литературнохудожественное движение соприкоснулось с движением религиозно-философским. В лице

Вячеслава Иванова оба течения были слиты в одном образе, и это соприкосновение разных сторон русской духовной жизни все время чувствовалось на «средах». Но ничего не было узко кружкового, сектантского. В беседах находили себе место и люди другого духа, позитивисты, любившие поэзию, марксисты со вкусами к литературе.

«Вспоминаю беседу об Эросе, одну из центральных тем „сред“, – пишет Бердяев. – Образовался настоящий симпозион, и речи о любви произносили столь различные люди, как сам хозяин Вячеслав Иванов, приехавший из Москвы Андрей Белый и изящный профессор Ф. Ф. Зелинский и А. Луначарский, видевший в современном пролетариате перевоплощение античного Эроса, и один материалист, который ничего не признавал, кроме физиологических процессов. Но господствовали символисты и философы религиозного направления. <...> На одной из „сред“, когда собралось человек шестьдесят поэтов, художников, артистов, мыслителей, ученых, мирно беседовавших на утонченные культурные темы, вошел чиновник охранного отделения в сопровождении целого наряда солдат, которые с ружьями и штыками разместились около всех дверей. Почти целую ночь продолжался обыск, в результате которого нежданно гостям пришлось признать свою ошибку. В эту ночь из передней пропала шапка Мережковского, который написал на эту тему статью в газете. Политики на „средах“ не было, несмотря на бушевавшую вокруг революцию. Но дионисическая общественная атмосфера отражалась на „средах“. В другую эпоху „среды“ были бы невозможны. <...>»

В символистских кругах Вяч. Иванова – доброго, отзывчивого и незлобного – прозвали Вячеславом Великолепным – по аналогии с прозвищем флорентийского правителя Лоренцо Медичи, покровителя поэтов и художников Возрождения. Андрей Белый неоднократно бывал на «Башне», останавливался здесь с ночевкой, как, впрочем, и другие гости, которым ночью было далеко или неудобно добираться до собственного дома (например, Николаю Гумилёву, проживавшему в Царском Селе). Кстати, и восходящей звезде русской поэзии – Николаю Степановичу Гумилёву (1886–1921), точнее возглавляемому им новому поэтическому направлению, именно здесь, на «Башне», было присвоено соответствующее звучное наименование – *акмеизм* (от греч. *акме* – высшая степень достижения чего-либо, вершина творческой деятельности, цветущая сила). Не сразу прижившийся термин придумал Вячеслав Иванов. Андрей Белый предлагал другой – «адамизм». Поначалу школу Гумилёва так и окрестили «адамизм-акмеизм», но вскоре первая часть составной лексемы отпала.

Вячеслав Иванов придумал дружественное прозвище и самому Белому – «гоголёк», уменьшительное от фамилии его любимого писателя Гоголя.

В очередную среду, к искреннему восторгу присутствующих, Белый прочитал на «Башне» свое новое философско-мифологическое эссе «Феникс» (особенно рад был сам хозяин «Башни», более чем не равнодушный ко всему относящемуся к древней мифологии). Белый же вообще сумел продемонстрировать такое, что до него не удавалось никому, – великолепный образчик актуализированной *диалектической мифологии*, где блестяще проанализировал трогательную легенду о чудесной птице – орлоподобном Фениксе, который каждые 500 лет прилетает умирать из Аравии в древнеегипетский Гелиополь. Феникс – солнечная птица, посвященная Озирису, и потому Феникс – сама душа солнечного бога. Феникс – символ непрерывного возрождения, а значит – и бессмертия. Тем самым мифологический образ наглядно являет столь любимую Белым классическую идею «вечного возвращения», сопряженную с религиозными представлениями о всеобщем воскресении. В этом смысле Феникс олицетворял и грандиозную временную смену космических циклов, и возвращение всего и вся «на круги своя».

«Египет, – говорил Белый, – ... колыбель молниеносных мифов о ясной птице, умирающей и воскресающей в третий день по Писанию. Уже дана в символе этом религиозная трагедия страдающего воскресения, лучом будущего озарившая все культуры. Феникс – вечное воскресение – огнем светоносных перьев, точно зарей светящей, попаляя, плавит тяжелое прошлое. Рассеиваются сфинксы, искони залетевшие в священную страну вместе с желтыми тучами песочными».

В сравнительно небольшом по объему эссе Белый умело развернул диалектическую картину борьбы противоположностей: «Сфинкс и Феникс – образы борьбы единой. То, что живописует эти образы, есть некая цельность. Разность в понимании данной цельности изображает ее то как победу прошлого (сфинкс), то как победу будущего (феникс). <...> Сфинкс – это, собственно говоря, непонятый Феникс. Это стремление к жизни без ценного отношения к жизни. Бытие истинного и ценного подменяется бытием вообще. Живое становится животным. Сфинкс и Феникс – единый символ по существу. Но в сознании созерцателя они делятся на день и ночь, утро и вечер, будущее и прошлое, окрыленно-легкое и неподвижно-каменное. Сфинкс и Феникс тогда являются противопоставленными друг другу. Это – начала борющиеся. <...> Сфинкс и Феникс борются в наших душах. И на всем, что есть произведение духа человеческого, лежит печать Феникса и Сфинкса. Вот почему и из строя мыслей, и в произведениях

искусства и науки, и в общественном творчестве воскресают вещие образы Египта: Феникс и Сфинкс. Они противопоставлены в одном направлении. В другом они являются нераздельными. Тайна заключается в том, что Феникс не содержится в Сфинксе. А Сфинкс – половина цельного Феникса. Сгорая огнем, Феникс умирает. Феникс рассеивается пеплом. Есть смерть Феникса. Но Сфинкс – это победа звериного прошлого над будущим. Но Сфинкс и есть именно смерть. И Сфинкс и Феникс одинаково прилетал для этого. Сфинкс – противоборствуя. Оба борются с роком. Один – явной враждой, другой – любовью побеждает рок. И Феникс восстает живой и цельный. Вот почему борьба Сфинкса с Фениксом не есть борьба начал равноправных, а борьба частей с целым. Это борьба жизни вообще с жизнью творческой. Но жизнь вообще вытекает из творчества. Жизнь – часть творчества».

Исходя из общих посылок, Андрей Белый далее конспективно изложил собственные социологические взгляды, в том числе и касающиеся перспектив общественного развития в России. Сформулированные идеи – мало сказать, оригинальны, они *парадоксальны*. Общество – живой, цельный организм. Начала государственные выделяются как часть начал общественных. Государство, отвлеченное от сил общественных, его образовавших, давит нас гнетом звериным. Есть только часть, возвысившаяся над целым – государство, ставшее самоцелью. Вот почему, независимо от своего отношения к государственным воззрениям на общество, мы призываем всех под знамя социализма в борьбе государственных учений друг с другом. Социализм – действительное объединяющее учение. Только с объединением государственных учений возможно не только поставить ребром вопрос об отношении общества, но и практически решить оный.

Сочувствуя социализму, Белый в то же время оставил за собой право нанести ему смертельный удар в тот самый день, когда он восторжествует. В этом и заключается парадоксальность! Социалистическое государство – Сфинкс. Пустота и небытие смотрит из его темных глаз. Тем не менее можно рассматривать социалистическое государство и как переход к свободной общине, в которой мы утверждаемся как боги и цари. Урегулирование экономических отношений тогда не создание окаменелого Сфинкса на границах государственного творчества, а взлет Феникса жизни на молнийных перьях из развеянного праха государственной жизни.

Далее Белый перешел к рассмотрению роли в общественной жизни художника – творца Вселенной. Художественная форма – сотворенный мир. Искусство в мире бытия начинает новые ряды творений. Этим искусство

отторгнуто от бытия. Но и творческое начало бытия заслонено в художественном образе личностью художника. Художник – бог своего мира. Вот почему искра Божества, запавшая из мира бытия в произведение художника, окрашивает художественное произведение демоническим блеском. Творческое начало бытия противопоставлено творческому началу искусства. Художник противопоставлен Богу. Он вечный богоборец. Наша жизнь становится ценностью. Мы, как участники жизни ценной, обитаем вне пределов старой жизни и смерти. Мы уже не можем умереть. Смерть и бессмертие – только идея нашего разума.

Делая глубокие философско-эстетические обобщения, Белый одновременно видел в привлеченных для анализа образах-символах живых людей – себя (Феникс) и Блока (Сфинкс). Феникс воскрешающего бессмертия уже опалял нам сердца огнем надгробным, сметал прах окаменения, плавил сфинксов лик нашей жизни. И вот мы – фениксы – тихо отделились от земли. Мы окружены ныне созидающей способностью нашего разума, как голубым морем небесным. Если Сфинкс – олицетворение темной бесконечности бытия и хаоса, Феникс – олицетворение иной, вечно возносящей орлиной бесконечности. То же единое, что направляет полет творчества, есть тайна искупления добровольной смерти в сотворенном мире для воскресения в новом мире, творимом.

«Лети, Феникс, – патетически заключил Белый, – солнце, на брызнувших крыльях, но не смей уставать! Есть у тебя ужас, Феникс: что с тобой будет, когда ты поймешь, что сколько бы раз ты ни воскрес, ты разлетишься прахом опять и опять? Ты бесконечное число раз прилетишь на свой костер испытать муки сожжения. Но Феникс любовью преодолевает смерть. И едва он скажет „да будет“ смерти, ужаснется безглазая спутница дней и как Сфинкс развеется. И едва оденет красную багряницу огня, уже прохладный ветерок зашепчет ему: „Возвращается, опять возвращается“. И бессмертие на крыльях мира сойдет к нему. И восстанет в третий день по Писанию. И скажет: „Возвратилось ко мне бессмертие мое. Оно, только оно глядит на меня сквозь жизнь и смерть“».

Писатель закончил свое выступление поэтической притчей, опрокинутой в будущее и представляющей собой философский космизм высшей пробы: «Вы, мудрецы, ставшие фениксами! Вы идете по Млечному пути. Млечный путь – пригоршня ценностей, разбросанных в мире. Млечный путь – мост, перерезавший небо. Под вашими ногами обрыв ужаса. Чтобы ступить дальше, вы создаете новую ценность. И, создав, преодолеваете. И творите новую ценность. И, создав, преодолеваете. Так

продолжается без конца, без конца. Без конца и создаете, и преодолеваете.

Вы – кометы, безумно радостные, безумно рвущие искони ткани черного мрака. Само бытие за плечами каменеющей истории – искряной, легкий, перистый хвост кометный, прозрачная риза летящего мудреца. И от ризы бесконечной бесконечно зацветает мрак ночи долгой. Мудрец обертывается на свою ризу, распластанную в небе крылатым воздушным парусом. Он узнает Млечный путь. И туманности. И планетные системы. Все узнает он, созерцая складки ризы своей. Он узнает мировую жизнь планет. Он узнает возникновение народов. Он видит себя самого, брошенного в круговорот бытия. Он смеется себе самому. Он влюбленно смотрит на себя. Он взывает: „Приди ко мне“. И далекий зов его, как заря, проникает в сон, где он сам себе снится. И ему, другому, закованному в сон, снится заря и чей-то милый знакомый голос, зовущий ласковым успокоением: „Приди ко мне, приди, труждающийся. Я успокою. Приди, приди“... Так мудрец созерцает начертания развеянных риз своих. Так мудрец забывает себя, погружаясь в свой собственный сон. И грезится ему бесконечность бытия. Но стоит повернуть завуаленный лик свой, как пред взором его разверзается картина созвездий, среди которых он брошен в стремительном переменчивом полете».

\* \* \*

...На сей раз Белый покидал Петербург с тяжелым сердцем и нехорошими предчувствиями. С Блоком даже не попрощался – тот был на экзамене. Любовь Дмитриевна помахала ему в форточку платочком. Лето он решил провести частично в Серебряном Колодезе, частично у Сергея Соловьева в Дедове. Почти каждый день писал Любе в Шахматово – обрушивал на нее потоки любвеобильных посланий. Она долго не отвечала. Как потом выяснилось, все полученные письма сжигала в печке. Наконец пришел ответ: «<... > Боря, то, что было между нами, сыграло громадную роль в моей жизни; никогда, быть может, не узнавала я столько о себе, не видела так далеко вперед, как теперь. Вам я обязана тем, что жизнь моя перестала быть просто проживанием; теперь мне виден и ясен мой путь в ней. (Я и слова буду употреблять Ваши, хотя, может б[ыть], не так, как Вы.) Я тонула в хаосе моих мыслей и чувств; но вот Вы заговорили о ценности. Я стала искать (о, я все понимаю и узнаю, что Вы говорите, точно это мое, жило во мне, но слоя я не знала) ценность моей жизни. Помните, я рассказывала Вам, как развивалась моя любовь к Саше, как

непроизвольны были все мои поступки, как я считала нас „марионетками“? Разве есть возможность сомневаться, что любовь эта не в моей воле, а волей Пославшего меня, что она вручена мне, что она ценная, что в ней мой путь. Для меня незыблемо – она мой путь. А если так – во имя его все возьму на себя, нарушу все, не относящееся к нему, все вынесет моя совесть. <...> „Иметь настоящую, свежую, пышущую здоровьем совесть, чтобы смело идти к желанной цели“ (Сольнес). Боря, знаю, что между нами, знаю Вашу любовь, но твердо знаю, что взять это или не взять в моей воле. Вот разница. И не беру во имя ценного, во имя пути мне данного. Путь мой требует этого, требует моего вольного невольничьего служения. И я должна нарушить с Вами все. Теперь это так. Пройдет время, и я надеюсь на это, Вы можете себе представить, как нам можно будет встретиться друзьями. Теперь – нет. А вот и обетование мне, что дано и суждено мне пройти мой путь. 17-го июля (как раз в тот день, когда Вы мне писали последнее письмо) мы пошли с Сашей на самую высокую у нас гору. Подходя к ней, я вдруг решила взойти на нее (Вы видите, я читаю теперь Ибсена). И сердце захолонуло, как перед важным и ценным. И я взошла на гору, прошла весь путь, не отставая от Саши, крутой, пустыми полями путь, в конце которого было одно бесконечное нежно-голубое небо. Мы шли быстро-быстро, сердце у меня билось и болело, дыхание захватывало, но я ни разу ни остановилась, ни споткнулась, ни взмолилась о пощаде, и все росла моя радость и благодарность за мой трудный, горный путь. Мы сидели на высоте; было громадное голубое небо, нежные голубые дали, вдали был виден дом отца (Боблово), а в солнечных лучах плавали и кричали журавли. Вот, Боря, вся моя правда обо мне. Я говорю Вам прямо от моей души к Вашей душе, помимо всяких истерик (они есть и у Вас, и у меня). Примите и поймите мою правду, как я понимаю ценность Вашу. Господь с Вами! Ваша Л. Б л о к».

Белый не понимал ее душевных сомнений и мук, а если и понимал, то не хотел принять – ни умом, ни сердцем. Виной всему он теперь был склонен считать Блока и его мать: это они за несколько недель сумели настроить против него Любу, дабы та отказалась ото всех ранее данных обещаний. Прав он был лишь отчасти. Любовь Дмитриевна сама готовилась к полному разрыву. Первый шаг предприняла 6 августа 1906 года. В письме написала: «С весны все настолько изменилось, что теперь нам увидеться и Вам бывать у нас – совершенно невозможно. Случайные же встречи где бы то ни было были бы и Вам, и мне только по-ненужному беспокойны и неприятны. Вы должны, Боря, избавить меня от них – в Петербург не приезжайте. И переписку тоже лучше бросить, не нужна она,



когда в ней остается так мало правды, как теперь, когда все так изменилось и мы уже так мало знаем друг о друге».

Второй шаг она сделала вместе с мужем. 8 августа они вместе приехали из Шахматова в Москву и отправили Белому записку: «Боря, приходи сейчас же в ресторан „Прагу“. Мы ждем». Разговор продлился не более пяти минут. Блоки держали себя подчеркнуто официально. Говорила одна Люба. В ультимативной форме она попросила оставить ее в покое, никаких писем более не писать, в Петербург к ней осенью не приезжать, все мысли о совместной поездке в Италию выбросить из головы. От услышанного Белого обуял ужас, и он не чуя ног бросился из ресторана. Позже Любовь Дмитриевна признавалась: «Отношение мое к Боре было бесчеловечно, в этом я должна сознаться. Я не жалела его ничуть, раз отшатнувшись. Я стремилась устроить жизнь, как мне нужно, как удобней. Боря добивался, требовал, чтобы я согласилась на то, что он будет жить зимой в Петербурге, что мы будем видеться хотя бы просто как „знакомые“. Мне, конечно, это было обременительно, трудно и хлопотливо – бестактность Бори была в те годы баснословна. Зима грозила стать неприятнейшей. Но я не думала о том, что все же виновата перед Борей, что свое кокетство, свою эгоистическую игру я завела слишком далеко, что онто продолжает любить, что я ответственна за это... Обо всем этом я не думала и лишь с досадой рвала и бросала в печку груды писем, получаемых от него. Я думала только о том, как бы избавиться от уже ненужной мне любви, и без жалости, без всякой деликатности просто запрещала ему приезд в Петербург. Теперь я вижу, что сама доводила его до эксцессов, тогда я считала себя вправе так поступать, раз я-то уже свободна от влюбленности».

Белый размышлял чуть более суток. Состояние – близкое к помешательству: надел черную маскарадную маску и так принимал приходящих друзей. Уговорил Эллиса немедленно съездить в Шахматово и передать Блоку вызов на дуэль. Верный друг, не колеблясь, отправился под дождем выполнять деликатное поручение. Но у Блоков его миссию не приняли всерьез. Сначала Любовь Дмитриевна, интуитивно почуяв неладное, никак не оставляла мужчин наедине, затем, когда Эллис все-таки сумел передать вызов, Блок спокойно и мудро отвечал: «К чему всё это? Разве есть хоть какой-то повод для дуэли? Никаких поводов нет! Просто Боря очень устал и ему надо отдохнуть».

Блоки заторопились в Петербург: им предстоял переезд на новую квартиру, где они отныне намеревались жить отдельно от родителей. После смерти отца Любы – великого Менделеева – ей досталось небольшое

наследство, позволявшее Блокам улучшить качество жизни. Предстоял переезд и Белому: они с матерью решили оставить большую и дорогую квартиру на Арбате и переехать в более скромную, расположенную поблизости в Никольском (ныне Плотников) переулке. Все это время он продолжал пребывать в любовной лихорадке. Лишение права видаться с Любовью Дмитриевной воспринимал как трагедию, равносильную смерти. Он рассчитывал на великодушие Блоков, на понимание себя как поэта и человека. Продолжал писать, клятвенно заверяя, что согласен на любые условия, лишь бы ему дали возможность вновь увидаться с Любой в Петербурге:

«Клянусь, что клятва моя не внушена этим голубым, светлым днем наступающей осени, а что я воспользовался им для того, чтобы в форму ее не вкралось ничто истеричное; а только одна святая правда. Клянусь, что Люба – это я, но только лучший. Клянусь, что Она – святыня моей души; клянусь, что нет у меня ничего, кроме святыни моей души. Клянусь, что только через Нее я могу вернуть себе себя и Бога. Клянусь, что я гибну без Любы; клянусь, что моя истерика и мой мрак – это не видать Ее, клянусь, что сила моей святой любви „о свете, всегда о свете“, потому что, клянусь, я ищу Бога. Клянусь, что в искании этом для меня один, один, один путь: это Люба. Клянусь, что тучи, висевшие надо мной от решения Любы, чтобы я остался вдали, истаяли безвозвратно и что покорность моя без границ и терпение мое нечеловеческое, кроме одного: отдаления от Любы. Клянусь Тебе, Любе и Александре Андреевне, что я буду всю жизнь там, где Люба, и что это не страшно Любе, а необходимо и нужно. Клянусь, что если бы я согласился быть вдали от Любы, я был бы ни я, ни Андрей Белый, а – никто, и что душа моя вся ушла в то, чтобы близость наша оставалась. Ведь нельзя же человеку дышать без воздуха, а Люба – необходимый воздух моей души. Клянусь, что вся истерика моя от безвоздушности. Клянусь, что если я останусь в Москве, я погиб для этого и будущего мира: и это не просто переезд, а паломничество. Я могу видать хоть изредка Любу, но я должен, должен, должен ее видать. К встрече с Любой в Петербурге (или где бы то ни было) готовлюсь, как к таинству».

Блок отреагировал по-мужски скупно и откровенно: что его почти что не беспокоят чувства Белого к собственной жене, но он обязан защищать ее, как рыцарь, что он попрежнему любит Бориса как поэта, друга и человека, но просил его не приезжать в сентябре в Петербург. По его мнению, все должны успокоиться, а по прошествии определенного времени раны зарубцуются и на всё произошедшее можно будет взглянуть совершенно другими глазами. Но Белый не внял призывам друга и

примчался в Северную столицу уже 23 августа, как он сам потом выразится – «побитой собакой, поджав синий хвост». Тотчас же написал Блоку: «Саша, бесконечно милый, бесконечно ценный мне друг, прости, прости, прости! Я глубоко виноват. Я позволил мареву, выросшему из долгих часов уединенной тревоги, овладеть собою. Я позволил себе заслонить Твой образ. Верь, что только бессмыслица и непонимание Твоих хороших слов, которые казались мне совсем нехорошими, заставило меня с отчаяния отвлечься от Тебя и стать на формальную, пустую, истерическую точку зрения. Это ужасно: так мало людей, нет людей, не на ком остановиться; я чувствовал, что теряю единственное, последнее, незабываемое. Кроме того: мне показалось, что Ты не понимаешь моих поступков с обидной мне точки зрения: я разучился в продолжение последних месяцев ужаса и кошмара ясно видеть и ясно слышать. И вот с отчаяния я решил, что только, когда я пойду под выстрелы, я сумею доказать, что я не то, что Ты обо мне можешь думать. Меня преследовал кошмар, что я могу иметь превратный вид, что у меня не лицо человека, а мертвая рожа. <...> Напиши мне сейчас же, сможешь ли Ты меня простить. Остаюсь любящий тебя *Боря*. Целую тебя».

Блок не ответил, а от Любви Дмитриевны поступило категорическое требование: не появляться у них, пока они сами не известят его через посыльного. Началась мучительная неделя ожидания, – возможно, самая трагическая в жизни Белого. Что на самом деле творилось в его душе, можно лишь догадываться по позднейшим обмолвкам и признаниям. Сначала почти не выходил из гостиницы, боясь пропустить нарочного, затем стал отлучаться в питейные заведения – топить горе в вине и водке. Отрешенно бродил по черно-серым петербургским улицам, часами неподвижно стоял на берегу Невы, уставившись в одну точку, или ходил взад-вперед мелкими шажками по набережной. Душа его стонала, сердце кричало от боли. Этот крик, эта боль, этот стон навсегда запечатлелись в его израненном сознании и впоследствии материализовались в искореженных строчках романа «Петербург», где почти неслышные шаги писателя отзовутся звучным топотом его героев.

Смятение чувств все нарастало и нарастало... Лишь однажды заглянул на чаепитие к Федору Сологубу, чуть-чуть оттаял, читал собственные стихи, слушал других поэтов. Познакомился с Александром Куприным, которого полюбил на всю жизнь: свой человек, душа нараспашку, воистину русская натура – после Сологуба они вместе ударились в загул. А поутру следующего дня принесли записку от Любы, приглашавшей Белого для объяснений. Разговор тет-а-тет продолжался всего пять минут, но так, точно его несколько раз подряд сбрасывали с Тарпейской скалы

(выражение самого Белого).

Любовь Дмитриевна была вне себя от какого-то совершенно непостижимого гнева. (Позже А. Белый скажет: «Я думал про нее – Богородица, а она оказалась *дьяволицей*».) Требование одно – немедленно удалиться в Москву, прекратив дальнейшие преследования ее и мужа. Других решений не ждать... Он выбежал из квартиры Блоков, окончательно потеряв контроль над собой. В голове запульсировала чудовищная мысль: «Покончить со всеми душевными мучениями раз и навсегда! Покончить с собой!» Нева рядом – он бросился к черной, как деготь, воде. Но повсюду причалы, настилы, баржи, баркасы, лодки. Даже утопиться нормально негде! Решил ждать утра, чтобы доплыть на лодке до середины Невы. А там... Всю ночь не смыкал глаз, а утром – новая записка от Любви Дмитриевны с приглашением повидаться.

На сей раз (о женская натура!) она была настроена сравнительно миролюбиво. Настаивала на одном: Белому необходим серьезный и длительный отдых, лечение даже. Пусть едет пока один за границу. Германия, Франция, Италия отвлекут его от черных мыслей, помогут вернуться к нормальному состоянию души. Время – лучший целитель. Через год они могли бы встретиться вновь и поглядеть друг другу в глаза. А пока что Люба будет ему писать и поддерживать, как она выразилась, «стремление к добру». Она действительно ему написала через месяц, когда Белый был уже за границей, в Мюнхене. В августовском номере «Весов» был напечатан цикл его стихов. Блоки познакомились с публикацией месяца через полтора. В подборке из семи произведений было стихотворение «Убийца», где весьма натурально описывается, как поэт перерезает ножом горло сопернику. (Спустя два года эта же тема прозвучала в другом, не менее откровенном стихотворении со схожим названием – «Убийство».) После журнальной публикации в своем исключительно резком письме, на сей раз не оставляющем никаких сомнений относительно перспектив дальнейших отношений, Любовь Дмитриевна писала: «Скажу Вам прямо – не вижу больше ничего общего у меня с Вами. Ни Вы меня, ни я Вас не понимаем больше. <...> Вы считаете возможным печатать стихи столь интимные, что когда-то и мне Вы показали их с трудом. Пусть так; не чувствую себя теперь скомпрометированной ничуть, так как существование Вашей книги будет вне сферы моей жизни. <... > Возобновление наших отношений дружественное еще не совсем невозможно, но в столь далеком будущем, что его не видно мне теперь. Надо для этого, чтобы теперешний, распущенный, скорпионовский (имеется в виду издательство „Скорпион“). –

В. Д.) до хулиганства, Андрей Белый совершенно исчез и пришел кто-то новый».

Белый действительно на некоторое время исчез из ее поля зрения. 10 сентября он подает заявление об увольнении из числа студентов историко-филологического факультета Московского университета в связи с заграничной поездкой (прошение было удовлетворено 19 сентября) и 20 сентября 1906 года выехал из Москвы за границу. На вокзале его провожали трое наиболее близких ему людей – мама, Сережа Соловьев и Эллис (Лев Кобылинский)...

## Глава 4

# СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

Крылатое словосочетание «Серебряный век» обычно приписывают крупнейшему русскому философу, в молодости одному из друзей Андрея Белого – Н. А. Бердяеву, хотя ни в одном из его напечатанных произведений оно не встречается. Но это ничего не значит: Бердяев, сыпавший афоризмами, как из рога изобилия, мог и экспромтом обронить летучую фразу, которая тотчас же зажила самостоятельной жизнью и очень быстро стала восприниматься как давнымдавно известная. В печатном виде она закрепилась в статье поэта-эмигранта Николая Авдеевича Оцупа (1894–1958) «Серебряный век русской поэзии» (1933) и особенно – после выхода в свет (также в эмиграции) книги бывшего редактора символистского журнала «Аполлон» Сергея Константиновича Маковского (1877–1962) «На Парнасе Серебряного века» (1955).

Высказывались различные мнения о хронологических рамках и персональном составе лиц, относящихся к Серебряному веку, – в основном в расширительном плане. Не вдаваясь в конкретное содержание дискуссий, носящих в основном конъюнктурный характер, я определяю объем и содержание понятия «Серебряный век» не по первопубликациям или возрасту доживших до глубокой старости корифеев, а по расцвету и достижениям самого культурного феномена, когда он вносил наибольший реальный вклад в развитие русской литературы и искусства. В данной связи условными временными границами Серебряного века уместно считать: от начала XX столетия до смерти Александра Блока и Николая Гумилёва, последовавшей в один и тот же 1921 год. Все последующие литературные, музыкальные, театральные, художественно-изобразительные достижения вполне можно отнести к «постсеребряной» эпохе.

Для русских писателей, поэтов, художников, музыкантов, других деятелей искусства и культуры Серебряный век ассоциировался в первую очередь с Россией, но распространялся также и за ее пределы. Ибо многие из них в начале XX века постоянно выезжали за границу, продолжая здесь свое многогранное творчество, пропагандируя достижения русской культуры и продолжая привычную салонную жизнь. Некоторые появлялись в Европе часто, другие – эпизодически; одни проживали на одном месте подолгу, другие, наподобие Бальмонта, – предпочитали путешествовать по

всему миру.

Для Андрея Белого поездка осенью 1906 года в Европу началась с Германии. В Мюнхене спокойная, размеренная и сытая жизнь быстро поправила его здоровье. С огромным воодушевлением уходил он каждое утро в Мюнхенскую пинакотеку, где в тиши старинных залов знакомился с работами старых немецких мастеров. В гравюрном кабинете он неторопливо перебирал и рассматривал листы с работами великих (но по большей части – малоизвестных широкой публике) художников – от Дюрера до Луки Кранаха Старшего. Вечера, как и многие мюнхенские обыватели, проводил в пивном кабаке, общаясь с немецкой и русской заезжей публикой. Но душевная рана все же залечивалась плохо. Свидетельство тому отрывки из писем матери:

«Не писал эти дни, потому что много работал над „Симфонией“. Если не пишу, это не значит, что забываю. Здесь тихо и просторно. Лечусь молчанием, сосредоточенностью и одиночеством. Каждый лишний месяц, который проведу здесь, прибавит мне здоровья: это чувствую. Начинаю приходить в себя после нелепой суматохи последних лет. Большинство знакомых, громкие их слова в свете тишины, в которую я теперь погружен, кажутся мне ничтожными марионетками, которые только препятствуют уйти человеку в себя. По возвращении в Россию приму все меры, чтобы обезопаситься от наплыва ненужных впечатлений. Перед моим взором теперь созревает план будущих больших литературных работ, которые создадут новую форму литературы. Чувствую в себе запас огромных литературных сил; только бы условия жизни позволили отдаться труду. Здесь в Москве я столько истратил сил и слов на ничтожных людей, был какой-то вьючной лошадью и в результате – переутомление и нервное расстройство, в котором я находился последние месяцы. Благодарю судьбу и Тебя, что я поехал в Мюнхен... <...>»

«<...> Итак, основная цель моя – себя спасти, т. е. веру свою в Свет, Бога и цель жизни. Последнее время со мной были такие внешние тягости при внутренних теоретических катастрофах, так все во мне запуталось, что мне не разобраться в этих сложностях, тем не менее я могу поступать во внешнем пути сообразно с Идеалом, который заложен во мне. И не внешние события создали во мне ту болезненную истерику и чувство разверзающейся пропасти под ногами, а целый ряд внутренних событий в душе все это подготовил. Эту внутреннюю, идейную сторону моего существа и вопросы, с ней связанные, Ты подчас по совершенно естественным причинам игнорировала, а без них, т. е. без „святаясвятых“ моей души и веры в правду, и меня во внешних факторах жизни понять

абсолютно нельзя. Будет все во мне путаницей и туманной неразберихой. Когда я уехал за границу, я уехал 1) собраться с внешними силами, 2) эти внешние силы мне нужны только для того, чтобы решить правду жизни – цель своего пути: как я могу быть полезным человечеству и как осуществлять сознательно добро? <...> Итак, и переезд мой вытекает из сокровенных внутренних планов, а не случаен. На расстоянии трудно дать рисунок моих переживаний, связанных с поступками. Поэтому верь, что переехал я ради спасения: своего. А вот внешние факты моего переезда. В моей переписке с Блоками произошло многое, что повело к новым всплывкам страха и сложности. И когда я начал выкарабкиваться к Свету и Ясности, весь Мюнхен для меня оказался пропитанным истерикой воспоминаний. Мне было тяжело оставаться в той самой комнате, где я столько перемучился и вместе с тем почувствовал, что основное зерно правды, во мне пробуждающееся, растет и крепнет. Была потребность, чтобы и окружающее не напоминало ужаса и мучений. Я переменял место и сразу успокоился. <...>»

Брюсову из Мюнхена он сообщал: «Живу тихо и сосредоточенно. Здесь еще все голубое. Тепло. По вечерам сижу у открытого окна с трубкой, и рисуется бессмыслица последних лет моей жизни. Знаю – так жить нельзя. Одиночество мое сейчас посещают тени. Слышу сладкие веяния. И верю, верю... и даже как будто голоса. Пришло ко мне далекое прошлое – детство (или, быть может, старость). Знаю, что громадный кошмарный период жизни для меня отходит маревом. „Вижу солнце завета, вижу небо вдали. Жду вселенского света от воскресшей земли“ (Блок). Мне больно и грустно: одиноко, но спокойно. Если кому-нибудь сделал больно, прошу прощения. Мне хочется перед всеми каяться, чтоб от всех уйти – уйти туда, куда призывают голоса. Здесь в Мюнхене был период, когда со всеми перезнакомился и так же быстро прервал все знакомства: неинтересно.

<...> Утром гуляю в золотом громадном парке или сижу за коллекцией гравюр в Пинакотеке. От 2-х до 6-ти работаю. Вечером с Владимировым (художник, близкий друг Белого. – В. Д.) у меня варим чай и закусываем. Потом подолгу сидим с трубками. Сидим и молчим. И душа умиляется тишине. Иногда идем в кафе и молчим над кружками пива, слушая вальс. Так идет день за днем. Любящий Вас Б. Бугаев».

Его отношения с Брюсовым давно наладились и вошли в нормальное русло. Валерий Яковлевич в знак примирения посвятил недавнему сопернику сборник своей прозы. Краткое, но выразительное посвящение говорило больше всяких многостраничных пояснений: «Андрею Белому – память вражды и любви». Неожиданно пришло письмо от Мережковского,



он и Зинаида Николаевна приглашали Белого в Париж. Вообще-то с Мережковскими отношения у него складывались неровно. Год назад он уже успел серьезно рассориться с мэтром из-за публикации статьи, посвященной Ибсену и Достоевскому. Но как рассорился, так и помирился. Мережковский долго зла не держал, а литературная взаимность быстро свела на нет былые претензии и обиды. Деятельность литературно-религиозного кружка Мережковских в Париже мало чем отличалась от ночных бдений в Петербурге. По четвергам здесь перебивал почти весь Русский Париж. Приезжие знаменитости также считали обязательным долгом навестить звездно-поэтическую чету.

В Париже Андрей Белый поселился в недорогом пансионе возле Булонского леса, где заодно и столовался. И надобно было такому случиться – познакомился здесь волею судеб с одним из выдающихся политических деятелей тогдашней Франции Жаном Жоресом (1859–1914), руководителем Французской социалистической партии и основателем газеты «Юманите». Имя Жореса гремело тогда по всей Европе. Встречи с ним и беседы искали сотни людей и просителей, за несколько месяцев вперед записываясь к нему на прием. Журналисты сутками выслеживали и подкарауливали политическое светило, чтобы взять у него интервью, но тот умело избегал до смерти надоевших ему газетчиков. А вот Андрею Белому не составило абсолютно никакого труда на некоторое время стать доверительным собеседником знаменитого француза. Просто они оказались соседями за одним ресторанным столиком: Жорес приходил обедать в тот самый пансион, где проживал и столовался Белый.

Традиционный обмен ничего не значащими фразами довольно-таки скоро перерос в живой обмен мнениями. Своей внешностью и манерой поведения Жорес напомнил Белому покойного отца. В свою очередь, приезжий русский располагал к себе общительностью, неназойливостью, интересными темами для обсуждения и ясными бездонными глазами. Общий язык они нашли на почве философской проблематики. Жорес в молодости преподавал философию в лицее и университете, ну а Белый интересовался «наукой наук» на протяжении всей своей жизни, а в момент знакомства с Жоресом углубленно изучал труды модных тогда философов-неокантианцев.

В десятке лучших политических ораторов всех времен и народов – от Цицерона до Фиделя Кастро – Жорес и по сей день занимает далеко не последнее место. Естественно, Белый не избежал искушения послушать лидера социалистов на одном из массовых митингов. Такой случай вскоре представился, рассказ о нем впоследствии нашел место и в 3-м томе

мемуаров А. Белого. Если в обычном общении Жорес особенно не выделялся среди других людей, напоминая почтенного профессора, то на трибуне он разительно менялся, превращаясь в сгусток огня и энергии. Впрочем, предоставим слово самому Белому:

«<...> Жорес появился из двери, увидясь и шире и толще себя, с головой, показавшейся вдвое огромней, опущенной вниз; переваливаясь тяжело, он бежал от дверей к перепуганной кафедре, перед которой встал, на нее бросив руки и тыкаясь быстрым поклоном: направо, налево; но вот он короткую руку свою бросил в воздух: ладонью качавшейся угомонял рявк (так!) и плеск; водворилось молчанье; тогда, напрягаясь, качаясь, с багровым лицом от усилия в уши врубить тяжковесные (так!) свои фразы, – забил своим голосом, как топором; и багровыми, мощными жилами вздулась короткая шея; грамматика не удавалась ему; говорил не изящно, не гладко, пыхтя, спотыкаясь паузами; слово в сто килограммов почти ушибало; раздавливал вес – вес моральный; тембр голоса – кричающий, упadaющий звук топора, отшибавшего толстые ветки.

Кричал с приседанием, с притопом увесистой, точно слоновьей ноги, точно бившей по павшему гиппопотаму; почти ужасал своей вздетой, как хобот, рукой. К окончанию первой же из живота подаваемой фразы раздался в слона; и мелькало: что будет, коли оторвется от кафедры и побежит: оборвется с эстрады; вот он – оторвался: прыжками скорей, чем шажочками толстого туловища, продвигался он к краю эстрады; повис над партером, вытягиваясь и грозясь толстой массой рухнуть в толпу; голос вырос до мощи огромного грома, катаясь басами багровыми, ухо укалывая дискантами визгливой игры на гребенке; вдруг, чашами выбросив кверху ладони, он, как на подносе чудовищном, приподымал эту массу людей к потолку: ушибить их затылки, разбить черепа, сквозь мозги перекинуть мосты меж французом и немцем.

Мы кубарями понеслись на космической изобразительности; он, как Зевс, сверкал стрелами в тучищах: дыбились образы, переменялся рельеф восприятий; рукой поднимал континент в океане; рукой опускал континент: в океан; промежуточные заключенья глотал; и, взлетев на вершину труднейшего хода мыслительного, прямо перелетал на вершину другого, проглатывая промежуточные и теперь уж ненужные звенья, впаляя свою интонацию в нас, заставляя и нас интуицией одолевая расстояния меж силлогизмами; мыслил соритами, эпихеремами (ракурсы силлогистической логики. – В. Д.); и оттого нам казалось: хромала грамматика; и упразднялась логика лишь потому, что удесятерил он ее».

Столица Франции и законодательница мод всей Европы произвела на

Белого неизгладимое впечатление. «Ужасно полюбил Париж, – делился он с Брюсовым. – Но мало что видел: Вы будете браниться за некультурность. Мне нравится шляться по улицам и застывать в кафе над пивом с трубкой. <...>». Из Парижа Белый трижды писал Блоку, одно из писем – стихи, посвященные Саше, как по-прежнему продолжал он именовать своего друга-врага. В ностальгических строфах – щемящая тоска о былом и прошедшем:

А. А. БЛОКУ

Я помню – мне в дали холодной  
Твой ясный светил ореол,  
Когда ты дорогой свободной —  
Дорогой негаснущей шел.

Былого восторга не стало.  
Все скрылось: прошло – отошло.  
Восторгом в ночи пропылало  
Мое огневое чело.

И мы потухали, как свечи,  
Как в ночь опускался закат.  
Забыл ли ты прежние речи,  
Мой странный, таинственный брат.

Ты видишь – в пространствах бескрайних  
Сокрыта заветная цель.  
Но в пытках, но в ужасах тайных  
Ты брата забудешь: – ужель?

Тебе ль ничего я не значу?  
И мне ль ты противник и враг?  
Ты видишь – зову я и плачу.  
Ты видишь – я беден и наг.

Но, милый, не верю в потерю:  
Не гаснет бескрайняя высь.  
Молчанью не верю, не верю.  
Не верю – и жду: отзовись.

## Боря

Приветы Любви Дмитриевне, вопреки элементарным правилам этикета, в парижских письмах отсутствуют. Блок ответил на них только однажды. Возможно, до Парижа уже докатилась молва: жена Блока, чтобы отомстить мужу, у которого в самом разгаре был роман с актрисой Натальей Волоховой, сама ударилась в разгул. Назывались по крайней мере три имени ее мимолетных любовников, среди них и недавний друг Мережковских, поэт Георгий Чулков. Здесь, в Париже, Белый мог излить вконец измученную душу одной лишь Зинаиде Гиппиус. Та внимательно и с показным участием выслушивала его отчаянные бессвязные монологи, охотно обсуждала подробности и детали, но лечить душу не умела, скорее – сыпала соль на раны.

Перед Новым годом у Андрея Белого обострилась давно беспокоившая его внутренняя болезнь. Началось все с поездки в театр, куда он сопровождал Зину Гиппиус и откуда еле добрался домой в пансион. Болезненная опухоль не давала возможности ни стоять, ни ходить, ни сидеть, ни лежать. Поднялась высокая температура. Во избежание разрыва нарыва и возможного в таких случаях заражения крови требовалось срочное оперативное вмешательство. В полубессознательном состоянии Белый ждал врача, вместо него появился Николай Гумилёв, оказавшийся в те дни в Париже и принесший Белому свои новые стихи. Но вместо возвышенного разговора о поэзии – бред и жар. В таком виде еле добрался до Мережковских, те быстро договорились со знакомым хирургом о немедленной операции. На другой день все было уже позади...

Зинаида Гиппиус, ежедневно навещавшая Белого в больнице, сообщала Брюсову: «<... > Больной А. Белый лежал у нас перед операцией и почти кричал от боли, которая „туго, туго крутила жгут“. Теперь все понемножку обошлось. Операция сделана, прошла хорошо, и Белый лежит кротким, веселым, больным ангелом среди ухаживающих за ним монахинь какого-то строгого католического ордена. На будущей неделе, вероятно, встанет. Тучи близких и дальних навещают его. Его ведь как-то любят и те, и другие».

Зина также оповестила и успокоила мать Белого: «Он очень подготовил свою болезнь ненормальным образом жизни, которую вел перед этим. Он бывал у нас днем, постоянно, – и последнее время мы упрашивали его раньше ложиться; но он говорил, что уже неделю не спит, до утра сидит, пьет чай и курит. Нервы расшатал себе до такой степени, что вид у него был прямо ужасный. У него слишком слабая воля, чтобы взять

себя в руки, и с этой стороны я даже рада, что он проживет несколько времени в больнице, под строгим режимом. Это очень успокоит его нервы... уж очень все мы крепко и неизменно любим Вашего сына, и все думаем, и гадаем, и советуемся, как бы так сделать, чтобы ему было хорошо».

В сложившейся критической ситуации Мережковские оказались на высоте, проявив свои лучшие человеческие качества. Белый быстро поправился и постепенно втянулся в привычную жизнь. Дмитрий Сергеевич привлек гостя к работе над подготавливаемым философско-литературным сборником, хотя любимый конек Мережковского и К<sup>о</sup> – *богоискательство* – в наименьшей степени привлекал А. Белого. Бурные дискуссии по поводу того, каким новым содержанием должно пополниться традиционное богословие, волновали Белого лишь в той мере, в какой все это увязывалось с проблематикой *символизма* и понятием *символа* как главным опосредующим звеном между миром запредельной божественной среды, с одной стороны, и познающим субъектом (включая его религиозный опыт), с другой.

Более близкой для Белого оказалась другая тема, активно обсуждавшаяся в кругах русской интеллигенции – *религия и социализм*. На данной стезе уже четко определился ряд диаметрально противоположных направлений. Согласно одному из них, в религии (прежде всего в учении Иисуса Христа) содержатся все главные основоположения социалистической доктрины. Согласно другому подходу, само учение Карла Маркса по сути своей представляет *новую религию* (последнюю точку зрения отстаивал и развивал социал-демократ Анатолий Васильевич Луначарский (1875–1933) – будущий нарком просвещения Советской России).

У Белого давно сформировалось свое понимание этих вопросов, хотя в его подходе доминировала чисто символистская терминология. Он даже вызвался прочитать реферат «Социал-демократия и религия» в пользу парижской эмигрантской кассы. (Через три месяца текст этой лекции в виде статьи был опубликован в журнале московских символистов «Перевал».) Трудно сказать, какой отзвук получили в парижской социал-демократической аудитории мистифицированные пассажи поэта-символиста, вроде следующих «тезисов»: «Религиозное сигнализирует далям. В этом его символика. Символ и есть прообраз иного, живого. Символ скрывает истинный лик. Он – тусклые окна, из которых мы смотрим на свет. А то как бы мы не ослепли от света. <...>» Безусловно, в лекции А. Белого есть и более внятные политические откровения и

прозрения. Он пишет в статье то, что говорил раньше: социал-демократия – главный и единственный организатор пролетариата – последней надежды человечества. «Образ пролетария все более и более становится образом человека вообще. Ему принадлежит творчество будущего. Его религия и будет религией человечества». Конкретное содержание этой религии будущего пока неясно. Но Белому представляется, что в ее основе должно лежать учение о Богочеловечестве, как его понимал Владимир Соловьев. Оно и составит «единую религиозную правду» Грядущего...

Конкретная реакция на символистские пассажи со стороны самих социал-демократов нам известна. Уже неоднократно упоминавшийся меньшевик Николай Валентинов попытался специально проанализировать некоторые любимые политические и социологические идеи А. Белого. Ничего путного из его затеи не могло получиться, – так сказать, по определению. Ибо Валентинов придерживался модной в начале XX века философской концепции *эмпириокритицизма*, которая всего-навсего являлась новейшей разновидностью классического позитивизма, а тот, в свою очередь, опираясь на данные чувственного опыта, что заведомо не сопрягалось с мистическим подходом к Мирозданию и его познанию с помощью иррациональной символистской методологии.

А. Белый утверждал: символ «есть соединение чего-то с чем-то за пределами познания»; именно этот запредельный мир вечных ценностей и есть высшая реальность, постигаемая в первую очередь путем внутренней творческой деятельности, на основе искусства и религии (точнее, искусства, в коем изначально сокрыта изначальная религиозная сущность). Поэтому для позитивиста-эмпириокритика Валентинова почти форменной абракадаброй звучали философскопоэтические откровения Белого, наподобие следующих: «Нам открывается, что единая символическая жизнь (мир ценного) не разгадана вовсе, являясь нам во всей простоте, прелести и многообразии, будучи альфой и омегой всякой теории; она – символ некоей тайны; приближение к этой тайне есть все возрастающее, кипящее творческое стремление, которое несет нас, как бы восставших из пепла фениксов, над космической пылью пространств и времен; все теории обрываются под ногами; вся действительность пролетает, как сон; и только в творчестве остается реальность, ценность и смысл жизни».

Или: «Перевал, переживаемый человечеством, заключается в том, что бьют ныне часы жизни – познанием, творчеством, бытием – великий свой полдень, когда глубина небосвода освещена солнцем. Солнце взошло: оно давно уже нас ослепляет; познание, творчество, бытие образуют в глазах наших темные свои пятна; ныне познание перед глазами нашими разрывает

темные свои пятна; оно говорит нам на своем языке: „Меня и нет вовсе“. Творчество ныне перед глазами нашими разрывает темные свои пятна; оно говорит: „Меня и нет вовсе“. Обыденная наша жизнь перед глазами нашими разрывает темные свои пятна; она говорит: „Меня и нет вовсе“. От нас зависит решить, есть ли что-либо из того, что есть. В нашей воле сказать: „Нет ничего“. Но мы – не слепые: мы слышим музыку солнца, стоящего ныне посреди нашей души, видим отражение его в зеркале небосвода; и мы говорим: „Ты – еси“»...

\* \* \*

Деньги, предназначавшиеся для путешествия по Европе, давным-давно кончились: все, что оставалось, ушло на оплату операции и разные больничные услуги. О дальнейшем пребывании за границей и тем более о поездке в Италию не могло быть и речи. Приходилось кардинальным образом корректировать планы. В конце февраля (по старому стилю), то есть в начале марта (по новому стилю) 1907 года Андрей Белый возвратился в Москву. Последним, кто попрощался с ним в Париже, был Жан Жорес, когда они завтракали вместе в ресторане. Прощальный визит к Мережковским состоялся накануне...

По возвращении домой перед Белым в полный рост встала проблема дальнейшего материального обеспечения своей собственной жизни и остававшейся на его попечении матери. Постоянных источников для пополнения семейного бюджета было не так уж и много – гонорары да лекции. В первом случае приходилось братья за любую работу, не гнушаясь заказными рецензиями, за которые платили гроши, гораздо меньше, чем другим писателям. (Для сравнения: за публикации Сологубу платили в пять раз больше, Куприну – в восемь раз, Леониду Андрееву – в десять.) Белый же был исключительно щепетилен в финансовых вопросах, никогда не просил прибавки, а за материальной помощью обращался, лишь когда совсем есть становилось нечего. Как всегда требовалось постоянно искать подходящую лекционную аудиторию. Чаще всего она сама себя находила, зато оплачивались такие выступления далеко не всегда. Отбоя от желающих послушать очередную лекцию Белого никогда не было: любой зал моментально заполнялся до отказа. Тематика лекций была самая разнообразная – теория символизма, искусство будущего, модернистский театр, Фридрих Ницше, Генрик Ибсен и т. д. и т. п.

Андрей Белый всегда любил живое общение с аудиторией, умел

завладеть ее вниманием и удерживать его до конца выступления. Ему помогало прирожденное искусство импровизации, коим он владел виртуозно. Его методический опыт и рекомендации доступны всем желающим: «Когда свободно отдаешься импровизации, отвлекаясь от аудитории, тогда-то именно ее и видишь насквозь; я всегда изумлялся удесятеренью внимания к мелочам в процессе обдумывания деталей изложения: с кафедры. Видишь не массу, а несколько сот отдельно сидящих личностей; каждая как бы переосвещена лучами, бьющими из твоих же глаз; видишь нюанс выражения каждого слушателя; видишь его характеристику; и мгновенно ее учиываешь, мотая на ус и сообразно с этим видоизменяя следующую же свою фразу; и знаешь, кто – в усилии тебя понять, а кто – в отказе; видишь схватку недоумений, согласий и возмущений; видишь группы людей по степени понимания тебя; и молниеносно в душе подытоживаешь разнообразие всех этих к тебе отношений, чтобы, где нужно, изменить стратегию доводов и стиль речи. И тупость не понимающих ни слова всплывает перед тобою, как пробка в воде. <... >

Первые пять минут ты ищешь среднего отношения к твоей мысли, как „за“ или „против“; энергия лекции уходит на ощупь; ты, пожалуй, болтаешь зря; но это болтанье – предлог; под ним – действие ощупи; ощупавши в целом аудиторию, ты ищешь опорных пунктов в отдельных, тебя понимающих личностях: ты чалишь к ним; читаешь им; они тебе – остров в неизвестном море, полном сюрпризов; став на остров твердой ногой, ты уже уверенно вглядываешься в тебя обступающую стихию; собственно говоря: этот момент и есть начало лекции; все, что до него, – предварительная разведка; мой дефект в том, что у меня такая ориентировка берет минут двадцать; поэтому начало лекций моих – всегда абстрактно; не то курсовая лекция, где состав аудитории постоянен, изучен; там не приходится говорить „в кредит“. <... >

Кроме того: надо знать, когда аудитория в целом утомлена логикой; тогда, бросив логику, надо покачать слушателей, как на качелях, – на мягких, мало уму говорящих образах: и тогда говоришь от сердца; или же улыбаешься шутками; лектору-педагогу надо уметь говорить не только к сознанию, но и к подсознанию; сознание лектора – удесятерено; ему в миги чтения порой виден самый процесс становления его мысли в отдельных слушателях; это накладывает на него неожиданные задания; он должен статическое равновесие лекционного плана превратить в динамическое равновесие; для этого ему нужно в процессе чтения быть и артистом, проводящим в лекции ряд ролей; он должен выступить по отношению к



врагам и гневным Отелло, и хитрым Яго; он может погоревать над упадком вкуса, как Лир над Корделией; но эти роли должны где-то встретиться в композиции целого, чтобы в ролях-вариациях не утонула бы тема; лекция не есть прочтение отвлеченного хода мыслей, а главным образом его постановка, подобная постановке пьесы с заданием, чтобы в последних сценах, абзацах лекции совершилось бы массовое действие: вступление на кафедру тебя слушавшего коллектива, гласящего уже твоими устами; конец лекции, вырастающий как итог опознания твоих мыслей, проведенных сквозь слушателей и к тебе возвращенных, порою для тебя неожидан; в нем ты, резюмируя отклик аудитории, порою превышаешь себя самого; аудитория тебя инспирировала. И порою ощущаешь крах, подобный провалу постановки.

Лектор в течение каких-нибудь трех часов переживает все стадии произрастания семян: распашку, посев, выращивание колоса, цветенье и созревание плода, чтобы в конце лекции вкусить нечто от плода, который приносит ему сдвинутая с точки косности аудитория; и плод этот сладок; и связь с аудиторией – таинственна; и не раз я испытывал радость, читая где-нибудь несколько лекций подряд; радость в том, что в ряде последующих лекций часть аудитории первой лекции вернулась к тебе; иные из слушателей сопутствуют всем твоим лекциям; ты обретаешь новый дружеский круг, личности которого тебе неизвестны. Вот что нудило меня много сил отдавать лекциям, всегда нарушавшим писательскую работу и даже вытравившим из души несколько книг; и между прочим трактат о символизме; последний не написан; но в ряде лекций была дана постановка его. Я – не скорблю... <...>»

С лекциями А. Белый выступал не так уж и часто. Как и гонорары, они не приносили доходов стабильных и, главное, обеспечивавших достойное существование. Не так уж и редко наступало время, когда приходилось жить впроголодь. В письме Зинаиде Гиппиус он сообщал: его совокупный месячный заработок не превышает 20–30 рублей, но в одной из вновь организуемых газет ему обещают жалованье в размере 150 рублей. Но с газетой дело не заладилось и пришлось вообще, как говорится, положить зубы на полку. Когда мать уехала лечиться на кавказские минеральные воды, Белому пришлось даже вынужденно отказаться от нормального трехразового питания и по пять дней кряду обходиться без обеда. Он снова вернулся к старой идее продать незастроенный отцовский участок земли на берегу Черного моря и тем самым хотя бы временно поправить незавидное материальное положение. Сегодня бы продажа земли вблизи Сочи принесла бы баснословный доход, но в то время желающих не находилось.

Кто-то обещал содействие, но, как и следовало ожидать, из этой затеи ничего не вышло.

Главным плацдармом для активной пропаганды своих взглядов у московских символистов по-прежнему оставался процветавший брюсовский журнал «Весы» и литературнохудожественное объединение «Общество свободной эстетики», заседавшее в особняке Востряковых на Большой Дмитровке. Именно здесь почти сразу же по возвращении из Парижа состоялось выступление Андрея Белого с чтением стихов. «Общество» соединяло поклонников и служителей всех родов искусств – художников, музыкантов, поэтов, писателей, драматических и балетных артистов. Вместе с Брюсовым, Эллисом, С. Соловьевым и другими писателями А. Белый вошел в литературную комиссию. Между ней и другими комиссиями – театральной, музыкальной и художественной – никаких непроходимых барьеров не существовало. В проводимых мероприятиях участвовали все члены «Общества», которое быстро сделалось местом неформального общения московской интеллигенции, разношерстных меценатов и выдающихся представителей отечественной культуры.

Особую активность проявляли писатели из окружения Брюсова и молодые художники из объединения «Голубая роза», тяготевшие к символистам. Именно здесь широкая общественность близко познакомилась с в будущем громкими именами Николая Сапунова, Сергея Судейкина,<sup>[19]</sup> Павла Кузнецова, Михаила Ларионова, Мартироса Сарьяна, Игоря Грабаря, Анны Голубкиной. Завсегдатаем заседаний «Общества свободной эстетики» стал и прославленный живописец Валентин Александрович Серов (1865–1911), с ним Белый познакомился еще раньше, в доме их общего друга – Маргариты Кирилловны Морозовой, почти вся семья которой была запечатлена в знаменитых по сей день картинах Серова, экспонирующихся в лучших музеях страны.

А. Белый высоко ценил великого живописца и оставил о нем теплые воспоминания: «В. А. Серов, каким видывал я его, обыкновенно молчал; но невидимый ореол обаяния сопровождал его всюду; в том невидимом и неблещущем ореоле опадали павлиньи хвосты – о, сколь многих! В том невидимом и неблещущем ореоле, наоборот, молчаливые, скромные, тихие люди начинали как-то сиять. Такова была атмосфера Серова; такова была моральная мощь его человеческих проявлений и творчества. В комнату он входил както тихо, неловко, угрюмо и... крадучись; в комнату с ним входила невидимо атмосфера любви и суда над всем ложным, фальшивым; так же медленно, не блистая радугой красок, входило в сознание наше его

огромное творчество, – и оставалось там жить – навсегда». О портретах, написанных Валентином Серовым, А. Белый скажет еще ярче: они «всегда – Страшный суд», ибо художник нередко разоблачал гнилую сущность лиц, изображенных на его полотнах, эстетически бичевал их и, бичуяще, одновременно выявлял красоту души человеческой.

Посещали «Общество свободной эстетики» и иностранные знаменитости. Фабрикант и меценат Иван Иванович Щукин (1869–1907) (ему российские музеи обязаны бесценной коллекцией картин французских импрессионистов, постимпрессионистов и неоимпрессионистов) привел раз скандально известного Анри Матисса (1869–1954). Матисс гостил в Москве, проживал в роскошных апартаментах все того же Щукина, не без удовольствия окунаясь в экзотическую, с его точки зрения, московскую жизнь и – до глубокой старости оставаясь страстным поклонником прекрасного пола – с нескрываемым вожделением созерцал неповторимую красоту русских женщин. От одного вида пышнотелых и оголенных до невозможности русских купчих эпохи модерна он терял дар речи. Андрею Белому пришлось выступать посредником-переводчиком между лидером европейских *фовистов* (от фр. *fauve* – дикий) и молодыми московскими модернистами, не владевшими, как оказалось, французским языком. А. Белый не без сарказма вспоминал: «Приводили сюда (в „Общество свободной эстетики“. – В. Д.) и Матисса; его считали „московским“ художником; жил он в доме Щукина, развешивая здесь полотна свои. Золотобородый, поджарый, румяный, высокий, в пенсне, с перелизанным, четким пробором, – прикидывался „камарадом“, а выглядел „мэтром“; вваливалась толпа расфранченных купчих и балдела, тараща глаза на Матисса; Матисс удивлялся пестрятине тряпок, величине бледных „токов“, встававших с причесок, размерам жемчужин и голизне... <... > Не хватало колец, продернутых в носики. <...>» Наиболее важным результатом приезда Матисса в Россию следует все же признать, что полотна, написанные им в начале XX века и развешанные в доме Щукина, были куплены заказчиком, остались в России и по сей день украшают залы Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

\* \* \*

Андрей Белый с головой окунулся в борьбу, разгоравшуюся между двумя группами символистов, – с одной стороны, условно говоря, «московской», во главе с Брюсовым («условно» потому, что к москвичам

примкнула петербурженка Зинаида Гиппиус), а с другой, – «петербургской» во главе с Вяч. Ивановым, в составе которой в конечном счете оказался Блок. Отношения с Брюсовым стали воистину доверительными. Так, 19 апреля 1907 года, отлучившись ненадолго из Москвы, Белый писал своему недавнему противнику и сопернику:

«Дорогой, глубокоуважаемый Валерий Яковлевич! Сейчас вдруг нервы рухнули. Бегу из Москвы дня на три. Я не знаю почему, но хочу Вам сказать, как я Вас люблю, ценю и уважаю. *Уважаю* – примите в самом священном и серьезном смысле. Вы для меня (хотя мы во многом и разные) – образ настоящего рыцаря среди хаоса лиц, из которых почти всех внутренне презираю. Не удивитесь ни тону, ни мотивам моего письма. Все эти дни я хотел внутренне низко Вам поклониться. Сердечно любящий вас Борис Бугаев».

Несмотря на наличие в питерской группировке двух крупных фигур, действительным идеологом и вдохновителем «петербургской оппозиции» стал поэт Георгий Иванович Чулков (1879–1939), объявивший своих сподвижников – ни больше ни меньше как «мистическими анархистами». Георгий Чулков придерживался социал-демократической ориентации и успел пройти через ссылку, которую отбывал в Якутии вместе с Феликсом Дзержинским, будущим всеильным руководителем ВЧК. Поэтом он был неважным, что называется «средней руки», зато обладал редким среди творческой интеллигенции организационным талантом, завидной напористостью и почти что гипнотическим воздействием на окружающих. Отмежевавшись от Мережковского и Гиппиус (в их журнале «Новый путь» он работал в качестве секретаря и в ситуации постоянного отсутствия звездной четы держал все редакционные нити в собственных руках), Чулков организовал перспективное издательство «Факелы» и вдохновил Блока на создание скандального символистского фарса «Балаганчик».

Чулкова и Блока объединяло, помимо всего прочего, серьезное увлечение незаурядной личностью и учением «отца» русского анархизма Михаила Бакунина (1814–1876), чьи идеи они, как бы парадоксально сие ни прозвучало, пытались соединить с софиологией Владимира Соловьева. В результате получался такой вот противоестественный симбиоз: «Социальная революция, которую должна в ближайшем будущем пережить Европа, является лишь малой прелюдией к всемирному, прекрасному пожару, в котором сгорит старый мир. Старый буржуазный порядок необходимо уничтожить, чтобы очистить поле для последней битвы: там, в свободном социалистическом обществе восстанет мятежный дух великого Человека-Мессии, дабы повести человечество от механического устройства

к чудесному воплощению Вечной Премудрости».

Блок же шел еще гораздо дальше и готов был вообще отбросить всякую мистику во имя торжества анархистского идеала:

И мы поднимем их на вилы,  
Мы в петлях раскачем тела,  
Чтоб лопнули на шее жилы,  
Чтоб кровь проклятая текла.<sup>[20]</sup>

Почти все символисты прошли через увлечение анархистскими или леворадикальными идеями. Мережковский и Гиппиус в Париже демонстративно общались с Борисом Савинковым, талантливым писателем и одновременно (о чем конечно же знали) руководителем «боевой организации» эсеров, ответственной за наиболее громкие террористические акты в России; Бальмонт в «Песнях мстителя» прославлял политический экстремизм; Брюсов присоединялся к нему и заявлял: «Ломать я буду с вами...»; старик Сологуб с отчаянным торжеством анархиста-смертника восклицал: *«В гневном пламени проклятья / Умирает старый мир, / Славьте други, славьте братья, / Разрушенья вольный пир!»* Подливал масла в огонь и вторил старшим собратьям по перу молодой и горячий Сергей Городецкий (1884–1967): «Всякий поэт должен быть анархистом. Потому что как же иначе?» И тут же усиливал акцент: «Всякий поэт должен быть мистикоманархистом. Потому что как же иначе?» Не отставал от собратьев по символистскому цеху и Андрей Белый:

Туда, – где смертей и болезней  
Лихая прошла колея, —  
Исчезни в пространство, исчезни,  
Россия, Россия моя!

При всем при этом идеология «мистического анархизма» оставалась Белому глубоко чуждой. Как и Блок, он также пережил увлечение Бакуниным: имя великого революционера и бунтаря встречается и в его художественных произведениях, и в его письмах. Однако словосочетание «мистический анархизм» вызывало у него абсолютное неприятие, доходящее до бешенства. Быть может, потому, что придумал этот странный

термин Чулков... В борьбе за сердце и благосклонность жены Блока Георгий Чулков оказался более удачливым претендентом, чем его соперник Андрей Белый. Он, наконец-таки осознал: Любовь Дмитриевна потеряна для него безвозвратно. Осознавал, но смириться не мог!

Из Парижа Зинаида Гиппиус тоже сыпала соль на рану: постоянно интересовалась его делами на «любовном фронте». Приходилось отвечать: «Дорогая, милая, милая Зина. <...> Вы спрашиваете про Любу. Зина, к Любе у меня отношение серьезное, как жизнь и смерть, но больше я не в состоянии ее оправдывать, не в состоянии никак искать к ней путей. Пусть сама ищет. И еще не знаю, прощу ли я ее. Я послал ей последнее письмо ласковое; получил в ответ „слепое“ письмо с обвинением меня во лжи. В ответ на это я дал ей формулу отношения моего к Саше (идиот, негодяй или ребенок: последнее маловероятно; следовательно?). На том все и оборвалось. После же статьи его о „реалистах“ в „Золотом Руне“ (статью, которую он читал предварительно Л. Андрееву и за которую его наградили вступлением в „Знание“) я ему написал, что освобождаю его от допроса, которому хотел его подвергнуть, ибо рассматриваю его статью как „Прощение“, и стало быть все мне ясно и лучше уж нам никогда не встречаться, потому что руку-то я ему подать, пожалуй, и подам, да что толку? Всего этого я не мог не написать: если угодно Любе после всего этого искать путей ко мне (вероятно, она все между нами забыла: у глухих людей так всегда), я жду ее в том, что вечно; но сам больше не двинусь ей навстречу никогда, никогда. Я вырезал 9/10 своей души, пораженные гангреной, осталась 1/10 прежней души, но души. С этим остатком прежнего я могу жить без Любы. Вот и все. Я сделал с собой опыт: приехал в Москву и не был в Петербурге. Месяц потом жил рядом с Любой и не искал путей к ней (жил с 20 мая до 25 июня под Крюковым, а она около Подсолнечной). Раз 20 я думал, что поеду увидеться с ней, и всегда говорил себе: „можешь всегда поехать, попробуй на этот раз овладеть собой“. И овладевал. И знаю, что могу теперь года ее ждать, года ее не видеть. Никогда не забуду, но и не буду искать с ней встречи. <...>»

С тем большей запальчивостью Андрей Белый, объединившись с Брюсовым, обрушился с уничтожающей критикой на петербургскую группировку «мистических анархистов». Более других при этом досталось Александру Блоку. В запале Белый не оставил камня на камне от его статьи «О реалистах», напечатанной в июньском номере журнала «Золотое руно». Однако в беспрецедентных по своей резкости нападках на Блока и защите корпоративных интересов московской группировки символистов Белый не сумел выдержать линию объективности и беспристрастности. В своей

ставшей классической статье Блок взял под защиту от нападок буржуазной прессы писателей-реалистов, сотрудничавших в петербургском книгоиздательском товариществе «Знание». Душой и естественным лидером этой группы являлся Максим Горький. В объединение «знанинцев», помимо самого Горького, на разных этапах входили: гордость русской литературы – Иван Бунин, Леонид Андреев, Александр Куприн, а также писатели меньших масштабов и более скромных возможностей – Серафимович, Вересаев, Скиталец, Телешов, Сергеев-Ценский и другие.

Заодно в статье Блока досталось и недавним соратникам-символистам, получившим достаточно пренебрежительную оценку: «Среди так называемых „декадентов“ гораздо больше графоманов, чем в среде задушевной, черноземной или революционной беллетристики последних лет». Белый счел подобные пассажи оскорбительными и унижительными. Но отстаивая интересы московских символистов, он ухитрился выплеснуть из ванны вместе с водой и ребенка: в принципе отверг реализм как таковой и обвинил Блока в предательстве и лакействе. В конечном счете недавние друзья обменялись более чем резкими посланиями. Ничего подобного до сих пор они друг другу не писали.

*Белый – Блоку*

«5 или 6 августа 1907. Москва.

Милостивый Государь Александр Александрович.

Спешу Вас известить об одной приятной для нас обоих вести. Отношения наши обрываются навсегда. Мне было трудно поставить крест на Вашем внутреннем облике, ибо я имею обыкновение серьезно (так!) относиться к внутренней связи с той или иной личностью, раз эта личность называет себя моим другом. Потому-то я и очень мучался, хотел Вас привлекать к ответу за многие Ваши поступки (что было неприятно и для меня, и для Вас). Я издали продолжал за Вами следить. Наконец, когда Ваше „Прощение“, pardon, статья о реалистах появилась в „Руне“, где Вы беззастенчиво писали о том, чего не думали, мне все стало ясно. Объяснение с Вами оказалось излишним. Теперь мне легко и спокойно. Спешу Вас уведомить, что если бы нам суждено когда-нибудь встретиться (чего не дай Бог) и Вы первый подадите мне руку, я с Вами поздороваюсь. Если же Вы постараетесь сделать вид, что мы незнакомы, или уклониться от встречи со мной, это будет мне тем приятнее.

Примите и прочее. Борис Бугаев».

*Блок – Белому*

«8 августа 1907. Шахматово.

Милостивый Государь Борис Николаевич.

Ваше поведение относительно меня, Ваши сплетнические намеки в печати на мою личную жизнь, Ваше последнее письмо, в котором Вы, уморительно клеветца на меня, заявляете, что все время „сидели за мной издали“, – и, наконец, Ваши хвастливые печатные и письменные заявления о том, что Вы только один на всем свете „страдаете“ и никто, кроме Вас, не умеет страдать, – все это в достаточной степени надоело мне.

Оскорбляться на все это мне не приходило в голову, ибо я не считаю возможным оскорбляться ни на шпиона, выслеживающего меня, ни на лакея, подозревающего меня в нечестности. Не желая, Милостивый Государь, обвинять Вас в лакействе и шпионстве, я склонен приписывать Ваше поведение – или какому-то грандиозному недоразумению и полному незнанию меня Вами (о чем я писал Вам подробно в письме, отправленном до получения Вашего), или особого рода душевной болезни.

Каковы бы ни были причины, вызвавшие Ваши нападки на меня, я предоставляю Вам десятидневный срок со дня, которым помечено это письмо, для того, чтобы Вы – или отказались от Ваших слов, в которые Вы не верите, – или прислали мне Вашего секунданта. Если до 18 августа Вы не исполните ни того, ни другого, я принужден буду сам принять соответствующие меры. Александр Блок».

\* \* \*

Итак, снова дуэль! Теперь вызов сделал Блок. Но и на этот раз здравомыслие взяло верх. Прежде чем стреляться, друзья-враги решили объясниться. Сначала обменялись пространными письмами, где каждый подробно разъяснял собственные позиции и собственное видение ситуации. Затем Блок приехал из Шахматова в Москву для личной встречи с Белым, заранее известив, что в означенный час зайдет к нему домой. В семь часов вечера в передней раздался звонок. В дверях стоял Александр Блок. В мемуарах Белый старается не упустить ни малейшей детали:

«<...> Если бы я себе рассказал в этот миг впечатление от А. А., очень-очень конфузливо, с вежливой ласковостью стоящего на пороге квартиры моей, в темной шляпе с широкими очень полями и темном пальто, – то я должен сказать: вид его изменился до крайности за этот год, когда мы не видались. И в сторону прошлого: бессознательную радость в себе вероятно бы я нашел, если бы мог за собой наблюдать в это время; и удивление, и



радость – о том, что весь образ А. А., передо мной здесь стоящий, напоминал мне скорее А. А. первой встречи (в 1904 году); и не было в нем ничего от А. А. 1906 года, такого тяжелого для меня; вид ущербного месяца, перекривившего рот, – таким виделся мне одно время А. А. – вдруг куда-то исчез; и глаза не казались зеленоватыми; нет, голубые, большие и детски доверчивые, они смотрели с той вежливой пристальностью, с какой глядели когда-то, казались слишком близкими; и наклон головы, и улыбка, и застенчивое потопатыванье перед дверью, и даже конфузливо сказанное невпопад: „Здравствуйте, Борис Николаевич“ (вместо „Боря“ и „ты“), – это все показалось возвратом к былому; обращение „Борис Николаевич“, „Вы“, скорей вызвало радость; с нелепой улыбкой ответил ему:

– Здравствуйте, Александр Александрович!

И почувствовалось: что бы ни было между нами теперь, – все окончится примирением; сразу я понял, что разговор – совершился, – мгновенный в передней, во время нелепейшего обращения друг к другу „Борис Николаевич“, „Александр Александрович“; все остальное – лишь следствия; странно: во встречах с А. А. 1906 года – обратное: первое впечатление от А. А. мне гласило, что что бы ни было сказано между нами – все тщетно: все только запутает. Первому впечатлению верю: оно – не обманывает.

Пригласил я А. А. в кабинет; затворился; ощущалась неловкость от предстоящего объяснения; неловкость себя проявляла в бросаемых исподлобья конфузных взглядах, в полуулыбках и в том, что не сразу коснулись темы приезда А. А.: говорили о „Золотом Руне“, о заведовании А. А. литературным отделом; А. А. в кабинете моем мне казался большим; и – каким-то совсем неуклюжим; локтями склоняясь на стол и расставивши ноги, он взял в руки пепельницу, и, крутя ее, высказал что-то шутливое: „юморист“ в нем проснулся; но – „юморист“ от смущения; точно видом своим выразил он: „Подите вот, – дошли до дуэли: совсем по-серьезному“... И этою „юмористической“ нотой подхода к событиям, бывшим меж нами, он мне облегчал разговор».

Проговорили до 11 часов ночи, незаметно вновь перейдя на «ты» и на «Борю» и «Сашу». Сделали перерыв на чаепитие, к радости мамы Белого Александры Дмитриевны: она в Блоке души не чаяла и ликовала, что все обошлось миром. Правда, разговор еще не закончился. Друзья вернулись в кабинет Белого и проговорили до конца ночи. Прежнее доверие было полностью восстановлено. Блок намеревался уехать в семь утра, и Белый пошел провожать его по светавшей Москве до самого вокзала. Потом еще пили чай в трактире вместе с извозчиками, медленно прогуливались взад-

вперед по перрону, дожидаясь поезда. На прощание обменялись рукопожатием и обещали друг другу верить только в лучшее и общаться безо всяких посредников и доброхотов. Когда Белый, улыбаясь и радуясь, возвращался домой, Москва совсем проснулась...

Для подтверждения «серьезности своих намерений» Блок вскоре через Белого представил в журнал «Весы» письмо, где решительно заявил: «<...> Я никогда не имел и не имею ничего общего с „мистическим анархизмом“, о чем свидетельствуют мои стихи и проза». Следующее свидание «заклятых друзей» состоялось в первой декаде октября в Киеве, куда оба поэта прибыли для участия в Вечере нового искусства. Вообще-то первоначально планировалось выступление Бунина, но тот в последний момент отказался, и Белый срочно пригласил телеграммой Блока. Тот немедленно телеграфировал в ответ одним словом – «Еду», а когда приехал, доверительно сообщил: «Только из-за тебя, Боря!»

Выступить пришлось в огромном и забитом до отказа зале Киевского оперного театра. Публика собралась явно равнодушная к поэзии, а слышимость оказалась отвратительной: смысл и содержание стихов едва доходил до первых рядов. Блок прочел «Незнакомку», и в ответ раздалось несколько жидких хлопков. Большинство присутствовавших декламации не услышало, кто услышал – не понял. С ощущением полного провала прочел несколько стихотворений Белый (перед этим он открывал вечер небольшим вступительным словом о современной поэзии) – результат тот же – несколько жалких хлопков. В конец обескураженные и расстроенные поэты вернулись в гостиницу. А ночью у Белого случился приступ. Он заподозрил неладное: по городу гуляла холера. После полуночи постучал к Блоку. Тот воспринял ситуацию со всей серьезностью, но предположение о возможной холере сразу отверг. «Нервный припадок от переутомления, – констатировал он. – Останься у меня; мы с тобой вместе посидим до утра, и тогда обратимся к доктору. В таком состоянии я тебя одного ни за что не оставлю».

Так и провели вместе остаток ночи. И спустя четверть века Белый с благодарностью вспоминал: «<...> Не забуду я ласки, которой меня окружил он; перед ним разливался словами; он слушал меня, бросив локоть на стол, бросив ногу на ногу, вращая носком и склоняясь щекою на руку; во всей его позе увиделась прежде ему не присущая мужественность; видно: много он перестрадал; в память врезался профиль: нос, выгнутый, четкий; лицо удлиненное; четкая линия губ: аполлоновский профиль!» Вдруг Блок вздохнул и сказал: «Тебе трудно живется. Знаешь что? Едем вместе со мной в Петербург: я к тебе ведь приехал; ну а почему бы тебе не поехать ко

мне?» – «А как же Любовь Дмитриевна?» – «Все глупости: едем!»...

И тут Белый понял: с тем и приехал Блок в Киев, чтоб звать его в гости в Питер. Но у занемогшего Белого днем еще предстояла лекция, на нее уже были распроданы все билеты. Блок сначала советовал вовсе ее не читать, затем предложил свои услуги: прочесть ее по рукописи за докладчика. Так и порешили. «Уж солнце вставало, – вспоминает Белый, – и Блок настоял, чтобы я шел к себе и разделся; меня проводил, посидел у постели; потом, не ложась, принялся изучать мою рукопись, чтоб не запутаться в чтении; мог он меня заменить: коль не Белый, так – Блок; мы для публики были в те годы вполне заменимы. Я к вечеру справился с недомоганием и решил сам читать; все ж за мной в этот день он ходил по пятам; сидел в лекторской рядом; сюда тащил чай; сел при кафедре, зорко следя за моим выражением лица, чтоб меня заменить, коли что; эта лекция прошла с успехом; с нее мы поехали на вокзал (вещи были отправлены прежде); он кутал мне горло; следил за вещами; попавши в вагон, мы свалились как мертвые; ночь предыдущая прошла без сна; и лишь к двум часам дня мы, проснувшись, попали в вагон-ресторан; там весь день просидели за тихой беседой, глотая рейнвейн; в окна сеяло дождиком; там проносилась Россия – огромная, сирая, жалкая».

Утром они уже были в Питере. Блок лично отвез Белого в гостиницу «Англетер», провел в номер и сказал: «Тебе будет близко отсюда ходить к нам; ну, я иду к Любе; а ты к нам часа через три заходи: будем завтракать». Любовь Дмитриевна встретила несостоявшегося возлюбленного как ни в чем не бывало, как будто и не писала ему менее года назад, что не видит между ними ничего общего. Как сложно представлялось вдали и как просто оказалось вблизи! Но лучше обо всем расскажет сам Белый:

«Никогда не забуду я чувства смущенья, с которым звонился я; встреча с Л. Д. волновала меня. Но мы встретились просто; во всем объясненьи (так!) с Л. Д. проявилась одна удивительная черта; объяснялись мы как-то формально; и чувствовалось, что объяснение подлинное, до дна, – ускользает; ну словом: мы, кажется, помирились, – не так, как с А. А. И еще я заметил: разительную перемену в Л. Д. Прежде тихая, ясная, молчаливая, углубленная, разверзающая разговор до каких-то исконных корней его, – ныне она, наоборот, на слова все как будто набрасывала фату легкомыслия; мне казалось, – она похудела и выросла; что особенно поразило в ней, это стремительность слов; говорила она очень много, поверхностно, с экзальтацией; и была преисполнена всяческой суеты и текущих забот. <...>

Я понял, что жизнь и Л. Д., и А. А. изменилась; была она тихой,

семейною жизнью; теперь стала бурной и светской, и кроме того, понял я, что А. А. и Л. Д. живут каждый своею особою жизнью; А. А. был захвачен какой-то стихией; был весь динамический, бурный, сказал бы я, что влюбленный во что-то, в кого-то; и в нем самом явственно я замечал нечто общее с „ритмами“ „Снежной Маски“; он был очень красив и был очень наряден в изящном своем сюртуке, с белой розой в петлице, с закинутой гордо прекрасною головою, с уверенной полуулыбкой и с развевающимся пышным шарфом; таким его часто я видел – в гостях, иль в театре, иль возвращающимся домой. <...> Л. Д. мне... <...> говорила в ту пору, что многое она вынесла в предыдущем году; и что не знает сама, как она уцелела; и от А. А. очень часто я слышал намеки о том, что они перешли Рубикон, что назад, к прошлым зорям возврата не может быть; я понимал, что пока проживал за границею, в жизни Л. Д. и А. А. произошло что-то крупное, что изменило стиль жизни. <...>»

Действительно, Белый не без удивления наблюдал, как после спектакля (на одном из них ему тоже удалось побывать) на квартире у Блоков собиралась оживленная компания артистов. Ее украшением – настоящей звездой на фоне пестрого артистического небосклона сияла утонченно-волевая Наталья Волохова, про которую весь Петербург говорил: она – новая Муза Александра Блока, вдохновившая его на стихотворный цикл «Снежная маска». Как выдерживала Любовь Дмитриевна присутствие соперницы у себя дома, сказать трудно. Их отношения на протяжении очередного увлечения мужа оставались равными и вполне нормальными. Впрочем, таковы были тогдашние нравы...

Белого же Волохова совершенно разочаровала: «<... > Очень тонкая, бледная и высокая, с черными, дикими и мучительными глазами и синевою под глазами, с руками худыми и узкими, с очень поджатыми и сухими губами, с осиною талией, черноволосая, во всем черном, – казалась она *reservee* (сдержанной. – *фр.*). Александр Александрович ее явно боялся; был очень почтителен с нею; я помню, как, встав и размахивая перчатками, что-то она повелительно говорила ему, он же, встав, наклонив низко голову, ей внимал; и – робел. <...> Было в ней что-то явно лиловое; может быть, опускала со лба фиолетовую вуалетку она; я не помню, была ли у ней фиолетовая вуалетка; быть может, лиловая, темная аура ее создавала во мне впечатление вуалетки; мое впечатленье от Волоховой: слово „темное“ с ней вязалось весьма; что-то было в ней – „темное“. Мне она не понравилась. Тем не менее были уютны и веселы вечера, проведенные вместе».

На сей раз Белый пробыл в Петербурге не слишком долго. Неотложные дела ждали его в Москве. В середине октября он отбыл в

Первопрестольную с тем, чтобы недели через две опять вернуться в Питер. Говоря словами Блока, «Невозможное было возможно, / Но возможное – было мечтой»... Белый вновь прибыл в Северную Пальмиру 1 ноября, но 17-го, неожиданно рассорившись (в который раз!) с Любовью Дмитриевной, вернулся домой, к матери. Что именно произошло и о чем был разговор (очередная «ссора», как называет ее Белый в интимном дневнике, не раскрывая сути произошедшего) – неизвестно. Последнее, что он сказал на прощание Любе – «Кукла!» (припоминая, конечно же, «картонную куклу» из «Балаганчика»). Следующая встреча теперь произойдет только через восемь лет, когда у обоих уже не останется ни малейшего намека на былые чувства и вожделения. Несколько позже, подытоживая весь любовно-трагический этап своей жизни, он напишет: из всей его беззаветной и возвышенной любви «случился лишь ужас». Произойдет это позже, сейчас же он чувствовал одно – усталость и опустошенность. Казалось: большая часть жизни *прожита*, и совсем не так, как бы хотелось. А ведь ему только совсем недавно исполнилось двадцать семь лет!..

У Блока за истекшее время тоже успели донельзя усугубиться личные отношения с женой (из-за Волоховой все-таки!). Объективно и субъективно ему просто стало не до Белого. Их отношения, так окрепшие в Киеве, вновь оказались на точке замерзания. В переписке, ставшей достаточно редкой, наметилась заметная напряженность. Конечно, дружить с Белым было трудно – подчас просто невозможно. Он так и не научился сдерживаться – хотя бы приличия ради, и не упускал случая выпустить по своему великому другу то одну, то другую ядовитую стрелу. После одной такой ненужной никому критической рецензии, Блок высказал свое вполне понятное недоумение. Белый также закусил удила, его ответ гласил: «Ввиду „сложности“ наших отношений я ликвидирую эту сложность, прерывая с Тобой сношения (кроме случайных встреч, шапочного знакомства и пр.). Не отвечай. Всего хорошего».

О дальнейшем А. Белый сообщал буднично и бесстрастно: «Мы с А. А. находились в дружеской переписке; но мы чувствовали, что говорить и видаться – не стоит. И уже понимали, что отдалились друг от друга без ссоры мы; медленно замирало общение наше, чтобы возобновиться лишь через несколько лет; наступала страннейшая мертвая полоса отношений (ни свет и ни тьма, ни конкретных общений, ни явного расхождения)... Письма писали друг другу мы редко; и, наконец, – перестали писать». Поводом явились дальнейшие события в литературной жизни в Москве и Петербурге...

Жизнь не стояла на месте. Противостояние между московскими и питерскими символистами продолжалось. В позиционных боях, происходивших с переменным успехом, Белый слаженно выступал с Брюсовым. Вместе они представляли мощную ударную силу. Валерия Яковлевича Белый называл капитаном, себя – офицером. Против такого двойного тарана мало кому удавалось устоять. Все личные и идейные разногласия если и не были забыты совсем, то наверняка – принесены в жертву общему делу. Донельзя обострились отношения и с «Золотым руном». Меценатство толстосума Рябушинского очень скоро обернулось беспросветным самодурством и барским деспотизмом, сопряженными с непомерными амбициями и неприемлемыми эстетическими ценностями. В письме к Зинаиде Гиппиус от 7—11 августа 1907 года Белый подробно разъясняет сложившуюся ситуацию:

«Теперь о „Руне“. С „Руном“ у меня война. Еще в апреле я вышел из состава сотрудников. Потом Рябушинский просил меня вернуться. Я ответил ему письмом, что пока он Редактор, путного из „Руна“ ничего не выйдет. Потом Метнер написал против меня статью. Я ответил письмом в Редакцию. Письмо отказались напечатать; поставили условием, чтобы я вернулся в состав сотрудников. Я им выдвинул ряд условий, в числе которых было 1) чтобы журнал не опирался на мистических анархистов 2) чтобы Рябушинский дал конституцию. Мне ответили скверным, обидным письмом. Все это сопровождалось всякого рода гнусностями. Наконец я напечатал протестующее письмо в газетах. Вероятно, это письмо будет лозунгом ухода Брюсова (он мне обещал, что в случае предания гласности моего письма, он демонстративно уйдет из „Руна“). Теперь „Руно“ – разлагающийся труп, заражающий воздух. Там процветает идиотизм Рябушинского вкупе с хамским кретинизмом некоего „Тастевена“ (заведующий литературным отделом), который мне сознался, после того как я нецензурными словами изругал при нем заметку Эмпирика против Вас, что ее писал он. Тут мне и стало грустно, что Дима пишет в „Руно“, где заведующий литературным отделом (в сущности редактор) Вас ругает. Последний № „Руна“ – есть уже прямо вонь, где В. Иванов кувыркается, Блок холопствует перед „Знанием“, С. Маковский разводит художественное безье, а Эмпирик Вас ругает. Теперь „Руно“ всецело опирается на Блока, Иванова, Городецкого. Вероятно, вернется туда Чулков». В том же самом августе Брюсов, Белый и Мережковский публично заявили о полном

разрыве сотрудничества с «Золотым руном» и с его спонсором.

Соратники по борьбе весьма ценили атакующий стиль и бойцовские качества А. Белого. Его устные и печатные выступления привлекали всеобщее внимание и били не в бровь, а в глаз. Показательным примером может служить скандальная статья «Вольноотпущенники», опубликованная в феврале 1908 года в журнальном рупоре московских символистов «Весы». Недавних приятелей по литературному цеху он сравнил здесь с рабами-вольноотпущенниками и обозвал «обозной сволочью» (после чего многие из узнавших себя перестали подавать ему руку):

«<...> Воистину – *обозная сволочь* эти эпигоны символизма, не родившиеся в недрах движения, а присоединившиеся извне в тот момент, когда терять им решительно нечего. Воистину – это на волю отпущенные рабы тех слабовольных воинов, которые соблазнились лестью покоренных.

Но воинам чужда похвала, как чуждо им непризнание. Воин обнажает свой меч за любезную ему идею, не ожидая ни брани, ни похвалы за свой подвиг. Воин неутомим. Он всегда на страже: у него звездное небо в груди и меч, обнаженный за звездное небо.

Мы, символисты, не знаем литературных паяцев, блудливых кошек и гиен, поедающих трупы павших врагов. Если они говорят, что они – символисты, они лгут: мы прогнали от себя эту толпу праздных паяцев. Собравшись на почтительном расстоянии от нас, они оглашают воем ниву литературы русской, передавая заветы, наворованные у нас. <...>»

Между тем в особняке М. К. Морозовой продолжались заседания «Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева», где первую скрипку играл близкий друг Маргариты Кирилловны – князь Е. Н. Трубецкой. На заседаниях Общества перебивал почти весь цвет московской гуманитарной интеллигенции и тогдашней русской философской мысли. С докладами Андрей Белый выступал не так уж и часто, но зато активно участвовал в дискуссиях и одно время входил в руководящий совет Общества.

В целом же для выступлений в Москве мест хватало. Федор Степун вспоминает: «В описываемые годы московской жизни Белый с одинаковой страстностью бурлил и пенился на гребнях всех ее волн. Помню его не только на заседаниях Религиозно-философского или Психологического обществ, не только у Морозовой и в „Мусагете“, но также на уютных вечерних беседах у Гершензона, в редакции „Скорпиона“, на концертах Олениной-д'Альгейм, в гостиной Астрова, где, сильно забирая влево, он страстно спорил с „кадетами“ и земцами, на антропософских вечерах у Харитоновой и, наконец, в каком-то домишке в глубоких подмосковных

снегах на полуполюгальных собраниях толстовцев, штундистов, реформаторов православия и православных революционеров, где он все с тою же иступленностью вытанцовывал, выкрикивал и выпевал свои идеи и видения.

Перечислять темы, на которые говорил в те годы Белый, и невозможно и ненужно. Достаточно сказать, что его сознание подслушивало и подмечало все, что творилось в те „канунные“ годы, как в России, так и в Европе: недаром он сам себя охотно называл сейсмографом. Чего бы, однако, ни касался Белый, он, по существу, всегда волновался одним и тем же: всеохватывающим кризисом европейской культуры и жизни, грядущей революцией европейского сознания, „циркулирующим“ по России революционным субъектом, горящими всюду лесами, расползающимися оврагами; в его сознании все мелочи и случайности жизни естественно и закономерно превращались в симптомы, символы и сигналы. Талантливее всего бывал Белый в прениях. <...> Надо отдать справедливость Белому, в самые мертвые доклады его „слово“ вносило жизнь, самые сухие понятия прорастали в его устах, подобно жезлу Ааронову. <...>»

В это время А. Белый особенно сблизился с восходящей звездой русской (а в будущем – и мировой) философии Н. А. Бердяевым, недавно переехавшим из Петербурга в Москву. Они испытывали явную симпатию друг к другу, стремились к неформальному общению и обсуждению интересующих обоим одних и тех же теоретических и метафизических проблем, к удовольствию обоим находя в их решении общие точки соприкосновения.

«Приблизительно в то же время, – пишет Белый в своих мемуарах, – в мир мысли моей входит Н. А. Бердяев; воистину: личность Бердяева, воспринимающая трепет эпохи и понимающая психологию символистов, весьма говорила мне; оригинальный мыслитель, прошедший и школу социологической мысли, и школу Канта, мне импонировал в нем и большой человек, преисполненный рыцарства; импонировал – независимый человек, не склонившийся ни к ортодоксии, ни к Мережковскому; вместе с тем: поражал в нем живой человек; я не помню, когда начались забегания (так!) к Н. А. Бердяеву, жившему где-то вблизи Мясницкой, – но помню: потягивало все сильнее к нему; обстановка квартиры его располагала к кипению мысли, располагала к уюту беседы, непринужденной и искристой; сам Бердяев за чайным столом становился мне близок; мне нравилась в нем прямота, откровенность позиции мысли (не соглашался я в частности с ним); и мне нравилась добрая улыбка „из-под догматизма“ сентенций, и грустный всегда взгляд сверкающих глаз,



ассирийская голова; так симпатия к Н. А. Бердяеву в годах жизни естественно выросла в чувство любви, уважения, дружбы».

Белый пишет о «многострунной личности Бердяева, взявшего в себя трепет эпохи и все чаянья света, трагически потрясенного кризисом жизни, культуры, сознания, веры...». Все это о «блестящем русском мыслителе» было сказано еще до того, как он (уже в эмиграции) приобрел всеевропейскую известность и авторитет. Мемуарист Белый продолжает: «Высокий, высоколобый и прямоносый, чернявый, с красивыми раскиданными кудрями почти что до плеч, с очень черной бородкою, обрамляющей щеки; румянец на них спорил с матовой бледностью; кто он? Стариннейший ассириец иль витязь российский из южных уделов, Ассаргадон, сокрушавший престолы царей, иль какой-нибудь там Святослав, князь Черниговский или Волынский, сразившийся храбро с батыевым игом и смерть восприявший за веру в Орде? <... >

Я мысленно поворачиваюсь к Н. А.; он – встает передо мной: летом, ранней весной и позднюю осенью, быстро и прямо идущим в своем светло-сером пальто, в шляпе светло-кофейного цвета (с полями), в таких же перчатках и с палкою, пересекающим непременно Арбат по направлению к Сивцеву Вражку, и где-то его ожидает (может быть, в том доме, где жил прежде Герцен и где суждено ему было впоследствии пережить революцию), – где-то его ожидает компания модных писателей, публицистов, поэтов, и барынь, затронутых очень исканием новых путей; там проявится мягкая, легкая статья, располагающая к философу, произведение которого часто пропитаны ядом отчетливо... нетерпеливых сентенций, почти дидактических.

В жизни он был – терпеливый, терпимый, задумчивый, мягкий и грустно-веселый какой-то; словами вколачивал догмат, а из-под слов улыбался адогматической (недогматической. – В. Д.) грустью шумящей и блекнувшей зелени парков, когда, золотая, она так прощально зардеет лучами склоненного солнца; когда темно-темно-вишневое облачко на холодном и бледно-зеленом закате уже начинает темнеть; и попискивают синицы; и дышит возвышенною стыдливостью страдания воздух; такую возвышенною стыдливостью выстрадавшего своего догматизма мне веял Бердяев всегда из-за слов своих. Часто бывал он уютен и тих... <...>»

В свою очередь, Бердяев как никто другой проникся сутью философского творчества Андрея Белого, увидев в нем не только поэта и писателя-символиста, но и оригинального философа. Вот что, к примеру, писал Бердяев о вышедшем несколько позже сборнике философских работ Белого «Символизм», куда вошли в том числе и статьи, написанные на

основе докладов, сделанных на заседаниях «Религиознофилософского общества памяти Владимира Соловьева» в особняке М. К. Морозовой:

«Одновременно с „Серебряным голубем“ вышла замечательная книга А. Белого „Символизм“. В ней с поражающей талантливостью обнаруживается другая сторона А. Белого, та, которой нет в его поэзии, в его симфониях, в „Серебряном голубе“. Это А. Белый – философский, гносеологический, методологический, дифференцированный, культурный. Стихия Белого – чисто русская, национальная, народная, восточная, стихия женственная, пассивная, охваченная кошмарами и предчувствиями, близкая к безумию. Русские поля и рябые бабы, овраги и кабаки – близкие и родные этому А. Белому. В А. Белом много мистического славянофильства – славянофильства беспокойного, катастрофического, связанного с Гоголем и Достоевским (но не с Хомяковым, в котором слишком силен был мужественный Логос). А. Белый как философ – чистейший западник и культурник. Он не любит русской философии, ему чуждо славянофильское сознание, его сознание исключительно западническое. Этому А. Белому Риккерт ближе Вл. Соловьева, Ницше ближе Достоевского, Яков Бёме ближе св. Серафима, дифференцированная методологическая философия ближе синтетической религиозной философии... <... >

Но так ли противоположны восточно-русская стихийная мистика А. Белого и его западноевропейская сознательная философия? В стихийной мистике А. Белого чувствуется кошмарность и призрачность бытия. Кошмарность и призрачность бытия остается и в его философском сознании. В книге „Символизм“ есть изумительная, местами гениальная глава „Эмблематика смысла“, в которой А. Белый развивает своеобразную философскую систему, близкую к фикштеанству, но более художественную, чем научную. В этом своеобразном фикштеанстве чувствуется оторванность от бытия и боязнь бытия. А. Белый обоготворяет лишь собственный творческий акт. Бога нет как Сущего, но божествен творческий акт, Бог творится, Он есть творимая ценность, долженствование, а не бытие. И в процессе творчества нет конца, нет завершения в абсолютном бытии. Творческий процесс протекает под кошмарной властью плохой бесконечности, дурной множественности... <... >

В А. Белом я вижу ложное сочетание славянофильства и западничества, ложную связь Востока и Запада. Но чрезвычайно остро и болезненно ставит он эту проблему. А. Белый слишком славянофил и слишком западник. Он тянется и к восточной мистической стихии, и к неизреченной мистике западного образца. Но неизреченная западная мистика отрицает ту основную религиозную истину, что мистика выражима

в Слове-Логосе. Невыразимая в Слове мистика антицерковна и антирелигиозна. Как художник А. Белый преодолевает индивидуализм и субъективизм, но только как художник. Как философ А. Белый остается оторванным от универсального Логоса. Эта оторванность повергает его в безысходный пессимизм. Творчество А. Белого оставляет в той же безысходности, что и творчество Гоголя. А. Белый не верит, что можно обрести свет Логоса в глубине духа, он тщетно ищет света то в восточной народной стихии, то в западном сознании».

По-иному складывались отношения Белого с другим великим русским философом XX века Сергеем Николаевичем Булгаковым (1871–1944), еще не написавшим свои знаменитые философские труды «Философия хозяйства», «Свет невечерний», «Философия имени», но давно уже известный в научных кругах своими экономическими работами и участием в имевших широкий резонанс коллективных сборниках «Проблемы идеализма» (1902 г.) и «От марксизма к идеализму» (1903 г.). Как и Бердяев, Булгаков сравнительно недавно перебрался на постоянное жительство из Петербурга в Москву и сразу же стал вместе с ним постоянным участником и украшением заседаний «Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева». Булгаков с Бердяевым даже и воспринимались как некоторый научнофилософский тандем, за глаза прозываемый «Булдяевым» (либо «Бергаковым»). Белый пишет:

«<...> В разговоре с Булгаковым несло ягодами, свежим лесом и запахом смол, среди которых построена хижина христороливого, сильного духом орловца, плетущего лапти в лесу, по ночам же склоненного в смолами пахнущей ясной и тихой молитве; несло свежим лесом, – не догматом вовсе; из слов вырастал не догматик-церковник, каким он являлся в докладах, в писаньях своих, – вырастал между юною порослью ельника крепкий стоический мужеством чернобородый и черноглазый орловец; и сравнивал я Булгакова с более мне в то время понятным Бердяевым; да: они появились, как пара: Булгаков, Бердяев, – Бердяев, Булгаков, сливаясь в представлении мало их знавших в „Булдяева“ или в „Бергакова“; вот ты начнешь от Булгакова: „Бул...“ Кончишь ты непременно не: – „гаковым“ – „дяевым“; и совершенно обратно: „Бер... – то-то и то-то; стало быть – гаков“». (Между прочим, сам Белый среди консервативных членов Общества получил прозвище «ницшеанского пса».)

Философско-теоретически с Булгаковым А. Белый сошелся на почве *софиологии*: оба были горячими поклонниками Владимира Соловьева, оба считали одной из центральных философских и богословских категорий

Софию Премудрость Божию, а в основу всякого мирозерцания закладывали Софийный Космос. Уже в то время Булгаков развивал свои монистические софийные идеи. Ему, кстати, мы обязаны введению в научный и философский оборот самого понятия «космизм». По Булгакову, София светится в мире как первозданная чистота и красота мироздания, в прелести ребенка и в дивном очаровании зыблущегося цветка, в красоте звездного неба и пламенеющего солнечного восхода. Софийность – главная смысло-объединяющая идея, позволяющая проложить прямой мост между Человеком производящим и Космосом: «<...> Над дольным миром реет горящая София, просвечивая в нем как разум, как красота, как... <...> хозяйство и культура. Между миром, как космосом, и миром эмпирическим, между человечеством и Софией существует живое общение, которое можно уподобить питанию растения из его корней. София, принимающая на себя космическое действие Логоса, причастная Его воздействию, передает эти божественные силы нашему миру, просветляя его, поднимая его из хаоса к Космосу. Природа человекообразна, она познает и находит себя в человеке, человек же находит себя в Софии и чрез нее воспринимает и отражает в природу умные лучи божественного Логоса, чрез него и в нем природа становится софийна».

Хотя идейно-эстетические устремления Белого и Булгакова не во всем совпадали, но по-человечески они бессознательно импонировали друг другу: талант всегда тянется к таланту, гений – к гению. На всю жизнь А. Белый сохранил воспоминания о «пленительной улыбке» С. Н. Булгакова, его искреннем интересе к современной поэзии и особенно – к творчеству Блока. А вот с кем отношения у Белого совсем не сложились, так это с Иваном Александровичем Ильиным (1882–1954), в то время доцентом Московского университета:<sup>[21]</sup> оба не уставали демонстративно подчеркивать неприязнь друг к другу. Иначе чем прохладным нельзя было назвать и знакомство Белого с известным петербургским философом и публицистом Василием Василиевичем Розановым (1856–1919), с которым он частенько сталкивался у Мережковских.

К московскому периоду жизни Андрея Белого в 1907 году относится знакомство и сближение еще с одним видным представителем отечественной философской и культуроведческой мысли – Михаилом Осиповичем (Мейлихом Иосифовичем) Гершензоном (1869–1925). Он являлся редактором отдела влиятельного журнала «Критическое обозрение», к тому же жил неподалеку, в том же самом Никольском переулке, куда недавно переехал А. Белый с матерью. Гершензон был

одним из немногих, кто по достоинству и безоговорочно оценил многогранный талант Белого – и писателя, и поэта, и критика, и теоретика, и эстетика, и философа, предложив ему поучаствовать в качестве постоянного автора в своем журнале. Так началось их тесное и плодотворное сотрудничество и бескорыстная дружба. Скоро, совсем скоро наступит и звездный час Гершензона: осенью 1908 года он сподвигнет лучшие философские умы на участие в задуманном им сборнике «Вехи», прогремевшем на всю Россию и сыгравшем выдающуюся роль в интеллектуальной жизни страны первого десятилетия XX века. Всю трудоемкую организационную работу Михаил Осипович взял на себя. Уже в марте следующего 1909 года сборник вышел в свет и в течение года выдержал еще четыре издания.

Философские пристрастия и предпочтения самого Белого, помимо временного увлечения неокантианством, по-прежнему сосредоточивались на крупнейших фигурах отечественной и западной мысли. Среди последних все так же вне конкуренции оставался Фридрих Ницше. 19 декабря 1907 года он выступил с лекцией, посвященной своему кумиру, в большом зале Политехнического музея, затем через месяц повторил ее в несколько измененной формулировке в Московском Литературно-художественном кружке, съездил в Петербург, где выступил с той же лекцией в Тенишевском училище, и, наконец, вернувшись в Москву, снова появился на трибуне в забитом до отказа зале Политехнического музея. Для Белого Ницше ни в коей мере не являлся мыслителем прошлого, русский писатель представлял его как философа-современника, чьи идеи принадлежат прежде всего настоящему и будущему. Такой подход в наибольшей степени импонировал слушателям, вызывая неподдельный всеобщий энтузиазм. Даже старый профессор К. А. Тимирязев – нескгибаемый материалист, у которого учился Белый, – пришел послушать своего бывшего студента и по окончании выступления отдал должное его несомненным ораторским способностям и умению удерживать интерес к довольно-таки сложным проблемам в большой и разношерстной аудитории.

Белый же развертывал перед почти что загипнотизированными слушателями картины воистину космического масштаба – основные вехи теургической эволюции «сверхчеловека» и «сверхчеловечества», которая совершается в соответствии с незыблемыми и неотвратимыми законами вечного возвращения:

«<...> Все повторяется. Сумма всех комбинаций атомов вселенной конечна в бесконечности времен; и если повторится хотя бы одна комбинация, повторятся и все комбинации. Но спереди и сзади –

бесконечность; и бесконечно повторялись все комбинации атомов, слагающих жизнь, и в жизни нас; повторялись и мы. Повторялись и повторимся. Миллиарды веков, отделяющих наше повторение, равны нулю; ибо с угасанием сознания угасает для нас и время. Время измеряем мы в сознании. И бесконечное повторение конечных отрезков времени минус течение времени, когда нас нет, создает для нас бессмертие, но бессмертие этой жизни. Мы должны наполнить каждый миг этой жизни вином счастья, если не хотим мы бессмертного несчастья для себя. <...>

И в далеком будущем к именам великих учителей жизни, созидавших религию жизни, человечество присоединит имя Фридриха Ницше. В сущности, путь, на который нас призывает Ницше, есть „вечный“ путь, который мы позабыли: путь, которым шел Христос, путь, которым и шли и идут „раджьиоги“ Индии. Ницше пришел к „высшему мистическому сознанию“, нарисовавшему ему „образ Нового Человека“. В дальнейшем он стал практиком, предложившим в „Заратустре“ путь к телесному преображению личности; тут соприкоснулся он и с современной теософией, и с тайной доктриной древности. <...>»

На лекции в Политехническом произошла еще одна судьбоносная встреча: после выступления к Белому подошла хрупкая девушка и напомнила об их знакомстве около трех лет тому назад на квартире своей родственницы певицы Марии Алексеевны Олениной-д'Альгейм (1869–1970), куда частенько заглядывал Андрей Белый. Девушку звали Ася Тургенева (настоящее имя Анна), она училась рисованию и графике в Бельгии, но изредка навещалась к родне в Москву. Спустя некоторое время начинающая художница станет 4-й Музой и первой официальной женой Бориса Бугаева, но пока что они лишь засвидетельствовали друг другу свое почтение и выразили надежду на продолжение дальнейших контактов.

К самой Марии Алексеевне Олениной-д'Альгейм символисты относились с величайшим восторгом и искренним поклонением. Причина? Пожалуй, лучше всех ее сформулировал Андрей Белый (именно ей была посвящена его первая статья «Певица», напечатанная еще в 1902 году в ноябрьском номере журнала «Мир искусства»): «Когда перед нами она – эта изобразительница глубин духа, – когда поет она нам свои песни, мы не смеем сказать, что ее голос не безукоризненный, что он прежде всего невелик. Мы забываем о качестве ее голоса, потому что она больше, чем певица. Отношение музыки к поэтическим символам углубляет эти символы. Оленина-д'Альгейм с замечательной выразительностью передает эти углубленные символы. Она оттеняет свое отношение к передаваемым

символам бесподобной игрой лица. Поэтический символ, осложненный отношением к нему музыки, преображенной голосом и оттененной мимикой, расширяется безмерно. Идея выпукло выступает из расширенного, углубленного символа. Наконец, умелый подбор символов дает возможность проще выразиться идее. Вот почему она, берущая столь сложный аккорд на струнах нашей души, переступает черту музыки и поэзии. Мы не сможем себе представить искусство, полнее соединяющее поэзию с музыкой, вне драмы и оперы. <... > Оленина-д'Альгейм разворачивает перед нами глубины духа. Как она разворачивает эти глубины и что обнаруживает перед нами – на всем этом лежит тень пророчествования о будущем. Вот почему с особенной настойчивостью напрашивается мысль о том, что она сама – звено, соединяющее нас с мистерией... <...>»

\* \* \*

Почти каждый день приходилось думать о хлебе насущном. Из-за этого чуть было снова не рассорился с Брюсовым. Хроническое безденежье вынуждало Андрея Белого публиковать свои произведения где только можно. Один такой случай и привел к неожиданному обострению отношений с Брюсовым. Белый откликнулся на предложение «Золотого руна» поместить в журнале подборку новых стихов, а Валерий Яковлевич расценил такой шаг как предательство. Белый вынужден был объясняться:

«Когда я согласился дать стихи в „Руно“, мной руководило желание напечатать 2–3 своих стихотворения. У меня много стихов и мне их негде печатать; я должен ограничиваться 7– 8-ю стихами раз в год. У меня есть фундаментальные статьи, и „Руно“ собиралось их печатать (где я мог высказать свое „credo“); в „Весах“ не нашлось бы места; ни в каком другом журнале я не пишу; и мне приходится предстать в литературе не в моем настоящем облике. Кроме того: деликатности ради я до сих пор не устроил дел со своим имением на Кавказе, которое дало бы мне возможность не вполне зависеть от печатных строк; устройство этого дела есть вопрос для меня внутренне крайне трудный, хотя формально вполне возможный. И вот только из-за деликатности в настоящее время я как нищий; в последние месяцы я исключительно жил „Весами“, а разве можно (вы сами знаете) существовать гонораром в „Весах“? Более того, Валерий Яковлевич: мне не на что купить себе самых необходимых вещей. У меня нет даже костюма; каждую вещь необходимую (пальто, сапоги, калоши) мне трудно

приобрести. Мне ужасно совестно всякий раз обращаться к „Весам“. У меня же есть самолюбие. <...>»

Публичные выступления, журнальные публикации, каждодневная редакционная текучка, участие в разного рода заседаниях и дискуссиях, повседневная суета отнюдь не заслоняли и не отодвигали на задний план творческую деятельность А. Белого как писателя и поэта. Он давно вынашивал замысел большого романа и постоянно писал стихи. Они рождались повсюду – в Москве и Петербурге, в Мюнхене и Париже, в городе и деревне, в тиши рабочего кабинета и в сутолоке вагона под мерный стук колес. Лучше всего ему писалось в Серебряном Колодезе. В июне 1908 года он в последний раз побывал и пожил здесь в тишине и покое. Ввиду все более и более усугубляющихся денежных затруднений мать решила продать имение, о котором у всех навсегда сохранились самые лучшие воспоминания.

В Серебряном Колодезе Андрей Белый завершил подготовку нового поэтического сборника «Пепел». В историю русской поэзии Серебряного века он вошел под названием «некрасовского». Так Белый еще не писал никогда. Звучание большинства стихов действительно напоминает некрасовские мотивы. Тематика – тоже, лейтмотивом через весь сборник проходит тема любви к Родине, с неизбывной и щемящей тоской о тяжелой доле народа:

Те же росы, откосы, туманы,  
Над бурьянами рдяный восход,  
Холодеющий шелест поляны,  
Голодающий, бедный народ...  
<...>

Те же возгласы ветер доносит;  
Те же стаи несытых смертей  
Над откосами косами косят,  
Над откосами косят людей.

Роковая страна, ледяная,  
Проклятая железной судьбой —  
Мать Россия, о родина злая,  
Кто же так подшутил над тобой?



Сборник «Пепел» и посвящен памяти Н. А. Некрасова, хотя при чтении многих простых проникновенных стихов (без вычурного языка и стилистических ухищрений) вспоминаются и другие имена – Фет, Майков, Никитин, Суриков, а отдельные строфы прямо-таки предвосхищают стихи Есенина:

Мать Россия! Тебе мои песни —  
О немая, суровая мать! —  
Здесь и глуше мне дай, и безвестней  
Непутевую жизнь отрыдать.  
<... >

И все же, несмотря на неподдельный реализм, Белый остается верен себе. В Предисловии к сборнику «Пепел» он искусно увязывает выстраданные темы с *символизмом*, от коего он, понятно, не намерен был отречься. Схема сопряжения проста: «...художник всегда символист; символ всегда реален». При этом «действительность всегда выше искусства; и потому-то художник – прежде всего человек». Стихи внутри сборника объединены в тематические циклы – «Россия», «Город», «Деревня», но по мере перехода от одного цикла к другому акцент поэтической напряженности и тревоги перемещается от внешней действительности к внутреннему миру и неконтролируемому хаосу чувств. Так, в цикле «Безумие» Белый практически полностью отступает от некрасовских традиций:

Я забыл. Я бежал. Я на воле.  
Бледным ливнем туманится даль.  
Одинокое, бедное поле,  
Сиротливо простертое вдаль.  
<... >

Восхожу к непогоде недоброй  
Я лицом просиявшим как день.  
Пусть дробят приовражные ребра  
Мою черную, легкую тень.

Пусть в колючих, бичующих прутьях  
Изодрались одежды мои.

Почивают на жалких лоскутьях  
Поцелуи холодной зари.  
<... >

Здесь же помещено пророческое стихотворение, посвященное Нине Петровской, в котором А. Белый почти за четверть века предсказал собственную смерть от солнечных лучей:

Золотому блеску верил,  
А умер от солнечных стрел.  
Думой века измерил,  
А жизнь прожить не сумел.  
<... >

Провидческие строки написаны в январе 1907 года в Париже, поэтический сборник «Пепел» увидел свет в декабре 1908 года. В том же месяце произошел один курьезный случай: после выступления в Литературно-художественном кружке он получил письмо от незнакомой девушки. Фамилия у нее была армянская – Шагинян, звали Мариэттой, Белому они ничего не говорили. Подкупал искренне сочувствующий тон письма и поражала глубина мыслей, совсем не свойственная эпистолам других женщин и девушек из тех, что он во множестве получал до сих пор. Еще бы! Двадцатилетняя Мариэтта Шагинян (1888–1982) была в то время студенткой (курсисткой) историко-философского факультета Московских высших женских курсов Герье (названных так в честь своего первого директора – известного историка Владимира Ивановича Герье). Девушка запросто ориентировалась в безбрежной философии Канта, досконально освоила сверхмодное неокантианство и в подлиннике читала труды отцов церкви. Волею судеб среди ее хороших друзей оказались философы Николай Бердяев и Сергей Булгаков (они же – лучшие друзья А. Белого), поэты – москвич Владислав Ходасевич, петербуржцы Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский и другие.

Благодаря своей беспрецедентной активности и нетривиальным суждениям, сочетавшимся с женской привлекательностью, неподдельной добротой и обаянием, девушка расположила к себе столь не похожих друг на друга людей.

В Москву Мариэтта приехала сравнительно недавно и вместе с

младшей сестрой Линой (Магдалиной) – она также училась на курсах Герье – сняла небольшую безоконную комнатку (где едва помещались две кровати и тумбочка) в одном из переулков в центре города. Жили сестры впроголодь, зарабатывая на жизнь перепиской и размножением разного рода рукописных материалов, то есть занимаясь той самой работой, что впоследствии стали выполнять профессиональные машинистки и компьютерные операторы. Кроме того, Мариэтта, мечтавшая стать писательницей (и вскоре добившаяся своего!), подрабатывала в газетах, куда носила или посылала небольшие статейки и репортажи. Однажды в дополнение к мизерному гонорару ей дали пригласительный билет на очередное заседание Литературно-художественного кружка, где выступал Андрей Белый. О дальнейшем лучше всего рассказано в мемуарах самой М. Шагинян:

«<...> Худой, с напряженными плечами, непрерывно менявший место – сидевший, вскакивавший, садившийся на другой стул, он, казалось, весь был на каком-то ветру, обвевавшем его одного, даже волосы поднимал этот ветер, даже голос надламывал и взвивал, когда, став у кафедры, он начал свое выступление. Марина Цветаева великолепно описала его вихревые движения, но в тот вечер в Андрее Белом не было ни грации, ни эстетизма, ни того, что придала ему Марина в своем описании, – неповторимого, своего стиля. Я видела на кафедре истерзанного человека с вымученной речью, говоря, он вдруг стал быстро оглядываться, даже себе за спину, словно испугался, что кто-то вражеский его подслушивает. Нервно вели себя его пальцы, сжимаясь, стискивая углы кафедры, прячась в карманы, откидываясь за спину. Мне было просто физически тяжело смотреть на него, а ведь это был автор „симфоний“, удивительной прозы, легкой, нежной, успокаивающей, как сон. Он казался совершенно беспомощным, голой душой, выброшенной из защиты тела. Я почувствовала его в тот вечер, как себя, как больной человек в палате воспринимает другого больного, соседа по койке, – и в состоянии какой-то полной бесцеремонности – от души к душе – написала ему, придя домой, письмо. <...>»

Ни о чем не подозревая, Мариэтта попала в самое сердце. В душе поэта назревал очередной кризис. Он мучился от одиночества и безысходности. Ему не хватало теплоты и понимания, женской ласки, в конце концов. И вдруг такое письмо! В искренности писавшей не приходилось сомневаться ни на миг! Ум и живое участие проглядывали в каждой строке. Он не мог не поверить и не мог не ответить! И ответил – не одним, а многими письмами. Писал чуть ли не каждый день – помногу;

изливал, что называется, душу – страстно и без оглядки, даже не задумываясь, что из всего этого получится. Начало их переписки говорит само за себя: «Хочется тихой ясности, безмятежной зари и, Боже мой, только не истерики: хорошо, если Вы не „декадентка“. Впрочем; грустно-шутливый тон Ваших слов убеждает меня в противном. <... > Мы будем писать друг другу друг о друге. Хотите? Как хорошо, что Вы написали о Вашей маме, о сестре, о себе без „вершин“ ипр.: только потому я и могу Вам писать, хочу Вам писать. Я Вам тоже буду писать о себе, если Вы хотите; только спрашивайте обо мне меня Вы: я буду откровенно и прямо отвечать (поскольку можно быть прямым заочно, в письме). Но бумага выносит лишь сотую долю слова. И если между нами будет живая связь, мы должны будем увидеть друг друга, чтобы не очутиться друг для друга в пространстве. Предупреждаю: я писать не умею: часто дичусь, отвертываюсь, „заговариваю зубы“, но не от хитрости, а от стыдливости. Людей боюсь: с ними или формален, или „тактичен“, или... открыт до конца, но... давно уже „в маске“. Ну прощайте: милая, милая Вы и ландыши Ваши тоже милые. Жду письма. И мне уже грустно: Вы уезжаете – куда? Надолго? А если уедете, пришлите свой адрес: во всяком случае было бы нехорошо вызвать меня на переписку без твердого желания, чтобы мы стали друзьями. *Борис Бугаев*. P. S. Кто же Вы? Знаю ли я Вас? Где мы встречались?»

По сохранившейся переписке чувствуется, что душа Белого вконец истерзана, что его мучают сомнения, которыми он лишь отчасти делится с М. Шагинян. За ее же письма он хватается, точно утопающий за соломинку: «<...> Милая, милая, милая Мариэтта: я думаю о Вас, и мягкий ток жемчугов – моя мысль: не покидайте меня: милая Мариэтта – будьте вечной Мариэттой. Простите мое безмыслие и краткость письма, моя милая. Мне трудно писать – слабость. Позовите меня к себе, но не раньше, как через три дня. *Б. Бугаев*». Мариэтта назначает ему свидание у себя, в сочельник, на рождественскую елку. Все деньги, что были у сестер, ушли на елочные игрушки и пачку восковых свечей для освещения. На оставшиеся 40 копеек купили коробку мармелада – вот и все угощение. Спустя семь десятилетий М. Шагинян с тем же волнением передавала ощущения, обуревавшие ее в ту достопамятную ночь:

«Стоя в волнении у зажженной елочки – руки в холодном поту, – мы ждали, а Борис Николаевич пришел такой же перепуганный, как и мы. Вместо необыкновенной женщины в сказочной обстановке, которая, быть может, мерещилась ему, он увидел двух молоденьких, смертельно бледных девочек двадцати и восемнадцати лет, державшихся за руки. Белый не ел,

должно быть, весь день от волнения в ожидании этой елки. Он был голоден. И вот он стоит перед нами в позе рассказчика, говорит, говорит, „завиваясь в пустоту“, и поглощает одну за другой мармеладины, не замечая, что время уже за полночь, время идет ко второму часу, коробка пуста... Возможно, от такого же отчаянья, что „все пропало“, какое было и у меня в душе...»

Переписка между А. Белым и М. Шагинян вскоре приняла абстрактно-философский характер, а затем и прекратилась вовсе. Известно, правда, что Мариэтта посещала поэта у него на квартире в Никольском переулке, но сама она об этом в мемуарах ничего не сообщает. Симпатии же сохранились навсегда. В 1928 году, путешествуя по Кавказу, Андрей Белый написал своей давней московской знакомой большущее и теплое письмо (о нем ниже). Что касается сочельника и рождественской елки 1909 года, то в тот момент Белый действительно пребывал в совершенно необычном даже для своей неуравновешенной натуры состоянии. Ибо оказался в запутанных отношениях с самой настоящей «ведьмой» – по фамилии Минцлова и по имени Анна Рудольфовна.

## Глава 5

### «КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?»

Белый знал Минцлову, что называется, сызмальства: встречал в доме друзей отца Танеевых. Дочь известного московского юриста, она была на двадцать лет старше и вроде бы ничем не выделялась среди остальных. Теснейшим образом судьбы Белого и Минцловой переплелись лишь в 1908 года, когда у Анны Рудольфовны неожиданно открылись медиумические способности. Помимо того, она зарекомендовала себя и как предсказатель. По общему и единодушному мнению, внешне она напоминала Е. П. Блаватскую – такая же грузная и апатичная, с магнетически притягивающим, почти что гипнотическим взглядом. Описывая ее, Белый не пожалел красок:

«Большепоголовая, грузно-нелепая, точно пространством космическим, торичеллиевую своей пустотою огромных масштабов от всех отделенная, – в черном своем балахоне она на мгновение передо мною разрослась; и казалось: ком толстого тела ее – пухнет, давит, наваливается; и – выхватывает: в никуда! <... > Я помню, бывало, – дверь настезь; и – вваливалась, бултыхаясь в черном мешке (балахоны, носимые ею, казались мешками); просовывалась между нами тяжелая головища; и дыбились желтые космы над нею; и как ни старалась причесываться, торчали, как змеи, клоки над огромнейшим лбиной, безбровым; и щурились маленькие, подслеповатые и жидко-голубые глазенки; а разорви их, – как два колеса: не глаза; и – темнели: казалось, что дна у них нет; вот, бывало, глаза разорвет: и – застынет, напоминая до ужаса каменные изваяния степных скифских баб среди сожженных степей. И казалась каменной бабой среди нас: эти „бабы“, – ей-ей, жутковаты!»

Несмотря на столь нелестную характеристику, Минцлова умела привораживать к себе людей. Она объявляла себя вестницей запредельного мира, подобно Е. П. Блаватской (а в последствии и Е. И. Рерих), имела контакты с таинственными ноосферными посланцами, называемыми Учителями, и уверяла (не без успеха), что выполняет их волю. По их поручению и с их благословения Минцлова якобы должна была создать в России «Царство Духа». Одной из первых жертв гипнотических чар Минцловой в свое время стал Макс Волошин. Он познакомился с ней в Париже в 1903 году, куда Минцлова приехала на Теософский конгресс, и

быстро попал под интеллектуальное и психологическое влияние новоявленной пророчицы. Вместе они даже совершили сакральное паломничество в Руанский собор. Минцлова говорила почти на всех европейских языках и, кроме того, в совершенстве владела санскритом, древнегреческим и латынью. Все свободное время она проводила в библиотеках, где знакомилась с такими древними и средневековыми текстами (в особенности герметическими, алхимическими и вообще – эзотерическими), о которых другие даже слыхом не слыхивали.

Периодически Минцлова впадала в беспричинный страх, а несколько невидимых «эфирных людей», живших, как она считала, внутри нее или же вокруг ее тела, начинали наперебой говорить разными голосами. Судя по всему, она являлась либо информационным ретранслятором околоземной ноосферы, либо кандидатом для помещения в психлечебницу. Волошин, чьи руки обладали целительными свойствами (он умел снимать боль, успокаивать припадочных и лечить от многих болезней), неоднократно приводил Минцлову в чувство и вполне отдавал себе отчет, с кем имеет дело. В одном из парижских писем он сообщал: «В Средние века она, конечно же, была бы сожжена на костре, как колдунья, и не без оснований. <...> Она почти слепа и узнает людей только по ореолам вокруг головы, почти всегда умирает от болезни сердца, живет переводами Оскара Уайльда; нет ни одного человека, который, приблизившись к ней, остался бы вполне тем, чем он был». Не остался равнодушным и сам Макс. Полуслепой, грузной и беспокойной «женщине-вампи» поэт посвятил такие строки:

Безумья и огня венец  
Над ней горел,  
И пламень муки,  
И ясновидящие руки,  
И глаз невидящих свинец,  
Лицо готической сивиллы,  
И строгость щек, и тяжесть век,  
Шагов ее неровный бег —  
Всё было полно вещей силы.  
Её несвязные слова,  
Ночным мерцающие светом,  
Звучали зовом и ответом.  
Таинственная синева  
Её отметила среди живших...

<... >

В 1909 и 1910 годах в оккультные тенета женщины-медиума попали Андрей Белый и Вячеслав Иванов. Последний – даже в большей степени. Потеряв горячо любимую жену Л. Д. Зиновьеву-Аннибал, он оставался вдовцом и, возможно, именно этим и привлекал незамужнюю Анну Минцлову. Да и по возрасту они более подходили друг другу. Хотя, быть может, создав «мистический триумvirат» Белый – Иванов – Минцлова, роковая оккультистка рассчитывала, что со временем тройственный союз перерастет в тройственную семью по типу тех, которые постоянно возникали и распадались в разных комбинациях среди посетителей и завсегдатаев ивановской «Башни». А. Белому подобный исход, безусловно, не внушал ничего, кроме отвращения. Вяч. Иванов также думал иначе, но по другой причине: его гораздо больше, чем «дама под пятьдесят», привлекала молодая падчерица Вера Шварсалон, дочь Л. Д. Зиновьевой-Аннибал от первого брака: она-то и стала второй женой «Вячеслава Великолепного».

\* \* \*

Между тем очередная размолвка произошла с Блоком. Еще в январе 1909 года, когда Белый приезжал в Петербург для чтения лекции, друзья вновь встретились в своем любимом ресторане, где и состоялось их вполне лояльное, но бескомпромиссное объяснение. В письме матери, переехавшей с мужем (отчимом Блока) на его новое место службы – в Ревель, Блок так описал свою встречу с Белым: «<... > Третьего дня мы с ним несколько часов хорошо поговорили. <...> Установили дружеские личные отношения и вражеские – литературные». Взаимоотношения обоих поэтов, наконец, в полной мере обрели то самое качество, которое по сей день принято обозначать одним словом «дружбавражда».

Но настоящий разрыв между Белым и Блоком произошел спустя два месяца. В начале апреля Белый выслал в подарок Блоку только что вышедшую свою 4-ю «симфонию» «Кубок Метелей», попросив, как и принято в таких случаях, высказать свое мнение. Сам Белый придавал своей последней «симфонии» особое значение, работал над ней долго, шлифовал каждую фразу, искренне считал книгу единственной, чем действительно стоит гордиться. Ответ не заставил себя ждать, но оказался



исключительно нелюбезным. Блок нашел книгу Белого «не только чуждой, но и глубоко враждебной по духу». Заодно добавил: «Более запутанных внутренних отношений у меня нет и не было ни с кем». После этого переписка между поэтами прекратилась сама собой более чем на два года.

Поведение Блока зимой, весной и летом 1908 года оправдывает его тогдашнее психологическое состояние. Еще в январе обозначилась трещина в его отношениях с Волоховой, с ней он встречался все реже и реже, пока после объяснения в Москве уже в июле не расстался навсегда (их роман в общей сложности продолжался почти два года). Но главное в другом: в середине февраля его покинула жена – уехала в гастрольную поездку с труппой Мейерхольда. Через полгода «Дева Радужной Зари» возвратилась беременной от случайной связи. Блок согласился принять ребенка как своего и в середине августа уехал вместе с женой в Шахматово, где они пробыли до начала октября. К тому времени Белый почти завершил работу над следующей книгой стихов, названной «Урна». Летом он жил в имении у Сергея Соловьева, в конце августа десять дней провел у Мережковских на даче под Петербургом. Потом приезжал в Петербург еще раз уже осенью, но с Блоком они тогда не встречались...

Пришло время в очередной раз подводить итоги – жизненные и литературные. Последнее он совместил с программными выступлениями на тему «Настоящее и будущее русской литературы» – сначала лекция в Петербурге в середине января 1908 года, затем статья в февральском номере «Весов» на ту же тему. Главная цель – подчеркнуть преемственность в развитии отечественной поэзии и прозы, раскрыть ее глубокие традиции, восходящие к «Слову о полку Игореве», названному Белым альфой и омегой литературы русской и пророческим Апокалипсисом русского народа. Отсюда же во многом проистекает и народность русской литературы. Он утверждал: «От Пушкина, Лермонтова до Брюсова, Мережковского русская литература была глубоко народна. Она развивалась в иных условиях, нежели литература Запада. Она являлась носителем религиозных исканий интеллигенции и народа. Более чем всякая иная литература касалась она смысла жизни. Независимо от направлений и школ в ней прозвучала проповедь. Русская литература XIX столетия – сплошной призыв к преображению жизни. Гоголь, Толстой, Достоевский, Некрасов – музыканты слова; но безмерно более они – проповедники; и музыка их слов – лишь средство воздействия».

Без угрожающих символистских «пророчеств» также не обошлось: «Настоящее наше темно, как и прошлое наше темно – искони, искони. Тьма

сливается с тьмой, в единую ночь над единой равниной, сплошной, ледяной, гробовой – равниной русской. <... > Мы, писатели, как теоретики, имеем представление о будущем, но, как художники, говоря о будущем, мы только люди, только ищущие; не проповедующие, а исповедующие. Мы просим только одно: чтобы нам верили».

Постепенно воплощались в жизнь и давно вынашиваемые планы. В конце зимы Белый наконец-то засел за роман, сложившийся в его голове от начала до конца. Название – «Серебряный голубь» (по выходе в свет он обозначится как повесть). А в начале весны вышла в свет 3-я книга его стихов – «Урна». В отличие от предыдущего стихотворного сборника с явно выраженными «некрасовскими мотивами», «Урна», – по выражению самого автора, книга философических раздумий и разочарованных страстей. Три ступени своей поэтической эволюции, обозначившиеся в трех вышедших книгах, А. Белый объясняет так:

«Озаглавливая свою первую книгу стихов „Золото в лазури“, я вовсе не соединял с этой юношеской, во многом несовершенной книгой того символического смысла, который носит ее заглавие: Лазурь – символ высоких посвящений. Золотой треугольник – атрибут Хирама, строителя Соломонова Храма. Что такое лазурь и что такое золото? На это ответят розенкрейцеры. Мир, до срока постигнутый в золоте и лазури, бросает в пропасть того, кто его так постигает, минуя оккультный путь: мир сгорает, рассыпаясь Пеплом; вместе с ним сгорает и постигающий, чтобы восстать из мертвых для деятельного пути.

„Пепел“ – книга самосожжения и смерти: но сама смерть есть только завеса, закрывающая горизонты дальнего, чтоб найти их в ближнем. В „Урне“ я собираю свой собственный пепел, чтобы он не заслонял света моему живому „я“. Мертвое „я“ заключаю в „Урну“, и другое, живое „я“ пробуждается во мне к истинному. Еще „Золото в лазури“ далеко от меня... в будущем. Закатная лазурь запятнана прахом и дымом: и только ночная синева оmyвает росами прах... К утру, быть может, лазурь очистится»...

Книгу открывают четыре стихотворения, посвященные В. Я. Брюсову. В одном из них, названном «Созидатель», рисуется обобщенный портрет поэта-символиста – преобразователя мира людей и мира идей:

<... >

В строфах – рифмы, в рифмах – мысли  
Созидают новый свет...

Над душой твоей повисли

Новые миры, поэт.

Всё лишь символ... Кто ты? Где ты?..  
Мир – Россия – Петербург —

Солнце – дальние планеты...  
Кто ты? Где ты, демиург?..  
<... >

В сборник «Урна» были включены и интимные лирические стихи, подводящие черту под его мучительными и неразделенными чувствами к Любови Дмитриевне. Теперь к нему, наконец, возвращался давным-давно забытый покой, но рана в душе заживала долго:

<... >  
Устами жгла давно ли ты  
До боли мне уста, давно ли,  
Вся опрокинувшись в цветы  
Желтофиолей, роз, магнолий.

И отошла... И смотрит зло  
В тенях за пламенной чертою.  
Омыто белое чело  
Волной волос, волной златою.

Померк воздушный цвет ланит.  
Сомкнулись царственные веки.  
И всё твердит, и всё твердит:  
«Прошла любовь», – мне голос некий.  
<... >

В марте 1909 года увидело свет и 1-е издание философского сборника «Вехи», о содержании которого и перипетиях подготовки к изданию ему постоянно сообщал М. О. Гершензон. Не будучи автором самого сборника, где участвовали многие его единомышленники, Белый просто не мог не отреагировать на проблемы, волновавшие его так же, как и других представителей русской интеллигенции. Уже в майском номере «Весов»

появилась его статья «Правда о русской интеллигенции: По поводу сборника „Вехи“». На сегодняшний день библиография «Вех» фактически необозрима; тем более интересно познакомиться с мнением Андрея Белого, высоко оценившего коллективный труд своих друзей: «Вышла замечательная книга „Вехи“. Несколько русских интеллигентов сказали горькие слова о себе, о нас; слова их проникнуты живым огнем и любовью к истине; имена участников сборника гарантируют нас от подозрений видеть в их словах выражение какой бы то ни было провокации... <...>»

Что же это за горькие истины и позорная правда, заставившие встать всю сколь-нибудь мыслящую Россию? А. Белый предлагает читателям взглянуть на себя в зеркало и убедиться, что авторы-«веховцы» ничего не придумывают. «С русской интеллигенцией в силу положения ее случилось вот какое несчастье: любовь к уравнительной справедливости... <...> парализовала любовь к истине» (Бердяев). «Интеллигенция не хочет допустить, что в личности заключена живая творческая энергия, и остается глуха ко всему, что к этой проблеме приближается. <...>» (Булгаков). «Свободны были наши... великие художники, и, естественно, чем подлиннее был талант, тем ненавистнее были ему шоры интеллигентской морали» (Гершензон). «Русская интеллигенция никогда не уважала права, никогда не видела в нем ценности» (Кистяковский). «Отрицая государство, интеллигенция отвергает его мистику не во имя какого-нибудь другого мистического или религиозного начала, а во имя начала рационального и эмпирического» (Струве). «Ценности теоретические, эстетические, религиозные не имеют власти над сердцем русского интеллигента» (Франк). «Средний массовый интеллигент... большей частью не любит своего дела и не знает его. Он – плохой учитель, плохой инженер, плохой журналист. <...>» (Изгоев).

Положа руку на сердце, следует с сожалением констатировать, что почти за сто лет, прошедших после выхода сборника «Вехи», мало что изменилось: горькая правда, сказанная о российской интеллигенции в начале XX века, в полной мере относится и к современной интеллигенции. Такова уж, вероятно, ее подлинная природа, а выводы, к коим пришли «веховцы», следует отнести к разряду «вечных истин». Полностью солидаризировавшись с авторами «Вех», А. Белый посчитал своим долгом взять их под защиту от беспрецедентной и разнузданной критики: «Отношение русской прессы к „Вехам“ унижительно для самой прессы; как будто отрицается основное право писателя: правдиво мыслить. <... > „Вехи“ подверглись жестокой расправе со стороны русской критики; этой расправе подвергалось все выдающееся, что появлялось в России. Шум,

возбужденный „Вехами“, не скоро утихнет; это – показатель того, что книга попала в цель...»

\* \* \*

Между тем судьба неумолимо подводила его к сближению с Асей Тургеневой. Сестер Тургеневых – Анну (Асю), Наталью и Татьяну – он знал давно, с 1905 года, когда они еще девочками впервые приехали в Москву. После скоропостижной смерти отца, Алексея Николаевича Тургенева, мать трех сестер Софья Николаевна вторично вышла замуж за Владимира Константиновича Кампиони, служившего лесничим в Волынской губернии, и постоянно там проживала.<sup>[22]</sup> Дочери росли под присмотром тети – М. А. Олениной – д'Альгейм, известной камерной певицы, муж которой, тоже известный музыкальный деятель Пьер (Петр Иванович) д'Альгейм (1862–1922) – обосновался в Москве, где организовал очень популярный в начале XX века «Дом песни». Покойный отец девушек А. Н. Тургенев приходился двоюродным племянником великому русскому писателю И. С. Тургеневу. В свою очередь, Софья Николаевна (урожденная Бакунина) являлась родной племянницей «отца анархии» Михаила Бакунина, хотя никогда не встречалась со своим знаменитым родственником. Таким образом, Ася Тургенева и ее сестры были двоюродными внучками сразу двух выдающихся деятелей отечественной истории и культуры.

Все три сестры получили разностороннее образование и воспитание. Самой красивой из них считалась старшая Наталья; ее огромные глаза притягивали мужчин как омуты (глаза русалки, скажет А. Белый, – не то ангелица, не то ведьмочка; позже ему самому тоже придется испытать их чары). У нее не было недостатка в завидных ухажерах, многим она вскружила голову, но замуж вышла за журналиста Александра Михайловича Поццо (1882–1941), редактора московского журнала «Северное сияние». На Татьяне после долгого ухаживания женился Сергей Соловьев, а Асе суждено было стать спутницей жизни Андрея Белого.

Отличаясь исключительной скромностью и молчаливостью, она, тем не менее, первой сделала шаг навстречу своей судьбе, предложив Белому позировать для портрета. Глаза восемнадцатилетней девушки с обвисающими пепельными волосами действительно умели заглядывать в душу. И сердце поэта дрогнуло от лучезарной улыбки. «Она мне предстала живою весною, – напишет он незадолго до смерти, – когда оставались мы с

нею вдвоем, то охватывало впечатление, будто встретились после долгой разлуки; и будто мы в юном детстве дружили. <... > И уже поднималась уверенность в первых свиданиях наших, что эта девушка в последующем семилетии станет самой необходимой душой».

Увлечение Асей росло и крепло день ото дня. Первое объяснение произошло во время поездки в последнюю декаду апреля (по старому стилю) в Саввинский монастырь близ Звенигорода. Они отправились туда впятером вместе со старшей сестрой Аси Наташей, ее будущим мужем А. Поццо и ближайшим другом Белого Алексеем Петровским и остановились в монастырской гостинице. Отдав должное церковным службам, Борис и Ася, несмотря на далеко не детский возраст, увлеклись лазаньем по деревьям. На самой вершине одного из них и состоялось их решающее объяснение. Андрей Белый окончательно и бесповоротно решил связать с ней свою судьбу. Спустя четверть века А. Белый заново пережил давнее чувство в 3-м томе своих незавершенных мемуаров:

«Мне запомнился наш разговор – на дереве, свисающем над голубым, чистым прудом, испрысканным солнцем; запомнились и отражения: вниз головой; из зеленого облачка листьев, в мгновенных отвеинах (так!) ветра, – я видел то локоны Аси, то два ее глаза, расширенных, внятно внимающих мне; и запомнился розовый шелк ее кофточки; вдруг ветви прихлынут к лицу: ничего; под ногами – двоился, троился отточенный ствол, расщепляемый легкой рябью; запомнились спины склоненных под нами Наташи и Поццо, сидящих глубоко внизу: на зелененьком бережку. <...> В деревне мы прожили всего несколько дней; но они отделили меня навсегда от унылого прошлого; собрались мы уехать; но подали счет; оказалось же: заплатить-то и нечем; и пришлось А. Петровскому ехать в Москву за деньгами, оставив две пары „романтиков“ в залог монахам, заведующим гостиницей».

По возвращении в Москву Ася была вынуждена немедленно отправиться на Вошь, чтобы навестить умиравшую бабушку Бакунину, проживавшую у своей дочери (матери Аси). Оттуда новая возлюбленная А. Белого должна была вернуться в Брюссель, дабы закончить школу гравюры. Разлуке предстояло стать испытанием их любви на прочность. Пока что основным связующим звеном становились письма. Белый написал их превеликое множество – одно длиннее другого (иногда писал всю ночь напролет), но, к сожалению, ни одно из них не сохранилось; единственно же, что доказала за эти полтора года сама Ася, – это нелюбовь к эпистолярному жанру.

Проводив суженую, Андрей Белый окунулся в водоворот литературной

жизни. Россия широко отмечала 100-летие со дня рождения Гоголя. 26 апреля (по старому стилю) венок на могилу писателя возложили символисты. С пламенной (как всегда!) речью к ним обратился Андрей Белый (основные ее положения были опубликованы в журнале «Весы»). В своем любимом писателе Белый видел предтечу всех новейших течений русской литературы: не только реализма или романтизма, но и символизма. Последний тезис развернуто обосновал:

«<...>Что за образы? Из каких невозможностей они созданы? Все перемешано в них: цвета, ароматы, звуки. Где есть смелее сравнения, где художественная правда невероятней? Бедные символисты; еще доселе упрекает их критика за „голубые звуки“, но найдите мне у Верлена, Рембо, Бодлера образы, которые были бы столь невероятны по своей смелости, как у Гоголя. Нет, вы не найдете их, а между тем Гоголя читают и не видят, не видят доселе, что нет в словаре у нас слова, чтобы назвать Гоголя; нет у нас способов измерить все возможности, им исчерпанные: мы еще не знаем, что такое Гоголь; и хотя не видим мы его подлинного, все же творчество Гоголя, хотя и суженное нашей убогой восприимчивостью, ближе нам всех писателей русских XIX столетия.

Что за слог! Глаза у него с пением вторгаются в душу, а то вытягиваются клещами, волосы развеваются в бледно-серый туман, вода – в серую пыль; а то вода становится стеклянной рубашкой, отороченной волчьей шерстью – сиянием. На каждой странице, почти в каждой фразе переходение границ того, что есть какой-то новый мир, вырастающий из души в „океанах благоуханий“ („Майская ночь“), в „потопах радости и света“ („Вий“), в „вихре веселья“ („Вий“). Из этих вихрей, потоков и океанов, когда деревья шепчут свою „пьяную молвь“ („Пропавшая грамота“), когда в экстазе человек, как и птица, летит... „и казалось... вылетит из мира“ („Страшная месть“), рождались песни Гоголя... <...>»

Между тем на московском литературном фронте назревали знаменательные события. Давний друг Эмилий Метнер, получив небольшой капитал, взялся за организацию нового издательства, дав ему одно из имен античного солнцезбога Аполлона – Мусагет (Предводитель муз). К редакционной работе были привлечены друзья-символисты, а свою деятельность издательство «Мусагет» начало с публикации сборника статей А. Белого «Символизм». Автору в кратчайший срок предстояло выполнить колоссальную подготовительную работу. Многие статьи пришлось написать заново, остальные существенно переработать. Одних комментариев к объемистому тому «Символизма» пришлось написать около двухсот страниц. И все это в бешеном темпе. Центральную

программную статью «Эмблематика смысла» (объемом почти в сто страниц) А. Белый написал за одну неделю. Сам потом вспоминал:

«<...> Рассвет заставлял за работой меня; отоспавшись до двух, я бросался работать, не выходя даже к чаю в столовую (он мне вносился); а в пять с половиной бежал исполнять свою службу: отсиживать в „Мусагете“ и взбадривать состав сотрудников, чтоб, прибежавши к двенадцати ночи, опять до утра – вычислять и писать. Недели мой кабинет являл странное зрелище: кресла сдвинуты, чтобы очистить пространство ковра; на нем веером два десятка развернутых книг (справки, выписки); между веером, животом в ковер, я часами лежал; и строчил комментарии; рука летала по книгам; работал я с бешенством; первая половина книги мне возвращалась ворохом корректур, а другая – пеклась; в таких условиях надо было дивиться совсем не тому, что так сыро выглядит книга; надо дивиться тому, что и ныне (то есть в начале 30-х годов XX столетия. – В. Д.) читают ее, с ней считаясь, хотя бы в полемике; ибо и в таком сыром виде... <...>»

Чуть позже его всерьез увлекла еще одна, давно волновавшая научная проблема, связанная с сущностью и происхождением языка. На сей раз Белого сподвигло на углубленное осмысление философских вопросов языкознания знакомство с книгой «Мысль и язык», принадлежавшей перу выдающегося русско-украинского мыслителя, культуролога и лингвиста Александра Афанасьевича Потебни (1835–1891). Сама книга увидела свет в Харькове в 1892 году. Но в руки Белого впервые попала, судя по всему, только в 1910-м. Писатель сразу же обнаружил в труде Потебни близкие ему по духу идеи. Вкратце учение Потебни о языке сводится к немногим простым тезисам. 1. Мысль существует лишь на основе языка; в этом неразрывном единстве язык, по существу, оказывается первичным по отношению к мысли (но в таком случае открытым остается вопрос, возможен ли язык – сегодня бы мы сказали «информация» – вне и независимо от человека и человечества; Потебня на этот вопрос не ответил, да и вообще его не ставил). 2. Внутренняя форма слова неотделима от его происхождения, то есть от этимологического значения. 3. Слово с внутренне присущей ему формой – это средство перехода от чувственно-наглядного образа к абстрактному понятию. 4. Мифология, фольклор, литература представляют собой различные знаковосимволические системы, производные от языка (в данной связи миф не существует вне слова).

Андрей Белый высоко оценил главный языковедческий труд А. А. Потебни, назвав его дерзновенным и сравнив со взрывоподобным трактатом Фридриха Ницше о происхождении греческой трагедии. По мнению Белого, Потебня не только один из величайших русских



исследователей, но и один из выдающихся европейских лингвистов. Отчетливость мысли сочетается в нем с многосторонностью освещения; дерзновение выводов с серьезной их обоснованностью; богатство и разнообразие мысли тонет в еще большем богатстве фактов. «И, – заключает А. Белый, – если гордостью русской науки считаем мы Менделеевых, Лобачевских, Мечниковых, Пироговых, то отныне к славному ряду имен должны мы присоединить и имя А. А. Потебни».

Творческое осмысление с собственных символистских позиций выдающегося труда Потебни позволило Белому сделать ряд немаловажных выводов, касающихся дальнейшего развития мировой эстетической теории и литературной практики. Особое значение Потебни писатель видит в дальнейшей разработке будущей теории символизма как *теории творчества*. Как мы помним, символисты исходили из собственного лозунга *о примате творчества над познанием*. В данной связи учение Потебни о языке и мифологии весома подкрепляет и другие краеугольные положения символизма и, в частности, о единстве содержания и формы, а также вывод о том, что корни мифического и религиозного творчества таятся в *символе*: между религией, мифологией и искусством существует имманентная, то есть внутренне присущая им, реальная связь...

\* \* \*

Несмотря на повседневную занятость и постоянную нервозность А. Белый продолжал интенсивно работать над «Серебряным голубем». Наибольших результатов удалось достичь летом, уединившись на даче в Дедове у Сергея Соловьева. Федору Сологубу, с которым у него во время последней поездки в Петербург установились очень теплые отношения, подробно рассказывал о своем деревенском житье-бытье, на фоне которого, кстати, и разворачивается действие романа «Серебряный голубь»:

«Я живу под Москвой, живу совсем уединенно с товарищем: терраса прямо спускается в некошенный луг; дальше лес; живу с цветами, с книгами, с днями: цветы – белые, красные, желтые; книги – умные, глупые, дни – и золотые, и бирюзовые, и свинцовые – осыпаются дни: лепестками, хрустальными дождями, лучами и мыслями. И вот их нет... забывается время, забываются сроки: если бы так навсегда кануть во все времена и во все пространства! С ужасом думаю – будет зима с мелкими людишками, с истерикой, злобой и клеветой. О если бы не ступать в грязь, называемую нашей литературной средой: нельзя заказать достаточно высоких калош,

чтобы они не зачерпнули этой грязи.

В усадьбе, где я живу, есть маленькая, старенькая старушка: она очень начитанна, и иногда от этого делается трудно. Старушка – милая: но когда собирается гром, у нее в глазах просвечивает ужас: тогда она бросает мне вызов; неожиданно оказываешься вовлеченным в „умный“ разговор. Глядишь – уже собралась туча. После грозы старушка улыбается цветам, лучам, пчелам. И мы миримся.

Зори в этом году особенно милые: таких зорь не было вот уже три года. Три года задавила горные сферы душная мгла. И вот ныне в зорях как бы дается вновь обещание... но чего?.. Было время, когда я не пропускал ни одной зари; пять лет я следил за зорями и наконец научился разговаривать с близкими мне по зорям. Душа, что заря: у одного она красная, у другого – тигриная шкура, у иной – матово-жемчужовая. И вот, бывало, отсияет заря – и отсияет, просияв, знакомая душа. Так прежде я умел летать на заре к милым и близким. А потом замутились, разложились для меня зори: посмотришь – трупная шкура; и кровавая лапа бархатная: ляжет заря на сердце, оцарапает сердце: больно и горько. Я полюбил тогда то, что против зари: тусклую, мутную, синюю мглу. Ныне будто очистились зори, и опять „милые голоса“ зовут... Опять ждешь с восторгом и упованием... Но чего же, чего?..

Дорогой Федор Кузьмич, мне было дорого получить от Вас весть. Я рад, что Вы подали голос: мы житейски мало знаем друг друга; мне и ценно, и радостно думать, что между нами есть возможность взаимного приближения. Так мало людей, так много „недотыкомков“ (фантастический персонаж самого известного стихотворения Ф. Сологуба. – В. Д.): так жутко в мире нежителей! А чувствую – приближается время, когда должно же возникнуть единение между теми, в ком есть высокое знамя служения или по крайней мере (как у меня) порыв, попытка... *служить знамени*. Остаюсь сердечно Вас любящий и глубоко уважающий *Борис Бугаев*».

Работа над романом шла трудно, но окончание его было уже не за горами, и Белый придавал новому литературному детищу особое значение. Он вынашивал роман долго, детально продумывал фабулу каждой главы, бережно выписывал облик и характеры многочисленных действующих лиц. Сюжет романа нетривиален. В нем рассказывается о законспирированной секте «голубей», избравшей в качестве религиозного поклонения «живорожденного бога», коего, однако, еще только предстояло зачать и произвести на свет. Матерью будущего «бога», по решению вдохновителей секты, должна стать рябая и чувственная «голубица» Матрена, а в качестве потенциального «донора» был избран заезжий «барыч» Петр Дарьяльский.

[23] В российскую глубинку его занесло вообще-то совсем по другой причине – он ухаживал за внучкой обедневшей помещицы – Катериной, subtilной особой, читавшей в подлиннике Феокрита, Расина и Дидро. Но чары и сексуальный гипноз молодой сектантки оказались сильней, они быстро и неотвратно сбили приезжего жениха с истинного пути. Но, когда тот, выполнив основную миссию, попытался вырваться из расставленных сетей, сектанты его попросту убивают.

«Серебряный голубь» навеян личными воспоминаниями. Большинство исследователей творчества А. Белого сходятся на том, что Матрену писатель наделил чертами Любви Дмитриевны Менделеевой-Блок, *сознательно придав ей вульгарно-неэстетические черты:*

«<...> Если... любя твоя иная, если когда-то прошелся на ее безбровом лице чернѣй, оспенный зуд, если волосы ее рыжи, груди отвислы, грязны босые ноги и хотя скольконибудь выдается живот, а она все же – твоя любя, – то, что ты в ней искал и нашел, есть святая души отчизна: и ей ты, отчизне ты, заглянул вот в глаза, – и вот ты уже не видишь прежней любя; с тобой беседует твоя душа, и ангел-хранитель над вами снисходит, крылатѣй. Таковую любя не покидай никогда: она насытит твою душу, и ей уже нельзя изменить; в те же часы, как придет вожделенье, и как ты ее увидишь такой, какая она есть, то рябое ее лицо и рыжие космы пробудят в тебе не нежность, а жадность; будет ласка твоя коротка и груба: она насытится вмиг; тогда она, твоя любя, с укоризною будет глядеть на тебя, а ты расплачешься, будто ты и не мужчина, а баба: и вот только тогда приголубит тебя твоя любя, и сердце забьется твое в темном бархате чувств.

<...> Нет, ни розовѣй ротик не украшал Матрены Семеновны лица, ни темные дуги бровей не придавали этому лицу особого выраженья; придавали этому лицу особое выраженье крупные красные, влажно оттопыренные и будто любострастьем усмехнувшиеся раз навсегда губы на иссинябелом, рябом, тайным каким-то огнем испепеленном лице; и все-то волос кирпичного цвета клоки вырывались нагло из-под красного с белыми яблоками платка столярихи, повязанного вокруг ее головы (столярихой ее прозвали у нас, хотя и была она всего-то – работницей); все те черты не красу выражали, не девичье сбереженное целомудрие; в колыханье же грудей курносой столярихи, и в толстых с белыми икрами и грязными пятками ногах, и в большом ее животе, и в лбе покато и хищном, – запечатлелась откровенная срамота; но вот глаза. <... >

И уже они в горнице: только зеленая там лампадка озаряет светлѣй лик Спасов, благословляющѣй хлебы; в их волосах стружки, древесные

опилки, щепки; все предметы, что ни есть какие, молчаливо уставились в этот миг на Петра; белое в зеленоватом свете с провалившимися глазами и с блистающими из-под ослабленного рта зубами Матрены Семеновны потное лицо: белое в зеленоватом свете, точно зеленый труп, перед ним сидящей ведьмы лицо; сама к нему лезет, облапила, толстые груди к нему прижимает, – ослабленная звериха. <...>

И он разрыдался перед вот этой зверихой, как большой, покинутый всеми ребенок, и его голова упадет на колени; а в ней – перемена; уже не звериха она; эти большие родные глаза: уплывают полные слез глаза в его душу; и неизмятое пробушевавшим порывом, а какое-то благоуханное перед ним наклоняется лицо... <...>»

Безусловно, вовсе не из-за горьких воспоминаний затеял Белый свой первый роман. В центре повествования – судьба России, как ее понимал писатель-символист. Тема, которая красной нитью прошла через все его творчество, в «Серебряном голубе» предстала к тому же и общеизвестным противопоставлением России и Запада (тема, которая получит в произведениях и переписке А. Белого дальнейшее продолжение): «Жить бы в полях, умереть бы в полях, про себя самого повторяя одно духометное слово, которое никто не знает, кроме того, кто получает то слово: а получают его в молчанье. Здесь промеж себя все пьют вино жизни, вино радости новой – думает Петр: здесь самый закат не выжимается в книгу: и здесь закат – тайна; много есть на западе книг; много на Руси несказанных слов. Россия есть то, о что разбивается книга, расплывается знание, да и самая сжигается жизнь; в тот день, когда к России привьется запад, всемирный его охватит пожар: сгорит все, что может сгореть, потому что только из пепельной смерти вылетит райская душенька – Жар-Птица. <...>

Скольких, скольких в тайне сжигает полевая мечта; о, русское поле, русское поле! Дышишь ты смолами, злаками, зорями: есть где в твоих в просторах, русское поле, задохнуться и умереть. Сколько сынов вскормило ты, русское поле; и прозябли мысли твои, что цветы, в головах непокойных сынов твоих: убегают твои сыны от тебя, Россия, широкий твой забывать простор в краю иноземном; и когда они возвращаются после, кто их узнает! Чужие у них слова, чужие у них глаза; крутят ус по-иному, по-западному; поблескиванье глаз у них не как у всех прочих россиян; но в душе они твои, о, поле: ты их сжигаешь мечты, ты прозябаешь в их мыслях райскими цветами, о, луговая, родная стезя. Не пройдет году, как пойдут бродить по полям, по лесам, по звериным тропам, чтобы умереть в травой поросшей канаве. Будут, будут числом возрастать убегающие в поля!»

Роман «Серебряный голуб» вызвал бурю восторга со стороны друзей

и единомышленников. Горячими почитателями нового творения Белого стали Н. А. Бердяев и С. Н. Булгаков. Бердяев написал развернутую рецензию под названием «Русский соблазн», где, в частности, говорил: «В романе А. Белого есть гениальный размах, выход в ширь народной жизни, проникновение в душу России. Силой художественного дара преодолевает А. Белый свой субъективизм и проникает в объективную стихию России. Решительно нужно сказать, что новое русское искусство не создало ничего более значительного. В романе А. Белого чувствуется возврат к традициям великой русской литературы, но на почве завоеваний нового искусства. В „Серебряном голубе“ своеобразно соединяется символизм с реализмом. Белый принадлежит к школе Гоголя и является настоящим продолжателем гоголевской традиции. <...>»

Булгаков откликнулся письмом: «Я совершенно потрясен Вашей книгой. В ней Вам удалось, нет, дано Вам такое проникновение в народную душу, какого мы не имели еще со времен Достоевского. В ней совершилось чудо художественного ясновидения. Пред Вашим творчеством распахнулись сокровенные тайны народной души в ее натуралистической и, как Вы со всей силой показали, неизбежно демонической стихии. За Вашим романом для меня оживал и Розанов, и становился понятен соблазн петербургских радений, и „глубины сатанинские“ мистического сектантства... <...>» А вот Сергей Соловьев, послуживший прототипом главного героя «Серебряного голубя», романа не принял. («Что-то между нами стало тяжелое и душное», – написал он другу.) Идеи Белого оказались для него настолько чуждыми, что он даже предложил прервать их дружеские отношения (но так, чтобы никто об этом не знал).

Роман публиковался в журнале «Весы», начиная с мартовского (и до декабрьского) номера по мере представления в редакцию готовых глав. Отдельное издание увидело свет в следующем 1910 году. Андрей Белый намеревался продолжить «Серебряного голубя» и в дальнейшем даже превратить его в трилогию под названием «Восток и Запад». Несмотря на трагическую смерть главного героя, автор придумал замысловатую, но вполне правдоподобную интригу. Схематично она выглядела следующим образом. Предчувствуя гибель, Петр Дарьяльский успел написать и отправить письмо своей бывшей невесте Кате, в котором честно обо всем рассказал. Девушка, убедившись в гибели жениха, затеяла расследование, за него взялся ее родной дядя. С этой целью он отправляется в столицу, дабы для начала посоветоваться со своим давним другом – сенатором Аплеуховым.

Как известно, последний является одним из центральных персонажей

романа «Петербург». Противоречия здесь нет: самое знаменитое творение А. Белого по существу и создавалось как 2-я часть «Серебряного голубя», долго так именовалась в переписке Белого, в переговорах с потенциальными издателями и в общении с друзьями. Лишь потом роман постепенно приобрел самостоятельное значение, название его при этом неоднократно менялось, пока Вяч. Иванов не настоял, чтобы роман назывался именно так, каким он и вошел в историю русской литературы. Однако обо всем по порядку...

\* \* \*

В конце января 1910 А. Белый в очередной раз приехал в Северную столицу читать лекции. И тут судьба вновь свела его с Анной Минцловой, проживавшей на «Башне» у Вячеслава Иванова. Она по-прежнему намеревалась создать «мистический триумвират» – Белый – Иванов – Минцлова. Но первый из потенциальных членов с самого начала отнесся к этой идее скептически. На очереди был и второй. Минцлова делала все, чтобы удержать в сфере своего влияния обоих поэтов. Позже Белый признавался: «<...> Я зажил в атмосфере ее; и она посвящала меня в свои бредни; вот в кратких словах их сюжет: мы-де стоим у преддверия небывалого переворота сознания; уже появляются личности, регулирующие нравственное возрожденье; но „черные оккультисты“ не дремлют; ею был апробирован и мой бред о масонах; я должен-де вооружиться ее сокровенными знаниями. <...>» Обладая безусловным «космическим чувством», Андрей Белый, тем не менее, совсем не ощущал то, что виделось самой Минцловой, однако хорошо понимал: в чемто она права, в ее прозрениях и видениях, вне всякого сомнения, что-то есть...

В одном из писем к Белому Минцлова писала (ее обширная переписка сохранилась и частично опубликована): «Ныне свершается великий бой, решительный бой, в сфере иной – в том мире, который особенно близкий Вам, Андрей Белый, – в мире звездном, в астральном свете. <... > Да... Рубикон перед Вами. Но уже брошен жребий, Вы уже переходите Рубикон, Вы уже за гранью мира. <...> Еще я не знаю, как это сбудется, но я знаю, что с Вами – Бог, и с Вами свет будет...» Дальнейшая судьба Минцловой столь же загадочна, как и ее «миссия»: она неожиданно исчезла – НАВСЕГДА! Как сказал хорошо знавший ее Бердяев в собственных философских мемуарах: «...Вышла однажды на улицу и больше ее никто и никогда не видел». Высказывались различные предположения об ее

исчезновении: монастырь, психбольница, случайная насильственная смерть, самоубийство. Последнее – наиболее вероятно. Оккультисты вообще рассматривают потусторонний мир как часть единой реальности. С их позиций всякую смерть и в любом ее виде вполне можно рассматривать как естественный шаг из мира одной реальности в другой, параллельный. Это просто и безболезненно, подобно переходу из одной комнаты в другую. Поэтому Минцлова, считавшая, что ее миссия на Земле не удалась, совершенно безбоязненно могла расстаться с жизнью. К тому же незадолго до исчезновения она объявляла, что ее «ждет океанская пучина». Свои сложные и вконец запутанные отношения с бесспорно выдающейся оккультисткой А. Белый подытожил следующим образом:

«Читатель, – о фактах тех не могу рассказать ничего я конкретного; все равно: им поверить так трудно; и мне непонятны они; я скажу лишь два слова о том, что она мне сказала, – скажу отвлеченно, обще: сообщила, что „миссия“, ей-де порученная (возжечь к „свету“ сердца, соединив нас для „света“ духовного), ей не исполнена; „миссия“-де провалилась ее, потому что ее неустойчивость и болезненность вместе с растущей атмосферой недоверия к ней среди нас расшатала все „светлое дело“ каких-то неведомых благодетелей человечества, за нею стоящих; а между тем: дала слово она („им“ дала), что возникнет среди нас братство Духа; неисполнение слова-де падает на нее очень тяжело; ее удаляют „они“ навсегда от людей и общений, которые протянулись меж нею; она исчезает-де с того времени навсегда; и ее не увидит никто; и она умоляет нас всех; эти годы ближайшие строго молчать о причинах ее окончательного исчезновения. Я так и не понял, что, собственно, означает исчезновение это: исчезновение – „куда“? В монастырь, в плен, в иные страны? Или же – исчезновение из жизни? Но что-то подсказало, что на этот раз этот бред не есть „миф“ ее и что мы *никогда не увидим* ее; бывало: пускает словесные мнения, как змеи бумажные; дергаются под небесами хвостом из мочала они; а теперь я отнесся к словам ее, как к какой-то ужасно, всю душу смущающей тайне ее, про которую мне ничего не известно; известно одно: *это – правда*».

\* \* \*

В июне 1910 года Ася Тургенева, завершив курс обучения рисованию и графике в Бельгии, вернулась на Волынь к матери и отчиму. Вскоре туда же приехал и А. Белый. Фактически с этого времени они могли считать себя

мужем и женой. Но жить вместе решили без совершения церковного обряда. Ася, как и ее старшая сестра Наташа, в принципе не признавала церковного брака, хотя религиозными таинствами, эзотерикой, оккультизмом (а позже и антропософией) интересовались всерьез. Впрочем, жить новоявленным супругам особенно было негде. В Боголюбях в доме лесничего – не протолкнуться от многочисленных приезжих родичей и гостей. Ася, отгородившись занавесками, спала на просторном чердаке, Борису в соседней деревне сняли уютную комнату у чешских поселенцев. По ночам с фонарем он возвращался к своему пристанищу через заповедный дубовый лес, фантастический, как в славянском фольклоре, и наполненный ночными звуками: в лесничестве во множестве водились кабаны, косули и прочая живность (особенно много было шумливых барсуков).

Вместе влюбленные проводили дни и ночи напролет. Но вопрос «где и как жить» действительно превратился в тупиковую проблему. Домой к матери в небольшую комнатенку кабинет возвращаться не имело смысла. Ибо Александра Дмитриевна категорически восстала против женитьбы сына на Асе. Будущая (а фактически – настоящая) сноха не нравилась ей по всем параметрам и прежде всего тем, что становилась потенциальной разлучницей: мать считала, что она уводит от нее сына – единственную опору старости. Ей еще предстояло узнать об отсутствии церковного освящения брака, что только подлило масла в огонь. Природная несдержанность Александры Дмитриевны уже давно приводила к вульгарным скандалам и возрастанию напряженности в отношениях с сыном.

Из создавшейся нетерпимой обстановки виделся один реальный выход – выезд за границу на максимально продолжительный срок, а там – будь что будет. Пока что перед Белым стояла простая задача: по возвращении в Москву снять квартиру, где могли бы остановиться все три сестры Тургеневы, и найти деньги для заграничного путешествия. Заурядные житейские хлопоты совпали с более приятными событиями – возобновлением дружбы с Блоком. Толчком послужило знакомство Белого с только что опубликованным в альманахе «Шиповник» одного из самых знаменитых ныне блоковских циклов «На поле Куликовом». Стихи потрясли Белого – такие мог написать только великий поэт! В гениальных стихах друга А. Белый уловил биение собственного сердца. Да и как же иначе, если ныне ставшая хрестоматийной строка «И вечный бой! Покой нам только снится...» развивала мысль, высказанную более года назад самим Белым (стихотворение «Кольцо», вошедшее в сборник «Урна»):



<... >

Как камень, пущенный из роковой пращи,

Браздя юдольный свет,

Покоя ищешь ты. Покоя не ищи.

Покоя – нет.

<... >

Но не только это. В воспоминаниях Белого позже будет сказано: «<...> „Куликово поле“ было для меня лейтмотивом последнего и окончательного „да“ между нами. „Куликово поле“ мне раз навсегда показало неслучайность наших с А. А. путей, перекрещивающихся фатально и независимо от нас. <...> В десятом году я уже задумывался над темой „Петербурга“. И пусть „Петербург“ носит совершенно иной внешний вид, чем „Куликово поле“, однако глубиной – мотив „Петербурга“... <...> укладывается в строки А. А. „Доспех тяжел, как перед боем, теперь Твой час настал – молись“». Стихи «куликовского цикла», а также статья Блока «О современном состоянии русского символизма», напечатанная в журнале «Аполлон», послужили поводом для возобновления переписки. В конце августа Белый написал Блоку:

«Глубокоуважаемый и снова близкий Саша, прежде всего позволь мне Тебе принести покаяние во всем том, что было между нами. Я уже очень давно (более году) не питаю к Тебе и тени прошлого (смутного). Но как-то странно было об этом говорить Тебе. Да и незачем. Теперь, только что прочитав Твою статью в „Аполлоне“, я почувствовал долг написать Тебе, чтобы выразить Тебе мое глубокое уважение за слова огромного мужества и благородной правды, которой... ведь почти никто не услышит, кроме нескольких лиц, как услышало эту правду несколько лиц в Москве. Сейчас я глубоко взволнован и растроган. Ты нашел слова, которые я уже вот год ищу, все не могу найти: а Ты – сказал не только за себя, но и за всех нас. Еще раз, спасибо Тебе, милый брат: называю Тебя братом, потому что слышу Тебя таким, а вовсе не потому что хочу Тебя видеть, или Тебя слышать. Можешь мне писать и не писать; может во внешнем быть и не быть между нами разрыв – все равно: не для возобновления наших сношений я пишу, а во имя долга. Во имя правды прошу у Тебя прощения в том, в чем бес нас всех попутал. <...>»

Блок не замедлил с ответом: «Милый и дорогой Боря. Твое письмо, пришедшее с прошлой почтой, глубоко дорого и важно для меня. Хочу и могу верить, что оно восстанавливает нашу связь, которая всегда была

более чем личной (в сущности, ведь сверхличное главным образом и мешало личному). Нам не стоит заботиться о встречах и не нужно. Я, как и ты, скажу тебе, что у меня нет определенного желания встретиться. Этой зимой мне было даже как-то неловко при встрече (впрочем, и Тебе). Но внутренне (так!) я давно с Тобой, временами страшно близко, временами – с толпою дум о Тебе и чувств к Тебе. <...> Также мне хорошо то, что Ты просишь прощения у меня, – но я не принимаю этого. Или – принимаю лишь с тем, что и... Ты меня простишь за то, чего мы никогда не скажем (и не должны сказать) словами, но что я знаю, может быть, лучше Тебя. Есть какая-то великая отрада в том, что есть, за что прощать друг друга; потому что, действительно], то, что было, – было, это не пустое место, это „бес всех нас попутал“».

Вскоре они встретились. 1 ноября 1910 года чуть ли не вся интеллектуальная Москва собралась в особняке М. К. Морозовой на лекцию Андрея Белого «Трагедия творчества у Достоевского». Негде было не то что сесть, но даже и встать. На лекцию специально приехал Александр Блок. На виду у всех друзья обнялись и расцеловались. «Мы стояли среди разгудевшихся, пробирающихся к стульям людей, – вспоминал Белый уже после смерти Блока, – и уже над зеленым столом раздавался звонок председателя; и очки его важно облескивали все собрание, и металася седенькая бородка; А. А., улыбаясь, сказал мне:

– Ну вот, как я рад, что поспел...

– И я рад.

– Знаешь, Боря, я думал, что я опоздаю: ведь я прямо с поезда; ехал, „чтобы“ поспеть (улыбнулся я мысленно: „чтобы“, – то милое „чтобы“, которое я так долго не слышал).

– Сегодня из Шахматова?

– Восемнадцать верст трясса до станции, чтобы... не опоздать: перепачкался глиною; вязко: ведь – оттепель, а ты знаешь, какие дороги у нас...

В это время заметил я очень внимательный, пристальный и как всегда очень-очень сияющий взгляд (изумрудносапфировый) М. К. Морозовой, которой, наверное, рассказали уже, что на лекции – Блок; и теперь пробиралась она, улыбаясь, к нам в своем вечно сияющем платье, слегка наклонив набок голову, крупная и такая хорошая; я представил ей Блока, которого так хорошо она знала уже по рассказам моим, по стихам; и – любила; А. А. с прежней светскостью, в нем проступавшей сквозь вовсе не светский, дорожный, чуть трепанный вид, поцеловал ее руку; и, стоя, выслушивал, улыбаясь и опуская глаза вниз, как будто он пристально

вглядывался в кончик носа своего (я опять в нем узнал этот жест, мной подмеченный в первые встречи; и – радовался: все милые, позабытые вновь восставшие жесты)... <...>»

Но более всего в тот день каждого из присутствующих волновало известие о внезапном уходе из своего яснополянского дома Льва Толстого, о чем накануне сообщали не только все российские газеты, но и крупнейшие телеграфные агентства мира. Белый воспринял эту тревожную весть как личную трагедию. Казалось бы, совсем недавно он писал в стихах, посвященных великому старцу и обращенных к нему:

Ты – великан, годами смятый,  
Кого когда-то зрел и я —  
Ты вот бредешь от курной хаты,  
Клюкою времени грозя.  
Тебя стремится на склон горбатый  
В поля простертая стезя.  
Падешь ты, как мороз косматый,  
На мыслей наших зелена.  
<... >

Теперь же приходилось говорить совсем о другом. Естественно, он не мог не коснуться в докладе взбудоражившей всех новости. Более того, он начал с нее, сравнив трагедию в творчестве Достоевского с трагедией в жизни двух других русских гениев – Гоголя и Льва Толстого – и связав ее с трагедией России и русского народа: «Трагедия творчества или трагедия русского творчества? Всякое ли художественное творчество есть религиозная трагедия или русское творчество, в своем высочайшем и вполне созревшем напряжении, становится трагедией чисто религиозной? Муза, – любимая женщина, становится Матерью-Родиной, как стала она Родиной для Достоевского, для Гоголя, для Толстого. <...> Как неподвижная глыба многие годы над Европой занесенный Толстой каменел вопросом; но он был великой вершиной русского творчества; и к нему присматривались с боязливым недоумением. И вот каменная глыба тронулась, покатила; уход Толстого от мира – глухой гром: вопрос разрешился в великую скорбь, ужас и страх за Россию для одних, в благоухающее предвестие, надежду и радость для других. Камень, срываясь и скатываясь, обрастает снегом; лавина растет. И не в Толстом только тут дело. Толстой сидел тридцать лет в тупике: ни взад, ни вперед.

Тридцать лет переживал он трагедию творчества. И вот Толстой встал и пошел – тронулся. Как знать, не тронется ли так же и Россия, тоже больная; как бы грохот лавинный чуется нам в движении Толстого: есть тут чего бояться Европе. <...>»

После печального известия о кончине и похоронах Л. Н. Толстого А. Белый дополнил доклад, сделанный 1 ноября на заседании Религиозно-философского общества, и издал его в виде брошюры под названием «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой». В тот ноябрьский приезд в Москву Блок посетил редакцию «Мусагета», что располагалась в двухэтажном особняке на Гоголевском (тогда Пречистенском) бульваре (почти что вровень с памятником Гоголю работы Н. А. Андреева, тогда стоявшего лицом к Арбатской площади). В «Мусагете» Блок договорился об издании полного собрания своих стихотворений. Побывал Блок и на заседании «ритмического кружка», организованного и руководимого А. Белым, и поучаствовал в дискуссии о тонкостях русского пятистопного ямба.

Обедали друзья в знаменитом ресторане Тестова. А. Белый описал совместную трапезу во всех подробностях: «Вот – пустынные помещения ресторана; и вот мы у стойки – пьем водку; пьет много он; в жесте его опрокидывать рюмочку, – обнаруживается „привычка“, какой прежде не было; я смотрю на него, на мешки под глазами, и вспоминаю о слухах (как много он пьет).

Вот и – тестовская „селянка“, а вот – „растягай“ (так!) (мы решили обедать по-тестовски); в серебряном очень холодном ведре – вот бутылка рейнвейна; отхлебываем в разговоре вино; и разговор наш какой-то простой и уютный, но – прочный, значительный по подстилающему молчанию; я высказываю А. А. восхищение перед песнями Вари Паниной; и говорим мы о Пушкине, о цыганах; А. А. мне высказывает очень глубокие домыслы о цыганстве у Пушкина и о том, что банальные представления о „цыганщине“ – просто вздор обывателя.

Я рассказываю А. А. о наметившихся переменах в моей личной жизни; оказывается, что ему все известно уже; мы решаем, что после обеда мы поедем к Тургеневым; в это время является к Тестову Кожебаткин (секретарь издательства „Мусагет“. – В. Д.) с известием: Метнер согласен издать все собрание стихотворений А. А.; начинаются технические разговоры о форме, шрифтах, об обложке, о цвете букв (цвету букв придавал он значение).

Посидевши за кофе, пригубив ликер, до которого был так охоч Кожебаткин, мы едем к Тургеневым.

Подмерзает, снежит, запорашивает; мы – молчим; неповоротное прошлое нас обнимает безликими ликами ночи; и вспоминается давнее пребывание Блока в Москве, когда снился нам сон (и о Ней); убежал этот сон в самогоны времен: в самороды событий; невзглядное, неразглядное время!

– Помнишь, Саша, мы тут проходили когда-то, – показываю ему на Арбатскую площадь, – ты шел в мокрой слякоти и с бутылкою пива на марконетовскую квартиру.

А. А. улыбается:

– Много прошло с той поры. Что Владимир Федорович Марконет?

– Он такой же: и – вспоминает тебя.

– Что-то будет еще?

И мы замолкаем: и были былины, и были грустины, а небылицы – нет, не были!

Закипавший, сквозной беломет закипел из ворот; громко струйки снежистые пораспрыскались средь пречистеньких переулков; вот – Штатный (ныне Кропоткинский переулок. – В. Д.): приехали! Часам к десяти появились мы у Тургеневых (Аси, Наташи и Тани); и Ася, такая вся маленькая, имеющая до неприличия молоденький вид с вьющимися волосами и в голубом балахончике, на который кокетливо надевала она козью шкурку, горбатясь, как кошка, выглядывает на нас с независимой дикостью; Наташа же принимает, как взрослая, нас; три сестры с любопытством естественным окружают поэта, которого прежде еще полюбили они, о котором так много рассказывал им; он – большой, улыбающийся и спокойный, рассматривает их внимательно; если память не изменяет, – по просьбе Наташи читает стихи. <...>

Чернорогая тьма накопила в углах чернорогие дыры; и в дырах уселись нездешние (может быть, там Чернодумы, а может быть, кто-нибудь из сестер: вероятней, что – Таня). Наташа и Ася воссели на мягкий диван; и, конечно, Наташа уселась скромно, – так точно, как подобает сидеть взрослой барышне; Ася с ногами: сидит, обвисает кудрями; и – горбится, очень внимательно слушая Блока. Мне радостно видеть такого мне близкого человека, как Блок, у таких близких сердцу, как сестры Тургеневы; из соседней же комнаты, темной – не видно предметов: твердеет меж всеми предметами ночь; точно каменным углем, не воздухом, все пространство наполнено; сказочен, сказочен мне этот вечер!..

А ночью, часам так к двенадцати, Блок провожал меня до дому; мы разговариваем – о Тургеневых; я спрашивал:

– Ну, как понравилась Ася?

– Да, острая она такая: дикая и пронзительная...

Из расспросов не удалось ничего от него мне добиться; и понял я в общем – одно: что он в Асе увидел значительную натуру, но не совсем разобрался в своих впечатлениях о ней; нерешительность эта меня огорчила; я стал объяснять, как близка стала Ася мне:

– Да?

Так сказал он, взглянув; и это „да“ прозвучало, как будто бы он сомневался в словах моих; стал уверять его, что – ручаюсь за отношение к Асе.

– Да? – И – ничего не прибавил.

Зато говорил о „Наташе“, которая очень понравилась. (Наташа нравилась всем! – В. Д.).

У подъезда – простились, решив еще встретиться: в „Мусагете“. <...>»

\* \* \*

После долгих мытарств А. Белому, наконец-таки удалось уговорить компаньонов из «Мусагета» дать ему ссуду в размере трех тысяч рублей в счет будущих публикаций (главным образом – путевых заметок) и причитающихся за них гонораров. Но всех денег сразу ему не дали, обещали высылать по мере получения обещанных материалов. Это серьезно осложнило жизнь Белого с женой за границей. Решили не сидеть сиднем на одном месте, а попутешествовать по Южной Европе, Северной Африке и Ближнему Востоку. Проводить молодую чету на вокзал, помимо родных и близких, явилась еще и толпа друзей. Бердяев вручил Асе букет алых роз, Кожебаткин Белому – рескрипт, состоящий из нескольких десятков пунктов и предписывающий выполнение множества рутинных редакционных заданий. Но новобрачные (а иначе их и не воспринимали родные и друзья) уже думали исключительно о долгожданном покое, уединении и свободе странствий...

Никакой литературы в дорогу намеренно не взяли. «Единственной книгою будешь мне ты», – сказал Белый жене. Их притягивал Восток, древние исторические памятники и средневековая арабская культура. Потому-то целью почти полугодичного заграничного вояжа стала Сицилия. Миновав Австрию, поезд быстро домчал до Италии. В Венеции путешественники только-то и успели, что прокатиться в гондоле да осмотреть собор Святого Марка. Эстетически утонченная художница, Ася блаженно нежилась в лучах итальянского солнца и посвящала мужа в

историю венецианской архитектуры. В других городах почти не задерживались. Флоренция – мимо, в Риме пересадка на другой поезд, в Неаполе – с поезда на пароход, отправлявшийся на Сицилию.

В Палермо тоже особенно не засиделись: дороговизна проживания в гостинице, где когда-то Вагнер заканчивал свою последнюю оперу «Парсифаль», вынудила Белого и Асю искать пристанища поскромнее и уже через неделю переселиться в городок под названием Монреаль. Но и здесь А. Белому не работалось: декабрь на Сицилии напоминал промозглую российскую осень, с той разницей, что дома вообще не отапливались. Так что, промучившись еще неделю и осмотрев главные достопримечательности, русская супружеская пара переплыла Средиземное море в самом узком месте между Европой и Африкой – по древнему пути карфагенских торговых и военных кораблей.

В Тунисе они предпочли остановиться в арабской деревне Радесе, откуда Белый писал Блоку: «Живу в арабской деревушке, ослепительно белой, ослепительно чистой с плоскими крышами, высокими, похожими на башню трехэтажными домиками, с рядом снежно-белых, каменных куполов, прекрасным минаретом, рядом гробниц (Марабу), осененных пальмами, оливками и фиговыми деревьями. Мы живем с Асей в настоящем, арабском доме, одни, занимаем 3 этажа с крохотными, затейливыми, очаровательными комнатками. <...> У нас с Асей великолепная плоская крыша, и мы по вечерам подолгу сидим там на ковре, поджав ноги калачиком; а недалеко (20 минут ходьбы) сверкает бирюзовое, Средиземное море. Я превратился в глупого, довольного эпикурейца: собираю ракушки, читаю арабские сказки и говорю глупости Асе. <...> Но я доволен, счастлив, чувствую, как с каждым днем приливают силы: наконец-то, после 6 безумных лет, состоящих из сплошных страданий, я успокоился. Я беспокоюсь только, что счастье, мне посланное, вдруг... оборвется. Милый Шура, беги Ты от суеты, людей, Петербурга, литераторов: все это – мерзость, жидовство, гниль и безрезультатная истерика. Жизнь может быть прекрасной, а ее портят... люди».

Работалось Белому вовсе не так, как хотелось, и уж во всяком случае не так, как грезилось дома, в России. Одиночества он не ощущал, – напротив, в заповедных и сакральных местах только усилилось его глубокое чувство единения со Вселенной. Сопричастность Мирозданию он перенес на жену, которую, подобно Данте, космизировал в проникновенном стихотворении с кратким названием «Асе» (где перечислены навсегда запомнившиеся им места на Сицилии и в Тунисе):

В безгневном сне, в гнетуще-грустной неге  
Растворена так странно страсть моя...  
Пробьет прибой на белопенном бреге,  
Плеснет в утес соленая струя.

Вот небеса, наполнясь, как слезами,  
Благоуханным блеском вечеров,  
Блаженными блистают бирюзами  
И – маревом моргающих миров.

И снова в ночь чернеют мне чинары.  
Я прошлым сном страданье утолю:  
Сицилия... И – страстные гитары...  
Палермо, Монреаль... Радес... Люблю!..

Прожив в Тунисе чуть более двух месяцев, Белый и Ася через Мальту перебрались в Египет. Капитан грузового судна, взявший их пассажирами, уговаривал понравившихся ему русских ехать с ним до Цейлона или Японии, куда направлялся корабль. И они бы непременно согласились, но деньги давно кончились, а очередной перевод из Москвы ждал их в Каире. В Египте – новые, ни с чем не сравнимые впечатления. На всю жизнь запомнились пирамиды в Гизе, на одну из которых он вместе с Асей совершил восхождение. Ну и конечно же – сфинкс, поразивший писателя в самое сердце. Блоку он писал из Каира 2/15 марта 1911 года:

«Милый Саша! Вчера была для меня незабываемая минута. Я глядел с полчаса, не отрываясь, в глаза сфинксу; из песков над песками глядит сфинкс огромными живыми глазами; и каждую минуту меняется выражение его чудовищного лица: сначала он был грозный, потом насмешливый, испуганный, грустный, нежный, как ангел, прекрасный. Луна ослепительно горела, освещая пустыню. Черные привиденья феллахов одиноко застывали здесь и там. И надо всем два безумных конуса – пирамиды. Нежно любящий. Б. Бугаев».

Аналогичные впечатления в его письме к матери: «Пишу Тебе, потрясенный Сфинксом. Такого живого, исполненного значением взгляда я еще не видал нигде, никогда. <...> На голубом небе, прямо из звезд в пустыню летит взор чудовищного сфинкса; и он – не то ангел, не то – зверь, не то прекрасная женщина». Позже в путевых очерках писатель, поведав историю открытия уникального древнеегипетского памятника, еще раз во



всех подробностях описал и собственные ощущения, испытанные во время «стояния перед сфинксом»: «В образе выразима предельность: беспредельному выражения нет; образы беспредельного были бы безобразны. <... > Безобразие беспредельности выше самой красоты. И таков Сфинкс. <... > Террористический акт над современной душой человека произвел Египет, выбросив нам из веков безумное изваяние Сфинкса. <...> Сфинкс переходит все человеческие меры: он – отчетливо воплощенная безмерность; и ужасно, что безмерность эта вложена в человекоподобный образ: во-ображена – воображена. <... > Взглянувши на чуждое выражение сфинксовой головы, мы начинаем чувствовать, как срывается в нас дно человеческой личности: и само в себя в нас проваливается „я“: здесь – окаянство, здесь – мерзость, здесь – гениальная провокация; здесь на безмерном разбит символизм геометрических фигур: как будто на хеопсовом треугольнике наметилось вдруг лицо; как будто бы то лицо стало образом и подобием лиц человеческих; как будто бы *прародимый хаос* (выделено мной. – В. Д.) мгновенно предстал перед нами после многомиллионного бегства человеческих поколений от его чудовищных стран: мы убегали от прародимого ужаса и тогда, когда были комочками слизи, далее убегали мы, ставши подобием червей, а когда мы стали обезьянами, бездна легла между нами и *прародимым*. И вот оно, прародимое, нас настигло, заглянуло в глаза сфинксовой головой; красноречивая его немота снова заговорила с нами. <...>

Кажется нам, будто Сфинкс полетел через время; тяжкие грузы с него свалились в прошедшие времена; все те во впадинах мягко лежавшие тени завуалили нежно просветленное это лицо; успокоенно смотрит на вас луны бирюзовым налетом; неземные глаза исполнились негой, томно темнясь легкой грустью о земном, пережитом. Он останется в памяти вашей ангелом.

Тайны путей, культур и последних судеб человечества, чудесно переходящие друг в друга, во взор сфинксовой головы отпечатались единовременно: эфиопское идиотское лица выражение с небесной истомой и негой сочетались в их таинственно связующей грусти; и безносая, дикая окаянная голова есть воистину голова крылатого ангела; с пресыщением сочеталось здесь острое любопытство; быстрота с окаменелой мертвенностью ушатаго, головного убора, от которого праздно так отвалились куски; бремя безумное лет углубило лица кривые облупины, чтобы ныне младенческая улыбка заиграла весело на тысячелетнем лице.

Более получаса я в песке просидел перед Сфинксом; вместе с ним преодолевал тернистые круги какого-то вечного, искони ведомого пути.

Зверь, труп, эфиоп, титан, ангел из облупленного лица на меня смотрели по очереди; но и зверь, и труп, и титан, и ангел одновременно были даны в том лице; зверь, труп, титан, ангел образовали круг его головы, из которого просунулось прародимое время: прародимое время просунулось мне шептать все о том, что его, времени, больше уже не будет; что оно, время, отныне и альфа и омега. Все то было загадано в Сфинксе одновременно; и развертывая во времени те обрывки сфинксового бессмыслия, мне осмысливались мгновенно и пути, и последние судьбы: этот смысл пролетал вихрем; пролетев, ускользал».

На протяжении всего творческого пути Андрея Белого сфинкс являлся для него одним из самых значимых символом, даже – *сверхсимволом*. Он вполне мог бы назвать гигантское древнее изваяние *Царем символов*. (Вспомним, что еще весной 1906 года на основании доклада, сделанного «на башне» Вячеслава Иванова, Белый опубликовал статью «Феникс», где вечно возрождающейся огненной птице противостоял *сфинкс* – носитель более глубокого, но темного, космического Начала.) В главном своем романе Белый и столицу тогдашней России – Петербург – отождествил со сфинксом. (Блок пошел еще дальше, объявив в «Скифах» *сфинксом всю Россию*):

Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя,  
И обливаясь черной кровью,  
Она глядит, глядит, глядит в тебя,  
И с ненавистью, и с любовью!..

В эпилоге к роману «Петербург» Белый перенес некогда испытанные им впечатления от сакрального общения со *сфинксом* на одного из главных (анти)героев – Аблеуховамладшего, закончившего свою жизнь в тени египетских пирамид и большого сфинкса:

«Пламень солнца стремителен: багровеет в глазах; отвернешься, и – бешено ударяет в затылок; и пустыня от этого кажется зеленоватой и мертвенной; впрочем – мертвенна жизнь; хорошо здесь навеки остаться – у пустынного берега.

В толстом пробковом шлеме с развитою по ветру вуалью Николай Аполлонович сел на кучу песку; перед ним громадная, трухлявая голова – вот-вот – развалится тысячелетним песчаником; – Николай Аполлонович сидит перед Сфинксом часами.

Николай Аполлонович здесь два года; занимается в булакском музее.

„Книгу Мертвых“ и записи Манефона толкуют превратно; для пытливого ока здесь широкий простор; Николай Аполлонович провалился в Египте; и в двадцатом столетии он провидит – Египет, вся культура, – как эта трухлявая голова: все умерло; ничего не осталось».

Но собственный вывод – «все умерло, ничего не осталось» – не был применим к самому Белому. Им двигала жажда жизни, жажда познаний, жажда новых впечатлений. По первоначальным планам молодожены намеревались двинуться дальше вглубь Африки – в Судан (если по суше) или в Гвинею (если по морю) и даже в местность между Того и Либерией, где немецкий этнограф и археолог Лео Фробениус открыл остатки древней цивилизации *йоруба*, которую многие поспешили связать с Атлантидой. Однако материальные трудности заставили Белого и его спутницу отказаться от широкомасштабных планов, и в начале апреля они отбыли из Египта в Палестину, намереваясь встретить в Иерусалиме Пасху.

Щемящая тоска по Родине нигде и ни на минуту не оставляла А. Белого. Из письма Блоку из Каира от 21 марта (3 апреля) 1911 года: «<...> Пусть мы разные, но то „психология“, но Русь, будущее, ответственность – не „психология“ вовсе, и как же не радоваться; *мы – русские*, а Русь – на гребне волны мировых событий. Русь чутко слушает и ее чутко слушают. *Я, Ты*, мы не покинуты в сокровенном; за нами следят благие силы, не покинут нас, поскольку мы – *русские*. Тише, скрытнее, медленнее, важнее – вот мое желание. А там, в великом деле собирания Руси, многие встретятся: инок, солдат, чиновник, революционер, скажут, сняв шапки: „За Русь, за Сичь, за козачество, за всех христиан, какие ни есть на свете“... И от поля Куликова по всем полям русским прокатится: „За Русь, за Сичь, за козачество, за всех христиан, какие ни есть на свете“... (Пересказ текста из любимой повести Гоголя „Тарас Бульба“. – В. Д.). Аминь».

Посещение Святых мест только усилило патриотическое настроение Белого. Из Иерусалима на Пасху он отправил Блоку письмо следующего содержания: «Милый Саша! Измученные семью казнями египетскими: 1) блохами, 2) „бакшишом“, 3) грязью, 4) „хамсином“ (ветром пустыни), 5) зубной болью, 6) англичанами и 7) невозможностью выехать за неимением денег, – бежали в *обетованную страну*. Но как же мы удивились, что Иерусалим несказанен, древен, вечногрядущ, сказочен, что Храм Гроба Господня *не то*, что можно думать издалека; это – *воплотившийся вечный сон*. А у Гроба Господня соединенная Церковь (католик и православный). Нас тронул мусульманин в чалме, пришедший поклониться гробу. Не снимая чалмы, он широко перекрестился. Палестина рдеет цветами. Иерусалим бледножелтый, переходящий в блеклое золото. Сидели долго у

Соломонова храма. Христос Воскресе! Ура России! Да погибнет европейская *погань*».

В Россию возвращались на корабле, шедшем из Яффы в Одессу. Оттуда – напрямиком в Боголюбы, к Асиной матери и отчиму. В Москве приткнуться было негде. Мать Белого сноху по-прежнему не привечала и в приюте отказывала. Снимать отдельную квартиру было не на что. Наступили тяжелые времена. Жить приходилось в долг, и он катастрофически возрастал с каждым днем. Давным-давно истраченная ссуда, полученная от «Мусагета», оставалась не погашенной. Да и отношения с издательством и возглавлявшим его Э. К. Метнером неожиданно осложнились. Тот категорически отказывался авансировать переиздания книг Белого, требовал только новых и неуклюже вмешивался в его творчество.

В Боголюбах Белого с женой поселили в отдельном двухкомнатном домике, построенном лесничим у самой дороги. Кругом – голое поле, уставленное скирдами, поодаль – дубовая роща. Стены жилища, сплошь увешанные африканскими и арабскими сувенирами (собственно, они были всюду, включая стоявший на полу роскошный кальян и инкрустированную курильницу) живо напоминали о недавнем путешествии. Однако работа над путевыми очерками продвигалась медленно – мешали бесконечные бытовые заботы.

На десять дней Белый отлучился в Москву разведать обстановку и лишь укрепился в своих худших предположениях. В письме жене так обрисовал ситуацию: «<...> За 9 дней пребывания в Москве превратился в какую-то бесчувственную, измученную куклу; так трудно, так трудно. <...>» Брюсовский журнал «Весы», в котором московские символисты чувствовали себя так комфортно, прекратил свое существование, а сам Брюсов перебрался в журнал «Русская мысль» под крылышко к известному экономисту и публицисту (в прошлом – «легальному марксисту», а ныне – одному из лидеров кадетов) Петру Бернгардовичу Струве (1870–1944). Здесь же прижился старый добрый друг – всегда готовый помочь С. Н. Булгаков. Он-то и высказал спасительное и разумное со всех точек зрения предложение – написать для «Русской мысли» большой роман и тем самым одним махом решить все денежные проблемы. Так был заложен первый камень в то грандиозное литературное здание, которое в будущем станет одной из самых знаменитых книг XX века, названной весомо и кратко – «Петербург»...

## Глава 6

# ГРАД ВЗЫСКУЕМЫЙ, ГРАД ЗАКЛЕЙМЕННЫЙ

8 августа 1911 года Андрей Белый и Ася Тургенева приехали в Москву и остановились в меблированных комнатах на Тверском бульваре. Мать Белого все так же игнорировала сноху, но сыну в конечном счете дала в долг одну тысячу рублей на обзаведение хозяйством. Наилучшие отношения по-прежнему сохранялись у него с Маргаритой Кирилловной Морозовой, основавшей и возглавившей философско-религиозное издательство «Путь». (Оживленная переписка между ними не прекращалась и во время путешествия писателя на Восток.<sup>[24]</sup>) Белый предложил написать для «путейцев» книги – сначала об Афанасии Фете, затем – о мыслителе-космисте Николае Федоровиче Федорове. К сожалению, ни то ни другое осуществлено не было: автора вскоре захлестнула стихия «Петербурга», а вслед за ним – антропософия.

Зато М. К. Морозова выручила материально (дала в долг полторы тысячи рублей) и пригласила на две недели погостить в своем калужском имении. Здесь впервые встретились две Музы А. Белого. Дружеского контакта между ними, увы, не сложилось. Воспоминания Морозовой, написанные на склоне лет, не оставляют на сей счет никаких сомнений: «В августе... Борис Николаевич с Асей приехали к нам в Михайловское погостить и провели у нас недели три. Меня, конечно, очень интересовала Ася. Борис Николаевич, видимо, был очень увлечен ею. Она держалась независимо, очень спокойно, даже холодно и совсем равнодушно ко всему окружающему; говорила очень мало, почти все время молчала и курила, что к ней очень шло. Она очень мило держала папиросу в тонких пальчиках и, покуривая, показывала все время свой прелестный профиль и как-то змеевидно глядела на вас в бок. Борис Николаевич не спускал с нее глаз, и когда она подымалась и уходила, то он буквально бросался и бежал за ней. Как-то раз у нас с Асей вышло маленькое недоразумение. Я ее представляла приходившим или приезжающим знакомым – Анна Алексеевна Бугаева, помня, что Т. Ф. Шлецер (вторая жена А. Н. Скрябина. – В. Д.) от меня всегда требовала, чтоб я ее знакомила со всеми как Скрябину. Я так и делала. Вдруг Ася пришла ко мне в комнату со мной

„объясниться“ о том, зачем я ее представляю всем как Бугаеву, тогда как она Тургенева. „Я этого не признаю, тогда почему же Боре не быть Борисом Асевичем Тургеневым“, – сказала она. Я, конечно, впредь делала так, как она пожелала. Завязать какие-нибудь отношения с Асей или даже побеседовать с ней интимно мне так и не удалось».

По свидетельству хорошо знавших ее, Ася Тургенева вообще была девушкой неразговорчивой, даже нелюдистой. В незнакомой компании всегда молчала, непрерывно дымя папироской. Среди близких ей людей расслаблялась, но и тут могла надолго замкнуться, что называется, уйти в себя. С Андреем Белым – особенно на первых этапах их совместной жизни – у нее сложились доверительные отношения. Но постепенно и между ними возникла отчужденность, что в конечном счете вынудило их расстаться (причем инициатива целиком и полностью принадлежала женской стороне).

\* \* \*

В конце сентября Белый наконец-то завершил работу над тяготившими его (но необходимыми для заработка) «Путевыми заметками» и готов был засесть за роман. Согласно устной договоренности, в январе 1912 года он должен был представить в журнал «Русская мысль» первые три главы. П. Б. Струве не питал особой любви ни к Белому, ни к его творчеству, но прагматически рассудил, что публикация в журнале нового романа известного (и в какой-то мере – скандального) автора может увеличить число подписчиков. Однако осторожность в таких делах тоже не помеха, поэтому главный редактор заявил, что окончательное решение о публикации примет после личного ознакомления с рукописью первых трех глав. Только тогда можно ставить вопрос и об авансе.

Понадеявшись на порядочность Струве, но еще более – на дружеское участие Брюсова, и оставшись без копейки денег, писатель воспользовался предложением малознакомых ему доброхотов пожить на их якобы зимней даче в подмосковном поселке Видное (станция Расторгуево по Павелецкой железной дороге). Вздохнув с облегчением, они с женой разместились в трех тихих дачных комнатах и, наняв кухарку и сделав запас дров на зиму, занялись каждый своим делом. Ася облачилась в короткие арабские шаровары и впала в форменный транс под воздействием трудов Блаватской и Штайнера. Белый с головой погрузился в фантасмагорию своего романа, раз в неделю навещая в Москву для решения неотложных вопросов.

Идиллия продолжалась, пока не грянули первые морозы. Уютная дачка оказалась совершенно не приспособленной для зимнего проживания: стены промерзли и покрылись инеем, небольшая печка необходимого тепла не давала, воспоминаниями о Сицилии и Африке не согреешься. Белый с женой вынуждены были вернуться в Москву и остановиться в перенаселенной квартире Поццо. Наташа только что родила дочку, и «беглецам» выделили крохотную комнатку, абсолютно не приспособленную для уединения и творчества: пространство – четыре шага, где две постели, два стола, чемоданы, вещи, одежда, Асины гравировальные принадлежности, книги Белого, груды рукописей, не прекращающийся с утра до вечера поток людей. Работа над романом застопорилась. К тому же совершенно не было денег. «Русская мысль» аванса, на который так рассчитывал писатель, по-прежнему не давала. Подчас не на что было даже купить еды.

Состояние Белого приближалось к безысходности, ее отчасти передает отрывок из письма к Э. К. Метнеру, написанного в конце декабря: «Трудность материальная, лавина неоплаченных долгов, растущая над нашими головами, последние месяцы вызывает во мне скорее не желание избежать ее, а, наоборот, подставить ей голову; ибо я устал, ужасно устал, безмерно устал морально: а моральная моя усталость от невозможности успокоиться, от искания денег; едва обернешься, едва с величайшими тревожностями через голову ряда скандалов и моральных ударов выцарапаешь себе право на 3–4 месяца не думать о деньгах, едва, успокоившись, примешься за работу, как тебя со всех сторон начинают упрекать за то, что ты должен тому-то, что ты не исполнил данного обещания: словом – житейская суета. А там глядь – прошли эти три месяца и опять грозный вопрос: а чем жить? А чем заплатить уже имеющийся долг? А во имя чего занять? А откуда? <...>»

В полном отчаянии Белый обратился за советом к Блоку: «Дорогой Саша! Пишу Тебе не в порядке наших личных отношений, а в порядке просьбы подать совет. Дело вот в чем: у Вас в Петербурге все журналы, все организации литературные, словом, вся техника литературы. В Москве же ничего нет. У меня в Москве единственный журнал „*Р[усская] М[ысль]*“. Но Брюсов меня обмерил и обвесил. С лета до зарезу мне были нужны деньги; личных денег у меня нет ни гроша, литературного же заработка нет, ибо в журналы вообще меня не приглашают (нет такой „моды“ меня приглашать). Я просил Брюсова дать мне работы, и он через „Мусагет“ просил меня написать об Африке. Все лето я писал о *Радесе* и *Egypte* (около 10-ти печатных листов), рассчитывая жить зимой на литературный

труд и поэтому *откладывая* „Голубя“ (будущий роман „Петербург“ первоначально считался продолжением – 2-й частью из запланированных трех – повести „Серебряный голубь“. – В. Д.). Лето потерял, десять печатных листов написал (и написал – хорошо), и вот мне говорят, что „*Р[усская] М[ысль]*“ перегружена географией; стало быть, мой труд не нужен. Кроме того Брюсовым и Струве поставлены условия, чтобы к 1-ому январю я написал „Голубя“ и представил 15 печатных листов (по 100 р. за лист). Я просил *аванса*, мне отказали. Теперь я в невозможнейших условиях: чтобы к 15 январю представить рукопись, я не могу ни одной рецензии написать для заработка, а денег у меня – ни гроша; и я все эти 4 месяца кое-как перебивался. „*Р[усская] М[ысль]*“ своим обманом меня (праздной работой над Радесом и Египтом, а потом и *Голубем*) посадила в лужу. Имение мое продается дай Бог через ½ года, а пока я – сейчас в ужаснейшем материальном положении. Я *должен* или бросить литературу и околачиваться в передних попечителя округа, или потребовать у общества, чтобы А. Белый, могущий писать хорошие вещи, был обществом обеспечен. И я требую от всех людей, кому я, как писатель, нужен, чтобы *писателю* не дали умирать с голоду: мне нужны до февраля месяца (когда я справлюсь с „*Голубем*“) 400–500 рублей; у меня есть около 10 печатных листов описаний Египта и Тунисии. Кто может 1) или дать мне *взаимы* (в счет гонорара за Голубя) 500 рублей, которые обязуюсь отдать по представлении рукописи в „*Р[усскую] М[ысль]*“, 2) или дать 500 рублей за материал (хороший), праздно лежащий у меня? Нет ли в Петербурге такого человека, или журнала, который не даст подохнуть А. Белому и не заставит его кланяться у меценатов о возможности существовать? „*Мусагет*“ сам нуждается. „*Мусагету*“ *должен* я 3000 (путешествие), которые уплачу по продаже имения и который *соглашается ждать*, но который *не может* без явного ущерба изданий *помочь мне* сейчас.

Пишу Тебе, не как другу, а как петербуржцу: к кому мне обратиться? Ни журналов, ни людей я не знаю: вы все *вращаетесь* в литературной среде, а я с Асей – мерзну в деревне и ни с кем не общаюсь. Ты *рекомендуешь* мне презреть суету сует и писать „Голубя“. Милый друг, *рекомендуя* мне покой, *рекомендуй* мне и возможность работать без спешки и без заботы о том, как *просуществовать* декабрь и январь месяц. Не знаю, на что Ты живешь, и знаю, что А. Белому литературой жить невозможно, а денег своих – ни гроша. У меня на сердце жена, Ася. Для себя не стал бы я просить. Но мысль подвергать Асю голоду, ревматизмам и пр[очим] принадлежностям литерат[урной] деятельности меня ужасает.

Ты – судья моего поведения: так будь же *не обвинителем только*, а



постарайся меня как-нибудь устроить: или дай совет, как быть. Мне 500 рублей нужны сейчас до зарезу. Нельзя ли честно получить за праздно скопившийся у меня лит<ературный> труд, а не то через две недели я зареву *благим матом* у всех порогов богатой буржуазной сволочи: „Подайте, Христа ради, А. Белому“. Зареву с гордостью, ибо я – Бож<и>ей милостью художник, который по крайней мере обществом *должен* быть обеспечен *хлебом* и *одежей* (так!). Или искусство, литература, мысль, образы *никому не нужны*. Ну, тогда я буду себе искать место хоть лакеем в ресторане: так и буду знать, что А. Белый никому не нужен, ибо его оставляют на произвол судьбы голодать. <...>»

Угроза голода помянута здесь вовсе не для красного словца. Положение в самом деле выглядело безнадежным (если бы Белый только знал, что вскоре оно станет еще безнадежнее). Блок ответил незамедлительно – выслал переводом Белому 500 рублей. Тот такого поворота дела даже не ожидал. Его несколько растерянная реакция свидетельствует об искренности и деликатности отношений между старыми друзьями:

«Милый Саша, Твое сегодняшнее письмо меня совсем оглушило своей неожиданностью. И мне теперь совестно *одного*: как бы Ты не подумал, что мои жалобы на матерьяльные трудности не были предлогом просить у Тебя денег...

(ТЬфу: пишу вовсе не то и не так!..) Письмо Твое меня глубоко порадовало и испугало: порадовало тем хорошим чувством, которым оно продиктовано. Испугало: явился соблазн воспользоваться Твоим благородным почином меня поддержать материально. Милый друг, знаешь, я, пожалуй, воспользуюсь Твоим предложением, но только при одном условии: чтобы Ты четко мне ответил и пристально поглядел мне в глаза. Во-первых: действительно ли Ты можешь мне месяца на три одолжить 500 рублей? Если это Твои гонорарные деньги, я брать отказываюсь: я слишком знаю, как трудно добывается гонорар и как быстро необходимые потребности поглощают его. Если же у Тебя *случайно* оказалось несколько сот рублей и они Тебе в продолжение 3-х месяцев не нужны будут (я Тебе их верну в середине февраля, если не в конце января), я с огромной благодарностью (Ты не можешь себе представить, как Ты меня выручаешь) принимаю Твое предложение, принимаю так же доверчиво, как Ты мне *по-хорошему предложил*... <...>»

Блок успокоил друга: получив после смерти отца небольшое наследство, он безо всяких затруднений для себя мог одолжить такую сумму на неопределенный срок. Благополучно решил и вопрос с

дальнейшей работой над романом. Григорий Алексеевич Рачинский – один из руководителей Религиозно-философского общества – предложил Белому до января (а впрочем – сколько потребуется) пожить и, главное, – поработать в родовом имении Бобровка – в Тверской губернии подо Ржевом (станция Оленино), где Белый уже неоднократно гостил (в последний раз заканчивал работу над «Серебряным голубем»). Не теряя ни минуты и даже не предупредив хозяйку, проживавшую в имении постоянно, Белый устремился к новому пристанищу.

Ася выехала вслед за ним, но ей старый барский дом со скрипучими половицами, таинственными шорохами и гулким эхом в пустых полутемных комнатах пришелся не по душе. Промучившись около недели, она оставила мужа наедине с его романом и укатила к сестрам в Москву. Андрею же Белому, напротив, работалось в Бобровке как никогда легко, хотя и писались здесь самые кошмарные сцены романа. С утра до позднего вечера трудился он, не разгибая спины, и к концу декабря заветные три первых главы были благополучно завершены. Полный вдохновения и дальнейших творческих планов Белый вернулся в Москву. Но здесь его ожидала полнейшая катастрофа...

Начало нового 1912 года ознаменовалось для писателя одним из самых тяжелых ударов. Ознакомившись с тремя главами «заказанного» (как все считали и прежде всего – сам автор) романа, Струве отказался их печатать. Владельцу «Русской мысли» претили и форма, и содержание незавершенного пока произведения. Он вообще сомневался: стоит ли и далее продолжать работу над столь необычным романом. Безуспешно и, главное, без особой настойчивости, Брюсов пытался переубедить главного редактора, переводя суть проблемы в коммерческую плоскость: дескать, громкое имя Андрея Белого привлечет к журналу большое число читателей и подписчиков. Ранее ту же мысль высказывал и сам Струве, но теперь он с природным немецким упорством намертво стоял на своем, называя злосчастный роман незрелым и прямо уродливым произведением, написанным претенциозно и плохо до чудовищности. Субъективизм? Бесспорно! Но в мире, далеком от высокого творчества, право казнить или миловать (в данном случае – печатать или не печатать) всегда принадлежит людям более всего далеким от самого творчества...

Подлость Струве (иначе не скажешь!) и трусость Брюсова надолго выбила Белого из колеи, лишив его покоя и сна. Рушились все надежды и планы. Терялась вера в порядочность людей да и в саму жизнь тоже. Но ничего не попишешь – жить приходилось дальше. В конце января вместе с женой он уехал в Питер и поселился на «Башне» у Вяч. Иванова. По

вечерам мэтр увлеченно играл с понравившейся ему Асей в шахматы, не делая однако попыток ухаживать за ней по-серьезному, как это уже неоднократно случалось (наглядный и хорошо известный пример – Маргарита Сабашникова, жена Макса Волошина, тоже, кстати, художница). В остальном все было как всегда. Множество знакомых и незнакомых лиц: вечный «башенный постоялец» Михаил Кузмин, граф Алексей Толстой, недавно вернувшийся из-за границы, Николай Гумилёв – на сей раз с женой, начинающей поэтессой Анной Ахматовой. Да разве всех перечислишь?

Завсегдатаи и гости «Башни» и стали первыми слушателями нового романа Белого. Тогда же сам хозяин литературного салона настоял на том названии, с которым роман Белого и вошел в историю – «Петербург». Сам Вяч. Иванов впоследствии вспоминал (в рецензии на роман, озаглавленной более чем выразительно – «Вдохновение ужаса»): «Мне незабвенны вечера в Петербурге, когда Андрей Белый читал по рукописи свое еще не оконченное произведение, над которым ревностно работал и конец которого представлялся ему, помнится, менее примирительным и благостным, чем каким он вылился из-под его пера. Автор колебался тогда и в наименовании целого; я, с своей стороны, уверял его, что „Петербург“ – единственное заглавие, достойное этого произведения, главное действующее лицо которого сам Медный всадник. И поныне мне кажется, что тяжкий вес этого монументального заглавия работа Белого легко выдерживает: так велика внутренняя упругость сосредоточенной в ней духовной энергии, так убедительна ее вещая значительность. И хотя вся она только сон и морок, хотя все статические формы словесного изложения в ней как бы расправлены в одну текучую динамику музыкально-визионарного порыва (стиль этого романа есть гоголевский стиль в аспекте чистого динамизма), тем не менее есть нечто устойчивое и прочное в этом зыблемом мареве; в устойчивых и прочных очертаниях будет оно, думается, мерцать и переливаться воздушными красками и в глазах будущего поколения. Навек принадлежит эта поэма истории не только нашего художественного слова, но и нашего народного сознания. <...>»

Итак, в отличие от московских «друзей», петербургская публика приняла главы, блестяще прочитанные автором, на «ура». По городу поползли слухи, один баснословнее другого: как никак роман посвящен Северной столице! Естественно, очень скоро с разных сторон посыпались предложения о публикации. Андрей Белый вновь воспрянул духом. Пусть теперь Струве с Брюсовым кусают локти, ему же теперь главное не продешевить... После долгих размышлений и взвешивания всех «за» и

«против» писатель принял предложение издателя К. Ф. Некрасова (племянника великого поэта), посулившего 2200 рублей за всю напечатанную книгу и половину из обговоренной суммы – немедленно в качестве задатка. (Между прочим, Струве и К<sup>о</sup> предлагали оплату по самой низкой таксе – 75 рублей за печатный лист.) Предложение по авансированию устраивало более всего: оно предоставляло реальную возможность немедленного выезда за границу...

Побывать в Петербурге и не увидеться с Блоком – такого Белый допустить никак не мог. К тому же и слухи о друге доходили безрадостные: «Раз у Иванова невзначай сорвалось: „Блок же пьет – пьет отчаянно!“ Я не расспрашивал Вячеслава Иванова о бытовой стороне жизни Блока; казалось, что все-все-все располагало к тому, чтоб мы встретились с Блоком; но встречи с А. А. в Петербурге теперь затруднялись (так!) тем обстоятельством, что, находясь с Любовью Дмитриевной в ссоре (года не видались уже), не мог посетить я А. А. у него на квартире; писать же ему и выпрашивать встречу – нет, нет: не хотелось».

Зная, что Белый в Питере, Блок также искал возможность повидаться и предложил другу встретиться в ресторане поблизости от Таврического сада. На свидание пришел в том же пиджаке, что и год назад (подметил Белый), сам осунувшийся, побледневший, но какой-то весь возбужденный; лишь глаза те же – усмиренные, ясные, добрые. Белый в очередной раз поблагодарил Блока за денежную помощь, подробно рассказал об африканском путешествии, но более всего обоим занимала коллизия вокруг романа «Петербург». Сам Блок в этот вечер увлекся разговором о русском и цыганском романсе, рассказал Белому о своих мимолетных увлечениях цыганками. Однако ими одними дело не ограничивалось. Среди случайных подруг Блока встречались всякие: то полужнакомая юная москвичка по прозвищу Гильда (от имени Хильды – героини ибсеновского «Строителя Сольнеса»), то таинственная красавица-еврейка, «похожая на жемчужину в розовой раковине», да мало ли кто еще?..

Белый поделился своими планами: в ближайшее время они с Асей намерены уехать за границу, где он и допишет оставшиеся главы «Петербурга». (Для запланированного выезда Блок одолжил Белому еще 350 рублей.) На прощание, как принято, обнялись и расцеловались. Расставались надолго, и в памяти Белого запечатлились мельчайшие детали: «Запомнился перекресток, где мы распрощались; запомнилась черная, широкополая шляпа А. А. (он ей мне помахал, отойдя в мглу тумана, и вдруг повернувшись); запомнилась почему-то рука, облеченная в коричневую лайковую перчатку; и добрая эта улыбка в недоброе,

февральском тумане; смотрел ему вслед: удалялась прямая спина его; вот нырнул под приподнятый зонтик прохожего; и – вместо Блока: из мглы сырой ночи бежал на меня проходимец: с бородкою, в картузе, в глянцевах калошах; бежали прохожие; проститутки стояли; я думал: „Быть может, вот эта вот подойдет к нему...“»

\* \* \*

Сюжет романа, с которым теперь судьба связала А. Белого на долгие годы на первый взгляд незатейлив и прост. Действие происходит во время первой русской революции. Эсеры-террористы при помощи самодельной бомбы готовятся взорвать сенатора Аполлона Аполлоновича Аблеухова, используя для этого попутно и его сына Николая Аполлоновича, о чем тот поначалу не подозревает, а когда догадывается, старается всячески уклониться от личного участия в теракте. В конечном счете и по стечению случайных обстоятельств, взрыв происходит самым неожиданным образом и, по счастью, без человеческих жертв. Не сразу понятен, однако, без предварительных пояснений жанр всего произведения. При первом взгляде на оглавление и названия слабо увязанных друг с другом глав (их-то всего восемь, не считая небольших Пролога и Эпилога) читателю вполне может показаться, что перед ним какая-то бессвязная непонятная сатира. Достаточно взглянуть еще раз на нетривиальную структуру романа «Петербург» – она того стоит:

ПРОЛОГ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ, в которой повествуется об одной достойной особе, ее умственных играх и эфемерности бытия.

ГЛАВА ВТОРАЯ, в которой повествуется о некоем свидании, чреватом последствиями.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ, в которой описано, как Николай Аполлонович Аблеухов попадает с своей затеей впросак.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ, в которой ломается линия повествования.

ГЛАВА ПЯТАЯ, в которой повествуется о господинчике с бородавкой у носа и о сардиннице ужасного содержания.

ГЛАВА ШЕСТАЯ, в которой рассказаны происшествия серенького денька.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ, или: происшествия серенького денька все еще продолжают.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ, и последняя.

## ЭПИЛОГ.

О чем говорят приведенные заголовки? Разумеется, о сатирической направленности романа! Та же мысль не оставляет и по прочтении первых его страниц или любых других, взятых наугад. Одновременно, знакомясь с романом в целом или отдельными его фрагментами, трудно отделаться от мысли, что за всем описанным в нем скрывается какая-то иная, неуловимая, реальность; что самое главное и сокровенное автор не досказывает и читатель (в зависимости от уровня собственного интеллектуального развития или, так сказать, степени «посвященности») должен сам уловить между строк и абзацев отнюдь не лежащее на поверхности некое *истинное содержание*.

Безусловно, сатира в лучших гоголевских и щедринских традициях у А. Белого налицо. В данной связи, действительно, одна из скрытых подцелей романа, как признавался и сам писатель, – обличительно высветить порочные основы бюрократической идеологии и оторванного от жизни «иллюзионизма», сквозь призму которого воспринимали жизнь различные круги тогдашнего общества. Вместе с тем творение Белого – красноречивый пример решительного отступления от классических канонов критического реализма, включая и, вне всякого сомнения, повлиявшую на него романистику Достоевского. Впрочем, для XX века – это вполне типичная модернистская тенденция: разве не похоже выглядят на фоне симфоний Чайковского произведения Стравинского, Прокофьева и Шостаковича, унаследовавших музыкальные традиции XIX века? Потому-то и прав Николай Бердяев, написавший развернутую рецензию на выстраданный шедевр своего друга и утверждавший, что к роману Белого нельзя подходить со старыми критериями и критическими приемами. Он – художник *«переходной космической эпохи»*. Его искусство отображает собственное бытие писателя, выражающееся в субъективном хаосе, но отображающем цельное космическое мировоззрение.

Но, для того чтобы наконец-таки увидеть и почувствовать это цельное мировоззрение, нужно в буквальном смысле данного слова *продраться* сквозь дебри каких-то ирреальных событий, из тех, что в нормальной жизни никогда бы не смогли произойти, и выслушать немало иногда совершенно бредовых речений странных, оторванных от реальной жизни (анти)героев. Именно так и следует характеризовать персонажей романа «Петербург», потому что ни одного *нормального героя* там нет и в помине. *Единственным подлинным Героем (с большой буквы!) здесь выступает лишь сам город – Петербург.*

В определенной мере все, о чем сказано выше, – можно списать на

издержки символистского взгляда на мир, обильно сдобренного (нео)кантианской методологией (Белый испытал сильное влияние философии как самого Канта, так и неокантианства обоих течений – Марбургской и Баденской школ), а в дальнейшем – и целиком захватившего автора антропософского учения. Уже отсюда напрашивается вывод: апокалипсическая картина, рисуемая Андреем Белым в романе «Петербург», вовсе не подлинная действительность, а лишь символ таковой. Символ этот еще предстоит разгадать, а заодно и определить: возможно ли вообще проникновение в сущность вещей и событий.

Одновременно роман Белого – это олицетворение, более того – наглядное воплощение *свободы творчества* – самой главной ценности для любого писателя, поэта, музыканта, художника, представителя какой угодно сферы искусства. Только *абсолютно свободный* человек, более того – полностью осознающий собственную свободу, которая, в свою очередь, отображает неисчерпаемую полноту свободы бесконечной Вселенной, мог совершать духовный подвиг и написать подобный роман, по-новому возвращающий литературу к великим темам классической русской культуры. И в этом смысле творчество Андрея Белого неотделимо от судьбы России и истории становления и исканий русской души.

Безусловно, проникновение в базисный, сущностный пласт мировоззрения А. Белого вполне возможно, но при одном условии. У Белого, по мысли Бердяева, не следует искать какой-то целостной русской идеологии – ее у него попросту нет. Зато есть нечто большее – русская природа и русская стихия. Он – русский до глубины своего существа, в нем русский «хаос шевелится» (слова Тютчева). Его оторванность или противопоставленность России – внешняя и кажущаяся; такая же была у Гоголя. И подобно Гоголю, глубоко любит Россию, одновременно разоблачая и отбрасывая всю скопившуюся в ней мерзость, в том числе и «петербургскую жуть». Понять этот выстраданный патриотизм (не имеющий ничего общего с односторонним национализмом и тем более с ограниченным шовинизмом) можно, если только проникнуть в «*тайное тайн*» мировоззрения А. Белого – его прирожденный КОСМИЗМ.

В свой грандиозный роман Белый вложил самые сокровенные и воистину космистские идеи и интуитивные чувства, которые преследовали его и постоянно посещали на протяжении всей 30-летней жизни. Недаром Николай Бердяев (а его рецензия была опубликована в самой читаемой русской газете «Биржевые ведомости») озаглавил ее – «Астральный роман», сравнив его с «*космическим вихрем*». При этом подчеркнуто, что подобный *изумительный* роман, «самый замечательный со времен

Достоевского и Л. Толстого», мог написать только *гениальный писатель*. По счастью, такой писатель на Руси есть (написано в 1912 году), и это – Андрей Белый. Далее Бердяев продолжает:

«Стиль А. Белого всегда в конце концов переходит в неистовое круговое движение. В стиле его есть что-то от хлыстовской стихии. Это вихревое движение А. Белый ощутил в *космической жизни* и нашел для него адекватное выражение в вихре словосочетаний. Язык А. Белого не есть перевод на другой, инородный язык его *космических жизнеощущений*, как то мы видим в красочно-беспомощной живописи Чурляниса (теперь пишут – Чюрленис. – В. Д.). Это – *непосредственное выражение космических вихрей в словах*. Упрекнуть его можно лишь в невыдержанности стиля, он часто сбивается. Гениальность А. Белого как художника – в этом *совпадении космического распыления и космического вихря с распылением словесным*, с вихрем словосочетаний. В вихревом нарастании словосочетаний и созвучий дается нарастание *жизненной и космической напряженности*, влекущей к катастрофе. А. Белый расплавляет и распыляет кристаллы слов, твердые формы слова, казавшиеся вечными, и этим выражает расплавление и распыление кристаллов всего вещного, предметного мира. *Космические вихри* как бы вырвались на свободу и разрывают, распыляют весь наш осевший, отвердевший, кристаллизованный мир» (выделено мной. – В. Д.).

Космистское мироощущение и космистское миропонимание действительности, на которые сознательно и бессознательно ориентировался А. Белый при написании своей грандиозной эпопеи, вкратце может быть сведено к тезису «*Космос против Хаоса*». При этом центральной, организующей ипостасью, как уже было отмечено выше, выступает *сам Петербург* с его упорядоченной системой градостроения. Именно так видится столица Российской Империи одному из главных (анти)героев романа сенатору Аблеухову:

«И вот, глядя мечтательно в ту бескрайность туманов, государственный человек из черного куба кареты вдруг расширился во все стороны и над ней воспарил; и ему захотелось, чтоб вперед пролетела карета, чтоб проспекты летели навстречу – за проспектом проспект, чтобы вся сферическая поверхность планеты оказалась охваченной, как змеиными кольцами, черновато-серыми домовыми кубами; чтобы вся, проспектами притиснутая земля, в линейном *космическом* беге пересекла бы необъятность прямолинейным законом; чтобы сеть параллельных проспектов, пересечения с сетью проспектов, в мировые бы ширилась бездны плоскостями квадратов и кубов. <... > Есть бесконечность в



бесконечности бегущих проспектов с бесконечностью в бесконечность бегущих пересекающихся теней. Весь Петербург – бесконечность проспекта, возведенного в энную степень» (выделено мной. – В. Д.).

Если Петербург в романе Белого олицетворяет космизированное упорядочивающее Начало, то человек в нем (Петербурге) отображает первозданный и первородный Хаос. Преломленный через искаженное индивидуальное сознание, город также начинает восприниматься в форме Хаоса. Другими словами, хаотичен не сам город (напротив, он космичен!), а хаотично субъективное восприятие в целом организованного и упорядоченного мира. Таким видится Петербург эсеру-террористу Александру Ивановичу Дудкину, именуемому в самом начале романа Незнакомцем (художественный прием!):

«Незнакомец мой с острова Петербург давно ненавидел: там, оттуда вставал Петербург в волне облаков; и парили там здания; там над зданиями, казалось, парил кто-то злобный и темный, чье дыхание крепко обковывало льдом гранитов и камней некогда зеленые и кудрявые острова; кто-то темный, грозный, холодный оттуда, из воющего хаоса, уставился каменным взглядом, бил в сумасшедшем парении нетопыриными крыльями» (выделено мной. – В. Д.). Кроме того (и это особо подчеркивает Белый), в глазах Незнакомца также высвечивалась «бескрайность хаоса».

Водоворот жизненного потока, который обрушивается на читателей романа благодаря мировосприятию автора и его (анти)героев, – в общем-то все тот же Хаос. Он способен увлечь читателя в никуда, захлестнуть, погубить. Но этого не происходит, ибо упорядоченное пространство петербургских улиц, набережных, переулков и садово-парковых ландшафтов в конечном счете обуздывает природную и людскую стихию и направляет ее в нужное русло. И как Космос побеждает Хаос, так и Петербург укрощает человека. В политическом ракурсе – то же: эсеровская вседозволенность безуспешно противостоит петербургской гармонии и ее космической упорядоченности, которые в конечном счете переламливают, превращая в ничто необузданную силу беспорядка и хаотическое начало.

Главная упорядочивающая и организующая магистраль города – Невский проспект, ему Белый также приписывает космическую значимость: «Более всего он (сенатор. – В. Д.) любил прямолинейный проспект; этот проспект напоминал ему о течении времени между двух жизненных точек; и еще об одном: иные все города представляют собой деревянную кучу домишек, и разительно от них всех отличается Петербург. Мокрый, скользкий проспект: там дома сливались кубами в планомерный, пятиэтажный ряд; этот ряд отличался от линии жизненной лишь в одном

отношении: не было у этого ряда ни конца, ни начала...». В прологе к роману читателя встречает настоящий гимн «царю всех проспектов»:

«Невский Проспект обладает разительным свойством: он состоит из пространства для циркуляции публики; нумерованные дома ограничивают его; нумерация идет в порядке домов – и поиски нужного дома весьма облегчаются. Невский Проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект; то есть: проспект для циркуляции публики (не воздуха, например); образующие его боковые границы дома суть – гм... да:... для публики. Невский Проспект по вечерам освещается электричеством. Днем же Невский Проспект не требует освещения. Невский Проспект прямолинеен (говоря между нами), потому что он – европейский проспект; всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а (как я уже сказал) проспект европейский, потому что... да... Потому что Невский Проспект – прямолинейный проспект. Невский Проспект – немаловажный проспект в сем не русском – столичном – граде. Прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек. <...>»

Ряд эпизодов «Петербурга» навеян личными трагическими воспоминаниями об отвергнутой любви и намерении покончить с собой, бросившись с моста или с нанятой лодки в Неву, о чем писатель подробно пишет в своих мемуарах. Об этом же он рассказывал в 1921 году Ирине Одоевцевой: «<...> Нигде в мире я не был так несчастен, как в Петербурге... Сколько было приездов с предчувствием неминуемой гибели, сколько ужасающих, постыдных отъездов-бегств. Я всегда тянулся к Петербургу и отталкивался от него. Я и свой лучший роман назвал „Петербург“ – по совету Вячеслава Иванова, правда. Я хотел безвкусно „Лакированная карета“. С таким бездарным названием весь роман мог провалиться в небытие. А ведь это лучшее, что я создал. Запись бреда. Такого ведь до меня нигде не было. Даже у Достоевского. Когда я писал, все время жил в кошмаре. Ужас! Ужас! Кошмар днем и ночью! Наяву и во сне бред. <...> Я тогда... пересоздал Петербург. Мой Петербург – призрак, вампир, материализовавшийся из желтых, гнилых лихорадочных туманов, приведенных мною в систему квадратов, параллелепипедов, кубов и трапеций.<... > Видите? Я вот так воссоздал Петербург. Это не только Петру, это и мне Евгений крикнул: „Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!“ <... > Я населил свой Петербург автоматами, живыми мертвецами. Я сам тогда казался себе живым мертвецом. Я и сейчас мертвец. Да, мертвец – живой мертвец. Разве вам не страшно со мной? <...>» А то, что Белый сказал по данному поводу в своем романе, давно уже стало хрестоматийным:

«Петербург, Петербург!

Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздною мозговою игрой: ты – мучитель жестокосердый; ты – непокойный призрак; ты, бывало, года на меня нападал; бегал я на твоих ужасных проспектах и с разбега взлетал на чугунный тот мост, начинавшийся с края земного, чтоб вести в бескрайнюю даль; за Невой, в потусветной, зеленой там дали – повосстали призраки островов и домов, обольщая тщетной надеждою, что тот край есть действительность и что он – не воющая бескрайность, которая выгоняет на петербургскую улицу бледный дым облаков.

От островов тащатся непокойные тени; так рой видений повторяется, отраженный проспектами, прогоняясь в проспектах, отраженных друг в друге, как зеркало в зеркале, где и самое мгновение времени расширяется в необъятности эонов (эпох. – В. Д.): и бредя от подъезда к подъезду, переживаешь века.

О, большой, электричеством блещущий мост!

Помню я одно роковое мгновение; чрез твои сырые перила сентябрёвскою (так!) ночью перегнулся и я: миг, – и тело мое пролетело б в туманы.

О, зеленые, кишасщие бациллами воды!

Еще миг, обернули б вы и меня в свою тень... <...>»

Действие романа напоминает шторм на море: то в одной, то в другой главе постепенно (или вдруг) нарастает напряжение, заканчивающееся «взрывом» – кульминационным моментом и символом всего повествования (а в последней главе раздается уже не символический, а совершенно реальный взрыв). Подобно буре, несколько раз (и с нарастающей напряженностью) появляется на страницах романа оживший символ Петербурга – *Медный всадник, конная статуя Петра Великого*. Он точно встает на защиту установленного им космического порядка, пытаясь оградить сакральный город от поползновений взрывателей-дезорганизаторов. Именно поэтому главным объектом преследования со стороны ожившего Петра становится террорист Дудкин:

«Александр Иванович Дудкин услышал странный грянувший звук; странный звук грянул снизу; и потом повторился (он стал повторяться) на лестнице: раздавался удар за ударом среди промежутков молчания. Будто кто-то с размаху на камень опрокидывал тяжеловесный, многопудовый металл; и удары металла, дробящие камень, раздавались все выше, раздавались все ближе. <... >

Раскололась и хряснула дверь: треск стремительный, и – отлетела от петель; меланхолически тусклости проливались оттуда дымными,

разделенными клубами; там пространства луны начинались – от раздробленной двери, с площадки, так что самая чердачная комната открывалась в неизъяснимости, посередине ж дверного порога, из разорванных стен, пропускающих купоросного цвета пространства, – наклонивши венчанную, позеленевшую голову, простирая тяжелую позеленевшую руку, стояло громадное тело, горящее фосфором.

Это был – Медный Гость.

Металлический матовый плащ отвисал тяжело – с отливающих блеском плечей и с чешуйчатой брони; плавилась литая губа и дрожала двусмысленно, потому что сизнова теперь повторялись (так!) судьбы Евгения; так прошедший век повторился – теперь, в самый тот миг, когда за порогом убогого входа распадались стены старого здания в купоросных пространствах; так же точно разъялось (так!) прошедшее Александра Ивановича; он воскликнул:

– Я вспомнил... Я ждал тебя...

Медноглавый гигант прогонял чрез периоды времени вплоть до этого мига, замыкая кованый круг; протекали четверти века; и вставал на трон – Николай; и вставали на трон – Александры; Александр же Иваныч, тень, без усталости одолевал тот же круг, все периоды времени, пробегая по дням, по годам, по минутам, по сырым петербургским проспектам, пробегая – во сне, наяву, пробегая... томительно; а вдогонку за ним, а вдогонку за всеми – громыхали удары металла, дробящие жизни: громыхали удары металла – в пустырях и в деревне; громыхали они в городах; громыхали они – по подъездам, площадкам, ступеням полунощных лестниц.

Громыхали периоды времени; этот грохот я слышал. Ты слышал ли?»

Исходя из всего вышесказанного, определить однозначно *жанр* романа «Петербург» очень сложно: в нем налицо эпика и лирика, сатира и натурализм, философия и антропософия, события реальной истории и их мифологизация. И всё это спроецировано на *космические сферы*, где идет ни на миг не прекращающаяся борьба Света и Тьмы, Добра и Зла (их ко всему прочему еще и символизируют древние авестийские божества – Ормузд и Ариман).<sup>[25]</sup> Литературовед Д. Е. Максимов (1904–1987), лично знавший А. Белого, назвал его эпопею *романом-поэмой*, приравняв ее тем самым к другой, самой знаменитой, прозаической поэме – гоголевским «Мертвым душам». Думается, что подобное определение жанра романа «Петербург» ближе всего к истине...

## Глава 7

# В ПОИСКАХ ВЫСШЕГО ЗНАНИЯ

Во второй половине марта 1912 года А. Белый с женой уехал в Бельгию, в Брюссель, где Асе предстояло завершить курс обучения гравировальному искусству у старейшего европейского графика Данса. В дальнейшие их планы входило еще одно путешествие на Восток. На сей раз супруги намеревались посетить Сирию, Месопотамию (современный Ирак) и, быть может, Индию, но неожиданный поворот (скорее даже – переворот), случившийся в их жизни, как мы увидим, начисто разрушил радужные мечты. Новая встреча с Европой, совпавшая с православной Пасхой, началась неудачно: оба заболели тяжелой формой простуды и, едва успев снять номер в гостинице, провалялись в нем больше недели в полубреду и с сорокаградусной температурой. После выздоровления жизнь вроде бы вошла в нормальную колею: Белый приступил к очередной, четвертой, главе «Петербурга», а часы отдыха проводил в музеях, наслаждаясь картинами старых фламандцев. Ася регулярно ездила на трамвае на уроки графики. О настроении обоих красноречиво свидетельствует письмо к М. К. Морозовой: «<...> Теперь зреет рабочее настроение. Ася принимается на днях за работу; а я принимаюсь за роман. Одно хорошо тут: тишина, благость. <... > Я как-то тверд: и верю, верю, верю: хочется улыбаться, работать, и будущее горит каким-то спокойным светом».

В мае в Брюссель из баварского Байрейта приехала Вагнеровская опера, и супруги, истосковавшись по классической музыке, с упоением прослушали «Лоэнгрин», «Тристана и Изольду» и «Валькирию». Тогда-то и произошла воистину судьбоносная и роковая встреча с доктором Рудольфом Штейнером<sup>[26]</sup> (1861–1925). Сначала он им приснился – причем сразу обоим; затем в виде незнакомца мелькнул в трамвае, наконец, внушил через ноосферные каналы, что им немедленно необходимо встретиться. Оказалось, что доктор Штейнер в это время как раз приехал в Брюссель для встречи со своими адептами, кои существовали во многих странах мира (в России, кстати, тоже). Андрей Белый давно следил за публикациями и просветительской деятельностью Р. Штейнера, общался с русскими антропософами (так, к этому времени на позиции антропософии полностью перешел его друг Эллис и, как многие другие прозелиты, ездил

за своим кумиром по разным странам Европы, где тот читал лекции, собиравшие полные залы и аудитории). Что касается Аси, то она уже давно и серьезно увлекалась модным учением.

Супругам удалось через секретаря (это была Мария Сиверс, вторая жена Штейнера, русская по происхождению) получить разрешение посетить «интимную» (то есть для близких учеников и последователей) лекцию мэтра. В тот же день вечером Белый впервые увидел того, кто на долгие годы станет для него абсолютным авторитетом: «Мы втискиваемся и садимся у боковой двери. Ждем. Занавес двери раздвигается, но комната за занавесью пуста: сейчас войдет Штейнер. Меня почему-то охватывает страшное волнение, беспокойство – точно кто-то насквозь видит, поворачиваюсь к двери и вижу на минуту мелькнувший край щеки какого-то лица – но край щеки сквозной, световой, и знаю, что это Штейнер, но край щеки лица уже скрылся (после Ася, которая все время глядела в дверь, мне сказала, что в двери показался на мгновение Штейнер, которого и она увидела сквозным, световым (в буквальном смысле), посмотрел на нас – в это время и я ощутил необъяснимое волнение – и скрылся, так что я увидел лишь край щеки. Первое появление Штейнера для обоих нас было световым явлением в буквальном, а не переносном смысле: но световое явление скрылось...

Минуты через 3 вышел Штейнер (уже не световое явление), маленький, сухой, остро отточенный, с отпечатком выражения, виденного нами у господина в трамвае (такой же, какой на прилагаемом снимке, но – лучше), взошел на кафедру и стал говорить; что он говорил – об этом я мог бы исписать 10 страниц (но всего не напишешь). Говорит Штейнер зло, сухо, басом, иногда начинает кричать, иногда бархатно петь, но говорит так, что каждое слово изваивается (так!) неизгладимым значком в душе твоей. Все, кого я когда-либо слышал, щенки по сравнению со Штейнером в чисто внешнем умении красиво говорить; иногда Штейнер кидается ладонями на слушателей, и Ты от жеста ладоней получаешь почти физический удар по лицу. На лице его разрывается лицо; оттуда смотрит другое, чтобы в свою очередь, разорвавшись, высвободить третье лицо.

В течение лекции передо мной прошло десять Штейнеров, друг из друга вышедших, друг на друга не похожих, но пронизанных чем-то Единым: в течение лекции он был и испанцем, и Брандом (главный герой драмы Ибсена. – В. Д.), и католическим кардиналом, и школьным учителем, и северным богатырем. Сила и властность его взора такая, какой опять-таки я ни у кого не видал. Вокруг него – световые пучки; на груди плавает световое облако, изменяющее цвет: мы с Асей видели перемену цвета в

одно и то же мгновение. Аура его невероятна и почти видна всегда, а во время напряжения речи становится ослепительной. <...> В лице безмерность чисто человеческого страдания, смесь нежности и безумной отваги. Таково было первое впечатление».

На другой день Штейнер читал публичную лекцию в Кёльне, и А. Белый с женой устремились за ним (как это делали и другие последователи антропософского учения). В письмах к Блоку А. Белый подробно информировал друга о происходящем в его душе перерождении и связанных с этим событиях (выше приведен отрывок из такого письма). Сообщил вкратце и биографические сведения о Штейнере: «<...> Когда-то ученик Геккеля, натуралист; 20 лет был женат на вдове (мегере) с многими детьми; писал и в газетах фельетоны; был школьным учителем. 20 лет молчал, ничего не сказал, ничего своего не написал. И вдруг открылся (20 лет молчания были реально проходимым Путем). Не желая пока дробить теософического движения, условно присоединился к теософам: данное ему знамя укрыл до времени теософским флагом; но, став условно и временно вообще теософом, реально сдвинул теософию в Германии. Говоря о теософии вообще, следует помнить, что теперь есть две различные теософии: теософия Блаватской и Безант, передающая мудрость йогов; и теософия Штейнера, передающая мудрость иных... Обе теософии пока самым внешним образом для внешних сплетают (блок кадетов с прогрессистами в точке предвыборной агитации). Таков Штейнер.

С 1910 года по многим причинам, о которых Тебе писать в письме не могу, Штейнер стал со всеми нами в особенно резких и интимных контактах: одни слепо бросились к нему, как Эллис, другие не слепо идут с ним, как Волошина, третьи украдкой совершают к нему паломничества, четвертые, как Рачинский и Московское Религ[иозно]-Философское О[бщест]во, уже два года смотрят на него, как на грядущую опасность (Булгаков сказал мне как-то: „Неокантианство, это – что: подступает уже настоящая бездна – Штейнер“). С осени 1911 года Штейнер заговорил изумительнейшие вещи о России, ее будущем, душе народа и Вл. Соловьеве (в России он видит громадное и единственное будущее, Вл. Соловьева считает замечательнейшим человеком второй половины XIX века, монгольскую опасность знает, утверждает, что с 1900 года с землей совершилась громадная перемена и что закаты с этого года переменялись: если бы это не был Штейнер, можно было бы иногда думать, что, говоря о России, он читал Александра Блока и „2-ую симфонию“). В 1911 году в Москве была настоящая штейнериада: pro и contra Штейнера не раз колебали самое существование „Мусагета“... <...>»

Что же представляло собой *антропософское учение* в прошлом и что представляет оно собой в настоящем? Обычно *антропософия* (от греч. *anthropos* – человек + *sophia* – мудрость) определяется как разновидность предшествовавшей ей по времени *теософии* (от греч. *theos* – Бог + *sophia* – мудрость); религиозно-мистическая доктрина, направленная на развитие «тайных» (то есть *окультурных*) способностей человека, сориентированных на духовное господство над природой, благодаря чему и открывается Высшее знание. Иначе, *антропософия* – наука о духе как сверхчувственном познании мира через самопознание самого человека, провозглашенного космическим существом. Говоря современным языком, *антропософия* – одна из мистифицированных попыток объяснить ноосферную сущность Макро- и Микрокосма, выявить каналы взаимосвязи между человеком и информационно-энергетическим полем Вселенной, научиться управлять интуитивным познанием и проникновением в запредельные, сверхчувственные, гиперфизические пласты Мироздания при помощи специально выработанных методик и тренингов. В сущности же антропософия, как она сформировалась в XX веке и существует по сей день, есть трансформированное и актуализированное (то есть приспособленное к современности) давным-давно известное эзотерическое учение древнего Востока и средневековой мистики, не чуждающееся многих важнейших научных данных, но пытающееся интерпретировать их с собственных позиций.

Рудольфу Штейнеру удалось соединить в одно целое человеческую жизнь (прошлую, настоящую и будущую), мировую историю и развитие Вселенной, что, в общем-то, во многом соответствовало концепции Всеединства и Софийного Космоса, как их понимал Владимир Соловьев, на идеях и книгах которого вырос Андрей Белый. Потому-то так близка и оказалась ему штейнерианская антропософия: в ней он увидел отблески русской софиологии и космологии. *Антропософ*, – говаривал Белый, – это тот, кто пытается примирить в себе человека со стихией софийной мудрости.

Антропософия также космоцентрична, как и теософия. Вопреки ключевому понятию «человек» в собственном наименовании, она даже не антропоцентрична. Для антропософии Штейнера все Мироздание зиждется под знаком Человека и Космос есть как бы составная часть человека. Но человек не наследует вечности. Как было время, когда человека не было, так настанет время, когда его больше не будет. Наступит новый космический эон,<sup>[271]</sup> и он будет уже стоять не под знаком человека, а под знаком *сверхчеловека*. В процессе эволюции человек мог развиваться из



существа, стоявшего ниже человека, и может развиваться в сверхчеловека, в ангела или демона. Человек – комплексное существо, он состоит из элементов планетарных эволюций, из тел физических, астральных и эфирных, из *Ego*, которое есть божественный в нем элемент и безличный дух.

Вместе с тем человек есть продукт *космической эволюции* и в нем нет неразложимой целостности. Космос его создал, он же может его заменить другим существом. Человек целиком находится во власти космических сил. Фактически он – марионетка в руках высших космических иерархий, он управляется ангелами, ведущими его к непонятной для него цели, и они должны привести его к такому состоянию, где не будет уже ничего человеческого. Следовательно, *человек есть космический переход от дочеловеческого к сверхчеловеческому состоянию*. В этом непримиримое различие между антропософией и христианством. Для христианского сознания человек может войти в Божественную жизнь, но не может перестать быть человеком, не может перейти в иной род, например, в род ангельский. Согласно христианской доктрине, человек не произошел из низших сфер космической жизни, он сотворен Богом и несет в себе образ и подобие Божие.

Среди деятелей русской культуры, в той или иной мере переживших увлечение штейнерианскими идеями, кроме Андрея Белого и Максимилиана Волошина, следует назвать композитора Александра Скрябина, художника Василия Кандинского – основоположника абстракционизма, выдающегося актера Михаила Чехова, сиолога Юлиана Щуцкого (первого переводчика на русский язык китайской классической «Книги перемен» – «И Цзин»). В разное время антропософия также оказала влияние на русских поэтов Вячеслава Иванова и Черубину де Габриак (псевдоним Е. И. Дмитриевой), на писательницу Ольгу Форш, культуролога Владимира Проппа, кинорежиссера Андрея Тарковского, а за рубежом – на крупнейших мыслителей XX века – Пьера Тейяра де Шардена и Альберта Швейцера, ирландского поэта, нобелевского лауреата Уильяма Йетса, писателя Томаса Манна, композитора Арнольда Шёнберга, архитектора Ле Корбюзье, художника-авангардиста Йозефа Бойса и др.

Антропософы большое внимание уделяли проблемам души и духа, их бессмертию и существованию вне человека, реинкарнации, то есть переселению душ. Сам Рудольф Штейнер оказался исключительно плодовитым писателем. После его смерти осталось необъятное антропософское наследие. Полное собрание трудов апостола антропософии насчитывает 454 (!) тома – с учетом, правда, переписки, деловых бумаг и

конспектов лекций, записанных его учениками. В живом изложении идеи Штейнера производили наибольший эффект: Учитель, посвящавший аудиторию в тайны медитации, умел заражать слушателей своей энергией, убежденностью и видением сверхчувственного мира. В письменном и печатном виде те же идеи выглядели достаточно туманными и их гипнотическое воздействие испарялось. Впрочем, данное обстоятельство нисколько не смущало русских символистов. Сами они в своих стихах выражались гораздо яснее. Например, Макс Волошин написал целый антропософский цикл «Звезда Полярная». Приводимое ниже стихотворение дает представление об антропософии лучше любого трактата самого Штейнера:

В моей крови – слепой Двойник.  
Он редко кажет дымный лик, —  
Тревожный, вещий, сокровенный.  
Прикинул ухом... Где ты, пленный?

И мысль рванулась... и молчит,  
На дне глухая кровь стучит...  
Стучит – бежит... Стучит – бежит...  
Слепой огонь во мне струит.  
Огонь древней, чем пламя звезд,  
В ней память темных, старых мест.  
В ней пламень черный, пламень древний.  
В ней тьма горит, в ней света нет,  
Она властительней и гневней,  
Чем вихрь сияющих планет.

Слепой Двойник! Мой Пращур пленный!  
Властитель мне невнятных грез!  
С какой покинутой Вселенной  
Ты тайны душевные принес?  
<...>

В приведенных строфах Волошина по существу отражена вся антропософская проблематика, во всяком случае ее онтологическая составляющая. Влияние личности Штейнера на своих последователей было безграничным. Эллис, ставший правоверным штейнерианцем раньше А.

Белого (правда, ненадолго), приравнивал Учителя к древним пророкам, рангом никак не меньшим древнеиранскому Заратустре. Примерно так же высказывалась о Штейнере и Маргарита Сабашникова (жена Макса Волошина), испытывавшая глубочайшее увлечение антропософией: «Это пророк, <... > у него через глаза смотрит вечность». Женщины вообще в наибольшей степени подвергались гипнотическому воздействию личности и идей Штейнера, они толпами следовали за своим кумиром от одного европейского города к другому, где тот выступал с лекциями, превращавшимися, как правило, в целые спецкурсы. О беспрецедентном воздействии новоявленного пророка на своих приверженцев свидетельствуют и мемуары Андрея Белого, назвавшего Штейнера «молнией грозно-грядущей эпохи».

С первой же встречи А. Белый полностью доверился антропософскому гуру и навсегда заразился его космофскими идеями. Русскому писателю казалось: наконец-то он нашел то, что искал всю жизнь. Появилась твердая уверенность: новоявленный пророк и провидец научит и его, адепта из России, как овладеть тайными силами своего «я», пронизанного невидимыми токами космической среды, и с их помощью проложить путь к самым сокровенным тайнам Мироздания. На тему «тайноведение» Штейнер написал немало работ, но самое главное и наиболее важное он сообщал только верным последователям и прозелитам.

Помимо космизма Штейнера с его центральным антропософским постулатом *блуждания человеческих душ в звездных мирах Вечности и их перевоплощении в процессе бесконечной эволюции*, – А. Белого привлекала в антропософском учении концепция «эфирного двойника» (сам Штейнер называл его *Стражем Порога*), неразрывно связанного с физическим телом человека (именно о нем идет речь в вышеприведенном стихотворении Макса Волошина). Доктор-антропософ утверждал: «В человеке таится существо, стоящее заботливо у пограничной черты... <...> при вступлении его сознания в сверхчувственный мир. Это таящееся в человеке духовное существо, которое есть он сам, но которое он не может познать обыкновенным сознанием подобно тому, как глаз не может видеть самого себя, есть „Страж Порога“ духовного мира. <... > Он облечен во все то, что пробуждает в нас не только заботу и печаль, но часто отвращение и ужас. Он облечен в наши пороки. Мы стораем от стыда, взглянув на то, чем мы являемся и во что облачен Страж Порога... Это наш двойник. <... > Встреча с ним есть встреча с самим собой и тем не менее в действительности это встреча с другим существом духовного мира».

Обладающий от рождения экстрасенсорными задатками, Белый тоже

мог засвидетельствовать факты неоднократных контактов с собственным «эфирным двойником». Тем более интересны ему были теоретические постулаты Доктора, которые писателю запомнились в таком виде:

«Если бы мы воскресили все части нашего эфирного тела и работали ими в соответственных центрах тела физического, то во всех частях тела нам изнутри бы открылись движенья, соответствующие тому, которое в голове ощущаемо в мысли. И мыслили бы руки».

«В физическом теле – чередование сна и бодрствования; в элементном теле (эфирном) – сон и бодрствование одновременны; тот кусок видит и бодрствует; этот – ничего не видит и спит».

«Когда человек может чувствовать свое эфирное тело, ему сперва начинает казаться, будто ширится он в мировые дали пространства; испытание страха, тревоги не минует тут никого; оно гнетет душу; будто ты закинут в пространства; под ногами – нет почвы».

«Эфирное тело – тело воспоминаний; колебание его в голове – „мысли мыслят себя“; при потрясениях, опасностях, эфирное тело частями выскакивает наружу; и врачами отмеченный факт, что вся жизнь проносится в воспоминании в минуты смертельной опасности, есть следствие частичного выхождения эф[ирного] тела».

Тогда, в мае 1912 года, Белому и Асе в Брюсселе и Кёльне удалось прослушать несколько лекций Штейнера, они произвели на обоих неизгладимое впечатление. Удалось еще раз встретиться с Доктором один на один и иметь с ним длительную беседу. Тот внимательно слушал сбивчивые рассказы супругов, испытывающе глядел на них, а потом спросил:

– Вы свободны в июле?

Вообще-то в июле они после непродолжительного посещения Франции намеревались вернуться в Россию, но тут их точно молнией пронзило.

– Да, свободны, – ответили оба в один голос, не сговариваясь.

– Так вот, – предложил Штейнер, – приезжайте-ка вы ко мне в июле в Мюнхен – там и поговорим подробнее обо всем. У вас появится возможность поближе увидеть нашу жизнь, наяву познакомиться с организацией антропософского движения и принять для себя решение, как поступить дальше. Согласны?

А. Белый и Ася, не колеблясь, согласились. Так они надолго встали на путь «ученичества» и связали свою дальнейшую судьбу с антропософией, превратившись в правоверных штейнерианцев... Неожиданно из Берлина к ним примчался Эллис, постучался как-то рано поутру в дверь гостиничного

номера. Предстал перед ошарашенными супругами – в полумонашеском одеянии, голодный, неухоженный, без гроша в кармане. Когда же у него поинтересовались, на какие средства он вообще существует, неунывающий антропософ рассказал: пока что в Берлине он устроился поводырем у старого, ученейшего и слепого хасида, с ним ведет постоянные дискуссии, доходящие до богословских и каббалистических скандалов.

По обыкновению возбужденный, с горящими глазами, Эллис обрушил на московских друзей «ураган космических образов» (слова Белого) и принялся взахлеб посвящать их в таинства антропософии, в коих за много месяцев странствий по Европе вослед за Штейнером изрядно поднаторел. В ближайшие годы им предстояло тесно общаться, но затем пути старых друзей полностью разошлись. В трехтомных мемуарах А. Белого, в его письмах и других текстах биографического характера Эллису посвящено много теплых страниц, несмотря на то, что вскоре друг-символист разочаровался в антропософии и порвал со Штейнером из-за взглядов на свободу личности (Доктор настаивал на свободе воли своих последователей, Эллис же считал, что их следует соорганзовать на принципах строжайшей дисциплины и подчинения наставникам – по типу монашеских орденов). Что касается Аси, то она ограничилась в собственных воспоминаниях кратким, но ёмким резюме: «Эллис не оставил после себя значительного труда, но он был гениальным собеседником, исключительной, глубокого трагизма личностью, горящей постоянным огнем. От Маркса он перепрыгнул в демонизм, бодлеризм и символизм, от Прекрасной Дамы к католической Мадонне, сожалел, что Доктор не иезуит и после двух лет потрясающих душевных драм успокоился в лоне католической церкви, где и умер...»

До июля было еще далеко, и пока что А. Белый с женой отправились во Францию к тетке Аси и любимице Белого Марии Алексеевне Олениной-д'Альгейм, жившей под Парижем (в России они с мужем бывали наездами). Здесь Андрей Белый написал пятую главу «Петербурга» и приступил к переработке всех предыдущих. Стремление улучшить все написанное, заново «перелопатить» каждую из написанных глав превратилось для него в своего рода болезнь: он просто не мог спокойно смотреть на, казалось бы, полностью готовые тексты, вновь и вновь вносил в них исправления и дополнения. Из-под Парижа Белый сообщал Блоку: «Милый друг, где Ты? Что с Тобою? Давно уже от Тебя не имел известий. Чем больше живу вне Москвы, тем с большим ужасом мыслю о том проклятом месте, кишачем истерикою и химерами. О, с какою б охотою я не жил бы в Москве, как не жил бы сейчас в Петербурге, хотя много работаю над романом

„Петербург“. Живу я в укромном месте, под Парижем, в Париже не бываю: был лишь раз по делам, но поспешно бросился из этого зачумленного места. Уже много лет я мечтаю о спокойной и тихой жизни в деревне: никогда деревня не изменяла мне. Город – всегда. <...> С романом я измучился и дал себе слово надолго воздержаться от изображения отрицательных сторон жизни. В третьей части серии моей „Востока и Запада“<sup>[28]</sup> буду изображать здоровые, возвышенные моменты жизни и Духа. Надоело копаться в гадости. <...>»

В начале июля десятки последователей Штейнера собрались под Мюнхеном на ежегодный съезд. Перво-наперво Белому с женой приходилось приспосабливаться к раз и навсегда заведенной жизни в *антропософской колонии*. Началось постижение таинств эзотерического учения и практического оккультизма. Затем штейнерианцы всем «табором» перебрались из Германии в Швейцарию, дабы продолжить учебные занятия и обычную медиативную практику. На цикл лекций в Базель съехалось до шестисот человек. Неожиданно здесь появился Вячеслав Иванов, задумавший также присоединиться к антропософам. Но Штейнер всегда ощущал дискомфорт, когда рядом оказывался человек, равный ему по интеллектуальному развитию и способности воздействовать на окружающих (впоследствии это также повлияло и на его отношения с А. Белым), а потому попросил русских друзей сделать так, чтобы «Вячеслав Великолепный» ни при каких условиях не задерживался в Базеле...

\* \* \*

В письме от 15/28 ноября 1912 года Блок сообщил другу важную новость: «Милый Боря. Пишу только деловое письмо: в жизни произошло столько, что письмом не скажешь; да и дойдет ли оно до Тебя. Если дойдет, прошу Тебя, ответь скорее, хотя бы только деловым письмом. В Петербурге основывается новое большое книгоиздательство – „Сирин“. Во главе его стоит М. И. Терещенко,<sup>[29]</sup> человек очень милый и скромный, глубоко культурный и просвещенный. Обладая большими средствами, издательство хочет служить искусству и художественной литературе, по преимуществу, хочет дать возможность русским писателям работать спокойно; хочет поставить дело (которое едва только начинается) на реальную почву, не меценатствуя, но и не занимаясь эксплуатацией, как это свойственно издателям-евреям. Ра зумеется, речь уже заходила о Тебе. М. И. Терещенко

поручил мне просить Тебя прислать Твой новый роман для того, чтобы издать его отдельной книгой, или включить в альманах. Он особенно понимает и ценит „Серебряного голубя“».

Условия, предлагаемые «Сирином», оказались более чем заманчивыми. Кроме того, издательство брало на себя все хлопоты по урегулированию юридических и финансовых обязательств с ярославским издателем К. Ф. Некрасовым – выкупить у него права на издание романа «Петербург» и погасить долги А. Белого. Последнего также привлекала возможность существенно переработать написанный текст, так как у Некрасова уже успели набрать первые главы, куда не позволяли более вносить никаких новых исправлений и дополнений. Взвесив все «за» и «против», Белый согласился. В этот момент в его жизни появляется новое действующее лицо – критик и публицист Иванов-Разумник (псевдоним Разумника Васильевича Иванова), известный в литературных кругах автор (и, в частности, капитального труда «История русской общественной мысли»). Он участвовал в организации издательства «Сирин» в качестве одного из основателей, а затем был ответственным редактором. Ему-то и поручили осуществление всех контактов с находящимся до поры до времени за границей А. Белым, включая весь узел непростых юридических, денежных и издательских проблем, связанных с выкупом, редактированием, корректурой и порционным выпуском в свет романа «Петербург», напечатанного в конечном счете в трех номерах альманаха «Сирин».

Поначалу дела складывались не так уж и гладко. Ни Терещенко, ни его сестрам-компаньонкам роман Белого не понравился. Но Блок (в отличие от Брюсова), а за ним и Иванов-Разумник проявили настойчивость и сумели убедить «хозяев» в необходимости печатать «Петербург» без изменений – со всеми недостатками, ежели таковые кому и мерещатся. Запись в дневнике Блока от 23 февраля 1913 года красноречиво свидетельствует об его искренней тревоге за судьбу литературного шедевра, которая висела на волоске: «<... > Я принес рукопись первых трех глав „Петербурга“, пришедшую днем из Берлина, от А. Белого. Очень критиковали роман, читали отдельные места. Я считаю, что печатать необходимо все, что в соприкосновении с А. Белым, у меня всегда – повторяется: туманная растерянность; какой-то личной обиды чувство; поразительные совпадения (места моей поэмы); отвращение к тому, что он видит ужасные гадости; злое произведение; приближение отчаянья (если и вправду мир такое...); не нравится свое – перелистал „Розу и Крест“ – суконный язык. – И, при всем этом, неизмерим А. Белый, за двумя словами – вдруг притаится иное, все

становится *иным*». На следующий день Блок почти что с ликованием записывает: «Радуюсь: сегодня Терещенки почти решили взять роман А. Белого»... О состоявшемся решении он тотчас же телеграфировал другу.

Хорошие новости пришли как нельзя кстати: у Белого с женой давно вышли все деньги, и они больше не могли разъезжать вслед за Штейнером и его последователями по Европе да и жить, в общем-то, совсем было не на что. Теперь же на ближайшие полтора-два года обеспечивалось сравнительно безбедное существование – ежемесячное авансирование в размере трехсот рублей. Тем не менее решено было на время вернуться в Россию, дабы беспокойное антропософское житье-бытье с постоянными переездами не отвлекало от завершения романа. Москва тоже не сулила спокойной жизни, поэтому за благо посчитали весну и лето провести в Боголюбах, а где-нибудь в конце июля снова вернуться в Германию. Оставив в Берлине тяжеленный сундук с книгами и вещами как гарантию своего скорейшего возвращения, супруги в начале марта приехали на Вольнь.

Родина встретила их распутицей и метелью. По дороге от Луцка к Боголюбам пролетка увязла в грязи. Возница отпряг одну из лошадей и умчался в лесничество за подмогой, а Белый с женой остались в чистом поле, заносимые снегом и пронизываемые ледяным ветром. Наступила ночь, мороз усиливался, становилось жутко, а помощь не приходила. Наконец появился Асин отчим и вызволил путников из снежного плена. Когда погода наладилась, их вновь поселили в отдельном домике на краю усадьбы, где они жили и в прошлый раз после возвращения из Африки. Блоку он написал 20 марта:

«О себе скажу: я невыразимо счастлив деревней, солнышком и распутицей; свищут мартовские ветра, распускается медуница; недавно летели журавли... В душе ясно и спокойно, лишь миновали внешние тревобления; и работа кипит. Как мало надо все-таки человеку: уверенность, что немного обеспечен, и солнышко, да отсутствие руготни, недоразумений. И вот, как-то детски счастлив я, что устроен роман, что доктор насильственно не оторвет от меня год судьбы, что... солнышко и цветут медуницы. Нет паршивей города Берлина! Нет поганее народа – берлинских жидов (в Берлине – все жиды: и „жиды“, и немцы), а здесь, на Вольни даже жид кажется мне русским. Хорошо жить в России... <...>»

Белый с головой ушел в работу над шестой и седьмой главами «Петербурга». Работал неистово, до полного изнеможения сил и нервного переутомления, и оно очень скоро начало давать о себе знать. Но еще больше на угнетенное состояние Белого повлияло настроение Аси: она



вдруг заявила, что в антропософии она окончательно осознала свой путь, как *аскетизм*, что теперь ей трудно быть женой и отныне они должны быть только *братом и сестрой*. Отныне и до самого расставания через девять лет они проживали именно в таком качестве. Как «брат с сестрой» присоединились и к большой группе соотечественников, отправившихся в середине мая в Гельсингфорс (современный Хельсинки) на встречу с Рудольфом Штейнером, объявившим новый спецкурс из десяти лекций на тему «Оккультные основы Бхагавадгиты». В Петербурге на несколько дней сделали остановку, виделись с Блоком, Мережковскими, Бердяевым. Последний напросился в компанию антропософов и последовал за ними в Финляндию. В дневнике Зинаиды Гиппиус (они с Мережковским как раз в мае вернулись из Парижа) все эти события отображены в четырех строках: «<...> Май мы провели в городе, очень дурно, со всеми надо было говорить. О многом. Видели Бердяева. Как далек! Видели Борю Бугаева. Еще дальше. Этот у Штейнера. И Бердяев к нему направлялся. Но еще не штейнерианец». Главным, пожалуй, для Белого в этот его приезд в Северную столицу следует считать личное знакомство с Ивановым-Разумником: сразу же удалось установить полное взаимопонимание и заодно обсудить текущие и перспективные проблемы, связанные с редактированием и выпуском в свет романа «Петербург». До его полного завершения оставалось менее полугода...

На обратном пути из Гельсингфорса вновь встретился с Блоком, Мережковскими, Ивановым-Разумником. Решил было навестить мать, снимавшую дачу под Клином, но у той незамедлительно возник конфликт с Асей. («Не ужились!» – кратко констатирует Белый в интимном дневнике.) Пришлось перебираться в Дедово, в имение Соловьевых к старинному другу Сергею. Но и тут «осечка» – серьезное столкновение на «идейной платформе»: антропософские увлечения Андрея Белого из его прежних друзей (как видно из цитированной дневниковой записи З. Гиппиус) не принимал почти никто. Блок тоже терпел до поры до времени. Даже старый и верный друг – М. К. Морозова (ей А. Белый присылал огромные – до 20 страниц – письма с изложением учения Штейнера) воспринимала откровения своего давнего поклонника более чем прохладно. Оставались только единомышленники, им поэт посвятил несколько проникновенных стихотворений, одно из них предстает подлинным антропософским гимном (с посвящением Маргарите Сабашниковой):

Мы взметаем в мирах неразвезанный прах,  
Угрожаем обвалами дремлющих лет;

В просиявших пирах, в набежавших мирах  
Мы – летящая стая хвостатых комет.

Пролетаем в воздушно-излученный круг:  
Засветясь, закрутясь, заплетался в нем, —  
Лебединый, родимый, ликующий звук  
Дуновеньем души лебединой пойдем.

Завиваем из дали спирали планет,  
Проницаем туманы судьбин и годин;  
Мы – серебряный, зреющий, веющий свет  
Среди синих, любимых, таимых глубин.

С каждым днем Белый все больше и больше погружался в мир оккультных проблем. Постепенно они даже перекочевали в последние главы романа «Петербург» (правда, ненавязчиво и во вполне приемлемых дозах).<sup>[30]</sup> Проведя в Боголюбых около месяца, супруги, которых связывали теперь исключительно платонические отношения, выехали в Мюнхен, где в жизни антропософского сообщества назревали важные события. В конце августа Рудольф Штейнер объявил своим последователям и ученикам о состоявшемся решении – начале строительства антропософского храма, названного в честь Гёте *Гётеанумом*, в швейцарском местечке Дорнах. Переговоры об этом велись давно. Первоначально Штейнер намеревался создать «антропософскую Мекку» с главным антропософским храмом под Мюнхеном, но многочисленные недоброжелатели и конкуренты (включая и муниципальные власти) всячески тому препятствовали. Тогда и был принят «швейцарский вариант». Первый камень в основание Гётеанума Рудольф Штейнер заложил 20 сентября (по новому стилю) 1913 года.

Замысленный храм представлял собой чудо архитектуры, снаружи и изнутри он призван был воплотить глубочайшие тайны Вселенной, мировой и человеческой души. Каждый элемент архитектурной конструкции и внутреннего оформления, фасады и интерьеры, выполненные из дерева, несли на себе сакральную смысловую нагрузку. Композиционную основу храма составляли два разновеликих зрительных зала, покрытые куполами. Здесь предполагалось сосредоточить основную антропософскую деятельность; они же символизировали переход из чувственного мира в сверхчувственный.

Строительство «высшей школы духовных наук» – Гётеанума – с

самого начала ориентировалось на активное личное участие антропософов: Штейнер видел в этом неотъемлемую ступень в духовном прозрении своих адептов. В свою очередь, духовная энергия каждого из адептов должна была воплотиться в результаты их подвижнической деятельности. А. Белый, Ася, ее старшая сестра Наталья с мужем, многие другие соотечественники (вскоре к ним примкнет и Макс Волошин) приняли твердое решение – поучаствовать в возведении своими руками (в полном смысле данного слова) невиданного до сих пор сооружения. Разумеется, лучше всего об этом шедевре сакральной архитектуры могли бы рассказать очевидцы и непосредственные участники грандиозной стройки. По счастью, многие из них оставили подробные воспоминания. Даже немногословная Ася Тургенева написала на немецком языке небольшую книжечку под названием «Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве первого Гётеанума» (русский перевод – 2002 год). Больше подробностей о том, как разворачивались строительные работы, содержится в мемуарах Маргариты Сабашниковой (она трудилась на стройке по основной своей специальности – художником), названных «Зеленая змея»:

«<...> Был праздничный вечер, когда я впервые поднялась на Дорнахский холм. Снизу я уже видела между цветущими вишнями оба купола Здания. Тогда они еще не были покрыты серебристым шифером, позднее выписанным из Норвегии, а были застланы только свежим деревом и сияли, как золотые плоды, в лучах заходящего солнца. Наверху, на дороге между столовой, помещавшейся тогда в маленьком деревянном бараке, и территорией стройки мне повстречалась группа художников в светлых красочных рабочих блузах, спускавшаяся от Здания. <...> Я вошла одна на территорию стройки. Здание снаружи и внутри было заставлено лесами. Позади виднелся большой барак – помещение столярной – и несколько меньших. Через южный вход я вошла в окружавшую Здание бетонную галерею, где стояли заготовленные части гигантских архитравов – трехметровые деревянные массивы, склеенные из досок; в грубом очертании они намечали контуры будущих рельефов, создавая впечатление горных формаций неких прамиров. <... >

На другое утро я уже издали услышала постукивание сотен молоточков и колотушек. „Оно возникает“, – охватило меня счастливое чувство. Может ли быть большее счастье, чем участвовать в создании произведения, в необходимости которого ты убежден? С таким же воодушевлением возводились, вероятно, средневековые соборы. Трогательны были пожилые люди, которые могли только точить наши стамески или растирать краски, и годами преданно этим занимавшиеся. Я думаю, что друзья, работавшие в

то время в Дорнахе, согласятся со мной, что мы были полны тогда чистейшего воодушевления. <...> Придя в это первое утро к Зданию, я получила, как и все художники, стамеску и колотушку. Мне показали одну из капителей в бетонной галерее и научили, как работать стамеской. В помещении столярной стояла модель Здания, сделанная самим Рудольфом Штейнером из воска. В разрезе были видны два круглых помещения с двумя пересекающимися куполами. Большее предназначалось для зрительного зала, меньшее – для сцены.

Рудольф Штейнер... пригласил меня в свое помещение на стройке, показал чертежи и объяснил числовые соотношения, положенные в основу Здания. В плане – это два пересекающихся круга. По семь колонн справа и слева несут мощный архитрав большего помещения, предназначенного для зрительного зала; меньший архитрав в помещении для сцены поддерживается двенадцатью колоннами. Благодаря наклонной плоскости пола в зрительном зале, задуманном в виде амфитеатра, колонны в нем по направлению к просцениуму должны становиться все выше и вместе с тем, соответственно, толще. Скульптурные формы цоколей, капителей и архитравов задуманы в движении, в развитии по направлению с запада на восток. Таким образом, в этом Здании только правая южная и левая северная стороны отражают друг друга. Благодаря этому преодолевается статика замкнутой формы и создается впечатление движения, становления.

Через несколько дней инженер провел меня по лесам и показал конструкцию меньшего купола. Оба купола имели двойное покрытие, сконструированное по принципу резонансной деки у скрипки. Очень своеобразное ощущение – очутиться в пространстве между двумя возвышающимися один над другим сводами, образованными внутренним и внешним покрытием малого купола. Все привычные пространственные соотношения здесь исчезали...»

Но самые пространственные и монументальные воспоминания о Рудольфе Штейнере на русском языке написал сам Андрей Белый. Он работал над ними в течение трех лет (с 1926 по 1929 год; опубликованы полностью лишь в 2000 году) и сумел воссоздать полновесный образ своего Учителя – человека-провидца, глубокого мыслителя, педагога-гуманиста и блестящего лектора. Его значение для собственной судьбы Белый мог сравнить только с любовью к Родине: «До сих пор, вспоминая года, проведенные около доктора Штейнера, вздрагиваю: и в душе – угловатый, смешной жест горячей любви, а не сентиментальности, требующей „совершенств“; любовь – мучит, волнует, живет, исторгает подчас восклицания горечи, непонимания! Спрашиваю я себя: с чем сравнить это чувство? Сравнение –

одно: так же я люблю мою Родину... <...>» (Написано, когда на самом деле Белый давно уже порвал со Штейнером, да и сам Учитель уже скончался.)

Детально описывает А. Белый в своих воспоминаниях и жизнь в Дорнахе. Случилось так, что небольшой домик, что арендовали Белый с женой, оказался рядом с виллой самого Доктора. Иногда Штейнер приглашал соседей на вечерний чай, и «искристые», по выражению Белого, разговоры продолжались допоздна. В течение дня все без исключения члены антропософской общины участвовали в самых разнообразных работах – у каждого своя. Андрей Белый, например, проработал более двух лет резчиком по дереву, работая от зари до зари молотком и стамеской над оформлением Гётеанума (и в частности, занимаясь резьбой балочных перекрытий и капителей внутренних колонн). О своей работе он подробно рассказывал в письме Иванову-Разумнику: «<... > С утра до вечера со стамесками в руках работаем над капителями и архитравом; <...> здание еще только вырисовывается, но – что за форма! Это действительно небывалый воистину новый, воистину оригинальный стиль (не стильмодерн); если можно с чем сравнить, так это с Софией (Константинополя). Я никогда в жизни физически не работал, а теперь, оказывается, вполне могу резать по дереву; и что это за великолепие работать самому, участвовать физически в коллективной работе над тем, что потом останется, как памятник. Мы работаем над семью породами деревьев (архитрав и колонны из семи пород: дуба, ясеня, бука, вишни, березы, явора...). Вы не можете себе представить, как прекрасно колотить по дереву: когда вработаешься, то каждый штрих стамески – слово; а все – произведение, поэма, но произведение коллективное, ибо мы, работающие, – оркестр, а наш дирижер – ну, конечно, Доктор. Уходишь с утра на работу, возвращаешься к ночи: тело ноет, руки окоченевают, но кровь пульсирует какими-то небывалыми ритмами, и эта новая пульсация крови отдается в Тебе новой какою-то песнью: песнью утверждения жизни, надеждою, радостью; у меня под ритмом работы уже отчетливо определилась третья часть трилогии. <...>»

Белый (как, впрочем, и другие) быстро окреп и приобрел сноровку настоящего мастера. Регулярно по вечерам в большом ангаре (колонисты именовали его просто – сараем) Штейнер читал лекции. Когда же он выезжал с их чтением в другие европейские города, многие из дорнахских «послушников» (те, разумеется, у кого имелись лишние деньги для подобных поездок) устремлялись за ним. Таким образом, за два с половиной года Белому удалось прослушать в общей сложности 30 спецкурсов, или почти 400 лекций (!).

В ноябре 1913 года Андрей Белый дописал, наконец-таки, последнюю восьмую главу своего романа-эпопеи и отослал ее вместе с Эпилогом в издательство «Сирин». (К тому времени уже вышел 1-й выпуск альманаха с началом «Петербурга».) С этих пор писатель ненадолго оказался свободным от творческих обязательств и целиком окунулся в антропософскую жизнь, сквозь призму коей он теперь представлял и мир в целом, и окружавших его людей. *Ноосфера* открыла неопиту совершенно новый канал видения людей и космического «узнания» (термин самого Белого) окружающего мира. Сон и явь подчас соединялись для него в единую реальность, посещавшие все чаще и чаще видения приоткрывали дверь в совершенно иные миры прошлого, настоящего и будущего. В интимном дневнике можно прочесть:

«<...> 30 декабря доктор читал ту лекцию курса, где говорится об Аполлоновом свете; во время слов д-ра о свете со мной произошло странное явление; вдруг в зале перед моими глазами, вернее из моих глаз вспыхнул свет, в свете которого вся зала померкла, исчезла из глаз; мне показалось, что сорвался не то мой череп, не то потолок зала и открылось непосредственно царство Духа: это было, как если бы произошло Сошествие Св. Духа; все было – свет, только свет; и этот свет – трепетал; скоро проступили из света: свет люстр, мне показавшийся темным, контуры сидящих, доктор, стены; д-р кончил; когда я двинулся с места, я почувствовал как бы продолжение моей головы над своей головою метра на [полтора]; и я чуть не упал в эпилепсию: я схватился рукою за Асю; и на несколько секунд замер; когда я вторично двинулся, то явление исчезло; это явление даже не удивило меня; оно было лишь отражение моего приподнятого состояния. <...> В один из этих дней 29 или 30-го я видел – не знаю что: сон или продолжение вечерней медитации; я медитировал: и вдруг: внутренне передо мной открылся ряд комнат (не во сне); появился д-р в странном, розово-красном одеянии; и сам он был – розово-красный; он схватил меня и повлек через ряд комнат (это было как бы не во сне); тут наступил перерыв сознания, от которого я очнулся тотчас же; и застал себя как бы перед круглым столом (не то аналогом); на столе-аналог стояла чаша; и я понял, что это – Грааль... <...>»

Антропософско-космистское учение Р. Штейнера базировалось на теософской доктрине Е. П. Блаватской и ее знаменитой «пятичленке» космогенеза и антропогенеза. Согласно теософской и антропософской концепции эволюции разумной жизни на Земле и во Вселенной, человечество (лучше сказать – гуманоидная форма жизни) проходит через пять стадий развития: 1. предадамитскую; 2. гиперборейскую; 3.

лемурийскую; 4. атлантическую; 5. арийскую (имеющих также и более детальные градации). Что касается собственно космогенеза, то здесь Р. Штейнер более самостоятелен и оригинален. Он считал, что процесс непрерывных круговоротов во Вселенной также проходит через несколько обязательных стадий: 1. эфирную (представляющую полное единство материи и духа); 2. сатурническую; 3. солярную; 4. лунарную; 5. земную (между некоторыми из них имеются еще и промежуточные состояния, а сама цепочка основных космологических состояний получает продолжение, например, юпитерианскую или венерианскую ипостаси).<sup>[31]</sup>

Другими словами, антропософские Земля, Луна, Солнце, Сатурн имеют мало общего с традиционными космическими объектами, известными из астрономии. Штейнерианская премудрость прекрасно прослеживается в антропософских стихах Макса Волошина, где он называет Сатурн «пращуром лун и солнц», а о самом Солнце – не обычном дневном светиле, а как об определенной стадии единения предзвездной материи и духа (в будущем – человеческого) – в одноименном стихотворении говорит так:

Святое око дня, тоскующий гигант!  
Я сам в своей груди носил твой пламень пленный,  
Пронизан зрением, как белый бриллиант,  
В багровой тьме рождавшейся Вселенной.

Но ты, всезрящее, покинуло меня,  
И я внутри ослеп, вернувшись в чресла ночи.  
И вот простерли мы к тебе – истоку Дня —  
Земля – свои цветы и я – слепые очи.

Невозвратимое! Ты гаснешь в высоте,  
Лучи призывные кидая издалика.  
Но я в своей душе возжгу иное око  
И землю поведу к сияющей мечте!

В постоянном медитативном состоянии духа Белый по-новому стал глядеть и на окружавших его, казалось бы, давно и хорошо знакомых ему людей. Ему виделось, что Ася окончательно от него «отъединяется и ускользает», а грань, до сих пор разделявшая супругов, «превращается в бездну». Напротив, с Асиной сестрой – Наташей – у Белого с каждым днем

устанавливалось все более тесное взаимопонимание и духовная связь. Он постоянно ловил на себе взгляд ее «огромных удивленных глаз», всеми фибрами души ощущая, как от них идут к нему неземные токи; ее образ постоянно стал преследовать его в снах. Вскоре случилось то, что и не могло не случиться в подобной ситуации – впечатлительный писатель понастоящему влюбился в старшую сестру своей официальной пока еще жены, которую знал давным-давно – ровно столько же, сколько и саму Асю. Наташа действительно обладала какой-то неземной притягательной силой. Даже Штейнер почувствовал ее космическую уникальность и однажды сказал по секрету, что видит у нее *четыре незримых крыла*.

В конечном счете, А. Белый оказался в труднейшей (фактически – безвыходной) психологической ситуации. С одной стороны, Ася, физиологически переставшая быть ему женой, но он продолжал ее любить возвышенной платонической любовью, по-прежнему посвящая ей стихи, исполненные утонченного лиризма.<sup>[32]</sup> С другой стороны, Наташа: по отношению к ней Белый испытывал страстное чувственное влечение, но не мог перешагнуть ни через обычные моральные запреты (а Наташа жила в Дорнахе с мужем – Александром Поццо, другом и единомышленником Белого), ни через требования антропософской этики, постулирующих чистоту отношений между мужчиной и женщиной. Белый попытался преодолеть жизненную дилемму при помощи аскезы и ежедневных медитативных упражнений, но в результате впал в такое полуболезненное, полуэкстатическое состояние сознания, когда впавшему в транс писателю вдруг стали открываться заветные «пути посвящения». Но от любовной болезненной страсти они мало помогали. В результате появились глубокие сомнения, признаться в которых он мог только одному себе и которые впоследствии доверил лишь «интимному дневнику»:<sup>[33]</sup>

«<...> Эти экстазы „посвящения“ отдалили от меня Асю (она испугалась их); а между тем они были порождением ее поступка со мною (отказа быть моей женой);<sup>[34]</sup> и стало быть: в антропософии я стал терять Асю, самое дорогое мне в мире существо; а вместо Аси стала на всех путях мне подвергаться Наташа; мои чувства к Наташе я переживал злым наваждением; но почему-то закралась мысль, что это „наваждение“ подстроено доктором; что Наташа – „Кундри“ (персонаж оперы Вагнера „Парсифаль“ – девушка, наделенная чарами злого волшебства, которая пытается соблазнить рыцаря-героя в его поисках Святого Грааля. – В. Д.). И вот в душе отлагалось: „Нет, это – слишком: я весь ограблен антропософией: у меня отнята родина, поэзия, друзья, жизнь, слава, жена,



отнято положение в жизни“. Вместо всего я болтаюсь здесь, в Дорнахе, на побегушках у Аси, никем не знаемый, большинством считаемый каким-то „naive Herr Bugaeff“ (наивный господин Бугаев. – нем.); мне стало казаться, что при моем литературном имени, при моем возрасте, при всех моих работах могли бы больше мной интересоваться. <...>»

1914 год поначалу не предвещал ничего тревожного и тем более трагического. Новый год А. Белый и Ася встретили в Лейпциге, куда приехали вслед за Штейнером на его лекцию о «Парсифале». Уже на лекции у Белого начались необычные ноосферные видения, продолжившиеся при посещении могилы Фридриха Ницше, похороненного рядом с отцом, лютеранским пастором, в деревушке Рёкен под Лейпцигом. Положив цветы на могилу и преклонив колени, Белый вдруг почувствовал нечто странное (рядом были и Ася, и Наташа, и ее муж). «<...> Мне показалось, – пишет Белый, – что конус истории от меня отвалился; я – вышел из истории в надисторическое: время само стало кругом; над этим кругом – купол Духовного Храма; и одновременно: этот Храм – моя голова, „я“ мое стало „Я“ („я“ большим); из человека я стал Челом Века; и вместе с тем: я почувствовал, что со мною вместе из истории вышла история; история – кончилась; кончились ее понятные времена; мы проросли в непонятное; и стоим у грани колоссальнейших, политических и космических переворотов, долженствующих в 30-х годах завершиться Вторым Пришествием, которое уже началось в индивидуальных сознаниях отдельных людей (и в моем сознании); в ту минуту, когда я стоял перед гробницею Ницше, молнией (так!) пронесся во мне ряд мыслей, позднее легших в мои четыре кризиса („Кризис Жизни“, „Кризис Мысли“, „Кризис Культуры“ и „Кризис Сознания“); я сам в эту минуту был своим собственным кризисом, ибо кончена, разрушена моя былая жизнь, ее прежние интересы; и вот – я не знаю: чем буду завтра... <...>»

Это было одно из нескольких предчувствий грядущей мировой войны и кризиса европейской жизни, преломленных сквозь призму индивидуального сознания. Другое, не менее впечатляющее видение произошло спустя полгода, когда Белый вместе с группой «единоверцев» (среди них – Ася и М. Сабашникова), возвращаясь на пароходе с очередной лекции Штейнера в Швеции, посетили остров Рюген близ балтийского побережья Германии. Здесь, на месте, где когда-то стоял величественный древнеславянский храм Арконы, разрушенный до основания немецкими завоевателями исконных славянских земель, – Андрея Белого посетили воистину апокалипсические видения. Предоставим слово самому провидцу:

«На следующий день мы поехали на маленьком парходике на Рюген; и посетили Аркону, место древнего славянского поселка; по словам д-ра, здесь был некогда центр славянских мистерий, – а ныне – здесь стоят огромные столбы для радио-депеш; Аркона висит на громадных, белых гололобых скалах; под ней отвесно почва обрывается; это место образует мыс; кругом – зелень; граница древнего поселка отмечена зеленым, явственным валом; за ним – засеянные поля; мы забрались на самый высокий выступ над морем, сели в траву; и – как-то странно замолчали; точно далекое прошлое обступило нас; и тут передо мною отчетливо развернулся ряд ярких и совершенно невероятных образов, неизвестно откуда появившихся; мне казалось, что образы встали из земли; вот что мне привиделось: мне показалось, что странные, могучие силы вырываются из недр земли; и эти силы принадлежат когда-то здесь жившим арконцам, истребленным норманнами; они, арконцы, – ушли под землю; и ныне, там, под землей, заваленные наслоениями позднейшей германской культуры, они продолжают развивать свои страшные подземные, вулканические силы, рвущиеся наружу, чтобы опрокинуть все, смести работу веков, отмстить за свою гибель и лавой разлиться по Европе; я подслушал как бы голоса: „Мы еще – придем; мы – вернемся; мы – уже возвращаемся: отмстить за нашу гибель!“ И тут какая-то дикая сила, исходящая из недр земли, охватила меня, вошла в меня; и – я как бы внутренне сказал то, что по существу не принадлежало к миру моего сознания; я – сказал себе: „*Карта Европы изменится: все перевернется вверх дном*“. И тут мне мелькнуло место будущих страшных боев, где на одной стороне сражались выходцы из недр земли, вновь воплощенные в жизнь, а на другой – представители древней, норманнской и тевтонской культуры, как бы перевоплощенные рыцари. <... >

Далее: я увидел, что подземные силы вырвавшихся теней прошлого из будущего грозят Европе мощным нашествием, в котором погибнет теперешний европейский мир; и тут встал передо мной совершенно отчетливо странный, как бы калмыцкий образ; это был старик, с острыми, прищуренными глазами, с большими скулами, с седенькою бородкою, сутулый, с несколько приподнятыми плечами; он был в какой-то восточной шляпе и кутался в пестрый бухарский халат; он вперял в меня свои пронзительные глаза и как бы говорил: „*Я – из прошлого: но я еще приду*“. И я тут понял, что образ этого мстителя за прошлое скоро воплотится, что он, этот образ, в новом своем воплощении поведет на Европу подземные силы, ныне затиснутые под землю европейским миром; он будет виновником того, что „*карта Европы изменится*“; я приник головой к

траве; мне послышался как бы гул подземного города, я увидел как бы площадь; и множество народу кричащего и бьющего в барабаны; на ложе лежал зарезанный некогда славянский, чернобородый витязь; теперь он очнулся, чтобы повести изпод земли на бой эти толпы диких теней и отмстить за свое прошлое поругание... <...>»

В Арконе А. Белому за 10 дней до начала Первой мировой войны явился воистину ее обобщенный символ, соединяющий в некое ноосферное единство как древних, так и современных воинов. Это – один из поразительных примеров его провидческого дара. Конечно, речь идет не о пророчестве в классической его форме, а скорее о смутном предчувствии, когда ноосферная информация о будущем проявляется в отрывочном и бессвязном виде...

\* \* \*

В разгар строительства Гётеанума разразилась Первая мировая война. На полях сражений развернулись кровопролитные бои. На эльзасском направлении они шли у самых границ Швейцарии. В Базеле и Дорнахе постоянно слышалась артиллерийская канонада. Швейцария объявила всеобщую мобилизацию, опасаясь, что ее может постичь участь нейтральной Бельгии, куда уже вторглась вражеская армия после того, как бельгийцы отвергли германский ультиматум с требованием пропустить кайзеровские дивизии через свою территорию. В окрестностях Дорнаха, наводненных войсками, шли непрерывные учения, трещали ружейные выстрелы, раздавались пулеметные очереди, слышались разрывы артиллерийских снарядов. Население, включая антропософскую общину, предупредило о возможной эвакуации. Начались перебои с продовольствием. В нескольких выразительных строках и с истинно писательским мастерством Белый обрисовал обстановку первых месяцев войны в письме Иванову-Разумнику:

«Мы отрезаны от России. Письма идут через Францию. Вокруг нас война; всю предыдущую неделю мы жили в районе пушечных выстрелов: бой у Бельфора, Альткирхена, Мюльгаузена мы слышали; у нас дребезжали стекла от пушечных выстрелов; долина, где мы живем, в случае, если бы повернули на нас пушки в Германии или во Франции, оказалась бы под огнем; все эти дни ходили тревожные слухи, что французы, собираясь обойти немцев, должны бы были пройти через долину, где расположен Арлесгейм; немцы преградили бы дорогу, и таким образом сражение

произошло бы в нашей долине; два дня мы все жили так, что у всех были наготове дорожные сумки, чтобы по сигналу очистить местность, уйти в горы. Но теперь мобилизация в Швейцарии закончена; наш район наполнен войсками; ходят патрули, гремят барабаны, летают военные автомобили, в полях и в горах артиллерия: вряд ли французы и немцы нарушат нейтралитет; и мы продолжаем спокойно работать, прислушиваясь к отдаленной канонаде, то возникающей, то умолкающей... <...>»

На другой день после начала войны в Дорнахе появился Макс Волошин, сумевший в самый последний момент пересечь границу с Австрией. От Белого он узнал печальную новость: за день до объявления войны в Париже во время выступления на антивоенном митинге французский шовинист Рауль Виллен застрелил из револьвера Жана Жореса. Это сообщение поразило всех в самое сердце и стало первой «черной вестью», каких впереди еще будет немало.

Воюющие страны охватил националистический угар, но на строительной площадке Гётеанума до поры до времени царил дух интернационального братства. Здесь с одинаковым воодушевлением трудились представители восемнадцати национальностей (доминировали – русские, немцы, австрийцы, французы). Шовинистических настроений среди них не наблюдалось, хотя проблем, связанных, к примеру, с психологической несовместимостью, хватало с избытком. Сам Штейнер с искренней симпатией относился к славянским народам в целом и к русским – в особенности; говорил о мессианской роли России, предсказывал грядущий расцвет славянства и его выдающуюся роль в мировой истории.

Однако постепенно жизнь в Дорнахе становилась все труднее и труднее. Отрывки из писем Иванову-Разумнику красноречиво свидетельствуют о настроении того времени: «Ох, трудно, трудно нам бывает с женой – от всего вместе: трудности нашего положения вообще, трудности условий жизни, трудности быть антропософами *in concreto* (в действительности. – *лат.*) и густой перенапряженности жизни. Если Вы представите себе, например, жизнь моей жены, очень хрупкой и слабой, то Вы, пожалуй, не поверите: ведь она почти без перерыва 19 месяцев колотит по дереву огромным молотком и подчас изнемогает, как многие, от чисто физической усталости, потому что с объявления войны почти все мужчины ушли и слабые женщины вырезают саженные формы (ведь наше строение все резное – внутри и извне) из крепкого, как камень, американского дуба, что работает маленькая кучка и, можно сказать, последняя и что в работе надо совмещать художественную чуткость с физической силой, т. е. прямо резать из огромных комьев дерева огромные формы; что приходится

работать зимой на морозе, в ветрах, что прислуги у нас нет, и что моей жене приходится, вернувшись домой, работать дома. <...>

Приходится, дорогой Разумник Васильевич, с стыдом просить друзей и знакомых в России как-нибудь помочь мне устроиться с работой, книгами или литературным авансом, а то самому бытию на физическом плане воздвигаются столь большие трудности, что оно просто будет грозить забастовкой и остановкой... Оттого-то я и прошу Вас при случае как-нибудь замолвить обо мне слово где угодно и как угодно, ибо действительно: выхода никакого; проживаю последние гроши и достать очень трудно, очень сложно: почти невозможно; когда Вы получите это письмо, положение мое будет хуже губернаторского: нас могут выселить из квартиры, жена моя может слечь от простуды (стоит холод), а она, бедняжка, после 19-месячной неустанной работы надорвала свои очень хрупкие силы. Более всего вынуждает меня, откинув стыд, просить Вас о литературной помощи мне, – опасение, что будет с женою».

Война и суровые антропософские будни надолго выбили Белого из привычной творческой колеи. Позже он скажет: «Будучи два года войны за границей, переживал я войну особенно тяжело; первый год войны я работать не мог, отрезанность от России, угнетенное душевное состояние, вызванное событиями войны, побудило меня, наконец, искать в работе того минимума душевного равновесия, без которого вообще трудно жить; я взял себя в руки; во второй год войны я работал поэтому с особенной интенсивностью».

Параллельно продолжало усугубляться трагическое увлечение Наташей. Вместо творческого вдохновения и чувств окрыленности, которые обычно сопровождают влюбленность, – Белого, напротив, все больше охватывали душевные терзания, переходившие в настоящие кошмары с явственно выраженной подоплекой. Ему вдруг начало казаться, что Наташа, отвечавшая на его ухаживания одним лишь кокетством, на самом деле – посланница запредельных темных сил, суккуб (демонесса-обольстительница), являющийся ему по ночам и превращающийся в таинственную «черную женщину», повсюду преследующую его в дневные часы. Свои смятенные чувства А. Белый доверял лишь «интимному дневнику»:

«<...> Во время мучительной бессонницы, вызванной переутомлением, меня стали посещать эротические кошмары: я чувствовал, как невидимо ко мне появляется Наташа и зовет меня за собой на какие-то страшные шабаши; сладострастие во мне разыгрывалось до крайности; совершенно обезумев, я стал серьезно мечтать об обладании Наташей и

стремился в моем грешном чувстве признаться Асе; но Фридкина, лечившая Асю, постоянно предупреждала меня: „Не говорите с Анной Алексеевной ни о чем серьезном: это может отразиться на ходе ее болезни“. И я молчал о своих переживаниях Наташи, ожидая выздоровления Аси; затянувшаяся болезнь Аси меня крайне удручала; ведь я любил ее всюю глубиною своей души; и признавался себе, что страсть к Наташе, принимающая формы совершенно чудовищного чувственного влечения, есть злая болезнь; и тем не менее: я чувствовал, – болезнь слишком запущена; я не могу уже вырваться; эта болезнь, осложнявшаяся ночными невидимыми появлениями Наташи около меня, приняла столь серьезные формы, что я стал порою воображать, будто Наташа – суккуб, посещающий меня; и тем не менее, – я влекся к Наташе, я все хотел остаться с нею с глаз на глаз. <...>»

В создавшейся парадоксальной обстановке Белому больше всего нравилось сравнивать себя с Фаустом, за душой которого охотился чёрт Мефистофель. В воспаленном его мозгу то и дело роились живые, как в кинематографе, картины. Вот ангелы (среди них – Ася) и Серафим Саровский (наиболее почитаемый им русский святой) спасают грешную душу писателя от козней искусителя. Вот благие светоносные силы спасают его из засасывающей трясины филистерства (в гётевском «Фаусте» ее олицетворяет ученый педант Вагнер). Позже Белый напишет: «Я нес в себе Фауста, борящегося со всеми „Вагнерами“, блуждающими среди нас».

Отсюда уже всего полшага оставалось до главного антропософского фантома – зловещего демона *Аримана*,<sup>[35]</sup> ибо, по эзотерическому учению Штейнера, Мефистофель тождествен Ариману. Ариманические видения и хроническая бессонница привели к тому, что А. Белый вновь узрел страшное будущее – во сне ему привиделся пожар в Гётеануме:<sup>[36]</sup> Ариман в персидском одеянии превратился в огненный столп и чуть было не спалил антропософский храм...

...Объяснение с Асей по поводу странной ситуации, которую трудно даже было назвать «любовным треугольником», все же состоялось. «К моему изумлению, – отмечал Белый, – она с огромной легкостью отнеслась к моим словам о Наташе: „Просто все о Наташе тебе привиделось: если тебе интересно играть в то, что ты влюблен в Наташу, ну подноси ей цветы, что ли“, – ответила она улыбаясь и глядя меня по голове. Она тут же стала упорно защищать Наташу: „Наташа сестра моя и я знаю ее лучше тебя: все, что ты говоришь о кокетстве ее, – выдумка твоего больного воображения“». К слову сказать, Наташа (точно так же, как теперь и Ася) давно не жила как

жена со своим мужем Александром Поццо, но делила с ним кров. (В точно таком же положении находились Макс Волошин и Маргарита Сабашникова – таковы, знать, были нравы или поветрия, что ли...) Вконец запутавшегося Белого все чаще стала посещать спасительная мысль – покончить с гнетом сестер Тургеневых или, как он выразился в «интимном дневнике»: навсегда свергнуть «*татарское иго*» с закрепощенной любовью души (род Тургеневых – татарского происхождения, как, впрочем, и другие «писательские роды» – Карамзиных, Аксаковых, Тютчевых и др.).

На самом деле возникшая ситуация оказалась значительно сложнее. Дело в том, что Наташе нравился вовсе не Белый (сама призналась спустя несколько лет, что его она только подзадоривала), а Эмилий Метнер, которого война застала в Германии, но он вовремя сумел перебраться в Цюрих (туда к нему и ездила Наташа), потом зачастил в Дорнах. Откровенно говоря, Белый с самого начала почувствовал двуличие Наташи и стал испытывать к своему сопернику вполне понятную ревность.

Но главным камнем преткновения между старыми друзьями стало совсем другое. Перед войной Метнер успел выпустить 1-й том монографии «Размышления о Гёте: Разбор взглядов Р. Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма» (М., 1914), которую и подарил Белому. Книга, как это уже видно из ее подзаголовка, была посвящена не столько научным и философским взглядам Гёте (как уверял ее автор), сколько гиперкритическому разбору работ Рудольфа Штейнера, посвященных естественнонаучным и натурфилософским идеям великого немецкого писателя и мыслителя. В то время Штейнер считался одним из лучших интерпретаторов и комментаторов научных трудов Гёте, посвятив данной теме ряд собственных работ. В свою очередь, Метнер в России считался одним из ведущих гётеведов (или, как тогда говорили, *гётистов*) – правда, в области художественного творчества немецкого гения.

Не удивительно, что ознакомившись с книгой Метнера, вызвавшей абсолютное и решительное неприятие, А. Белый решил встать на защиту Р. Штейнера и немедленно засел за работу, потребовавшую от него мобилизации всех сил и таланта. Нет нужды говорить также, что к конечному счету Белый не оставил камня на камне от объемистого опуса своего давнего друга (отныне ставшего «бывшим»).

\* \* \*

Главную и очень важную поддержку в это исключительно трудное для

него время А. Белый получал из России от Иванова-Разумника, видевшего в своем беспокойном друге выдающегося писателя, не сомневавшегося в его большом будущем и следившего, чтобы договорные авансы и гонорары из Петербурга в Дорнах поступали регулярно (что в условиях военного времени сделалось крайне затруднительным). «В это время, – вспоминал Белый, – я получил письмо от Иванова-Разумника (на самом деле таких писем было несколько. – В. Д.); он кое-что спрашивал меня о моих литературных работах; письмо его было проникнуто теплотой и признанием моих литературных заслуг; оно показалось мне, точно написанным из другого мира, где меня помнят, любят и ценят; здесь, в Дорнахе, никто меня не любил как писателя; многие [на] меня косились, неизвестно за что; я был окружен страшными, мне непонятными знаками судьбы. И мне опять захотелось бежать от всей дорнахской абракадабры, порой столь оскорбительно для меня звучащей».

В своем письме к Иванову-Разумнику, отправленном из Дорнаха 27 февраля (11 марта) 1916 года, А. Белый конкретизирует вышеперечисленные моменты: «Жизнь здесь унылая: все болею то нервным переутомлением, то одышкой, то страдаю сердечными припадками; пушки в Эльзасе начинаю просто не переносить. И уехать-то некуда. Роман мой застопорился: очень много было у меня в личной жизни забот, огорчений и тяжелых переживаний; очень много и неприятностей на почве здешней местной жизни. Отчаянные господа (верней, госпожи, или проще – „старые девы“) наши антропософы; 5 % порядочных людей, ½% людей замечательных: прочие – никуда не нужный балласт, тормозящий все дело доктора; испортили купол наш „дряблою, декадентскою живописью“: вместо антр[опософского] искусства получилась дотошность самого захудалого модернизма; столько здесь тяжелого, нудного, что Вы и представить себе не можете: вот скоро 3 месяца д[окто]ра нет; мы одни среди неприятностей, мелочностей, „теткинских“<sup>[37]</sup> сплетен: работники (т. е. молодежь) едва таскают ноги от усталости: у кого болезнь сердца, кто вытянул от колотыбы по дереву сухожилие, кто просто слег: и все это – в „базельском“ мертвом сне, среди кляузных и зло настроенных деревушек».

Застопорившийся роман, о котором сообщал Белый, – начатая им книга, открывавшая давно задуманную им биографическую эпопею «Моя жизнь», представлявшую, в свою очередь, последнюю 3-ю часть трилогии «Восток и Запад» (куда, как уже отмечалось, входили романы «Серебряный голубь» и «Петербург»). Теперь предполагалось написать семь частей: «Котик Летаев» (годы младенчества); «Коля Летаев» (годы отрочества); «Николай Летаев» (годы юности); «Леонид Ледяной» (годы мужества);



«Свет с Востока» (Восток); «Сфинкс» (Запад); «У преддверия Храма» (мировая война). Этот план сложился в общих чертах к осени 1915 года и тогда же Белый написал 1-ю главу «Котика Летаева». Котик Летаев – беллетристический псевдоним самого Белого.

В конечном счете из семи задуманных романов написаны были только два (за «Котиком Летаевым» последовал спустя четыре года «Крещеный китаец», первоначально озаглавленный «Преступление Николая Летаева»).

Вскоре от Иванова-Разумника пришла еще одна приятная весть. Вместе с Блоком они уговорили издателей «Сирина» уступить им нераспроданные экземпляры альманаха и на их основе подготовить отдельное издание напечатанного в трех его выпусках романа Белого «Петербург».<sup>[38]</sup> Предполагалось сбросюровать текст, изъятый из трех сборников в одну книгу. Издатели ответили согласием, вскоре тираж шести тысяч экземпляров был полностью готов и книги поступили в продажу. После их реализации и уплаты издательских долгов Белому причиталась приличная сумма – что-то около семи тысяч рублей. Пока же «под роман» и под поручительство Блока, Мережковского и Гиппиус удалось взять в «Литературном Фонде» небольшую ссуду в размере 300 рублей на неотложные расходы (с формулировкой решения – «в связи с тяжелым [материальным] положением» А. Белого). Получив из России добрую весть Белый вскоре написал и Блоку:

«Милый, милый, милый Саша! Когда Разумник Васильевич оповестил меня о том, что Вы хлопотали с ним о „романе“, что Вы предприняли сами его издать, что Вы провели это скучное для Вас и хлопотливое дело, что, далее, Вы хлопотали обо мне в „Литературном Фонде“ и что Вам я обязан субсидией, которая меня выручила, – когда все это я узнал, то я был (это не сентиментальность!) потрясен, глубоко взволнован: *и горячая волна благодарности поднялась во мне; я был почти растроган до слез; и долгое время стыдился ответить*, чтобы мое неумелое слово не оплотнило (так!) бы мое разряженно-ясное чувство благодарности не на словах, а в... душе; действительно: мысль, что у меня есть в России друзья, которые меня любят и не забыли, есть огромная нравственная мне поддержка, а я был в момент получения письма от Разумника Васильевича именно в состоянии душевного разлада, подавленности вследствие условий моей 2-летней жизни здесь, о которых я ничего не могу рассказать, которые морально ужасны, невыносимы, удушливы, безысходны, несмотря на то, что мой Ангел Хранитель, Ася, со мною и что д[окто]р, которого мы обожаем, бывает с нами; не то, что Вы меня материально выручили (а субсидия „Фонда“ меня воистину выручила), меня волнует, а то, что Вы были мне

дорогою-родною весточкой издалека, из „России“ и что то, что Ты именно принимал участие в хлопотливых и скучных перипетиях моего „выручания“, Ты, которого я неустанно люблю... <...>»

И далее Белый откровенно рассказал другу о своей невеселой жизни: как он под грохот отдаленной канонады приходит после работы домой – «иззябши физически и иззябши морально» – под перекрестными недружелюбными взглядами, с презрением провожающих тебя как русского, под трескотню чужеземных слов, «с сознанием, что еще ряд безысходных месяцев Ты будешь обречен возвращаться среди полусумасшедших „окультурченных“ старых дев и видеть, как жена Твоя, превращенная почти в работницу, стучит молотком по тяжелому дереву, выколачивая свои силы (такова ее охота!), в облаке гадких сплетен и неопишимо враждебно-мерзкой атмосфере... <...>»

Все беды и, как ему казалось, безвыходное положение разрешились для Белого самым неожиданным образом. 12 июля 1916 года был обнародован «высочайший указ» о призыве на военную службу «ратников» (как тогда говорили) I и II разрядов. Под действие царского указа попадал и Андрей Белый, ранее освобожденный от воинской повинности как единственный сын-кормилец. В 20-х числах июня он выслал Иванову-Разумнику (для публикации в организованном им новом альманахе «Скифы») рукопись романа «Котик Летаев» без последней главы (произведение это именуется автором то повестью, то романом; в современных публикациях – то же). Теперь же Белому надлежало, невзирая на местонахождение, явиться в призывную комиссию по месту приписки. 16 августа 1916 года он выехал на родину. Узнав об отъезде Бориса Бугаева, Рудольф Штейнер высказал искреннее сожаление и пророчески предупредил, предвидя грядущие в следующем 1917 году Февральскую и Октябрьскую революции: «В России нельзя будет теперь работать, в России дальше будет один хаос...» Ася отказалась сопровождать мужа на родину и осталась в Дорнахе. Путь домой сложился окольным, опасным и неблизким: через Францию, Англию, Норвегию, Швецию, Финляндию. Но 21 августа (3 сентября по новому стилю) Белый уже был в Петрограде.

## Глава 8

### «РЫЦАЙ, БУРЕВАЯ СТИХИЯ...»

В России повсюду бросались в глаза те же самые признаки войны, которые А. Белый уже успел повидать по всей Европе: хмурые сосредоточенные лица, продуктовый дефицит, отсутствие на улицах транспорта, мобилизованного на фронт, множество военных, особенно выделялись выписанные из госпиталей раненые и увечные. В течение месяца определилась и его собственная военная судьба – он получил отсрочку от призыва – пока что на три месяца. Можно было заняться устройством своих литературных и запущенных бытовых дел. В Царском Селе под Петроградом навестил Иванова-Разумника, в Москве дописал «Котика Летаева», три месяца чередовал жизнь в Первопрестольной и Сергиевым Посадом у Сергея Соловьева<sup>[39]</sup> и его жены Татьяны (младшей сестры Аси и Наташи Тургеневых), дождался выхода в свет собственного фундаментального труда «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности». Наконец активно включился в реализацию нового большого проекта (как бы сегодня сказали) – цикла литературно-философских книг (сборников эссе), названных Белым «На перевале». 1-я часть – под названием «Кризис мысли» – была уже почти готова. За ней последуют еще два «кризиса» – жизни и культуры. (Все три части будут опубликованы в 1918 году; 4-я часть, написанная несколько позже – в 1921 году, – так и не увидит свет.)

Получив еще одну – на сей раз двухмесячную – отсрочку от призыва на военную службу, Белый в конце января 1917 года вновь переместился в Петроград, где поочередно проживал то в Царском Селе у Иванова-Разумника, то в столице у Мережковских. Здесь его и застала Февральская революция. Зинаида Гиппиус оставила подробнейшие дневниковые записи о событиях тех дней. Их квартира, расположенная поблизости от Таврического дворца, где заседала Государственная дума, вновь стала центром притяжения представителей самых разнообразных общественных сил. Мережковским постоянно звонили члены будущего Временного правительства, А. Ф. Керенский забегал по-свойски и информировал о происходящем. Под окнами текли нескончаемые колонны демонстрантов, одних солдат, перешедших на сторону восставшего народа, насчитывалось до 25 тысяч. Одновременно то тут, то там завязывались перестрелки,

немедленно перераставшие в кровопролитные уличные бои.

В самый разгар событий, во вторник 28 февраля, Белый вернулся из Царского Села в Петроград и тотчас же попал под обстрел. З. Н. Гиппиус отметила: «С вокзала к нам Боря полз 5 часов. Пулеметы со всех крыш. Раза три он прятался, ложился в снег, за какие-то заборы (даже на Кирочной), путаясь в шубе». Белый в своих записях оказался еще лаконичнее: «Пять раз был под пулеметами...» На другой день он вместе с Мережковскими отправился к Таврическому дворцу. Зинаида Николаевна, воодушевленная всеобщим революционным подъемом, записала:

«Мы вышли около часу на улицу, завернули за угол, к Думе. Увидели, что не только по нашей, но по всем прилегающим улицам течет эта лавина войск, мерцая алыми пятнами. День удивительный: легко-морозный, белый, весь зимний – и весь уже весенний. Широкое, веселое небо. Порою начиналась неожиданная, чисто вешняя пурга, летели, кружась, ласковые белые хлопья и вдруг золотели, пронизанные солнечным лучом. Такой золотой бывает летний дождь; а вот и золотая весенняя пурга. С нами был и Боря Бугаев (он у нас в эти дни). В толпе, теснящейся около войск, по тротуарам, столько знакомых, милых лиц, молодых и старых. Но все лица, и незнакомые, – милые, радостные, верящие какие-то... Незабвенное утро, алые крылья и марсельеза в снежной, золотом отливающей, белости...»

Всеобщее ликование охватило всю страну. Царь отрекся от престола. В России провозглашена республика. Свобода и демократия, которые каждый трактовал по-своему, сделались главными социальными лозунгами – к ним апеллировали все без исключения и понимали нередко, как *вседозволенность*. Но революционная эйфория быстро сошла на нет, а политические и экономические проблемы (не говоря уже о положении на фронтах) остались прежними. Новая власть взяла курс на «войну до победного конца», что шло в разрез с интересами и настроением основной солдатской массы и всего народа России. Началась дезорганизация армии, доходящая до полного неподчинения командованию, и повальное дезертирство. Хозяйственная жизнь едва теплилась (ежели не считать военной промышленности). Бумажные деньги обесценивались не по дням, а по часам. Поезда, набитые до отказа, ходили с перебоями.

В Москве Белый видел то же, что и в Северной столице: административный хаос (неизвестно и непонятно, кто кому подчинялся) и огромные очереди в хлебные лавки. Куда ни глянь – повсюду солдаты в выцветших серых шинелях с котомками за плечами и с красными бантами на груди или на папах: кто – проездом домой, кто – по выписке из госпиталя, а кто – и просто так. Наблюдательный А. М. Ремизов, вспомнив,

должно быть, оперу «Хованщина», выразил свои впечатления одной точной фразой: «Что-то было от *стрелецкой* Москвы». Тротуары, мостовые, подворотни, дворы, подъезды и лестничные площадки засыпаны неубранной шелухой от семечек – их лузгали все поголовно, дабы заглушить постоянное чувство голода при хроническом отсутствии хлеба и постоянного урезания норм его выдачи.

В провинции – полнейшая анархия, крестьяне начали с грабежей и поджогов господских усадеб, не считаясь с их культурной значимостью и общенародной ценностью (нагляднейший пример – дача Блока в Шахматове и хранившаяся там библиотека). Первое, что услышала Маргарита Сабашникова в родном доме, когда она, как и Андрей Белый, с огромными трудностями и совершенно обессиленная от голода добралась из Дорнаха до Москвы, где проживали ее родители: «Чем же теперь тебя кормить?!» Соседка рассказала, что ей пришлось отпустить на несколько дней в деревню няню, – та по-простецки отпросилась *пограбить усадьбу тамошнего помещика* («А то, – уверяла она, – опоздаю, и наши мужики все награбленное между собой поделят».).

Своими невеселыми впечатлениями и наблюдениями Белый делился с Ивановым-Разумником: «<...> Я же Россию люблю, я же русский... Я верю в русский народ, но... когда мне рассказывают, как в лазаретах раненые занимаются тем, что угрожают выкинуть сестер милосердия из окна, когда по Москве расхаживают дворники в процессиях, вследствие чего Москва стоит 2 недели невыметенная и начинаются глазные и горловые болезни, а когда идет ливень, то вследствие засорения труб – Москва *„всплывает, как тритон“* (пушкинское сравнение из *„Медного всадника“*. – В. Д.), и останавливаются трамваи, когда видишь толпы пьяных, видишь истерзанных дико-ожесточенных солдат, с руганью чуть ли не выпихивающих дам из трамваев, когда видишь плюющих семечки и топчущих газоны тех же солдат, когда у центральных бань видишь среди бела дня ораву проституток и солдат, начинаешь думать, что детям и дамам неприлично показываться в центре города... <...>»

И все же в Андрея Белого революция в России точно вселила второе дыхание. «Верю в „чудо“ русской революции», – писал он 4 апреля 1917 года сразу по возвращении из Петрограда. За хаосом и распадом ему виделись и слышались «ритмы Нового Космоса». Ни на минуту не останавливаясь, работал – над стихами, статьями в газеты и журналы, эссе для нового цикла книг «На перевале». Его публичные выступления собирали переполненные залы восторженных слушателей. Впечатление об одной такой лекции (уже в Петрограде) в лапидарной форме

сформулировал профессор С. А. Венгеров: аудитория была совершенно захвачена сообщением, хотя три четверти ничего не поняли. Но – «это обаяние личности, это пророк в лучшем смысле слова». Свой вывод он сообщил по телефону матери Блока, а та передала его А. Белому. И все же ощущение было (и не у него одного!) – как перед грозой. Вскоре Белый напишет: «Как подземный удар, разбивающий все, предстает революция; предстает ураганом, сметающим формы; и изваянием, камнем застыла скульптурная форма. Революция напоминает природу: грозу, наводнение, водопад; все в ней бьет „через край“, все чрезмерно».

Обладавший даром предвидения А. Белый чувствовал трагедийность грядущих событий, быть может, как никто другой. Именно тогда он написал одно из лучших своих стихотворений о Родине и революции:

Рыдай, буревая стихия,  
В столбах громового огня!  
Россия, Россия, Россия,—  
Безумствуй, сжигая меня!

В твои роковые разрухи,  
В глухие твои глубины,—  
Струят крылорукие духи  
Свои светозарные сны.

Не плачьте: склоните колени  
Туда – в ураганы огней,  
В грома серафических пеней,  
В потоки космических дней!  
<...>

Ходил на митинги (на одном из них простоял аж пять часов). Ввязывался в политические дискуссии (впрочем, кто тогда не дискутировал), придерживаясь леворадикальной ориентации эсеровского типа. В Религиозно-философском обществе (оно продолжало регулярно собираться у М. К. Морозовой) его за это прозвали «большевиком», а учитывая приверженность к антропософии – еще и «мистическим большевиком». На этой почве как-то не на шутку рассорился с Н. А. Бердяевым. Свое политическое кредо Белый излагал четко и азартно, хотя от него действительно сильно пахло штейнерианским мистицизмом:

«<...> Я давно всюду стараюсь вдалбливать „великолепнейшим“ людям; а именно, что 1) мы переживаем начало мирового переворота, 2) что Россия впервые, быть может, вступает в свою колею, 3) что „двоевластие“ есть начало совершенно нового, небывалого строительства, 4) что циркуляр сменяется драматическим диалогом, 5) что я жду „триалога“ (когда отдельно выступит Совет Крестьянских Депутатов), 6) что Россия инсценирует мистерию, где *Советы* – участники священного действия, 7) что форма правления в России будет текучей: это будет „форма в движении“, 8) что если мы сумеем вынести еще несколько месяцев эту „форму в движении“, то а) завертятся втянутые в нашу воронку Мальстрёма (фантастический водоворот в северной части Атлантического океана, известный из рассказа Эдгара По „Низвержение в Мальстрём“. – В. Д.) все народы Европы, б) что внутри России мы услышим Голос – не партий, а Самой Народной Души, 9) что Россия рождает „дитя“, 10) что нам надо рассыпаться на маленькие единицы (федеративная Республика – лишь начало этого движения), 11) что рассыпаться страшно, но если мы не обрушимся („не умрем“), то не обрушим „старый мир“ Европы, что мы воскреснем: и – положим начало воскресения! 12) что сквозь все безобразия я слышу, вижу прорезь веяния „Манаса“ (санскритское слово, означающее „ум“ в широком, вселенском смысле данного термина; одно из центральных понятий древнеиндийской философии, воспринятое теософией и антропософией. – В. Д.) – вижу прорезь новой духовной культуры, 13) что, начитавшись „умных“ речей „Русских Ведомостей“, я бросаюсь жадно даже к „Социал-Демократу“. 14) что я радуюсь воистину новой мировой эпохе, видя ритм течения событий у нас, и т. д., – вот за все это меня и считают иные москвичи „бациллой“».

Революцию Андрей Белый понимал исключительно как *Революцию Духа*, осуществляемую во имя *абсолютного царства свободы*. Истинные европейские революционеры, по Белому, – не Маркс с Энгельсом, а Ницше с Ибсеном. Что касается революции в России, то для нее он находил следующие слова: «Революция духа – комета, летящая к нам из запредельной действительности; преодоление необходимости в царстве свободы, рисуемый социальный прыжок; он – падение кометы на нас; но и это падение есть иллюзия зрения: отражение в небосводе происходящего в сердце: в нашем сердце мы видим уже звездный луг новорожденного облика нас в нашем будущем, явленный музыкой; расширение точки звезды до летящего диска кометы уже происходит в глубинах сердечного знания: пламенный энтузиазм развивает в комету звезду; и мы слушаем звездные звуки о нас – в нашем будущем...»

Центром интеллектуального, художественного и идеологического притяжения для А. Белого в это время стало Царское Село, где его друг и единомышленник Иванов-Разумник организовал литературно-политическое объединение «Скифы» и готовил к изданию альманах под тем же названием. Значительную часть двух первых выпусков составлял роман А. Белого «Котик Летаев» и ряд его статей, вдохновленных революционными настроениями и ожиданиями. Сам Иванов-Разумник по своим идейным убеждениям и партийной принадлежности являлся социалистом-революционером (эсером), а после раскола партии – «левым» эсером, более того, считался одним из главных идеологов и теоретиков эсеровского движения. А его ближайший сподвижник, также один из идеологов «скифства» и авторов «скифского манифеста» – Сергей Дмитриевич Мстиславский (1876–1943), в будущем – известный писатель – вообще входил в руководство эсеровской партии.

Иванову-Разумнику и Мстиславскому удалось заинтересовать и даже серьезно увлечь «скифской идейной платформой» немало выдающихся отечественных писателей и деятелей культуры – А. Блока, А. Белого, А. Ремизова, М. Пришвина, Е. Замятина, О. Форш, А. Чапыгина, К. Петрова-Водкина, Л. Шестова и др. Здесь же коренятся и идейные истоки революционного шедевра Александра Блока «Скифы». Отсюда же началась *совместная* поэтическая и пропагандистская деятельность группы так называемых «крестьянских поэтов» – С. Есенина, Н. Клюева, П. Орешина, А. Ганина. Девиз «скифов» «Жизнь – Воля – Правда – Красота» закономерным образом продолжал и развивал лучшие традиции русской философии, критики, поэзии и прозы. В «скифском манифесте», обнародованном в 1-м выпуске альманаха «Скифы», провозглашалось:

«„Скиф“. Есть в слове этом, в самом звуке его – свист стрелы, опьяненной полетом; полетом – размеренным упругостью согнутого дерзающей рукой, надежного, тяжелого лука. Ибо сущность скифа – его лук: сочетание силы глаза и руки, безгранично вдаль мечущей удары силы. <... > Февральские дни до дна растворили это чувство. На наших глазах, порывом вольным, чудесным в своей простоте порывом, поднялась, встала, от края до края, молчавшая, гнилым туманом застланная Земля. То, о чем еще недавно мы могли лишь в мечтах молчаливых, затаенных мечтах думать – стало к осуществлению как властная, всеобщая задача дня. К самым заветным целям мы сразу, неукротимым движением продвинулись



на полет стрелы, на прямой удар. Наше время настало...»

Как бы сие ни показалось странным, но опубликованная здесь же первая половина романа «Котик Летаев» вполне гармонировала со «скифским манифестом». Если в «Петербурге» А. Белый сосредоточил внимание на объективных сторонах жизни и субъективном мире переживаний своих героев, то в «Котике» он предлагает читателю переместиться на более глубокий уровень – *в доступное лишь интуитивному восприятию ПОДСОЗНАНИЕ*. Кто не владеет методами *интуитивного* постижения действительности и проникновения в недоступные обыденному познанию запредельные стороны Макро– и Микрокосма и непостижимые глубины человеческого духа, – тот вообще ничего не поймет в тончайшем по архитектонике романе Белого. Именно этот пласт человеческого существования усмотрел в романе «Котик Летаев» высокотребовательный и взыскательный Михаил Гершензон, сравнивая при этом А. Белого не с кем-нибудь, а с самим Пушкиным: «От Пушкина до Андрея Белого – вот наш путь за сто лет». Если же по существу и концентрированно, то философский вывод Гершензона звучит следующим образом:

«Повесть Андрея Белого „Котик Летаев“ (одни именовали это произведение повестью, другие – романом. – В. Д.) – необычайное явление не литературы только, но всего нашего самосознания. Быть может, впервые нашелся человек, задавшийся дерзкою мыслью подсмотреть и воспроизвести самую стихию человеческого духа. Потому что стихия эта в своем ядре есть некий вихрь, который чрез бесчисленные уплотнения и воплощения создает все телесные и духовные формы человеческой жизни; и если искусство никогда не довольствовалось изображением внешних проявлений духа, если оно во все века стремилось вскрывать глубины, – то в сердцевину, в огненный центр бытия, никто не пытался проникнуть, по крайней мере сознательно. Андрей Белый – первый художник, который поставил себе эту цель. Он изображает жизнь ребенка от первых дней. По его мысли, новорожденный младенец есть клочок запредельного, мировой атом, – вместе и частица космоса, и сам полный микрокосм; и он рассказывает, как этот атом стихии пучится, расширяется и делится внутри себя, как он, оставаясь единым, внутренне ширится и разжижается, и организуется – начально бесформенный – в ощущениях и чувствах, как уплотняются эти воздушные течения, излившиеся из стихийного ядра, и формируют личность, сознание, идеи. <...>»

Одновременно Гершензон совершенно справедливо и закономерно поставил Андрея Белого в один ряд с наиболее выдающимися

мыслителями начала XX века, включая будущего нобелевского лауреата Анри Бергсона, и проницательно заключил: тайна романа «Котик Летаев» – в его *иррациональности*. А. Белый в самом деле не только по-своему приблизился (а в чем-то даже опередил) ту актуальную проблематику, которой очень скоро безраздельно завладеют фрейдисты и неофрейдисты.

С иных позиций оценил роман Андрея Белого Сергей Есенин, назвав его «гениальнейшим произведением нашего времени». Белый и Есенин познакомились лично на царскосельской квартире Иванова-Разумника в феврале 1917 года и сразу же прониклись друг к другу взаимной симпатией. Будучи на пятнадцать лет младше, Есенин всегда видел в А. Белом высочайшего мастера художественного слова и энциклопедически развитого эрудита. В том же 1917 году он посвятил общепризнанному мэтру русского символизма одну из своих «маленьких поэм» – «Пришествие».<sup>[40]</sup>

В свою очередь Белый сразу же разглядел в молодом собрате по поэтическому цеху неоспоримо гениальный талант, великое будущее которого еще впереди. Кроме того, Белому импонировало в молодом крестьянском поэте стремление и умение видеть окружающий мир сквозь призму смыслозначимых и космистских символов. Потому-то так близка и понятна оказалась корифею русского символизма посвященная ему поэма: «*О Русь, Приснодева, / Поправшая смерть! / Из звездного чрева / Сошла ты на твердь... <...>*» А лучезарный образ есенинского Спасителя явственно перекликался с символикой задуманной Белым собственной поэмы «Христос воскрес». Отсюда становится понятным, почему у Есенина возникла потребность откликнуться на появление романа «Котик Летаев» столь восторженной и вместе с тем глубокой рецензией. «В своем романе, – написал Есенин, – Белый... зачерпнул словом то самое, о чем мы мыслили только тенями мыслей, наяву выдернул хвост у приснившегося ему во сне голубя и ясно вырисовал скрытые в нас возможности отделяться душой от тела, как от чешуи».

В «Котике Летаеве» всё насыщено глубочайшими смыслами, – начиная от эпиграфа, взятого из «Войны и мира» (восклицание Наташи Ростовской<sup>[41]</sup>), и кончая каждой главой, каждым абзацем и даже каждой строчкой. Переполненные скрытыми смыслами пояснения, далекие от рационального понимания, встречают читателя с первых же страниц романа:

«<...> Мне – тридцать пять лет: самосознание разорвало мне мозг и кинулось в детство; я с разорванным мозгом смотрю, как дымится мне

клубы событий; как бегут они вспять...

Прошлое протянуто в душу; на рубеже третьего года встаю пред собой; мы – друг с другом беседуем; мы – понимаем друг друга.

Прошлый путь протянулся отчетливо: от ущелий первых младенческих лет до крутизн этого самосознающего мига; и от крутизн его до предсмертных ущелий – сбегает Грядущее; в них ледник изольется опять: водопадами чувств.

Мысли этого мига тронутся мне вдогонку лавиной; и в снежном крутне (так!) померкнет такое мне близкое, над головою висящее небо: изнемогу я над пропастью; путь нисхождения страшен...»

Писатель нашел удачную и оригинальную форму подачи материала *беседы с самим собой*, но не в настоящем или будущем, а в давно ушедших временах, причем – не в юности даже или в отрочестве, а в самом что ни на есть раннем детстве – от младенчества до трех лет. Ведь с точки зрения теософии и антропософии возраст сей вовсе не есть нечто *бессознательное* (в смысле отсутствия сознания как такового), напротив, представляет собой проявление закономерного этапа развития Космического разума, способного на любой стадии (в том числе и в младенчестве) приоткрывать самые сокровенные тайны своего бытия.

С легкостью дуновения эфира воссоздает Андрей Белый головокружительные картины Космической эволюции: согласно антропософской доктрине, она доступна в определенных условиях (медитативный транс, творческий экстаз, молитвенное откровение и т. п.) любому и каждому. В художественно-выразительной и теософско-символической форме демонстрирует это Белый на примере маленького живого существа – Котика Летаева (а на самом деле – себя самого) ноосферные видения младенческих лет навсегда запечатлелись в его памяти:

«Самосознание, как младенец во мне, широко открыло глаза.

Вижу там: пережитое – пережито мной; только мной; сознание детства, – сместись оно, осиль оно тридцатидвухлетие это, – в точке этого мига детство узнало б себя: с самосознанием оно слито; падает все между ними; листопадами носятся смыслы слов: они отвалились от древа: и невнятица слов вокруг меня – шелестит и порхает; смыслы их я отверг; передо мной – первое сознание детства; и мы – обнимаемся: „Здравствуй ты, странное!“»

Ноосферная память А. Белого, судя по всему, не имела границ. Во всяком случае Анатолия Мариенгофа он уверял (а тот зафиксировал сие в своих мемуарах), что помнит себя еще *во чреве матери* (правда, такой

«эпизод» в «Котике Летаеве» отсутствует). Основные этапы космогенеза и развития жизни на Земле, где она возникла в *морях*, преломляется в романе еще и через *мифологическое сознание*: в определенных аспектах оно оказывается не менее (а иногда даже более) истинным, чем научное осмысление действительности:

«Мир и мысль – только накипи: грозных космических образов; их полетом пульсирует кровь; их огнями засвечены мысли; и эти образы – мифы.

Мифы – древнее бытие: материками, морями вставали когда-то мне мифы; в них ребенок бродил; в них и бредил, как все: все сперва в них бродили; и когда провалились они, то забредили ими... впервые; сначала – в них жили.

Ныне древние мифы морями упали под ноги; и океанами бредов бушуют и лижут нам тверди: земель и сознаний; видимость возникала в них; возникало „Я“ и „не-Я“; возникали отдельности. Но моря выступали: роковое наследие, космос, врывается в действительность; тщетно прятались в ее ключья; в беспокровности таяло все: все-все ширилось; пропадали земли в морях; изрывалось сознание в мифах ужасной праматери; и потопы кипели...»

Опубликованную в конце лета 1917 года первую половину «Котика Летаева» Белый написал еще в Дорнахе. Из созданного за последнее время в 1-м выпуске альманаха «Скифы» было помещено несколько стихотворений, объединенных в цикл «Из дневника», и очень важная для писателя теоретическая статья «Жезл Аарона», имевшая подзаголовок «О слове в поэзии». (Лекцию на ту же тему он прочел еще весной в Малом зале Московской консерватории.) Первоначально статья, переданная Иванову-Разумнику, называлась «О космическом звуке». Удивляться этому не приходится, ибо отправными ее посылками «Жезла Аарона» (напомню, что, согласно ветхозаветному преданию, жезл библейского патриарха превратился в змею) послужили давным-давно выработанные *космистские и теософские* установки Андрея Белого, а именно: «...мир, строяемый (так!) языком, в нашей полости рта, есть точно такой же мир, как Вселенная: семь дней творения звуков во рту аналогичны семи дням творения мира; некогда слова оплотнеют материками и сушами, а языки превратятся в целые планетные системы со зверями, птицами и людьми...» Таково метафорическое и вместе с тем опрощенное представление А. Белого о вековечной философской проблеме единства Макро– и Микрокосма, где рот как часть человеческой головы органически сопряжен с бесконечной Вселенной. В статье подведены итоги многолетних

размышлений и изысканий в области языкознания, семантики и стихосложения. Основной упор сделан на смысловую сущность лексики и лексем: «Слово, взятое безотносительно к смыслу, есть слово пустое, если даже ему соответствует материальный предмет». Похожие выводы и их обоснование Белый дал в написанной тогда же работе «Глоссолалия: Поэма о звуке»...

\* \* \*

А. Белый уехал из Петрограда накануне Октябрьского переворота. Перед отъездом заглянул к Мережковским и вдруг разругался с ними всерьез и надолго (а если уж быть совсем точным, то навсегда). Повод – Иванов-Разумник, которого его друзья-символисты считали «большевиком» (на самом деле тот, будучи эсером, не выносил большевиков не меньше, чем Мережковские). 24 октября по старому стилю (6 ноября по новому), когда в Неву входил крейсер «Аврора», а отряды матросов и красногвардейцев готовились к штурму Зимнего дворца, Зинаида Гиппиус записала в своем дневнике: «Бедное „потерянное дитя“, Боря Бугаев, приезжало сюда и уехало вчера обратно в Москву. Невменяемо. Безответственно. Возится с этим большевиком – Ив. Разумником. <...> Другое „потерянное дитя“, похожее, – Блок. <...> С Блоком и с Борей (много у нас этих самородков!) можно говорить лишь в четвертом измерении. Но они этого не понимают и потому произносят слова, в 3-х измерениях прегнусно звучащие. <...>»<sup>[42]</sup> Отныне Мережковские воспылают к Блоку и Белому лютой ненавистью, граничащей с патологическим остервенением, а дальнейшее сотрудничество с Советской властью двух самых выдающихся поэтов Серебряного века они не простят никогда. Когда Иванов-Разумник в тот же день вечером позвонил на квартиру Мережковским в поисках Белого по чисто литературным делам (чтобы вернуть забытую им рукопись) и измененным голосом (дабы не раздражать семейную пару) поинтересовался, где можно найти Бугаева, ему ответили ледяным тоном, что «де ни Андрея Белого, ни Б. Н. Бугаева здесь не имеется и иметься не будет».

Октябрьская социалистическая революция, «о которой так много говорили большевики», догнала Белого в Москве. Обстановка здесь была накалена до предела, и, в отличие от Питера, все закончилось серьезным кровопролитием. Военские части и юнкера, оставшиеся до конца верными Временному правительству, оказали отчаянное сопротивление. Самые

ожесточенные бои развернулись в центральной части города. Артиллерийская перестрелка велась как на передовой. Тяжелые орудия обстреливали очаги сопротивления чуть ли не прямой наводкой. Снаряды беспрестанно гудели над крышами арбатских и пречистенских домов, от их разрывов всюду повыбивало оконные и витринные стекла. Пулеметные очереди и ружейные залпы косили правых и виноватых. Обе противоборствующие стороны несли значительные потери. После нескольких дней непрерывных боев в Москве победила Советская власть. Андрей Белый сообщал о пережитом им вместе с матерью в письме Асе Тургеневой (ей он продолжал по-прежнему писать и изредка посылать деньги на проживание, – разумеется, когда они появлялись):

«<...> С субботы до пятницы (28 октября – 3 ноября. – В. Д.), т. е. целую неделю мы, т. е. наш дом (в Никольском переулке близ Арбата. – В. Д.), был отрезан от мира, потому что почти невозможно было выходить. Наш тихий арбатский район оказался неожиданно одним из центров военных действий. Юнкера, ударные войска и белая гвардия расположились по Арбату, Поварской, Пречистенке и по району наших переулков, <...> а войска революционного комитета и красная гвардия наступали с Хамовник[ов], Смоленского рынка и с Пресни (кажется); словом: наш Никольский переулок оказался границей; и даже дома перепутались: с Арбатских домов, кажется, стреляли юнкера, с Трубниковского переулка наступали большевики и т. д. Загрохотали пушки, залетали снаряды, стены дрожали от грохота. В понедельник в 9 часов утра я вскочил с дивана (спал я в своем зеленом кабинетике) от оглушительного грохота; и подбежав к окну, увидел столб кирпичной пыли; оказывается: в дом против нас упала шрапнель и разорвалась перед окнами; с понедельника мы перекочевали в кухню и ванную, где только и можно было жить; пули пролетали в окна, разбивали стекла; шрапнель ударилась в балкон нашего дома, когда мы с мамой спасались в нижний этаж; осколок шрапнели, разбив стекла, пролетел на расстоянии не далее дюйма от мамино виска; с мамой сделалась истерика; последние дни мы ютились у Махотиных; было невозможно почти жить; почти нечего было есть; кабинет мой прострелен; стекла разбиты; стоит адский холод; работать нет никакой возможности... <...>»

Спасаясь от этих «неудобств», А. Белый покинул разрушенное московское жилище и ищет пристанища у друзей. Мысли об Асе по-прежнему не давали ему покоя. В отдельном издании «Котика Летаева» вскоре появится надпись: «Посвящаю повесть мою той, кто работала над нею вместе со мною – посвящаю Асе ее». (Ася действительно вдохновляла

супруга, когда тот только приступал к этому биографическому произведению, читала вместе с ним первые главы и считала их лучшим, что вообще написал Белый. Он же искренне тосковал по жене. Хронологические записи (дневник) той поры озаглавлены трогательно и бесхитростно – «Без Аси»... В письмах же Иванову-Разумнику признавался: «<...> Из души вырываются только „вопли“; я действительно как-то весь разваливаюсь; и в числе многих причин главная – это ощущение полной невозможности больше томиться без Аси; она – больна; у нее нет денег; выслать ей нельзя, проехать нельзя; и вот давно уже во мне крепнет отчаянная решимость: вопреки всем преградам начать проламываться к ней; если она „голодает“, голодать – с ней; если она больна, быть около нее; как медведь, сосущий лапу в берлоге, я уже полтора месяца только и думаю об одном: всех бросить, все бросить и правдой или неправдой, а прорваться к ней; она – моя главная душевная и духовная помощь; без нее не могу и работать; да и в жизни разваливаюсь; довольно! Если бы знал, какие преграды лягут между нами, ни за что не явился бы в Россию: предпочел бы быть дезертиром, но остаться рядом с Асей. Я просто болен от беспокойства за нее».

Тем не менее в жизнь А. Белого постепенно входила другая женщина – звали ее Клава. Скоро, очень скоро она станет 5-й и последней Музой Андрея Белого и его 2-й официальной женой. Клавдию Николаевну (урожденную – Алексееву, по первому мужу – Васильеву) (1886–1970) Белый (как, впрочем, и Ася) знали давным-давно по антропософскому движению. Вместе с мужем, врачом П. Н. Васильевым, она трудилась на строительстве Первого Гётеанума, нередко вместе со всеми ездила вслед за Р. Штейнером, чтобы прослушать его очередную лекцию или спецкурс, во время войны уехала из Дорнаха и вскоре объявилась в Москве. С Белым она сблизилась в конце декабря 1917 года, когда тот приступил к чтению лекций в московском Антропософском обществе. Хорошо знавшая ее в ту пору единомышленница М. Н. Жемчужникова свидетельствует:

«Клавдия Николаевна Васильева (во втором браке Бугаева) – <...> небольшая легкая фигурка, спокойные, какие-то музыкально ритмичные движения. Красивая ритмичная походка была ее особым свойством, впоследствии еще развитым в эвритмии. И говорила она спокойно и просто, но всегда очень по существу. Любовь к шутке, юмор тоже всегда как бы играли вокруг ее лица, смягчая категоричность суждений, нисколько не умаляя этим убежденность в их истине. Но только заглянув в ее глаза, вы чувствовали то, что, на мой взгляд, можно определить как основу всего ее существа. Я называю это „жар души“. У нее были удивительные глаза.

Описать их можно только одним словом – „лучистые“, т. е. лучистые глаза, о которых Толстой не устает напоминать, говоря о княжне Марии Болконской. Они запоминались...»

Московское антропософское общество организовалось еще в 1913 году и просуществовало десять лет – до 1923 года, когда его закрыли наряду с другими организациями, чья идеология противоречила утвердившемуся в России «материалистическому мировоззрению». Приверженцы «антинаучных учений» подверглись преследованию – арестам, ссылкам и конфискациям. В просторном и хоть как-то отапливаемом «буржуйкой» помещении на Садово-Кудринской улице, где еженедельно собирались московские антропософы, К. Н. Васильева читала лекции и вела семинар по известной работе Р. Штейнера «Как достигнуть познания высших миров». Здесь же читал курс «Мир Духа», *гениально импровизируя* на любую тему, и Андрей Белый. Асе Тургеневой в Дорнах он писал: «Мой курс слушают от 60 до 70 человек, главным образом курсистки; и – молодежь; и после каждой лекции приходится слышать со стороны изумление, или слова, вроде: „Если это философия антропософии, то – я хочу быть антропософом“. Получается круг друзей (неантропософов) вокруг нас. Пока все это очень зелено и надо много работать, чтобы утвердилась философия антропософии. <... > Недавно читал лекцию об антропософском сознании „Свет из Грядущего“ в помещении на 250 человек и по очень дорогим ценам... <...>»

В лекциях и беседах Белый развивал давно волновавший его тезис о сопряженности антропософии с традиционной русской философией и софиологией, установив при этом даже связующие звенья между мировоззрением революционных демократов и мистериальными откровениями современных мыслителей, писателей и поэтов. Он говорил о том, что Герцен, например, укоренен в революционной стихии русской общественной мысли (или в русском гуманизме), подобно тому как Соловьев добирался до скрытых корней религиозного народного творчества, самобытно создававшего образ Софии. Однако последователи Герцена и Соловьева ныне переживают кризис «антропистических» и «софистических» идеалов и выходят за пределы своих сфер: революционеры ищут обоснование свободы; философы – обоснование своих тезисов в русской жизни; и по линии духовно-революционного искания русское сознание приближается к антропософии.

Провиденциален в этом смысле и путь поэзии Блока: от поиска слияния лика Софии с душою человека, он приходит к тяжелой утрате хорошо знакомого лика, лика Души мира, чтобы вновь отыскать его в лике



жизни России. Россию, утверждал Белый, Блок воспринимает как проявление сущности человечества; национальный вопрос разрешается новым соединением русской души с Душой мира, революцией против всего группового, традиционного, консервативного; так ученик философии и поэзии Соловьева становится в последние годы русской жизни знаменосцем левой группы «народников», которая связана с традициями Герцена и Лаврова и, углубляясь мыслью, по-новому ищет подпочву их бьющего ключом пафоса. Так в Блоке, ученике Соловьева, поэте революционной России, обожествляемом современниками, видим мы искание освобожденным русским человеком слияния с Софией.

Антропософия, по Белому, является естественным внутренним выводом из трагических лет русской жизни. Она есть предначертание русского будущего в новой культуре; в антропософии обозначаются отчетливые контуры той культуры, которая способна к развитию. Антропософское учение не уничтожает связь со «свободой» и непременно найдет путь к сердцу будущей, послереволюционной России.

Все, что еще не погибло морально, в нынешней России сбросило с себя цепи недавнего «антропизма» и «софизма»; Россия пребывает в брожении; путь антропософии в России свободен. «Излишне спрашивать себя: окажемся ли мы способны спуститься в кратер вулкана России, сумеем ли мы истолковать глубинные стремления русских к культуре, свободе и правде как стремления антропософские? Мы должны твердо иметь в виду, что с голым кодексом догм о существах человека и карме нам в Россию не проникнуть; мы должны научиться говорить с русскими на языке их любимейшей поэзии, философии и социальных мечтаний. Восприняв истинное в Герцене, Блоке, Владимире Соловьеве, Бакунине, Гоголе и Пушкине, мы можем указать лишь на то, что их всех, Бакунина, Герцена, Гоголя, Пушкина и Блока, отделило от истины: русские слишком любят своих героев, чтобы отправиться куда-либо без них. Русское сознание неосознанно антропософично; антропософы должны свести знакомство с особенностями культуры России и должны заговорить на языке этой культуры о вечных истинах „Софии“ и „антропоса“...»

\* \* \*

В феврале 1918 года Иванов-Разумник послал А. Белому редактируемую им эсеровскую газету «Знамя труда» с напечатанным в ней недавно шедевром А. Блока «Скифы». Восторгам Белого не было предела,

он незамедлительно написал Блоку: «Дорогой, милый, близкий Саша. – Какая странная судьба. Мы вот опять перекликнулись. Читаю с трепетом Тебя. „Скифы“ (стихи) – огромны и эпохальны, как „Куликово Поле“. Все, что Ты пишешь, взмывает в душе вещице те же ноты: с этими нотами я жил в Дорнахе: я это знаю. То же, что Ты пишешь о России, для меня расширяется до Европы. Там назревает крах такой же, как и у нас: я это знаю... наверное... Еще многое будет... <...> Помни: Ты всем нам нужен в... еще более трудном будущем нашем... Будь мудр: соедини с отвагой и осторожностью. Крепко обнимаю Тебя, и люблю, как никогда. Твой „невольный“ брат – Б. Б.».

А вот другую гениальную поэму Блока «Двенадцать», напечатанную на два дня раньше «Скифов» во все том же «Знамени Труда», Белый не принял. Более того, написал как бы в противовес или, по крайней мере, – в развитие блоковского шедевра собственную поэму «Христос воскрес», по существу, отталкиваясь от заключительного блоковского двустишья: «*В белом венчике из роз – / Впереди Иисус Христос*». Увы, сравнение обеих поэм отнюдь не в пользу Белого. У А. Блока – абсолютная ясность и четкость, точно революционный шаг, нарастающая экспрессия и напряженность сюжета, тотчас же передающиеся читателям или слушателям (сам Блок никогда не читал поэму на вечерах поэзии перед большой аудиторией, зато ее с большим мастерством исполняла его жена – Любовь Дмитриевна, – вызывая неизменное воодушевление любого зала).

Напротив, поэма А. Белого переполнена сложной и туманной символикой, ее образы и ассоциации с трудом доходили даже до подготовленного читателя, не говоря уж о широких полуграмотных массах, к которым вроде бы апеллировал поэт. К тому же в обществе, поставившем своей целью борьбу с религией – этим пережитком «темного прошлого» – евангельские образы и сюжеты заведомо воспринимались как анахронизмы. Непривычная форма также мало способствовала адекватному пониманию стиха (хотя, казалось бы, российскую публику после скандальных выступлений футуристов, кубистов, супрематистов и прочих авангардистов мало чем можно было удивить):

В глухих  
Судьбинах,  
В земных  
Глубинах,  
В веках,  
В народах,

В сплошных  
Синеродах  
Небес  
– Да пребудет Весть:  
– «Христос Воскрес!» —  
Есть.  
Было.  
Будет.

Этот и другие призывы автора оставались гласом вопиющего в пустыне, оставляя равнодушной какую угодно аудиторию и не оказывая на нее должного магического воздействия, наподобие того, какое повсюду производили «Двенадцать» Блока. Не спасали положение ни псевдореволюционная риторика, ни здравицы в честь Третьего Интернационала. Результат налицо: поэма Блока и по сей день считается непревзойденным образцом революционной лирики, а поэма Белого воспринимается всего лишь как один из литературных памятников революционной эпохи (причем далеко не лучших). И все же в поэме Белого есть один момент, отсутствующий в поэме Блока, это – явно выражен *космизм*:

По огромной,  
По темной  
Вселенной,  
Шатаясь,  
Таскался мир.  
Облекаясь,  
Как в саван тленный  
В разлагающийся эфир.  
<... >

В любой ситуации и несмотря ни на какие зигзаги судьбы, Андрей Белый оставался тем, кем был всегда, – *провозвестником космической истины*.

О своем житье-бытье Белый сообщал всем буднично, подробно и откровенно: «<...> Картина Москвы: вечером стрельба. К стрельбе так привыкли, что никто не обращает никакого внимания. Недавно нам в спину стреляли из автомобиля; потом автомобиль „мирно“ проехал мимо; около дома, где я сейчас ночую, сегодня весь день перекидывал снег через забор бывший инспектор школы живописи и ваяния мой учитель истории В. Е. Гиацинтов. Многие интеллигенты в Москве зарабатывают себе пропитание таким способом. В квартиры врываются; мою маму из одного управления погнали к черту (она хлопотала, чтобы ей разрешили взять из ящика последние ее крохи, чтобы платить налоги) – погнали к черту, сказав: „Идите работать: заработайте и заплатите“. Наш швейцар должен получать 200 рубл[ей] в месяц + 18 рублей с квартиры, т. е. 326 рублей в месяц (он – ничего не делает); я получаю в месяц верных лишь 200; и из нас выдавливают всеми законными и незаконными средствами все: остается примкнуть к анархистам и выдавливать деньги насильно из других. Чем все это кончится – Бог весть! Вместе с тем: головокружительно интересно жить...» В заключительной фразе – весь Андрей Белый!..

Его отношения с советской властью с самого начала складывались непросто. Писатель не скатился до того, чтобы стать оголтелым антисоветчиком (за что почти все известные деятели русской эмиграции посчитали его «предателем»). Однако Белый болезненно относился к любой форме притеснения и насилия. «Я не могу быть с теми, кто угнетает», – написал он Иванову-Разумнику, когда узнал, что их общий знакомый и соратник по «скифскому движению» – С. Д. Мстиславский – неожиданно для всех стал членом советского руководства (от партии левых эсеров, образовавших коалицию с большевиками).<sup>[43]</sup> Но больше всего Белого настораживала перспектива социалистического развития России. Свою личную свободу и свободу своего творчества он ни за что бы не принес в жертву даже самой справедливой власти (каковой, впрочем, в природе никогда не существовало). Еще во время первой русской революции он отчаянно дискутировал на данную тему с Николаем Валентиновым. Уже тогда, в 1905 году, он обговаривал для себя отдельную индивидуальную «форточку» в случае вероятного начала социалистического строительства в России.

«Ведь это же ужас! – говорил он тогда своему оппоненту. – Табуном – устранение жизнеразностей! Все прижаты друг к другу. Никаких перегородок. От такой духовной тесноты дышать невозможно. Если нельзя иметь большую форточку, просверлите, оставьте хотя бы малюсенькую дырочку, чтобы из нее свежий воздух приходил. Ужас! Ни одной личности,

только „мы“ мычат, какие-то страшные майнридовские всадники без головы. Без головы или без личности, без ядра „я“ – это одно и то же. Табуны! Никогда и нигде табуны в истории ничего не творили. <...> О, я вижу ясно это... <... > общество. Ночь, над всем отвратительный серо-желтоватый мутный свет. Вижу дортуары (*устаревшее*: общая спальня для учащихся в закрытом учебном заведении. – *фр.*), тысячи, сотни тысяч, миллионы кроватей, ряд за рядом уходят куда-то в бесконечность. На кроватях спят „мы“. У всех одного и того же серого цвета одеяло. Одинакового цвета ночные туфли, одного и того же вида столик у кровати, у всех одинаковые сновидения. Чудовищная машина наделала миллионы одинаковых кукол и вложила в них подобие души. Мне страшно быть среди них, ведь это же не люди! Я задыхаюсь от дыхания этих миллионов кукол. Я не могу быть среди них. Я вскакиваю с моей кровати и вот так крадусь к стене, к форточке. Форточка с решеткой высоко в стене. Я прыгаю, падаю, опять прыгаю, падаю, хватаюсь за решетку, срываюсь, раню руки, и все-таки удается окровавленной рукой держаться за решетку, прислонить к форточке мое лицо. Оттуда идет свежий воздух. Какое счастье! Вижу ласковую луну, свет ее стелется по реке, серебрит верхушки деревьев. Там нет мертвых, страшных серо-желтых дортуаров, нет миллионов кукол, похожих на людей. Заявляю: среди „мы“ я не буду. В дортуары на кровать, под соответствующим номером мне отведенную, не пойду. У форточки, держась за решетку, буду висеть, пока не свалюсь мертвым. Умру, если они захотят меня отсюда оторвать. В дортуары они понесут только мое бездыханное тело. Мое „я“ они в плен не возьмут...»

Как и прежде, в годину самых тяжелых испытаний и непредсказуемых поворотов истории Андрей Белый продолжал верить в Россию – путеводную звезду для всех патриотов Отечества. В мае 1918 года под его пером родился подлинный гимн Родине, исполненный любви и надежды:

Россия – Ты?.. Смеюсь и умираю,  
И ясный взор ловлю...  
Невероятная, Тебя – (я знаю) —  
В невероятности люблю.

Опять в твои неизвестные муки  
Слетает разум мой:  
Пролейся свет в мои немые руки,  
Глаголющие тьмой.

.....

Я знаю всё... Я ничего не знаю.  
Люблю, люблю, люблю.  
Со мною – Ты... Смеюсь и умираю.  
И ясный взор ловлю.

«Боевой восемнадцатый год», однако, заставлял каждодневно думать о «хлебе насущном», что в условиях военного коммунизма и набравшей обороты Гражданской войны было совсем непросто. Прежде всего требовалось не попасть в число «нетрудовых элементов» и обзавестись хоть каким-то официальным местом работы. Без этого не полагалось ни продуктовых карточек, ни каких-либо законных прав, включая и нахождение там, где родился и прожил всю жизнь, ибо 11 марта 1918 года советское правительство покинуло Петроград и Москва сделалась столицей России. Сначала Белый поступил в Государственный архив на должность помощника архивиста, но не задержался здесь долго. Да и работа, так сказать, «не по специальности» особого удовлетворения не приносила. Более интересной казалась «служба» в Пролеткульте, куда А. Белый устроился осенью. Но до этого он успел побывать в Сергиевом Посаде и даже пожить вместе с К. Н. Васильевой в Черниговском скиту.

Знаменитая литературно-художественная и культурнопросветительная организация «Пролеткульт» возникла еще накануне Октябрьской революции, но, естественно, пышным цветом расцвела уже после установления в России советской власти. Пролеткультовцы ставили своей целью развитие творческой самодеятельности широких масс трудящихся и формирование у них *особой пролетарской культуры*, не отягощенной слишком классическим наследием прошлого. За несколько лет своей кипучей и разносторонней литературной, музыкальной, театральной, изобразительной и прочей деятельности Пролеткульт достаточно преуспел. На пике популярности в его рядах числилось до 400 тысяч человек, из них 80 тысяч занималось в художественных студиях и клубах. Понятно, что столь мощная и разветвленная организация нуждалась в управленческих структурах. Помещений же у нее хватало – причем самых что ни на есть лучших. В Москве, например, Пролеткульт занял импозантный дворец Морозова, построенный в «мавританском стиле» на Воздвиженке. Одним из «управленцев» Пролеткульта и стал временно Андрей Белый.

Разумеется, здесь его привлекала не бюрократическая работа, а собственное творческое самовыражение. Такая возможность в самом деле имелась. Должностные функции Белого предполагали консультирование

всех желающих (среди них подавляющее большинство были московские и подмосковные фабричные рабочие) приобщиться к новой пролетарской культуре, а также работу с начинающими авторами и прием их в члены Пролеткульта, чтение поступающих от них рукописей, выступление с собственными многочисленными лекциями и проведение семинаров в литературной студии по проблемам поэтической ритмики и эстетической формы. Тесно общаясь с начинающими рабочими и крестьянскими поэтами, А. Белый явственно осознавал: на его глазах и при его непосредственном участии рождается новая интеллигенция – *наследница* (а не разрушительница, вопреки прогнозам идеологов Пролеткульта) лучших традиций великой русской литературы.

Обстановку тех незабываемых дней прекрасно воссоздают воспоминания поэта Григория Александровича Санникова (1899–1969), считавшего А. Белого своим главным учителем и после его смерти подписавшего вместе с Б. Пастернаком и Б. Пильняком некролог в газете «Известия», повергший в шок литературных и околотитулярных «помпадуров и помпадурш» (В. Маяковский). «Андрей Белый... – пишет мемуарист, – был моим первым и, пожалуй, единственным литературным учителем, педагогом в буквальном значении этого слова: не будет преувеличением, если я скажу, что до учебы у Белого я не умел писать стихов. Помню: 1918 год, месяц сентябрь, исход горячего лета. Полного великих и грозных событий: в это лето произошло покушение на Ленина, фронты гражданской войны разрастались, смыкались в кольцо, и это кольцо начинало суживаться. В Москве шла лихорадочная подготовка отрядов на фронты, за лето было организована целая сеть командных курсов, где в ускоренном порядке готовили красных командиров и по выпуске тотчас же отправляли на фронты. В сентябре 1918 года я был вызван в Москву и назначен военным комиссаром пехотных курсов комсостава Красной Армии.

Но Москва жила не только военными делами. Заборы Москвы (которые понемногу стали исчезать) пестрели объявлениями о разных студиях, школах, курсах и т. п. Однажды я прочел афишу Московского Пролеткульта, где извещалось, что открыт прием в Литературную студию с отделениями прозы и поэзии. Состав преподавателей, условия приема. Запись там-то. Литература уже давно меня тянула к себе, условия приема для меня подходили, и я решил записаться. Меня смущало только одно обстоятельство: как мне совместить работу комиссара и учение в студии, хватит ли у меня времени? Я пришел в Пролеткульт и записался на отделение прозы, полагая, что это более литература, чем поэзия, и

комиссару более подходит заниматься прозой, нежели стихами.

Начались занятия в студии по вечерам. Нашими преподавателями были: Вяч. Иванов, Ходасевич, Богданов, Лебедев-Полянский, Шершеневич, Сакулин, Херсонская, Андрей Белый. Курс, который вел Белый – стихосложение, – был наиболее специальным из всех и, казалось, скучнейшим: размеры – метрика и риторика, паузные формы, ускорения и т. п. – анатомия стиха, жизнь клеточек – строчек слов. Скучно и надоедливо однообразно. Но это казалось, пока не взялся Белый за преподавание. После первых же лекций Белого этот предмет стал для нас самым интересным и увлекательным из всех предметов, преподаваемых в студии, а руководитель стал самым любимым из всех руководителей. <... >

Занятия Белого... <...> были праздничными и обычно собирали всю студию. Редко, кто пропускал занятия Белого. Характерно, что с Белым в студии как-то сразу создались отношения очень простые, почти товарищеские. Перегородка, своеобразный пафос, дистанции, которые чувствовались у других руководителей в отношениях со студией, здесь не существовали. Здесь не было противоположения руководителей студии – студентам, как ученых и малограмотных, учителей и учеников, взрослых, мудрых и слепой молодежи, Здесь были отношения руководителя (Белого) и его сотрудников (студийцев).

Белый в то время мечтал о создании кружка по ритму русской поэзии, по развитию новейшей науки – стихосложения, основоположником которой, как потом нам стало ясно, был А. Белый. И к нам он относился как к будущим сотрудникам этого кружка. Его исключительная внимательность к нашим стихам, иногда неподдельный восторг от них, умение дать исчерпывающий и убедительнейший анализ с точки зрения технических приемов и их соответствия или несоответствия содержанию стихотворения, и при всем этом необыкновенная неподдельная простота в отношениях с нами, страшно нас располагали и влекли к нему. Мы видели исключительную собранность, продуманность и точность во всяких теоретических его выкладках. А чудовищная его рассеянность, детская наивность при его столкновениях с явлениями быта, нас – практическую молодежь – поражали, удивляли, забавляли. Иногда у нас возникали заботы о нем, и часто не без основания; а не забыл ли он пообедать сегодня, а есть ли у него папиросы, а не голодает ли он? Действительно, жить ему в то время приходилось трудно. Не будь у него несколько хороших друзей, принявших на себя заботы о нем, он, несомненно, бы сидел голодный и без приюта. Своей квартиры или комнаты у него никогда не было. Он обычно жил там, где его устраивали друзья. Также, как это ни странно, у него



никогда не было никакой библиотеки, за исключением нескольких любимых им книг. И в то же время он был одним из образованнейших и начитаннейших людей века. Не случайно в своих стихах он говорил: „Думой века измерил, а жизнь прожить не сумел“».

При любом удобном случае Белый пропагандировал и свои антропософские взгляды, причем делал это нередко весьма изощренно. Так, призывая к борьбе с *контрреволюцией*, он тотчас же пояснял, что контрреволюцией следует считать материалистическое мировоззрение (!), коим пытаются заместить отброшенную буржуазную культуру; действительной же революционной идеологией следует признать учение Рудольфа Штейнера, взрывающее границы познания и указывающее новые пути к раскрепощенному духу.

Лекции Белого встречали горячее воодушевление молодежи, искавшей смысл жизни, но его свободные и своеобразные интерпретации очень скоро стали вызывать подозрение у суровых и бдительных партийцев. Лектора-антропософа обвинили в пропаганде немарксистских (а по сему *непролетарских*) взглядов и для начала предупредили о «неполном служебном соответствии» (хотя его позицию правильнее было назвать «*полным служебным несоответствием*»). В ноябре того же 1918 года Белого при содействии Луначарского взяли на работу по совместительству в театральный отдел Народного комиссариата просвещения (Наркомпроса) на должность заведующего научно-теоретической секцией. Здесь безраздельно царил Ольга Давыдовна Каменева – сестра всесильного Л. Д. Троцкого и жена чуть менее всесильного председателя Исполкома Моссовета Л. Б. Каменева. Прагматичная, своенравная и безо всяких сантиментов О. Д. Каменева не относилась к категории тех дам, которым нравились сублильные поэты-символисты. Поэтому чиновничья карьера в Наркомпросе у Белого не сложилась, несмотря на в целом благоприятное отношение к нему наркома Луначарского лично.

7 ноября 1918 года, в первую годовщину Октябрьской революции, Андрей Белый пригласил Маргариту Сабашникову погулять по праздничным московским улицам. Она также работала в театральном отделе Наркомпроса, где занималась организацией детских театров, частенько заглядывала и на заседания антропософского общества, наслаждаясь общением с друзьями-единомышленниками. О достопамятной прогулке по празднично украшенной столице вспоминала: «В день празднования годовщины Октябрьской революции Андрей Белый зашел за мной и мы пошли бродить по Москве. Улицы кишели народом. В тот сияющий октябрьский день Москва походила на древнерусскую сказку. Не

только все дома были украшены красной материей – хотя население ходило в лохмотьях, не только висели повсюду гигантские плакаты известных художников в футуристическом стиле, но и сами дома, целыми улицами, были пестро расписаны. Обширная Красная площадь полна народу – как прежде бывало в Вербное Воскресенье. Но теперь на лицах не было тупой безнадежности, как раньше при царском режиме. Несмотря на голод, народ в эти первые месяцы революции уверенно и радостно смотрел в будущее. Он верил в свободу и чувствовал себя хозяином страны. Как дети, как счастливый сказочный народ, восхищались люди праздничной пестротой улиц. Потом появились два серебристых сияющих аэроплана и кружились над площадью в темно-синем небе. Такая синева бывает только в России в начале осени. Все с ожиданием смотрели вверх. И с неба полетели тучи серебристых голубей. Это зрелище на фоне белых стен и золотых луковок Кремля было пророческим для России. Всегда русский народ ждал манны небесной. Но это были не голуби и не „Голубиная книга“, некогда упавшая с неба, – это были белые листки бумаги. Их ловили в воздухе, поднимали с земли, разбирали слова и читали призывы к кровавой расправе с буржуями...»

Тогда же с А. Белым познакомилась юная поэтесса Надежда Павлович (1895–1980). Она посетила его московскую квартиру и оставила лирические воспоминания об этой встрече и самом поэте:

Он туфли проплясал насквозь,  
Вприпляску он писал,  
Как бы вакхическую гроздь  
И тирс он подымал.

Змеились молнии на лбу,  
Был вихрь взметен кругом,  
Волос дымился легкий пух  
Вкруг лысины – венцом.

В его фарфоровых глазах  
Буравились зрачки,  
И был похож на орлий взмах  
Полет его руки.

Я постучалась. Он открыл  
И засмутился: – Ах!

Я очень рад! Я все забыл!  
Я был в иных мирах!

Вздыхнул, вспорхнул, на край присел...  
Темнело по углам.  
Московский фикус цепенел  
Средь схем и диаграмм.

Никола Плотника в окне  
Мерцал и таял крест,  
А мне казалось – как во сне.  
Дорога... ночь... разъезд.  
<... >

В январе 1919 года пришло обнадеживающее письмо от Иванова-Разумника. Он сообщал о создании в Петрограде Вольной философской академии (позже она стала именоваться Вольной философской ассоциацией, сокращенно – Вольфила), председателем совета которой избрали А. Белого. Помимо него, в совет вошли А. Блок, В. Мейерхольд, К. Петров-Водкин, Л. Шестов, другие известные деятели отечественной культуры; заместителем председателя (или, как тогда говорили «товарищем председателя») избрали Иванова-Разумника, секретарем – А. Штейнберга. Белому предлагалось продумать вопрос о перемене места жительства и переезде из Москвы в Петроград, а пока что бывать в Питере наездами для участия в заседаниях и чтения лекций. Для развертывания творческой работы Вольфила получила большое помещение и бюджетное финансирование. Белому сулили достойное жалованье, полную свободу действий и массу свободного времени для писательского творчества.

Было чему порадоваться; в конце января он даже успел побывать в Петрограде и Детском Селе<sup>[44]</sup> и принять участие в общем собрании учредителей Вольфила, состоявшемся на квартире Иванова-Разумника и имевшем неожиданно неприятные последствия. Власти и чекисты заподозрили, что невинным в общем-то организационным мероприятием хотят прикрыть нелегальную сходку контрреволюционеров.

Последовали аресты и допросы. Блока задержали в петроградской квартире, после обыска ему почти двое суток пришлось провести в ЧК на Гороховой в камере предварительного заключения (освободили его только после личного вмешательства А. В. Луначарского и гражданской жены

Горького – М. Ф. Андреевой, занимавшей высокий пост в большевистской иерархии). А. Белому повезло больше: в Питер он приехал сильно простуженным, с высокой температурой, поэтому сразу же после собрания «вольфиловцев» уехал назад в Москву.

Особенно пострадал Иванов-Разумник: его привлекли к продолжавшемуся следствию по делу левых эсеров, объявленных к тому времени врагами советской власти после инспирированного ими в июле 1918 года мятежа. Зачинщики неудавшегося захвата власти давно понесли заслуженное наказание, теперь дошла очередь и до «второго эшелона» – «сочувствующих». После допроса и дачи показаний Иванова-Разумника выпустили на свободу (впереди у него будет еще немало арестов, ссылок и тюремных заключений). Начало работы Вольфила это, однако, никак не приблизило; напротив, ее «запуск» затянулся на многие месяцы и осуществился в конечном счете совсем на других условиях, нежели предполагалось первоначально.

После труднейшей – голодной и холодной зимы, когда на растопку «буржук» пошли почти все заборы и нежилые деревянные строения, Москва вроде бы начала выходить из оцепенения. Но ситуация в столице да и всей России оставалась исключительно тяжелой. Гражданская война полыхала на всех фронтах. Летом 1919-го Деникин предпринял поход на Москву, был наголову разбит регулярными частями Красной армии и откатился на юг. О творчестве приходилось помышлять в последнюю очередь, на переднем плане стояли совсем другие проблемы – как прокормить больную мать да и самому не умереть с голоду. Своими проблемами Андрей Белый как всегда делился с Ивановым Разумником:

«<...> Атрофируется всякая возможность проявляться: писать книги – нельзя: нет бумаги; писать письма нельзя – города отрезаны друг от друга; работать нельзя – ибо в комнатах у людей стоит такой мороз уже сейчас, что люди прячутся под одеяла; есть – тоже нельзя. Что же можно? Все немногое, что разрешено, обставлено столькими бумагами, расписками, удостоверениями, талонами, что люди просто отказываются от счастья получить сухую селедку, когда получение ее обставлено всякими стояниями на морозе; спрашивают не только талоны и бумаги, спрашивают... корешки от талонов (чаще и чаще); словом, право на жизнь – чисто биологическую – обставлено столькими бумагами, что многие задумываются, стоит ли жить; умирать – разрешается сколько угодно: вот она, „новая жизнь“! И право, если бы я конкретно описал бы, что я делал эти 2 месяца, когда возвращался со службы, то следовало бы описывать: ходил в домовый комитет, бранился в карточном бюро за категории,

выклянчивал ту или иную бумагу, или обменивал ту или иную бумагу; думается мне: если бы обыватель Москвы вел „Дневник“ всего того, что он ежедневно проделывает, чтобы съесть кусок черствого хлеба, выдаваемого раз в неделю, то „дневник обывателя“ оказался бы чудней „дневника чудака“. Вот разговоры культурных москвичей: „Что вы делаете завтра под праздник?“ – „Еду рубить дрова, иду на Сухаревку; мы – разбираем забор“ и т. д. Так живут обыватели, „Бердяевы“, „чудаки“ и не „чудаки“; когда выпадет день отдыха, – одно желание завладевает: заснуть, накрывшись одеялом, и забыть все, все, все: и „культуру“, и „некультурицу“... Но это состояние сознания – отнюдь не отчаянье, не квиетизм, а чисто физическое ощущение отмороженных пальцев; стоит посидеть день в теплой комнате, быть сытым и выспаться, как чувствуешь себя бодрым, крепким и работоспособным... <...>»

Не менее трагическую картину нарисовал Белый и в письме Асе, когда представилась возможность рассказать о своей жизни в Москве в годы Гражданской войны: «С января 1919 г. я все бросил, <...> лег под шубу и пролежал в полной прострации до весны, когда оттепель немного согрела мою душу и тело. <... > И не нам, старикам, вынесшим на плечах 1917, 1918, 1919, 1920, 1921 годы, рассказать о России. И хочется говорить: „Да, вот – когда я лежал два с половиной месяца во вшах, то мне...“ Тут собеседник перебьёт: „Ах, ужас: и вши по Вас ползали?“ Посмотришь и скажешь снисходительно: „Ползали, ползали – две недели лечился от экземы, которая началась от вшей“ и т. д. Или начнешь говорить: „Когда у меня за тонкой перегородкой кричал дни и ночи тифозный“. И опять перебьют: „Ах Вы жили с тифозным!“ Опять улыбнешься и скажешь: „Да, жил и ходил читать лекции, готовился к лекциям под крик этот!“ <...> В комнате стояла температура не ниже 80 мороза, но и не выше 70 тепла. Москва была темна. По ночам растаскивали деревянные особняки. <...> Прожиточный минимум стоил не менее 15 000 рублей, <... > а мама получала лишь 200 рублей пенсии, жила еще без печурки в комнате при 00 (и ниже), каждый день выходя на Смоленский рынок продавать старье свое (я ей отдавал все, что мог, но этого было мало).

Я жил в это время вот как: <...> у меня в комнате в углу была свалена груда моих рукописей, которыми я пять месяцев подтапливал печку; всюду были навалены груды старья, и моя комната напоминала комнату старьевщика; среди мусора и хлама, при температуре в 6—90, в зимних перчатках, с шапкой на голове, с коченеющими до колен ногами, просиживал я при тусклейшем свете перегоревшей лампочки или готовя материал для лекции следующего дня, или разрабатывая мне порученный

проект в Т. О. (Театральное общество. – В. Д.), или пишучи (так!) „Записки чудака“, в изнеможении бросаясь в постель часу в четвертом ночи: отчего просыпался я в десять часов и мне никто не оставлял горячей воды; итак, без чаю подчас, дрожа от холода, я вставал и в одиннадцать бежал с Садовой к Кремлю (где было Т. О.), попадая с заседания на заседание; в три с половиной от Кремля по отвратительной скользкой мостовой, в чужой шубе, душившей грудь и горло, я тащился к Девичьему Полю, чтобы пообедать (обед лучше „советского“, ибо кормился я в частном доме – у друзей Васильевых). После обеда надо было „переть“ с Девичьего Поля на Смоленский рынок, чтобы к ужину запасть „гнилымилепешками“, толкаясь среди вшивой, вонючей толпы и дохлых собак. <...> Оттуда, со Смоленского рынка, тащился часов в 5–6 домой, чтобы в семь уже бежать обратно по Поварской в Пролеткульт, где учил молодых поэтов ценить поэзию Пушкина, увлекаясь их увлечением поэзией; и уже оттуда, часов в 11, брел домой, в абсолютной тьме, спотыкаясь о невозможные ухабы, и почти плача оттого, что чай, который мне оставили, опять простыл и что ждет холод, от которого хочется кричать. <...> Так продолжалось не день, не два, а ряд месяцев, в которых каждый час – терзание: на холодные, огромные дома, в которых лопались водопроводы (и квартиры заливались то водой, то нечистотами) – на дома сыпался снег, и – казалось – засыпает, засыпает, навсегда засыпает... <...>»

Еще А. Белый вспоминал, как приходилось ходить в рваной и плохо заштопанной одежде, прикрывая русской рубахой навывпуск неприличные заплатки и дыры. В таком оборванном виде приходилось читать лекции в помещениях, где от холода леденел мозг и все сидели в шубах и шапках. И бесконечные очереди – всюду и за всем. «Подумай, – писал он Асе в Дорнах, – везде хвосты. Ты получаешь карточки на все, и должна следить за всем: когда выдаются спички, селедки, хлеб, папиросы; о дне выдачи публикуется в газетах; далее, узнав, Ты должна за получением 2 коробок спичек, или ½ фунта хлеба вовремя занять место в очереди перед продовольственной лавкой; и иногда часами стоять на дожде, морозе и т. д. Сегодня выдают спички, завтра 2 селедки, послезавтра ½ фунта хлеба и т. д. Из хвоста в хвост. Подумай, а у меня по 6 заседаний в день; у кого семейство – пошлют сына, он – отстоит; а когда человек один, он должен и стоять в хвостах, и служить и, вернувшись домой натаскать дров, наколоть дрова, и пуститься в хвосты. Естественно, что я манкировал всюду: например, узнал, что 20 огромных селедок выдают писателям, где-то на Мясницкой в час, когда у меня было ответственное дело, – пропали селедки... <...>»

И все же в этом доведенном до истощения и исступления человеке по-прежнему горел неугасимый огонь одержимости и творческого экстаза. Запоминающийся портрет А. Белого того времени оставил Илья Григорьевич Эренбург (1891–1967): «Огромные, разверстые глаза – бушующие костры на бледном, изможденном лице. Непомерно высокий лоб с островком стоящих дыбом волос. Читает он стихи, как вещает Сивилла, и, читая, машет руками: подчеркивает ритм – не стихов, а своих тайных помыслов. Это почти что смешно, и порой Белый кажется великолепным клоуном. Но когда он рядом – тревога и томление, ощущение какого-то стихийного неблагополучия овладевает всеми... Белый выше и значительнее своих книг. Он – блуждающий дух, не нашедший плоти, поток вне берегов... Почему даже пламенное слово „гений“, когда говорят о Белом, звучит как титул? Белый мог бы стать пророком – его безумие юродивого озарено божественной мудростью. Но „шестикрылый серафим“, слетев к нему, не закончил работы: он разверз очи поэта, дал ему услышать нездешние ритмы, подарил „жало мудрых змей“, но не коснулся его сердца...»

В конце лета 1919 года Андрея Белого чаще всего можно было встретить во Дворце искусств,<sup>[45]</sup> где он некоторое время руководил литературными курсами, читал лекции и зачастую ночевал. Именно сюда пригласил он как-то в гости Бориса Зайцева, на которого наибольшее впечатление произвели хоромы «дома Ростовых». Пока писатель пробирался в сумерках дня по благородным залам, комнатам, коридорам и закоулкам старинного особняка, ему повсюду мерещились герои «Войны и мира» – раненый князь Андрей, Наташа Ростова, ее отец – старый граф... Про А. Белого написал: «Он всегда был, с ранних лет, левого устремления. Что-то в революции ему давно нравилось. Он ее предчувствовал, ждал. Когда она пришла, очень многое в ней принял. <...> Белый не так страдал морально от революции, как мы, и уживался с нею лучше. Все же антропософия уводила его в сторону. Духовные начала движения этого уж очень мало подходили к уровню „революционной мысли“, к калмыцкому образу Ленина. <... >

Белый встретил меня очень приветливо, где-то вдали, в своей комнате, выходящей окнами в сад. Он был в ермолочке, с полуседыми из-под нее „клочковатостями“ волос, танцующий, приседающий. Комната в книгах, рукописях – все в беспорядке, конечно. Почему-то стояла в ней и черная доска, как в классе. <...> Не то Фауст, не то алхимик, не то астролог. Очень скоро, конечно, разговор перешел на антропософию, на революцию. Может быть, с „убийцей Мирбаха“ он говорил бы иначе, но со мной стал почти на

мою позицию – тут помогала ему и его антропософия. Теперь и доска оказалась полезной. Он на ней быстро расчертил разные круги, спирали, завитушки. Мир, циклы истории располагались по волютам спирали. Он объяснял долго и вдохновенно – во всяком случае, это было редкостно, менее всего заурядно, почти увлекательно. Белый вообще был отличный оратор-импровизатор, полный образности и красок. Но постройкой не владел – вообще всегда им что-то владело, а не он владел».

В поразительных ораторских способностях А. Белого как раз у Дворца искусств могла самолично убедиться Марина Цветаева. Однажды, проходя мимо по Поварской, она увидела на зеленой лужайке прямо напротив «дома Ростовых» большую толпу людей. «Что это – воблу дают?» – поинтересовалась поэтесса у близстоящей барышни. «Нет, Андрей Белый выступает», – ответила та. «По какому поводу?» – «По поводу *ничевоков*». Марина не поняла о чем речь, потому что еще не знала о такой литературной группе, но подошла, чтобы послушать. Белый говорил давно и азартно, весь лоб его и лысое темя покрывали капельки пота. Экстравагантная и малочисленная литературная группа *ничевоков* крикливо пропагандировала абсурдную идею о том, что искусство скоро исчезнет, уйдет в «ничего», а потому не надо *ничего писать и читать*. Естественно, А. Белый на примере творчества своего друга А. Блока доказывал обратное. И не безуспешно – молодежь слушала его с открытым ртом.

Примерно к тому же времени относятся и мимолетные воспоминания литературоведа Павла Николаевича Медведева (1892–1938), познакомившегося с Белым в штаб-квартире Московского антропософского общества: «Белый поразил меня. Испепеленное, серое лицо. Над чрезвычайно выпуклым, крепким и высоким лбом дымятся, именно дымятся – волосы. Плешь. Голубые глаза – один смеется, другой плачет. Рот с бескровными, тонкими губами. Худой. Страшно подвижный. Слишком много движений, которые все же не кажутся беспорядочными. Непоседа. С ним тяжело, хотя и очаровательно беседовать. Вернее, не беседовать, а слушать его. Белый очень много говорит, любит говорить и говорит прекрасно. В комнате было очень холодно, беспорядочно и неуютно. На небольшом столике, исполнявшем, очевидно, обязанности и письменного и столового, под бюстом Данте разбросанные окурки и табак, а рядом с какими-то рукописями – объедки скромной, голодной снеди. Я невольно наблюдал поэта и говорил мало. Белый меня ощупывал вопросами и взглядами. Подготовленные вопросы я так ему и не задал... <...>»

Из Пролеткульта Белому пришлось все-таки уйти (меня «ушли», как



выразился он сам). Осенью того же года, дабы получать продуктовые карточки и какое ни на есть жалованье, пришлось устроиться на службу еще в одну организацию – Отдел охраны памятников старины, где ему поручили обобщить опыт формирования музейных коллекций в эпоху Великой французской революции. Работа приносила определенное моральное удовлетворение, так как была связана с чтением множества редких книг и документов на французском языке.

В конце августа А. Белый перебрался к Васильевым в Неопалимовский переулок. Здесь почувствовал себя немного полегче, что объяснялось так: «Я устроился в Москве идеально в смысле тепла, стола, помещения; ввиду того, что семья знакомых (К. Н. и П. Н. Васильевы; последнего как врача вскоре призвали в Красную армию. – В. Д.), у которых я живу, имеет особые преимущества иметь продукты из собственной деревни, и ввиду того, что эти продукты ей обходятся дешево, то я имею стол (прекрасный по теперешнему времени), от 10 до 12 градусов тепла (чего нигде в Москве не найдешь: везде от 0 до 5, 6, 7 максимум градусов), освещение, милую комнатку и заботливый уход за баснословно дешевую цену (3000 рублей в круг); у меня остаются деньги на папиросы; и – на маму; кроме того: возвращаясь со службы, я попадаю в тишину, тепло; есть возможность вечернего отдыха; моя уязвимая, ахиллесова пята – холод; с моей физич[еской] комплекцией в современных условиях московской жизни я бы давно погиб; ибо простудливость (так!) моя ужасающая; и доктора определяют у меня отсутствие подкожного жирового слоя, т. е. мгновенную промерзаемость; далее: я страдаю неврозом; его особенность: вся кровь приливает к груди и конечности холодеют, вследствие этого конечности начинают замерзать уже при 7, 6 градусах; обратно: холода развивают припадки невроза (во время неврозного состояния первое условие: оттянуть кровь от сердца к рукам и ногам); руки и ноги должны быть в тепле. Видите: сейчас я попал в оранжерею по теперешнему времени, а то бы уже сейчас выбыл бы из строя; намучившись в сыром подвале этой осенью... <...>»

Картину дополняет бесхитростный рассказ самой К. Н. Васильевой: «Условия жизни тогда были очень суровы. В домах не топили, трамваев не было. Б[орис] Н[иколаевич] сильно страдал от холода и почти всегда был нездоров. Он приходил к нам в чужих, слишком больших валенках, в неудобной тесной шубе с душившим воротником, замерзший, усталый; садился в кресло, произносил несколько бурных взволнованных жалоб на „невыносимую жизнь“ и, вдруг как-то сразу умолкнув и оборвав свои возгласы, погружался в странное немое оцепенение. Я спешила дать ему

чаю. После двух-трех стаканов он оживал, оживлялся. Принимался рассказывать, где был, с кем встречался, о чем говорили; потом раскрывал свой портфель, вынимал пачки исписанных листиков – последнее, над чем работал, и начинал читать, прерывая себя отдельными замечаниями. <...>»

В условиях холодной и голодной Москвы А. Белый умудрялся писать не покладая рук. В первом выпуске нового альманаха «Записки мечтателей» были опубликованы «Дневник писателя» и начало эпопеи «Я» (в отдельном издании названной «Записки чудака»). В течение года, несмотря на жесточайший полиграфический кризис, опубликованы ранее написанные стихи (сборник «Звезда») и сказки «Королевна и рыцари». По вечерам в Румянцевском музее (ныне Российская государственная библиотека) при температуре от 0 градусов и ниже, делая выписки, пока ноги не оцепеневали до колен, перечитывал некогда запрещенный Священным Синодом трактат Льва Толстого «О жизни»,<sup>[46]</sup> ставший его настольной книгой. «<... > Прочтите изумительную книгу Льва Толстого „О Жизни“, – писал он Иванову-Разумнику, – и Вы меня поблагодарите: не сомневаюсь, Вы читали ее; не сомневаюсь и в том, что Вы по-иному прочтете ее теперь: эта книга отныне стала для меня в ранг книг, сопутствующих каждому дню; как „Заратустру“, как „Бхагават-Гиту“ (так писалось в то время название знаменитого древнеиндийского трактата. – В. Д.) я полюбил ее; это книга эпическая, не уступающая „Войне и миру“. Кроме тона, она вся проникнута новой эрой сознания: положенная на одну чашку весов, она перевешивает все тома Соловьева, даже если в привесок к ним присоединить сумму написанных книг нового религиозного сознания (от томов Мережковского, Розанова до... Флоренского, Бердяева, Белого и прочих); все мы „старички“ пред Толстым, не говоря уже о том, что мы ребятишки перед Достоевским. <...> Перечтите эту книгу: и Вы поймете мой восторг. <...>»

Безотрадные свидетельства о жизни в условиях Гражданской войны оставили и Мережковские, до конца 1919 года остававшиеся в Петрограде. Зинаиде Гиппиус окружающая действительность виделась исключительно в черных тонах. Ее дневники той поры так и именуются – «Черная книжка» (к коей приложен «Серый блокнот» – «серый» потому, что написан ввиду отсутствия чернил простым карандашом): «<...> Коробка спичек – 75 рублей. Дрова – 30 тысяч. Масло – 3 тысячи фунт. Одна свеча 400–500 р. Сахару нет уже ни за какие тысячи (равно и керосина). На Николаевской улице вчера оказалась редкость: павшая лошадь. Люди, конечно, бросились к ней. Один из публики, наиболее энергичный, устроил очередь. И последним достались уже кишки только.

А знаете, что такое „китайское мясо“? Это вот что такое: трупы расстрелянных, как известно, „Чрезвычайка“ отдает зверям Зоологического сада. И у нас, и в Москве. Расстреливают же китайцы. И у нас, и в Москве. Но при убивании, как и при отправке трупов зверям, китайцы мародерничают. Не все трупы отдают, а какой помоложе – утаивают и продают под видом телятины. У нас – и в Москве. У нас – на Сенном рынке. Доктор Н (имя знаю) купил „с косточкой“ – узнал человечью. Понес в Ч.К. Ему там очень внушительно посоветовали не протестовать, чтобы самому не попасть на Сенную. (Все это у меня из первоисточников.) <...>

Трамваи иной день еще ползают, но по окраинам. С тех пор, как перестали освещать дома – улицы совсем исчезли: тихая, черная яма, могильная. Ходят по квартирам, стаскивают с постелей, гонят куда-то на работы... <...>»

Д. С. Мережковского – истощенного, больного и слабого – отправили на общественные работы, именовавшиеся «трудовой повинностью»: с шести часов утра таскать бревна. На другой день – рытье окоп в плохо оттаявшей земле. Каторжная работа живо напомнила обоим супругам «Записки из Мертвого дома» Достоевского: «После долгих часов в воде тающего снега – толстый, откормленный холуй (бабы его тут же, в глаза, осыпали бесплодными ругательствами: „Ишь, отъелся, морда лопнуть хочет!“) – стал выдавать „арестантам“, с долгими церемониями, по 1 ф[унту] хлеба. Дима принес этот черный, с иглами соломы, фунт хлеба – с собой. Ассирийское рабство. Да нет, и не ассирийское, и не сибирская каторга, а что-то совсем вне примеров. Для тяжелой ненужной работы сгоняют людей полураздетых и шатающихся от голода, – сгоняют в снег, дождь, холод, тьму... Бывало ли? Отмечаю *засилие безграмотных*».

Естественно, что спасение от такой беспросветной жизни многие интеллигенты – безотносительно к тому, приняли они или не приняли советскую власть, – видели в скорейшем выезде за границу, оформляемом в виде командировки или мотивируемом необходимостью длительного лечения. Попытался осуществить подобный план и Андрей Белый. Иванову-Разумнику по этому поводу сообщал: «Я решился предпринять невероятные усилия, чтобы с первой возможностью ехать из пределов России – разыскивать Асю, от которой не имею никаких вестей; в среду обращусь к Луначарскому с просьбой, чтобы он вник в невыносимость моего положения жить в полной неизвестности, что сделалось с женой; и при возможности проезда на запад не забыть лично меня и иметь в виду. <...>

В этом слепом стремлении *ехать, ехать, ехать, ехать* во что бы то ни

стало есть инстинкт: стоит жизненная задача – написать ряд томов „Чудака“; в России не напишу никогда; я готов взять какую угодно миссию, какое угодно поручение от *Наркомпроса* (культурно-просветительное), чтобы дорваться до Аси; и дорвавшись, совместно с ней обсудить планы дальнейшей жизни. <... >

Все это я хочу объяснить Луначарскому, не как Комиссару, а как человеку, могущему же понять, что все бытие мое, творчество, жизнь зависит от свидания с Асей, Доктором и от того, смогу ли я в грядущих годах советской России рассчитывать быть писателем. Я намерен неотвязно приставать к Луначарскому, Чичерину и прочим, напоминать о своем присутствии: *словом, бить в одну точку, дабы попасть за границу этой весной или, самое позднее, летом... <...>*»

4 января 1920 года Андрей Белый обратился с письмом к Максиму Горькому: «Глубокоуважаемый Алексей Максимович, простите меня за то, что, не будучи лично с Вами знаком, тем не менее обращаюсь к Вам с просьбой содействовать мне в одном деле, лично для меня важном. Дело вот в чем: уже скоро 4 года, как я разлучен с женой; и – полтора года, как не имею от нее никаких известий; жена осталась в Швейцарии, откуда я уехал в 916 году; последнее известие от нее взволновало меня: она была больна; с тех пор я о ней ничего не знаю. Тщетно я пытался навести справку о ней или как-нибудь перебраться за границу, – я отступал перед трудностями; и даже не обращался к властям, зная, что нет возможности уехать. На днях Анатолий Васильевич Луначарский обещал мне содействие в получении разрешения на выезд из России. <... > Скажу откровенно: тревога за жену, тоска по ней настолько сильны, что я, заручившись содействием Луначарского, решил преодолеть все трудности, чтобы пробраться к жене; это и есть мотив моей просьбы: обращение к Вам. Если бы Вы дали указание мне к комулибо из финляндцев, кто бы мог поручиться, что я действительно такой-то, Андрей Белый (Борис Бугаев), русский писатель и не политик, действительно стремящийся найти свою жену – я бы был Вам глубоко признателен; действительно: не говоря уже о том, что я совершенно изнурен трудностями нашей жизни, теряю работоспособность и т. д. – не говоря обо всем этом, я единственно одушевлен одной целью: найти жену, которая, может быть, больна, нуждается и т. д.»

Горький живо отреагировал на просьбу Белого, и уже на следующий день сообщил ему о разговоре с Луначарским и положительной реакции наркома. И тем не менее выехать за рубеж сразу не удалось. За границу в то время отпускали не всех и, как правило, после унижительных бюрократических проволочек. Маргарите Сабашниковой потребовалось

полгода на сбор никому не нужных документов с подписями, как вши, расплодившихся повсюду чиновников и хождение по бесчисленным бюрократическим инстанциям.<sup>[47]</sup> У А. Белого же выездные мытарства растянулись в общей сложности на 17 месяцев. Первым «для пробы» за рубеж выпустили Константина Бальмонта. И тот, опьянев от «свободы», подвел всех остальных: несмотря на обещание, данное лично Луначарскому – не критиковать советской власти, – немедленно сделал несколько резких антисоветских заявлений. В результате в России приостановили оформление выездных дел Андрею Белому, Вячеславу Иванову, другим известным деятелям литературы и искусства, даже молодому ученому Александру Чижевскому, приглашенному на стажировку в Швецию нобелевским лауреатом Сванте Аррениусом. Мережковский, Гиппиус и Философов сумели покинуть Россию нелегально: в конце 1919 года они выехали в Белоруссию, где им помогли тайно перейти через советско-польскую границу.

Белый также подумывал одно время: не бежать ли ему из России по примеру Мережковских, но быстро отказался от опасного плана: навсегда Россию он покидать не собирался. Он свято верил: что бы ни случилось – она выдержит любые испытания и обязательно возродится. Еще в 1916 году написал пророческие стихи – «Родине»:

В години праздных испытаний,  
В години мертвой суеты —  
Затверденей алмазом брани  
В перегоревших углях – Ты!

Восстань в сердцах, сердца исполни!  
Произрастай, наш край родной,  
Неопалимой блеском молний,  
Неодолимой купиной.  
<... >

Имелось еще одно веское обстоятельство, сильно его беспокоившее, – больная мать, ей в случае отъезда сына грозило полное одиночество. Но разрешение на выезд все оттягивалось и оттягивалось.

Пока суть да дело – в Питере дали «добро» на работу Вольфила (при условии, что она будет именоваться не «академией», а «ассоциацией»). 17 февраля 1920 года А. Белый переехал в Петроград, где прожил до начала июля, отдавая все силы председателя и талант бессменного лектора новому детищу, которое он назовет своей «второй родиной». В итоговой работе «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть на всех фазах моего идейного и художественного развития», написанной в 1928 году, писатель отмечал: «<...> Ленинградская „Вольно-философская ассоциация“ стала одно время и моим личным, и моим индивидуальным (т. е. индивидуально-социальным) делом; я связался и с ее деятелями, и с ее лозунгами, и с ее шириющейся, но организуемой многообразно аудиторией, и с темпом ее работ. В расширении своих „антропософских“ представлений я встречал и препоны, и злой подозревающий глаз со стороны иных антропософов; наоборот: иные из неантропософов тут мне оказывали незабываемую горячую братскую поддержку; не забуду и истинно нехорошего ко мне отношения антропософки Волошиной (Маргариты Сабашниковой. – В. Д.) (1921–1923 годы), унижавшейся до распространения обо мне небылиц; не забуду и братского отношения ко мне ставшего мне родным Иванова-Разумника».

На непродолжительное время Вольфила сделалась для русской интеллигенции настоящим островком свободы научного и философского творчества в океане догматической мысли. На еженедельных заседаниях, проходивших в разных престижных помещениях (например, в большом зале Русского географического общества), выступали корифеи русской литературы, науки, философии, в бурных и бескомпромиссных дискуссиях скрещивали копыя молодое и старшее поколения, оттачивалась острота слова и мысли. Среди множества обсуждавшихся тем (с обязательными выступлениями ведущих докладчиков): «Крушение гуманизма» (Александр Блок); «Кризис культуры», «Философия культуры», «Лев Толстой и культура», «Ветхий и Новый Завет» (Андрей Белый); «Бог в системе органической философии» (Н. О. Лосский); «Свобода воли» (С. А. Аскольдов); «Социализм в учении Вл. Соловьева», «Скиф в Европе» (Иванов-Разумник); «О непосредственном восприятии (на основании данных эксперимента)» (академик В. М. Бехтерев); «Эллинизм и христианство» (Ф. Ф. Зелинский); «Красота спасет мир» (К. С. Петров-Водкин); «Общество и Космос» (А. Гизетти) и др. (Один только Белый прочитал в общей сложности до сорока (!) докладов и сообщений, включая спецкурс «Антропософия как путь самосознания».) Устраивались вечера памяти (например, памяти П. А. Кропоткина), диспуты (например,

посвященные А. И. Герцену и П. Л. Лаврову, Пролеткульту и знаменитому трактату Томмазо Кампанеллы «Город Солнца»), а также авторские литературные вечера, где выступали А. Блок, А. Белый, Н. Клюев, А. Ремизов и др.

Уже упомянутая в начале книги Нина Ивановна ГагенТорн рассказывала, как еще будучи студенткой впервые попала на заседание Вольфилы и впервые познакомилась с А. Белым: «Город в те времена был пуст. Почти не дымили заводы. Небо стало прозрачным. Извозчики вывелись, а машины – не завелись еще. Только пролетали грузовики, да изредка позванивали трамваи. На мостовых, между булыжниками, пробивалась трава. Стены домов были заклеены газетами и афишами, объявлениями и приказами Петрокоммуны. Пешеходы останавливались и читали всё весьма внимательно. Особенно в очередях, выстраивавшихся у немногих, не забитых досками магазинов – за продовольственными пайками.

На забитые досками окна наклеивали нарядные плакаты или афиши. По такой афише, в 20-м году, я и узнала о существовании Вольфилы: прочла, что в Демидовом переулке, в здании Географического общества, Андрей Белый прочтет лекцию о кризисе культуры. Я уже знала этого писателя – с восхищением читала „Симфонии“ и „Петербург“. Побежала слушать. Как все студенты нашего общежития, я поголаживала на скудном пайке, но не замечала этого, охваченная ненасытным голодом узнавания. Мы были уверены, что строим новый мир и примерно к завтраму (так!) он будет построен. Надо только поскорее узнать, как это лучше сделать! <...>»

Нина Гаген-Торн записалась на два семинара к Андрею Белому – по теории символизма и по культуре духа. Занятия – в основном с молодежью – он проводил в номере гостиницы «Англетер», где проживал в этот приезд в Петроград. Окна выходили на Исаакиевский собор. Н. И. ГагенТорн до конца дней своих помнила, как, вскочив с кресел, Борис Николаевич расхаживал, почти бегал по комнате, излагая точные формулы мифов. Он простирал руки. Не показалось бы чудом, если б взлетел, по солнечному лучу выбрался из комнаты, поплыл над Исаакиевской площадью, иллюстрируя мировое движение. Девушки сидели замороженные. А мемуаристка сердилась на них: ну уместно ли здесь обожание? Не о восхищении, не об эмоциях дело идет: о постижении неизвестного, но смутно издавна угаданного, об открывании глубин...

Впрочем, он часто не замечал ни обожания, ни глубины производимого его словами впечатления. Еще одна петроградская знакомая А. Белого с мягким юмором рассказывала о своей (позднейшей) с ним

встрече: «Мы проговорили весь вечер с необычайной душевной открытостью. Я ходила потом, раздумывая о внезапности и глубине этой дружбы, пораженная этим. Встретилась через неделю на каком-то собрании, и он – не узнал меня. Я поняла, что тогда говорил не со мной – с человечеством. Меня – не успел заметить. Меня потрясли открытые им горизонты, а он умчался в иные дали, забыл, кому именно открывал».

При каждом удобном случае Белый выступал и в других аудиториях. Сохранились воспоминания о его выступлении в *Alma mater* студентки университета и начинающей поэтессы Веры Булич, горячей поклонницы писателя. Она слышала А. Белого в первый и последний раз в жизни, но находилась под его впечатлением до конца дней своих (ее воспоминания, написанные как отклик на смерть Белого в русскоязычной газете в Финляндии, впервые были опубликованы на родине только в 2005 году):

«<... > Петербург при большевиках. Темные, угрюмые дни: бесконечные очереди, перебегающие из дома в дом – зловещим шепотом – слухи, хлеб, развешенный на почтовых весах с точностью до одного грамма (по 50 гр. на человека), ночами – дежурства на лестнице в темноте и тишине, неосвещенные улицы, шальные пули, сбивающие со стен штукатурку, настороженность, тревога, опустошающее ожидание.

Предложение отца: „Не хочешь ли пойти в университет на лекцию Андрея Белого о ритме?“ встречаю с восторгом. <...> Запомнилось ясно только: сам Андрей Белый, стихи, которые он читал и которые я благодаря ему навсегда, поособенному полюбила, и то – смутное, невыразимое, но значительное, что открылось в тот вечер и осталось темным знанием навсегда.

Черная классная доска, куски мела, ломающиеся в нервных пальцах беспрестанно движущейся руки, и формулы, формулы, формулы... „Как?“ свое удивление: „математикой доказывать поэзию?“ После недавних выпускных экзаменов алгебраические уравнения в моей голове размещены стройными рядами, еще не тронутые временем, и я стараюсь напрячь все внимание, чтобы уловить нить доказательства. Но – или это высшая математика, навсегда для меня недостижимая, или сам Андрей Белый отвлекает мое внимание от сложного вычисления кривой, я перестаю постигать умом и начинаю верить ему на слово. И как не смотреть на него? Маленький, верткий, с вкрадчивыми и в то же время отрывистыми движениями, то сгибающийся и замирающий под какой-то невидимой тяжестью, то перепархивающий своей особенной легкой походкой с места на место, он чем-то напоминает мне птицу или скорее летучую мышь. Общее цветовое впечатление от него – светло-серый, от сияния пушистых,



пепельных, полуседых волос над высоким лбом, от непрерывного лучистого тока из почти прозрачных голубовато-серых глаз. Глаза смотрят на нас и не видят. Глаза должны видеть окружающее, но Андрей Белый смотрит не глазами, а будто поверх глаз; он видит не данный всем нам мир, а то, что за ним и что значительнее всего известного. В его взгляде – радость тайного видения, одному ему доступного, и просвечивающий блеск безумия.

„Ритм, – говорит Андрей Белый, – ритм – душа стиха“. И снова мелькает мел в руке, черная доска поворачивается еще нетронутой в своем ночном глянце стороной, чтобы изнечь под бременем новых белых формул. Он кружится возле нее – он ворожит, колдует, зачаровывает, внушает, убеждает настойчивостью взлетающей руки, горячей проникновенностью голоса, биением своего сердца и сиянием полубезумных ясновидящих глаз. И наконец, как последнее заклинание, уже подводя итоги, уже торжествуя победу ясновидящего и яснослышающего над нами, знающими лишь три земных измерения, Андрей Белый читает стихи. Голос его тих и вкрадчив, как его движения, в нем нет ни пафоса, ни металла, ни богатых модуляций звука, его голос тоже бледно-серых пастельных тонов, но это цвет пепла, под которым тлеют угли, – и он творит чудеса, он преображает стих, вливая в него свое горячее дыхание, созвучное тайной мелодии ритма. словно хрупкий старинный хрусталь, бережно поднятый осторожной рукой, возносится каждый стих над нами, – и вот слетает тусклая пыль времени, и открываются сияющие грани. Знакомые с детства, заученные наизусть на школьной скамье стихи, привычные и бледные от повторения строки, – неузнаваемо-новыми, яркими образами, полными дыхания, жизни и вдохновения входят снова в мою память, чтобы остаться в ней такими уже навсегда. И сквозь эти образы сначала глухо, невнятно, потом все явственнее и настойчивее проступает ведущая их поступь неведомой повелевающей силы – ритм. Андрей Белый, как будто от сознания того великого и невыразимого, что владеет им, приподымается, читая, на цыпочки и растет, растет на наших глазах, озаренный откровением свыше.

Он кончил – и перед нами снова маленький, серый, запачканный мелом человек, который суетится у доски, неловко стирая написанное. В тот вечер не умом, но чувством я поняла тайную силу ритма, я ощутила немую мелодию, стоящую за стихом, несущую и одушевляющую его, и не только стих, но и жизнь, и мир – космическую музыку. Я поняла, что важно не то, что мы видим, а то, что за видимым, незримое и еще не угаданное, и что воплощение этого смутного видения, преображение мира и есть

главное в искусстве».

На необыкновенной лекции с чтением стихов – своих и чужих – Вера Булич неожиданно для самой себя сделала поразительное открытие. «Но это же четвертое измерение!» – говорила она радостно и возбужденно отцу, спускаясь с ним по университетской лестнице. «Это то неизвестное, что еще не всем открыто и доступно, но оно несомненно, нужно только почувствовать его!»

«Ритм владел Андреем Белым во всем, – заключает мемуаристка. – И в своем неустанном порывании в „четвертое измерение“, в прислушивании к его разнообразным, прерывистым, неуловимым и порой роковым звучаниям, в стремлении проникнуть в заповедное и овладеть им, он метался в пределах наших земных, трех измерений. Но образ его, сохраненный памятью, в озарении открывающейся ему глубины, образ его, слепого для видимого и зрячего для незримого, сквозящий и в музыкальном бредовом тумане „Петербурга“ и в великолепных строках „Первого свиданья“, снова и снова напоминает мне о том, что поэт повинуется лишь велениям своего внутреннего голоса, своей поэтической совести». Действительно, в то суровое и по-своему прекрасное время верный своим космистским убеждениям писатель пытался проникнуть в самые сокровенные тайны Космоса через неисчерпаемую *временную ритмику*, органически присущую Вселенной.

\* \* \*

Оформление выездных документов требовало постоянного присутствия А. Белого в Москве, и в десятых числа июля он уехал из Петрограда. В столице – все та же хаотичная жизнь: лекции, чтения в антропософском кружке, руководство литературной студией, два поэтических вечера во Дворце искусств, собственные статьи и работа над романом «Преступление Николая Летаева», в конечном счете названным «Крещеный китаец». В декабре произошел несчастный случай: Белый поскользнулся в ванной и получил серьезную травму, из-за которой более двух месяцев провел в больнице. По выздоровлении вернулся в Петроград и вновь с головой окунулся в бурную интеллектуальную жизнь Вольфины. Как всегда, требовалось еще и материальное обеспечение, что вынудило устроиться на совершенно абсурдную для знаменитого писателя и поэта работу – помощником библиотекаря в Фундаментальной библиотеке Народного комиссариата по иностранным делам. На сей раз жить

пришлось в гостинице «Спартак». Здесь его посетил уже упоминавшийся выше литературовед П. Н. Медведев. Он приехал из Витебска, где преподавал в то время и, прослышав про бедственное положение Белого (ничем не отличавшееся, впрочем, от бедственного положения других), решил пригласить его на лето в белорусскую деревню «на подножный корм», как тогда говорили, дабы немного подкормить изголодавшегося и изнервничавшегося писателя. Тот с нескрываемым восторгом отнесся к подобной перспективе и в пылу благодарности разоткровенничался перед фактически незнакомым человеком:

«„Да, мне необходимо отдохнуть... Я схожу с ума... Я это чувствую... Врачи гонят меня на землю... Я забыл, как пахнет сено... Милый, родной, спасите...“ <...> Белый долго и страшно рассказывал о злоключениях последних лет, – как водили его за нос с отъездом за границу в Москве, как водят месяцами здесь, об издевательствах с пайком, обедом, бельем, о своей нелепой библиотечной работе в Комиссариате иностранных дел, о том, как ему не дают покоя, необходимого для работы, о предложении работать в заграничной прессе, о съезде народов Востока – смешно, – о своем одиночестве. „Все ко мне приходят, – ведь гостиница для всех открыта. Мучат меня. Возят на какие-то ненужные заседания. Заставляют читать нелепые, бездарные рукописи. А мне нечего кушать. А я ужасно, смертельно устал. А меня разрывают мои темы... И еще... и еще...“»

В гостиничном номере Андрей Белый в праздничные Троицын и Духов день внезапно испытал небывалый творческий подъем и за двое суток написал свою лучшую автобиографическую поэму «Первое свидание», где рассказал о юности и становлении своего софийно-космистского мировоззрения. Чтению поэмы было посвящено отдельное заседание Вольфилы, состоявшееся в большом зале Географического общества 24 июля 1921 года. Мариэтта Шагинян, присутствовавшая на поэтическом вечере, написала восторженную газетную заметку:

«А. Белый прочитал в Вольно-Философской Ассоциации свою новую поэму „Первое свидание“. Он превосходный чтец. Когда я видела, как этот пластический художник жестами закругляет слова, непонятное превращает в музыку, музыку вливает в вас широкими и гармоничными движениями, я наслаждалась сознанием силы подлинного искусства. Когда оно есть, оно есть. Тут уж не убьет никакая бацилла скепсиса, недоброжелательства или тупости. А когда его нет, – его нет, хотя бы целые славословия поливали его мнимый росток...»

„Первое свидание“ – длинная поэма в классическом ямбе (сколько я могла заметить, без строфической периодичности). Это поэма о Москве, о

знаменитой московской весне с несравненными зорями, вызвавшей когда-то „Драматическую симфонию“ Белого и ряд совсем особых идеологических настроений тогдашней московской молодежи. Эта „обещающая“ весна была, можно сказать, самым злейшим врагом Канта и критической философии, какие только у него были. Она, своими невозможными закатами, невольно сбивала „идеальный момент“ на самую земную реальность, заставляла в факте видеть его идею, верить в возможность несбыточного. На нашем трезвом языке эта весна принесла с собой эпидемию „утопизма“. Молодые люди думали, что стоит протянуть руку – и дотронешься до „вещи в себе“... И любовь тогда была особенною любовью. Обыкновенная „она“ с плотью и кровью превращалась в Нее с большой буквы, в Прекрасную Даму Блока, в Деву Радужных Ворот. Об этом исключительном моменте русской духовной культуры, – о моменте сдвига с привычного мироощущения, – и рассказывает нам поэма Белого. Насыщенная содержанием она почти лишена фабулы. В ней ничего не происходит. Движение дано не в действиях героев, а в психике автора... <...>»

«Первое свидание» Андрея Белого, вне всякого сомнения, перекликается с «Тремя свиданиями» Владимира Соловьева, навеяно его образами-символами, переполнено отблесками звездного и софийного Космоса:

Взойди, звезда воспоминанья;  
Года, пережитые вновь:  
Поэма – первое свиданье,  
Поэма – первая любовь.

Я вижу – дующие зовы.  
Я вижу – дующие тьмы:  
Войны поток красно-багровый,  
В котором захлебнулись мы...

Последние две строчки здесь касаются не только империалистической бойни в Европе, но и Гражданской войны в России. Вопросы эти постоянно волновали А. Белого, но все же на передний план выдвинулись другие темы. Их он черпал из глубин своей памяти, чтобы развернуть перед читателем мистерию Материи и Сознания, Души и Духа:

Но верю: ныне очертили  
Эмблемы вещей глубины —  
Мифологические были,  
Теологические сны,  
Сплетаясь в вязи аллегорий:  
Фантомный бес, атомный вес,  
Горюче вспыхнувшие зори  
И символов дремучий лес,  
Неясных образов законы,  
Огромных космосов волна...  
Так шумом молодым, зеленым  
Меня овеяла весна.  
<...>

Поэма А. Белого распадается на ряд эпизодов-воспоминаний, объединенных центральным образом первой платонической любви юного поэта – Маргариты Кирилловны Морозовой, выведенной однако инкогнито – под именем Надежды Львовны Зариной и поименованной «Мадонной Рафаэля»:

Она пройдет – озарена:  
Огней зарней, неопалимем...  
Надежда Львовна Зарина  
Ее не имя, а – «во-имя!..»  
Браслеты – трепетный восторг —  
Бросают лепетные слезы;  
Во взорах – горний Сведенборг;  
Колье – алмазные морозы;  
Серьга – забрежжившая жизнь;  
Вуаль провеявшая – трепет;  
Кисеи вуалевая брызнь  
И юбка палевая – лепет;  
А тайный розовый огонь,  
Перебегая по ланитам  
В ресниц прищуренную сонь,  
Их опаливший меланитом,—  
Блеснет, как северная даль,  
В сквозные, веерные речи...

Летит вуалевая шаль  
На бледнопалевые плечи.  
И я, как гиблый гибеллин,  
У гвельфов ног, – без слов, без цели:  
Ее потешный паладин...  
Она – Мадонна Рафаэля!  
.....  
Она ко мне сходила снами  
Из миротворной глубины  
И голубила глубинами  
Моей застенчивой весны.  
<...>

Когда Андрей Белый писал эти строки, Маргарита Кирилловна вместе с сестрой и дочерью ютилась в двух комнатных полуподвала собственного дома, но не того знаменитого дворца на Смоленском бульваре (с ним пришлось расстаться), а во вновь отстроенном перед революцией не менее роскошном особняке в тихом арбатском переулке с нехорошим названием – Мертвый (ныне – Пречистенский). Сразу же после революции дом Морозовой (как сотни других, принадлежавших представителям «паразитирующего класса») был национализирован. В нем разместился Отдел по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Наркомпроса, возглавляемый Натальей Ивановной Седовой, женой одного из вождей Октябрьской революции – председателя Реввоенсовета и члена Политбюро ЦК РКП(б) Л. Д. Троцкого. Бывшей владелице Морозовой разрешено было временно разместиться в подвальном помещении – на правах то ли смотрительницы, то ли сторожа.

После опалы Троцкого и высылки его вместе с женой в Турцию отдел Наркомпроса был объявлен «троцкистским гнездом» и расформирован. Дом перешел в ведение Наркомата иностранных дел (сейчас в нем находится посольство Дании), а бывшей хозяйке особняка – М. К. Морозовой – было предписано освободить занимаемое подвальное помещение. Сын Михаил (Мика Морозов, чей портрет кисти Валентина Серова и сегодня висит в Третьяковской галерее) перевез мать и тетку в ветхий деревенский дом в Лианозове – тогда пригород Москвы (дочь к тому времени сумела выехать за границу), где М. К. Морозова в жестокой нужде прожила до войны, когда ей удалось переселиться на окраину города. Она скончалась в 1958 году в возрасте 85 лет, написав на закате

жизни исключительно трогательные и теплые мемуары о друге своей молодости – Андрее Белом, для которого некогда стала первой поэтической музой и благодаря которому вошла в историю культуры Серебряного века под волшебным именем *Сказка...*

\* \* \*

Белому все реже и реже удавалось видеться с Блоком. Несмотря на общие «вольфиловские» дела, больной от постоянного недоедания Блок большую часть времени отдавал работе в издательстве «Всемирная литература», организованном Горьким для поддержки русских писателей, литературоведов и ученых. В Вольфиле летом 1920 года Блок вместе с матерью посетил литературный вечер Андрея Белого. Друзьям удалось пообщаться накоротке. Их последняя встреча состоялась 25 мая 1921 года в гостинице «Спартак». Как-то Белый столкнулся на улице с Любовью Дмитриевной. Опустив голову, «Дева Радужных Ворот» несла домой «авоську» с овощами; «верного рыцаря» своей ушедшей и давно увядшей юности то ли не заметила, то ли не узнала, а тот постеснялся окликнуть предмет своей некогда всепоглощающей страсти...

Силы самого Блока были на исходе. Его одолевали многие неизлечимые болезни и мучило отчаяние из-за невозможности заниматься любимым делом. Вместо создания стихов и прозы ему вот уже скоро как четыре года приходилось вести каждодневную изнурительную борьбу за выживание, добывать деньги на пропитание, дрова и керосин (что далеко не всегда увенчивалось успехом). На службе бесконечные и бессмысленные заседания выводили его из равновесия, все сильнее и чаще болело сердце, пешком по несколько километров в день с трудом добирался до места работы и обратно, глубокая депрессия только добавляла проблем со здоровьем. Он похудел, стал раздражительным и наконец слег, отказываясь принимать посетителей и общаясь лишь с врачом, женой и матерью...

7 августа 1921 года, в воскресенье, Александр Блок скончался. На другой день газеты не выходили, и друзья оклеили весь город маленькими листовками с извещением о смерти поэта, панихиде и похоронах. Все понимали: закатилась ярчайшая звезда русской поэзии. Не все смогли прийти с ним проститься. Николая Гумилёва накануне арестовали, Корней Чуковский бился в нервной истерике. Андрей Белый тоже находился в прострации: даже к дому Блока пришел с утра, а не вечером, как полагалось, и вынужден был вернуться в гостиницу. Собравшиеся для

прощания ждали во дворе. По одному их проводили на второй этаж, где в пустой столовой стоял гроб с телом. Блок изменился до неузнаваемости: осунулся, небритый, со впалыми щеками и глазницами, небольшая бородка клинышком и, как отметила наблюдательная Маргарита Сабашникова, стал похож на Данте. Белый поцеловал руки вдове и матери. Обе были совершенно спокойны – слезы свои они выплакали за ночь. Александра Андреевна по-матерински обняла «Боречку» и рассказала о последних минутах Саши. Из прочих присутствовавших Белый запомнил только Любовь Дельмас – последнюю музу Блока, вдохновительницу бессмертного цикла «Кармен», да Анну Ахматову, подобно черному лебедю, проплывшую мимо в черной вуали.<sup>[48]</sup>

10 августа состоялись похороны. Перед тем всю ночь Мариэтта Шагинян читала над усопшим Псалтырь. «Брат по духу» Андрей Белый и пятеро других близких друзей (Владимир Пяст, Владимир Гиппиус, Евгений Иванов, Евгений Замятин, Вильгельм Зоргенфрей) вынесли открытый гроб из дома и, сменяясь с другими литераторами, пронесли его через весь город на Смоленское кладбище. Полуторатысячная процессия скорбно проследовала по улицам, где так любил гулять усопший. Очевидице (Е. П. Казанович) запомнился Белый и на кладбище: он стоял над могилой Блока с белым надмогильным крестом в руке, с глазами, мерцающими, как синие птицы, с большой лысиной, окруженной венчиком седых, вьющихся волос, в верблюжьей куртке и с онемевшим от муки лицом...

Владиславу Ходасевичу в ответ на его просьбу рассказать о смерти и похоронах Блока Белый написал: «<...> Эта смерть для меня – роковой часовой бой: чувствую, что часть меня самого ушла с ним. Ведь вот: не видались, почти не говорили, а просто „бытие“ Блока на физическом плане было для меня, как орган зрения или слуха; это чувствую теперь. Можно и слепым прожить. Слепые или умирают или просветляются внутренне: вот и стукнуло мне его смертью: *пробудись* или *умри*, *начнись* или *кончись*. И встает: „*быть или не быть*“.

Когда, душа, просилась ты  
Погибнуть, иль любить...

*Дельвиг*

И душа просит: любви или гибели; настоящей человеческой, гуманной



жизни, иль смерти. Орангутангом душа жить не может. И смерть Блока для меня это зов „погибнуть иль любить“. Он был поэтом, т. е. человеком вполне; стало быть: поэтом любви (не в пошлом смысле)... Эта смерть – первый удар колокола: „поминального“, или „благовестящего“. Мы все, как люди вполне, „на роковой стоим очереди“: „погибнуть, иль... любить“. Душой с Вами. Б. Бугаев».

И еще высказался о значении Блока для России кратко и ёмко, перефразировав известную блоковскую строчку – «*Мы дети страшных лет России*»: ни один из поэтов-современников не был *сыном ВСЕЙ РОССИИ*; их можно назвать выразителями идеологии групп, сфер, классов, один Блок – *поэт ЦЕЛОЙ РОССИИ*. Эта мысль прозвучала и на заседании Вольфила 28 августа 1921 года, посвященном памяти Александра Блока. Большой зал Русского географического общества был переполнен. Народ заперудил Демидовский (ныне – Гривцов) переулок. Все, кому не досталось пригласительных билетов, остались стоять до конца заседания, выражая тем самым преклонение перед поэтом, умершим в самом расцвете творческих сил. Мать Блока Александра Андреевна и вдова Любовь Дмитриевна, обе – в траурных одеждах, сидели в первом ряду. Выступлений было не много, но все – с глубочайшим смыслом и подтекстом.

Дольше других выступал Андрей Белый (к тому же как председатель Вольфила вел заседание). Он говорил о Блоке – поэте НАЦИОНАЛЬНОМ и поэте-философе. «Философ, – утверждал докладчик, – не тот, кто пишет кипы абстрактных философских книг, а тот, кто свою философию переживает во плоти». Именно таков Блок, чья идеология – «философия конкретного разума», ставшая и философией его современников. А потому – «сотворим же в нашем сознании вечную память нашему любимому, близкому, в наши страшные годы с нами бывшему, русскому поэту». На волне столь же высокой патетики и закончил А. Белый свою почти что двухчасовую речь:

«<...> Помня о Блоке – не гасите в себе ту искру духа, о которой только что говорилось; для того, чтобы процвела материя – разжигайте дух, иначе материи в материи не останется. Разжигать дух – значит идти по стопам Блока. Он был всею жизнью своею революционер, всей своей жизнью, всем отношением своим к будущему и прошлому, – тому будущему, которое мы творим, тому прошлому, которое мы призваны не варварски отрицать, но творчески переоценить, перепахать, переплавить. В этом и заключается начало плавления истории. „Бросай туда, в золотое море, в мои потопные года, – мое рыдающее горе, свое сверкающее: Да!“ (из

поэмы А. Белого „Первое свидание“. – В. Д.). Во всех изменениях, во всех исканиях есть искра, но есть и пепел. Верность этой искре да будет нам памятью об Александре Александровиче Блоке. Он весь – искра, он весь – огонь, „он весь – дитя добра и света, он весь – свободы торжество“ (из стихотворения А. Блока „О, я хочу безумно жить...“. – В. Д.)»...

Говоря о покойном друге, Андрей Белый превзошел самого себя, наэлектризовав и воодушевив своей неподдельной патетикой переполненную аудиторию. Дмитрий Медведев, будучи еще совсем не оперившимся 17-летним юношей, присутствовал на вольфиловском вечере памяти Блока и запомнил Белого (как и позже Цветаева) в каком-то неземном сиянии: «Мне долго казалось, да и теперь кажется, что эта речь Белого по своему духовному подъему, по власти и силу звучащего слова, по глубине дыхания была выше всех речей, которые мне когда-либо приходилось слышать. Здесь ничто не напоминало манеры устных „камерных“ импровизаций Белого, о которых писали мемуаристы, – выступлений с особой жестикоуляцией, с приседанием, чуть ли не танцем на эстраде. Тогда Белый говорил перед немногими избранными, иногда у доски, с куском мела в руках. Теперь – в обширном и вместительном зале Географического общества. Сдерживающее влияние этого заполненного людьми большого пространства, исключительность момента, высокий предмет речи организовали ее по-иному. Это было громкое, пафосное, „пророческое“ по тону слово, действительно „музыкальное“ и вместе с тем далекое от беспредметного лиризма и риторики, сочетающее в своем полете эмоцию и напряжение мысли. Разумеется, в отличие от Блока, который не был оратором и читал свои речи по заранее написанному тексту, Белый говорил без всяких записок и конспектов, во всяком случае во время выступления ими не пользовался».

\* \* \*

В начале сентября Белого наконец уведомили, что для его «командировки» за границу препятствий больше нет. Сам он в неотправленном письме Асе Тургеневой и в несколько гротескной форме так обрисовал ситуацию последних месяцев: «<...> Опять хлопотал об отъезде, и опять не пустила Чрезвычайка (в июне); тогда я нервно заболел; меня лечил невропатолог проф. Троицкий. Тут я решил бежать, но об этом узнала Чрезвычайка, и побег – рухнул. Тут умер Блок, расстреляли Гумилёва, и – устыдились; молодежь стала кричать: „Пустите Белого за

границу, а то и он, как Блок умрет!“ Друзья надавили, и – пустили».

От разрешения на выезд до самого выезда прошло еще полтора месяца. За это время А. Белый успел съездить в Москву, принять участие в организации Московского отделения Вольфилы, выступить на вечере памяти А. Блока в Политехническом музее (там же в октябре он прочел лекцию «Россия Блока»), вновь вернуться в Петроград и увидеть пахнувший типографской краской тираж только что отпечатанной поэмы «Первое свидание». Питерская Вольфила простилась со своим председателем тепло и трогательно. На вокзал пришло множество знакомых и незнакомых людей. Какая-то девушка срывающимся голосом прокричала: «Милый Котик Летаев, когда вам станет одиноко там, за границей, помните, что мы здесь и вас любим!» Поэму свою он с блеском прочел (уже вернувшись в Москву) на заседании во Всероссийском союзе писателей, посвященном собственным же проводам. Отъезд в Берлин через Ригу, Ковно (Каунас) и Кенигсберг состоялся 20 октября 1921 года.

## Глава 9

# ДВЕ СТОЛИЦЫ – БЕРЛИН И МОСКВА

На три года (с 1921 по 1924 год, именно когда здесь появился А. Белый) Берлин превратился в Мекку русской эмиграции. Потом будут Париж, восточноевропейские страны, Америка и пр. Но начиналось все с Берлина – столицы еще недавно главного города самого ненавистного военного противника. Однако все изменилось в одночасье. В столицу бывшей Германской империи, а теперь – Веймарской республики, хлынули тысячи и тысячи подданных бывшей Российской империи и нынешней РСФСР. По подсчетам исследователей, в разные из упомянутых выше лет русское население Берлина насчитывало от 200 до 400 тысяч человек. Здесь окопались политики всех оттенков, сумевшие выскользнуть из-под пресса пролетарской диктатуры – от меньшевиков и кадетов до белогвардейцев и монархистов. Новая экономическая политика (нэп) советской России приоткрыла также двери для разного рода дельцов и предпринимателей, которые не в последнюю очередь пытались преуспеть в сфере издательского бизнеса. Потому-то в Берлине начала 20-х годов XX века и существовало такое великое множество газет, журналов, издательств, печатавших на русском языке статьи и книги авторов с диаметрально противоположными убеждениями.

Тут же обосновались многие русские писатели и поэты: Максим Горький (жил и лечился в Саарове под Берлином), Алексей Толстой, Алексей Ремизов, Марина Цветаева, Борис Зайцев, Михаил Осоргин, Владислав Ходасевич, Виктор Шкловский, Илья Эренбург и др. Проездами останавливались Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Борис Пастернак (некоторые задерживались надолго). В ноябре 1921 года к разношерстной берлинской колонии русских писателей присоединился и Андрей Белый. Поселившись поначалу в пансионе средней руки на шестом этаже огромного здания, он немедленно впрягся в работу – завершение ранее начатых книг, подготовку к переизданию старых, написание статей, обдумывание новых проектов, организацию защиты Максима Горького, подвергнутого разнузданной травле со стороны определенных эмигрантских кругов. (В дальнейшем их дружеские в целом отношения продолжают развиваться и укрепляться. В частности, Белый помогал Горькому в организации и издании журнала «Беседа», призванного

объединить писателей-эмигрантов с их собратьями по перу, творившими в советской России: идея блестящая, но удалось выпустить всего шесть номеров, и не без активной помощи советской цензуры, замаскированной под маловыразительным именем Главлита, литературный журнал тихо прекратил свое недолгое существование.)

Программой можно считать статью, опубликованную в первом номере этого журнала, где на обложке рядом с именем Горького стояла и фамилия А. Белого. Статья называлась витиевато – «О „России“ в России и о „России“ в Берлине» – и представляла собой памфлет, направленный против оголтелой берлинской эмиграции, с пеной у рта ополчившейся не только против Горького, но и против новой (советской) России. А. Белый не скрывал и не отрицал невероятных трудностей и лишений, возникших в ходе Гражданской войны и послевоенной разрухи (впрочем, как хорошо известно, они появились еще до Февральской революции и, собственно, явились одной из ее причин). Известное не понаслышке Белый проиллюстрировал на примерах собственной жизни в годы Гражданской войны и военного коммунизма:

«<...> В [19]19 году жил я в комнатке в два-три шага; заставляли пространство постель, столик, комодик да этажерочка; рукописи, бумаги, наброски и схемы, и книги я сваливал на этажерочку грудями (не было места их все разложить по порядку); переселился сюда я к печурке, которая награждала 3 раза в неделю ужасным угаром (я падал как замертво); и все-таки – холодно было; замазал я форточку; и проветрял (так!) свою комнату, открывая дверь в смежные комнаты. Утром бежал в чужих валенках в мерзлый музей собирать материал по истории революционных коллекций: числился в это время „эпизодически“ сотрудником Отдела Охраны Памятников; в Музее сидел в теплой шубе и в шапке (в перчатках); и согревая оледенелые до колен ноги, плясал я, выписывая из „*Monitour*“, разрушая глаза себе шрифтом (убийственно – мелким); когда уезжал в Петербург, груды выписок я оставил на этажерочке (запереть их не мог: ключа не было); вернулся, и – растащили часть выписок (вероятно, завертывали ими селедки). В то время читал я курс лекций о самосознании – в помещении частной квартиры.

Москва была вечером – темная, мертвая (грабили); увязали в сугробах, скользили в оледенелостях; после рабочего дня, из хвостов, через тьму и сугробы тащились во мраке усталые слушатели: в комнату с температурой ниже ноля, в освещенную тускло суровую комнату; в шубах сидели и потопатывали ногами (от холоду). Жил я близ Пресни, в горбатеньком переулке, куда ветер гнал снег от Кудринской Площади; чтоб пробраться в

„Москву“, надо было войти в снежный пояс; и до колена провязнуть в снегах; я выпрашивал валенки у кухарки, у Вари (своих не имел); с ее теплой ноги надевал: шел на лекцию, спотыкаясь и падая.

Приходил: аудитория (человек 35) обдавала духовным теплом; я читал – 3 часа, позабыв все на свете: аудитория в ледяном помещении грелась (так!) духом; и – грела меня; отогревался от выписок, от Музея, угара и кашля: за всю неделю; и – все-таки: курс прекратили мы; наступили морозы; на лекциях – мозг замерзал. Аудиторию этих лекций запомнил: мы не случайно с ней встретились; чувствовалось: между нами возникло огромное дело: культура возникла; самосознание наше ковалось (так!); со всеми слушателями ныне связан я; лектор и слушатели стали: братьями, сестрами. В это время господствовал тиф; очень многие – голодали, дрожали в нетопленных помещениях; днем – служили (советская служба), стояли в хвостах; и там, именно, вероятно, вынашивался конкретный вопрос о сознании, смысле; вопрос – гнал на лекции.

А в начале [19]20 года читал я свой курс „Культура мысли“ (во „Дворце Искусств“): та же картина; вернувшись со службы, остатками карандашей я раскрашивал схемы, а за стеной у меня громко бредил тифозный; пайка еще не было; мой паек – та духовная радость, которая продержала меня: солидарность с аудиторией. И заглавие курса „Культура мысли“, конечно же, не случайно; в самосознании слушателей я подслушал ее: зашевелилась впервые, быть может, культура мысли в России? <...> Что может сравниться с духовною радостью? Голод и холод, угары, бессмысленность службы – ничто... <...>»

Но приводя эти и другие в общем-то известные факты, писатель делал выводы, совершенно отличные от тех, коими пестрела антисоветская эмигрантская пресса. Он задавал вполне резонный вопрос и сам на него отвечал: «<... > Нет спора: в России писать тяжело (нет бумаги, чернил, типографий); и – все-таки: разве не было научных открытий в России (Рождественского, академика Марра, других); и разве в „российской“ России – не восходили таланты? Скажу откровенно: таланты и продолжались, и рождались лишь – там: там– творил Сологуб, рос Замятин, рождались Серапионовы братья, явились: Всеволод Иванов, Пильняк; Ходасевич сказался большущим поэтом, сказалась Марина Цветаева; творчески жили: и Гумилёв, и Ахматова; достижения Клюева, Маяковского, Пастернака, Есенина, Шкапской и многих других – не Берлин: здесь явились „талантики“; там – созревали таланты: и – корифеи работали: Горький и Ремизов; расцветала фаланга рабочих поэтов: Александровский, В. Казин, Н. Т. Полетаев; и – прочие; русская

стихотворная строчка достигла культуры высокой; писались изысканные работы о форме; не только не отставали мы в утончении художественной культуры: мы шли впереди, мимо „лозунгов“ и „прогнозов“, насильственно опускающихся ко дну океанов. Скажите: Вахтангов творил – из Берлина, из Праги? И Станиславский – „бежал за границу“ для творчества? Что родила эмиграция? Несколько интересных потенциалов; <...> два-три имени, обещающих, глядь и – обчелся...»

Именно тогда и познакомился с Белым начинающий литератор Вадим Андреев (берлинский студент, сын недавно скончавшегося писателя Леонида Андреева). Его воспоминания о первой встрече с Белым – зорки и убедительны: «<...> Когда я вошел в очень большую, обставленную случайной мебелью, многоугольную комнату и из-за стола, заваленного газетными вырезками, корректурами, рукописями, мне навстречу поднялся Андрей Белый, – я забыл все: и Наденьку Ланге (спутницу мемуариста. – В. Д.), и запущенный пансион, и собственную мою затурканность. Он сделал несколько встречных шагов с легкостью и изяществом необыкновенным. Низко поклонившись, протянул мне руку. Все его движения были плавны и неожиданно гармоничны, как будто он исполнял некие балетные па, руководствуясь только им одним слышанной музыкой. А затем я увидел его глаза, светлые, светло-голубые, – ослепляющие. И пристально-зоркие, – не глаза, а лучистые стрелы. Когда как-то Берг сказал, что о глаза Андрея Белого „можно зажигать папиросы“, я возмутился – разве северное сияние может что-нибудь зажечь? Его глаза лучились, сияли, и в этом сиянии было нечто недоступное логическому определению. <... > Андрей Белый встал со стула и заходил по комнате. Мальчишеская легкость походки, гармония жестов, – он рассекал воздух, сопровождая каждое слово новым крылатым движением, – были удивительны. Мягкое лицо с резкими ораторскими морщинами, шедшими от русского, чуть мясистого носа к углам рта, лоб, окруженный пухом белых сияющих волос, могло показаться старым – ему в то время было всего сорок два года, – но, как только он вставал и начинал ходить по комнате, ощущение возраста исчезало. <...>»

По свидетельству очевидцев, Андрей Белый неоднократно выступал в Берлине с докладами, часто на темы, которые он уже разрабатывал в своих книжечках о «кризисах» (кризисе жизни, кризисе мысли, кризисе культуры), составившими затем его сборник «На перевале», углублял их и комментировал заново. Он принимал участие в многочисленных диспутах – почти всегда экспромтом. Красноречие его было удивительным, удивительно было и то, что он, собственно, пренебрегал классическими правилами ораторского искусства и «порхал» вокруг своей темы, нередко

утомляя внимание слушателя, но не считаясь с этим. Говорить он мог без перерыва сколько угодно, без того, чтобы когда-либо запнуться, бесконечно, теряя понятие о продолжительности, о времени, о той аудитории, к которой он обращается. Его выступления были всегда подобны бурному – грохочущему – горному потоку. То беспокойство, во власти которого он неизменно пребывал, бросало его из одной крайности в другую.

Но главное, к чему Белый так стремился всё это время, – долгожданная встреча с Асей. Она приехала холодная и чужая. Сразу же заявила: их дальнейшая совместная жизнь невозможна. Трудно понять причины столь резко изменившегося отношения к человеку, искренне ее любившему и формально (по швейцарским и немецким законам) остававшемуся ее мужем. Быть может, она разлюбила его (нельзя ведь сказать, что никогда не любила!)? Быть может, не могла простить дорнахского увлечения Белого Наташей Поццо – своей сестрой? Быть может, до нее дошли слухи, что в жизни Белого появилась другая женщина – хорошо известная им обоим по Дорнаху Клава Васильева? А быть может, Ася сама полюбила другого? Действительно, Асю все чаще видели в сопровождении поэта-имажиниста Александра Кусикова (настоящая фамилия – Кусикян) (1896–1977), что вызывало у Белого прилив бешеной ярости и ревности. Выбор Аси можно назвать по меньшей мере странным: как вполне резонно выразилась одна знакомая А. Белого: променяла гения на «абсолютное ничтожество». Личная интимная драма дополнилась охлаждением к нему и Рудольфа Штейнера, с которым Белый встречался в Берлине. В ноябре Ася пробыла в немецкой столице недолго, но спустя три месяца вернулась туда опять. И снова ее всюду сопровождал Кусиков.<sup>[49]</sup> Андрею Белому она объявила об окончательном разрыве их отношений. (Вообще же, положив руку на сердце, приходится констатировать, что судьба жестоко отомстила Белому: как он некогда без тени сострадания расстался с Ниной Петровской, любившей его без памяти, так теперь Ася Тургенева отвернулась от мужа решительно и бесповоротно.<sup>[50]</sup>)

Однако сам А. Белый воспринял случившееся не иначе как предательский удар ножом в спину. Случившееся поразило его в самое сердце и привело к опасному психическому надлому. Он пристрастился к алкоголю – причем в больших дозах – и начал вести себя неадекватно. В таком непотребном виде он запомнился многим мемуаристам. Одни описывали из ряда вон выходящее поведение Белого со злорадством, другие – с сочувствием. Предоставим слово Владиславу Ходасевичу, вместе



со своей гражданской женой Ниной Берберовой (1903–1991) оказавшемся в то время в Берлине и часто общавшемся с А. Белым в этот самый сложный для того период: «Весь русский Берлин стал любопытным и злым свидетелем его истерики. Ее видели, ей радовались, над ней насмехались слишком многие. Скажу о ней покороче. Выражалась она главным образом в пьяных танцах, которым он предавался в разных берлинских *Dielen* (танцевальных залах. – нем.). Не в том дело, что танцевал он плохо, а в том, что он танцевал страшно. В однообразную толчею фокстротов вносил свои „вариации“ – искаженный отсвет неизменного своеобразия, которое он проявлял во всем, за что бы ни брался. Танец в его исполнении превращался в чудовищную мимодраму, порой даже и непристойную. Он приглашал незнакомых дам. Те, которые были посмелее, шли, чтобы позабавиться и позабавить своих спутников. Другие отказывались – в Берлине это почти оскорбление. Третьим запрещали мужья, отцы. То был не просто танец пьяного человека: то было, конечно, символическое поправление лучшего в самом себе, кощунство над собой, дьявольская гримаса себе самому... <...>»

Другой очевидец – Вадим Андреев дополняет рассказ В. Ходасевича, не сгущая, однако, черные тона: «<...> Андрей Белый, сидевший за столиком, заставленным пивными кружками, в компании сильно подвыпивших немцев, выскочил на середину залы, подхватив по дороге проходившую мимо женщину, и пустился в пляс. То, что он выделял на танцевальной площадке, не было ни фокстротом, ни шимми, ни вообще танцем: его белый летний костюм превратился в язык огня, вокруг которого обвивалось платье плясавшей с ним женщины. Мне вспомнились его слова о том, что „жесты огня повторяют себя в лепестках цветов“ и что цветы – „напоминания об огнях космической сферы“».

Нина Берберова не менее обстоятельна в описании тогдашних встреч с Белым, но по-женски более участлива и жалостлива: «Андрей Белый был в тот период своей жизни – 1921–1923 гг. – в глубоком кризисе. Будучи со дня своего рождения „сыном своей матери“, но не „сыном своего отца“, он провел всю свою молодость в поисках отца, и отца он нашел в антропософе Рудольфе Штейнере перед первой мировой войной. Вернувшись на Запад в 1921 году, после голодных лет военного коммунизма, он встал перед трагическим фактом: Штейнер отверг его, и Белый, потрясенный раскрывшимся перед ним одиночеством, возвращенный в свою исконную незащищенность, не мог ни преодолеть их, ни вырасти из них, ни примириться с ними. <...>

Я видела его однажды играющим на старом пианино „Карнавал“

Шумана. Никто не слушал его, все были заняты своим, собой, то есть „свирепейшей имманенцией“. На следующий день он не поверил мне, когда я сказала, что он играл Шумана, а я с удовольствием слушала его, – он ничего не помнил. В другой вечер он два раза рассказывал Ходасевичу и мне, в мельчайших подробностях, всю драму своей любви к Л. Д. Блок и свою ссору с А. А. Блоком, и, когда, без передышки, начал ее рассказывать в третий раз, я увидела, что Ходасевич скользит со стула на пол в глубоком обмороке. В ту ночь Белый шумно ломился в дверь ко мне, чтобы что-то досказать, и Ходасевич в холодном поту шепотом умолял меня не открывать, не отвечать, – он боялся, что опять начнется этот дикий, страшный, не имеющий, в сущности, ни смысла, ни конца рассказ. <... >

А параллельно с этим он писал, иногда целыми днями, иногда – ночами. Это было время „Воспоминаний о Блоке“, которые печатались в „Эпопее“. Зимой мы жили в Саарове, под Берлином, где жил и Горький с семьей. Борис Николаевич гостил у нас часто и писал, а вечерами читал нам вслух написанное. Да, я слышала в его чтении эти страницы воспоминаний о Блоке и имела это высокое, незабываемое счастье. Бывало, до двух часов ночи он читал нам, сидя за столом, в своей комнате, по черновику, а мы сидели по обеим сторонам его и слушали. <... >

Между тем он беспрерывно носил на лице улыбку дурака-безумца. <... > Эта улыбка была на нем как маскарадная маска или детская гримаса, – он не снимал ее, боялся, что будет еще хуже. С этой улыбкой, в которой как бы отлито было его лицо, он пытался (особенно выпив) переосмыслить Космос, перекроить его смысл по новому фасону. <... > Но сила его гения была такова, что, несмотря на все его тягостные юродства, ежевечернее пьянство, его предательства, истерическую возню со своим прошлым, которое все никак не хотело перегореть, несмотря на все не только „сочащиеся“, но и „гноящиеся“ раны, каждая встреча с ним была озаряющим, обогащающим жизнь событием».

Кто бы ни общался в ту берлинскую пору с А. Белым – всех поражала наряду с экстравагантными выходками его поразительная работоспособность и феноменальная творческая плодовитость. Вспоминает литератор-эмигрант Александр Бахрах (1902–1986): «Можно только удивляться его здоровью и его небывалой выносливости, когда после таких бессонных и почти безумных ночей – иной раз он не мог отыскать дорогу к своему дому или открыть дверь ключом – он уже с утра, как ни в чем не бывало, усаживался за свой письменный стол перед горкой листов с желтоватым отливом и строчил, строчил, строчил своим характерным почерком. Он писал почти без помарок, редко когда перечитывая

написанное. У своего стола он сидел чуть ли не до самого вечера, ведя теперь бой с теньями прошлого и точно дожидаясь, когда наступит час, позволяющий ему снова окунуться в эту облюбованную им сомнительную „стихию“». Результат – налицо: за неполных два года пребывания в Берлине Андрей Белый издал 16 книг – семь переизданных и девять новых (и это, не считая многочисленных статей и рецензий, опубликованных в зарубежной и отечественной периодике).

\* \* \*

В ком в ком почувствовал А. Белый родственную душу, так это в Марине Цветаевой, приехавшей на некоторое время в Берлин из Праги. Особенно созвучными его душевному состоянию оказались ее стихи из цикла «Разлука», как будто написанные кровью его собственного сердца:

Все круче, все круче  
Заламывать руки!  
Меж нами не версты  
Земные, – разлуки  
Небесные реки; лазурные земли,  
Где друг мой навеки уже —  
Неотъемлем.

Стремит столбовая  
В серебряных сбруях.  
Я рук не ломаю!  
Я только тяну их —  
Без звука! —  
Как дерево-машет-рябина (так!)  
– В разлуку,  
Вослед журавлиному клину.  
<... >

Марина, зная Белого с юности, всегда чтит его талант прозаика и особенно стихотворца, хотя особой духовной близости не ощущала. В некоторых стихах Цветаевой, вне всякого сомнения, чувствуется влияние поэтической метрики и ритмики Белого. Сам он в гораздо большей степени

чувствовал родство душ и ощущал потребность просто в человеческом общении. Под влиянием встреч с Мариной Белый, как бы странно сие ни прозвучало, вновь ощутил потребность писать стихи. Он и сам ей про то говорил: «<...>Вы – чудо? Настоящее чудо поэта? И это дается – мне? За что? Вы знаете, что ваша книга изумительна, что у меня от нее физическое сердцебиение. Вы знаете, что это не книга, а песня: голос, самый чистый из всех, которые я когда-либо слышал. Голос самой тоски: *Sehnsucht* (страстное желание, тоска. – нем.). (Я должен, я должен, я должен написать об этом исследование!) Ведь – никакого искусства, и рифмы в конце концов бедные... Руки – разлуки – кто не рифмовал? Ведь каждый... ублюдох лучше срифмует... Но разве дело в этом? Как же я мог до сих пор вас не знать? Ибо я должен вам признаться, что я до сих пор, до той ночи, не читал ни одной вашей строки. Скучно – читать. Ведь веры нет в стихи. Изолгались стихи. Стихи изолгались или поэты? Когда стали их писать без нужды, они сказали нет.

Когда стали их писать, составлять, они уклонились. Я *никогда* не читаю стихов. И *никогда* их уже не пишу. Раз в три года – разве это поэт? Стихи должны быть единственной возможностью выражения и постоянной насущной потребностью, человек должен быть на стихи обречен, как волк на вой. Тогда – поэт. А вы, вы – птица! Вы поете! Вы во мне каждой строкой поете, я пою вас дальше, вы во мне поетесь дальше, я вас остановить в себе не могу. <...>»

Конечно, А. Белый по обыкновению преувеличивал. Стихи он писать продолжал, но все реже и реже. Иногда поэтическое вдохновение возносило его к высотам гениальности. Тогда и рождались строки, которые он сам считал лучшими в своем поэтическом творчестве:

Твой ясный взгляд: в нем я себя ловлю,  
В нем необъемлемое вновь объемлю,  
Себя, отображенного, люблю,  
Себя, отображенного, приемлю.

Твой ясный взгляд: в нем отражаюсь я,  
Исполненный покоя и блаженства,  
В огромные просторы бытия,  
В огромные просторы совершенства.

Нас соплетает солнечная мощь,  
Исполненная солнечными снами:

Вот наши души, как весенний дождь,  
Оборвались слезами между нами.

И «Ты» и «Я» – перекипевший сон,  
Растаявший в невыразимом свете,  
Мы встретились за гранями времен,  
Счастливые, обласканные дети.

О глубине и искренности взаимных чувств и поэтического влечения Цветаевой и Белого лучше всего свидетельствует письмо последнего от 24 июня 1922 года: «Моя милая, милая, милая, милая Марина Ивановна. Вы остались во мне, как звук чего-то тихого, милого: сегодня утром хотел только забежать, посмотреть на Вас; и сказать Вам: „Спасибо“... В эти последние особенно тяжелые, страдные дни Вы опять прозвучали мне: ласковой, ласковой, удивительной нотой: доверия, и меня, как маленького, так тянет к Вам. Так хотелось только взглянуть на Вас, что уже когда был на вокзале, то сделал усилие над собой, чтобы не вернуться к Вам на мгновение, чтобы пожать лишь руку за то, что Вы сделали для меня. Бывают ведь чудеса! И чудо, что иные люди на других веют благодатно-радостно: и – ни от чего. А другие – приносят тяжесть. И прежде еще, в Москве, я поразился, почему от Вас веет – теплым, ласточкиным весенним ветерком. А когда Вы приехали в Берлин и я Вас увидел, так совсем повеяло весной. А вчера?.. Знаете ли, что за день был вчера для меня? Я окончательно поставил крест над Асей: всю душой моей оттолкнулся навсегда от нее. И мне показалось, что вырвал с Асей свое сердце; и с сердцем всего себя; и от головы до груди была пустота; и так я с утра до вечера ходил по Берлину, не зная, где приткнуться с чувством, что 12 лет жизни оторваны; и конечно с этим куском жизни оторван я сам от себя. И заходил в скверы, тупо сидел на лавочке, и заходил в кафе и в пивные; и тупо сидел там без представления пространства и времени. Так до вечера. И когда я появился вечером, – опять повеяло вдруг, неожиданно от Вас: щебетом ласточек, и милой, милой, милой вестью, что какая-то родина – есть; и что ничто не погибло. Голубушка, милая, – за что Вы такая ко мне? <...>

Я ведь только тогда могу жить, когда есть для кого жить и для чего жить. И вот сегодня проснулся, а в сердце—весна: что-то окончательно оторвалось от сердца (и катится глухими провалами), и сердце, сердце обращено к свету; и легко; и милый ветерок весны; и – ласточки! И это от

Вас: не покидайте меня Духом. Б. Бугаев».

Стихотворный же цикл Марины Цветаевой «Разлука» настолько потряс Белого, что свой собственный стихотворный сборник он озаглавил «После разлуки: Берлинский песенник», имея в виду двойственный смысл – свою разлуку с Асей и хронологическую последовательность и преемственность с чеканными и одновременно щемящими душу цветаевскими стихами. О «Берлинском песеннике» Андрея Белого его биограф К. В. Мочульский сказал: это – «не песни, а вопли, страшный надрывный вой насмерть раненного зверя». И причина одна – Ася:

Ты, вставая, сказала, что – «нет»;  
И какие-то призраки мы:  
Не осиливает свет —  
Не осиливает: тьмы!.. (так!)  
.....  
Ты ушла... Между нами года —  
Проливаемая куда? —  
Проливаемая – вода:  
Не увижу – Тебя – Никогда!  
<... >

Постепенно Ася превратилась для бывшего мужа в «тень теней»:

Ты – тень теней...  
Тебя не назову.  
Твое лицо —  
Холодное и злое...

Плыву туда – за дымку дней – зову,  
За дымкой дней, – нет, не Тебя: бывшее, —

Которое я рву  
(в который раз),  
Которое, – в который  
Раз восходит, —

Которое, – в который раз алмаз —  
Алмаз звезды, звезды любви, низводит.

<... >

Однако у поэта хватило силы воли и для объективной самооценки. В сборник «После разлуки» вошла небольшая гротескная поэма с характерным названием «Маленький балаган на маленькой планете Земля». Написанная по канонам поэтического авангардизма, она к тому же, согласно пояснению автора, данному в эпиграфе, должна «выкрикиваться в форточку без перерыва». Так в конечном счете он оценивает трагикомическую ситуацию, в которой вдруг оказался, хотя трагизма в ней, конечно, гораздо больше, чем комизма:

В вызове  
Твоем —  
Ложь!..  
Взбрызни же  
В очи  
Забвение...  
Вызови ж —  
Предсмертную дрожь...  
Взвизгни ж,  
Сердце  
Мое,  
Дикий  
Вырванный  
Стриж, —  
– В бездны звездные,  
Сердце —  
– Ты —  
– Крики дикие  
Мчишь!..

И всюду – звезды, звезды и звездные бездны вокруг планеты Земля... Поэт-космист Андрей Белый до конца остается верным основным устремлениям всей своей жизни и в минуту отчаяния и крушения надежд по-прежнему ищет спасения в «звездных безднах». Его космическое мироощущение явственно прослеживается уже в предисловии к берлинскому сборнику «После разлуки»: «<...>Я вовсе не хочу спорить с

акмеистами, футуристами, имажинистами о классической форме, звуке и образе, я хочу лишь выдвинуть здесь основные тезисы мелодизма:

- 1) Лирическое стихотворение – песня.
- 2) Поэт носит в себе *мелодии*: он – композитор.
- 3) В чистой лирике мелодия важнее образа.
- 4) Неумеренное употребление посредственных элементов стиха (образа и звуковой гармонии) за счет мелодии самые богатства этих элементов превращает в верное средство – убить стих.
- 5) Довольно метафорической пересыщенности: поменьше имажинизма; и побольше песни, побольше простых слов (меньше труб) – гениальные композиторы гениальны не инструментами, а *мелодиями*: оркестровка Бетховена проще оркестровки Штрауса.

Впереди русский стих ожидает богатство неисчерпаемых мелодийных миров.

И да здравствует – „мелодизм“»!

А. Белый – космист пифагорейского склада: гармонию Вселенной он пытается понять на основе *математических закономерностей* – и не только в виде числовой упорядоченности, но и в форме поэтической ритмики и музыкального мелодизма. Музыка космических сфер ему являлась и слышалась всегда, подобно тому, как некогда открывала она свои таинства Пифагору, Кеплеру, Лейбницу, Владимиру Соловьеву, помогая установить наиболее существенные узлы взаимосвязи Макро– и Микрокосма...

Он и сам был, как космическая мелодия, – причем не в инструментальном исполнении, а по меньшей мере в виде могучего вселенского хора. Недаром К. Н. Васильева писала: «Жизнь сознания в нем, его самосознание было так многообразно построено, так многосоставно. Сколько сфер, зон, пластов и потоков в нем всегда пересекалось. Как бурно двигалась и неслась эта певучая ткань, образуя мгновенные смены переложений и сочетаний. <... > Это можно было бы уловить и передать лишь в формах музыки. И он, действительно, был как живая симфония. <...> Больше всего он был – музыка, и больше всего он был – ритм. Ритм и музыка едва сдерживались в нем человеческой формой...»

\* \* \*

На глазах Марины Цветаевой и при ее непосредственном участии



разыгрывался и последний акт драмы, связанный с пребыванием Белого в Германии. О настроении писателя в то время свидетельствует фрагмент его монолога: «На Европу надвинулась ночь.<...> Ядовитый газ войны ослепил Европу. Ослепленный разве видит тьму? <...> В России я был голоден, я вымерз, как земля в тундре, до сих пор вечная мерзлота сидит во мне, но в России я жил и видел живых людей. Таких же промерзших, как я, но живых! А здесь, в Европе, даже великий Штейнер оказался обезьяной. <...>»

Это, так сказать, общие соображения. Но были еще и сугубо личные, о которых он писал весной 1922 года издателю журнала «Новая русская книга» А. С. Яценко: «<...> Не сердитесь на меня: я серьезно нервно болен, – на почве многих неприятностей, о которых ведь не оповестишь в газетах. Уже давно, нервно больной, я работаю по 20 часов в день: пишу основные свои книги и сижу над грудой корректур. Между тем: со всех сторон на меня сыплются предложения, просьбы, требования; между тем: при помощи десятка писем выцарапываешь из России свои книги; между тем: у меня постоянные сердечные припадки; между тем: я совсем одинок и не умею себе пришить пуговицы; между тем: высунув язык, обегаешь целый ряд мест только чтобы – „не обиделись“; между тем: нервный доктор сказал. „Если вы не почувствуете хотя бы на 3 месяца себя свободным от всех обязательств, то вы умрете: нельзя жить в такой нравственной заторможенности“. <...> А сейчас, верьте мне: я болен, а – работаю все же целые дни; и если работать, то работать в основном русле; работать сразу в десяти направлениях (стихи, роман, воспоминания; статьи легкие, серьезные, полусерьезные и т. д.) это значит при моем состоянии нервов, как сказал доктор: „Сойти с ума“».

К тому времени Германия переживала тяжелейший экономический кризис. Галопирующая инфляция достигла запредельных темпов. Деньги превращались в ничего не значащие бумажки. Именно в это время встретила с Белым в Берлине переводчица его книг на итальянский язык Ольга Ресневич-Синьорелли. После смерти писателя она вспоминала: «<...> В сентябре 1923 г. у меня была личная встреча с А. Белым. Атмосфера тех дней казалась страницей, вышедшей из-под его пера. Это был самый жестокий момент инфляции. Обменный курс вывешивался на улице по четыре раза в день: марка головокружительно падала вниз. Жены служащих ожидали мужей у выхода из конторы, вырывали у них из рук полученный заработок и тут же бежали обменивать эти деньги. 20 ноября 1923 г., в день самого низкого курса, один доллар стоил четыре тысячи двести миллиардов марок. Многие представители русской интеллигенции

переселились в тот период за границу. Белый, сжигаемый, как его герой Дарьяльский, нестерпимой тоской по страдающей родине, был готов вернуться назад. Он узнал, что я нахожусь в Берлине и пожелал встретиться со мной. Он пригласил меня на ужин с двумя русскими друзьями в модный ресторан. Мы пришли раньше его. Помнится, обширный зал был уже наполнен густым дымом. Посетители либо оживленно беседовали за столиками, либо напряженно молчали с мрачным лицом. Белый вошел стремительно, подавшись всем телом вперед, словно плыл, рассекая это море дыма. Он принес мне в подарок все свои книги, вышедшие в Берлине, и сказал, что счастлив встретиться со мной лично. При этом он повторил то, о чем писал раньше – что он был бы рад, если бы я перевела краткий вариант его „Воспоминаний о Блоке“, когда он завершит работу над ними. В Берлине ему довелось претерпеть лишения. Но теперь он получил гонорары от издателей. Карманы его были полны белых банкнот – время от времени они сыпались на землю. То были миллионы, которые он должен был истратить. И он платил за всех. Деньги ему уже были не нужны, через пару дней он собирался уехать. В моей памяти запечатлелось молниеносное сверкание его глаз – то ярко-голубых, то фиолетовых; порой они, казалось, светились изнутри. Помню его взволнованный голос, когда он говорит о Микеланджело, о сотворении Человека, и его слова доходят до сознания и запечатлеваются в памяти не столько в силу их логического смысла, сколько в силу живого ритма и горячей убежденности его голоса».

Да, А. Белый давно уже принял решение как можно скорее вернуться на Родину и подал в советское консульство заявление на обратный въезд в Россию. Тем не менее внутренне продолжал колебаться. Эти сомнения от безысходности прекрасно передает письмо к Марине Цветаевой, отправленное в ноябре 1923 года из Берлина в Прагу: «Голубушка! Родная! Только Вы! Только к Вам! Найдите комнату рядом, где бы Вы ни были – рядом, я не буду мешать, я не буду заходить, мне только нужно знать, что за стеной – живое – живое тепло! – Вы. Я измучен! Я истерзан! К Вам – под крыло! <...> Моя жизнь этот год – кошмар. Вы мое единственное спасение. Сделайте чудо! Устройте! Укройте! Найдите, найдите комнату. <...>» (Марина комнату нашла, с хозяевами договорилась, но к тому времени А. Белый окончательно принял другое решение – вернуться домой в Россию.)

Верность берлинской дружбе и преклонение перед поэтическим талантом А. Белого Марина Цветаева сохранила до конца своих дней. На его смерть она откликнулась проникновенными воспоминаниями, озаглавленными с беспощадной точностью – «Пленный дух». Маленькая

дочка Цветаевой – Аля (Ариадна), которую взяли в Берлин, также оставила краткие дневниковые записи о встрече с поэтом: «Это был небольшого роста человек, с лысиной, быстрый, с сумасшедшими, как у кошки, глазами. Он мне очень понравился. <...>»

К этому времени в Берлин приехала и К. Н. Васильева. До Москвы доходили слухи – один тревожнее другого: Белый, дескать, находится в критическом положении; его необходимо немедленно спасать. Спасти в этой ситуации способен был один человек – она, Клавдия Николаевна, женщина тихая, но волевая, имевшая к тому же теперь на него не меньше прав, чем остальные. Она моментально оценила обстановку: если Белого не вырвать из создавшегося замкнутого круга, он окончательно сопьется, а то и хуже – постепенно сойдет с ума. Она как никто знала и понимала: его добивает тоска по Родине, без которой он ничто. К. Н. Васильева пробыла в Берлине около полугода. Но срок въездной визы в июле истек и ей пришлось вернуться в Москву, запустив механизм «обратного возвращения» Белого домой. Помимо преодоления обычных бюрократических проволочек, требовалось еще получить заключение соответствующих «органов» о благонадежности (замеченных в антисоветских настроениях назад в РСФСР попросту не пускали)...

Перед отъездом Белого домой писатели-эмигранты, с которыми он был более-менее дружен, устроили грандиозный прощальный обед. Настроение у всех (и прежде всего – у самого отъезжающего) было далеко не праздничным: одни откровенно завидовали собрату по перу, другие затаили обиду и даже злобу. Утром вместе сфотографировались на память, а вечером не обошлось без скандала и ссоры. Нина Берберова, присутствовавшая на писательском «мальчишнике», свидетельствует не без налета вполне понятного субъективизма:

«<... > Вечером был многолюдный прощальный обед. И на этот обед Белый пришел в состоянии никогда мной не виданной ярости. Зажав огромные кисти рук между колен, в обвисшем на нем пестро-сером пиджачном костюме, он сидел, ни на кого не глядя, а когда в конце обеда встал со стаканом в руке, то, с ненавистью обведя сидящих за столом (их было более двадцати) своими почти белыми глазами, заявил, что скажет речь. Это был тост как бы за самого себя. Образ Христа в эти минуты ожил в этом юродствующем гении: он требовал, чтобы пили за него потому, что он уезжает, чтобы быть распятым. За кого? За всех вас, господа, сидящих в этом русском ресторане на Гентинерштрассе, за Ходасевича, Муратова, Зайцева, Ремизова, Бердяева, Вышеславцева... Он едет в Россию, чтобы дать себя распять за всю русскую литературу, за которую он прольет свою

кровь.

– Только не за меня! – сказал с места Ходасевич тихо, но отчетливо в этом месте его речи. – Я не хочу, чтобы вас, Борис Николаевич, распяли за меня. Я вам никак не могу дать такого поручения.

Белый поставил свой стакан на место и, глядя перед собой ненавидящими глазами, заявил, что Ходасевич всегда и всюду все поливает ядом своего скепсиса и что он, Белый, прерывает с ним отношения. Ходасевич побледнел. Все зашумели, превращая факт распятия в шутку, в метафору, в гиперболу, в образ застольного красноречия. Но Белый остановиться уже не мог...»

23 октября 1923 года, в дождливый осенний день, Белый покинул Берлин. На знаменитом вокзале Zoo его провожало всего несколько человек...

\* \* \*

Уже 3 ноября Иванов-Разумник получил от Андрея Белого письмо, полное оптимистического настроения: «Хочется... поделиться... большой радостью: радостью быть в России; вот уже более недели я в Москве, и все еще не могу опомниться от счастья быть на родине; никогда еще пребывание вне России не было для меня столь тягостно, как последний год, никогда еще возвращение в Россию не казалось мне столь крупным событием жизни; да, все личное отступает перед возможностью дышать воздухом России. Как я жалею тех, кто не может вернуться в Россию. <...>

Берлин – место, где я получил тяжелейшие жизненные удары, – остается в памяти кошмаром; там я едва не погиб; и не знаю, что было бы со мною там, если бы я не вырвался вовремя; я не идеализирую современной России, но – вот: в прекрасных условиях комфорта сердце мое истекало кровью, а душа томилась в невыразимых беспокойствах, а здесь, в России, я обрел тишину и внутреннее счастье. Мне тихо и радостно, что „заграница“, куда я ехал долга ради, – уже за плечами: там произвел я тяжелую операцию над своею душою, едва не лишившись жизни; операция – кончена; рана – зажила; я вернулся свободным, не мертвым; впереди – неизвестность, и голос твердит: „Надо вступить на новый путь“. Не предрешаю, в чем этот путь: пусть вызреет он правдиво; будущее – покажет; в него гляжу непредвзято; но – знаю, что долго, долго теперь я не поеду никуда из России... <...>»

Отдышавшись и более-менее придя в себя от пьянящего воздуха

Отчизны, А. Белый отправил Иванову-Разумнику более обстоятельное письмо, и лейтмотив его был прежним: «<...> Все еще не могу оправиться от чистой радости; все мне в Москве кажется лучше, умнее, бодрее, чем в разлагающемся воздухе Берлина. 24 месяца жизни в Германии стоят за плечами, как тяжелый кошмар; Берлин – место, где я получил так много ушибов (скорее – ударов), место, где месяцами у меня опускались руки; а при мысли, что, может быть, меня не пустят в Россию, – я терял последние остатки самообладания. Помните, – я ехал главным образом для того, чтобы встретиться с Асей, ехал в Дорнах, ехал, чтобы ознакомиться с пульсом жизни культурной Германии; и – что же? Встреча с Асей отозвалась рядом тяжелых ударов и потрясений; 24 месяца моей жизни в Европе были жизнью без Аси (с ней мы виделись мимолетом, при ее проездах через Берлин); да и кроме того: она умерла в моей душе; и этот процесс ее умирания во мне переполнял более года мой организм такими душевными ядами, что я прибегал к вину, чтобы погасить остроту самосознания. Я ехал в Дорнах, а – просидел в Берлине, в самом безвкусном, пошлом, скучном, циничном городе в мире. <... >

Вместо ознакомления с культурными течениями Германии я наткнулся на среднего обывателя-немца; и жизнь двухлетняя, бок о бок с этим мещанином, впервые основательно поколебала мою веру в Германию: по моему: Германия Гёте, Фихте, Бетховена, Шумана, Вагнера, Ницше – умерла безвозвратно; Германию Бисмарка (выродившуюся в „фашизм“) и Германию социал-демократов я видел; и она, эта Германия, производила отвратнейшее впечатление. <...> Скоро я понял, что мы в России, отрезанные за эти пять лет от Европы и там выходящих книг, не только не отстали, а – шагнули: и – пребываем в каком-то новом измерении сознания. <...> Да, воочию я убедился скоро, как печальна, беспочвенна, бездеятельна русская эмиграция, среди которой немногие лишь делают отчаянные усилия, чтобы не задохнуться окончательно в общей духоте и духовном обнищании. <... >

Когда мне казалось, что меня не пустят обратно в Россию, я готов был перейти границу, явиться в Москву и сказать властям: „Я – все-таки вернулся; посадите меня хоть в тюрьму, сошлите хоть в Нарымский край, только не возвращайте за границу“... Да, Разумник Васильевич, – я вернулся с твердым сознанием: долго, долго не возвращаться в Европу; все то личное, что меня связывало с ней, – изжито (с Асей – покончено); с свободным вздохом благополучно исполненной тяжелой операции вернулся я в Москву, и около месяца не могу не нарадоваться на то, что я в России; я знаю: здесь будет мне не легко; не знаю даже, на что проживу (денег мало,

а – как их заработаешь?); но это все пустяки. <...>»

Однако родина встретила Белого без фанфар и литавров. Незадолго до его возвращения газета «Правда» опубликовала статью пока еще всесильного Троцкого, где бывший символист Белый<sup>[51]</sup> назывался «покойником», который никогда не воскреснет и который лежит на пути новой жизни и мешает социалистическому строительству: «В Белом межреволюционная (1905–1917), упадочная по настроениям и захвату, утончавшаяся по технике, индивидуалистическая, символическая, мистическая литература находит наиболее сгущенное свое выражение, и через Белого же она громче всего расширяется об Октябрь. Белый верит в магию слов; об нем позволительно сказать поэтому, что самый псевдоним его свидетельствует о его противоположности революции, ибо самая боевая эпоха революции прошла в борьбе красного с белым. <... > Сорванный с бытовой оси индивидуалист, Белый хочет заменить собою весь мир, все построить из себя и через себя, открыть в себе самом все заново, – а произведения его, при всем различии их художественных ценностей, представляют собою неизменно поэтическую или спиритуалистическую возгонку старого быта... <...>»

По возвращении в Москву А. Белый, не имевший собственного жилья, поселился у Анненковых в директорском двухэтажном домике на территории химзавода.<sup>[52]</sup> Хотя его «малая родина» – «страна Арбат» находилась совсем рядом, расположение временного пристанища писателя было крайне неудобным. Химзавод находился на самой городской окраине среди пустырей, добираться туда было более чем сложно: трамвайная линия сюда не доходила, прямая телефонная связь с городом отсутствовала, домой приходилось возвращаться рано, ибо в глухом и неосвещенном районе постоянно грабили одиноких прохожих. Тем не менее на первых порах другого жилища не предвиделось. Неразведенная Клавдия Николаевна жила с первым мужем П. Н. Васильевым в стесненных условиях старой коммунальной квартиры. Мать умерла за год до его возвращения из-за границы (получив в Берлине известие о ее кончине, А. Белый впал в прострацию и на некоторое время лишился дара речи.)

Кроме того, Белый вернулся домой, в Москву, что называется, без гроша в кармане. Деньги, заработанные перед отъездом из Берлина, моментально обесценились и мгновенно истратились по дороге. Как всегда, приходилось заботиться о «куске хлеба» и средствах к существованию. Он давно вынашивал план новой эпопеи, призванной послужить своего рода литературным противовесом роману «Петербург». Естественно, что

название пока не написанного произведения напрашивалось само собой – «Москва» (хотя первоначально озвучивались и другие заголовки). Утомительные и подчас унижительные хождения по издательствам на первых порах никаких результатов не принесли. Наконец его самого отыскал частный издатель И. Г. Лежнев (Альтшуллер), выпускавший журнал «Новая Россия», и предложил заключить договор «под замысел». Предприимчивый издатель задумал извлечь прибыль из безвыходного положения, в котором оказался Белый: сначала напечатать его роман в журнале, а затем – в виде отдельной книги, заплатив при этом автору только один раз. Пришлось соглашаться и идти на «кабальный договор».

Испытанный способ пополнения личного бюджета за счет лекций поначалу дал сбой: впервые лектора не приняла и освистала молодежная аудитория. Новому постреволюционному поколению в России были совершенно чужды былые символистские ценности, а их носитель – А. Белый – представлялся какой-то ирреальной тенью отжившего прошлого. А ведь говорил он о вещах конкретных и интересных: делился впечатлениями о жизни в Берлине. И название лекции придумал интригующее – «Одна из обитателей царства теней» (это о Германии) (потом с таким же названием вышла еще и брошюра Белого). Однако «пролетарская молодежь» на галерке свистела, улюлюкала и топала ногами, а благопристойная публика в партере минут пятнадцать безуспешно пыталась урезонить стихию неуправляемой аудитории. И все же лекция состоялась. Как только Белому дали начать, он овладел вниманием аудитории и держал ее в напряжении до конца выступления...

Именно с этого времени началось тесное сотрудничество А. Белого с Петром Никаноровичем Зайцевым (1889–1970). Познакомились они еще в 1911 году, когда молодой поэт Зайцев был членом ритмического кружка при издательстве «Мусагет», которым руководил Белый. После революции оба работали в московском Пролеткульте. И вот новая встреча. Литературная судьба П. Н. Зайцева сложилась не очень благоприятно: хотя стихи он продолжал писать, что называется, до глубоких седин, – при жизни сумел опубликовать всего один поэтический сборник. Литературная общественность знала его больше как издательского работника. Он был хорошо знаком со многими маститыми писателями и деятелями культуры, прекрасно знал издательский процесс. Так что предложение, сделанное Зайцевым Белому о помощи в организационных и бытовых вопросах, поступило как нельзя кстати и явилось настоящим подарком судьбы. Отныне П. Н. Зайцев сделался бескорыстным помощником Андрея Белого, добровольно взяв на себя трудоемкие функции секретаря и литературного

агента. Но главное – он стал надежным и преданным другом, пользовавшимся у Белого абсолютным доверием.

Сам Зайцев чуть ли не боготворил своего патрона, считая его одним из самых выдающихся писателей XX века. В одном из писем Белому он писал: «Верю глубоко: народ и страна нуждаются в Вас – единственном в наши дни художнике, мастере слова, мыслителе. <...>» Известен также написанный П. Н. Зайцевым сонет, посвященный А. Белому, где воссоздан поэтический образ мыслителя-космиста: «<...> Зачем же здесь твой беспокойный гений, / Какой мечтой эфирный гость пленен: / Не сменой ли полетов и падений? / Но что для Духа жизни бледный сон, / и все люциферические бури, / Когда в душе источники лазури!» Сохранились обширная переписка между Белым и Зайцевым, подробный дневник последнего, относящийся ко времени совместной деятельности. На склоне лет П. Н. Зайцев написал блестящие воспоминания об этом периоде своей жизни, главное место в них, естественно, отведено Андрею Белому.

В начале января 1924 года А. Белого пригласили в Петроград на чествование Федора Сологуба: отмечалось 40-летие литературной деятельности старейшины русского символизма. Белый подготовил к юбилею теплое поздравление, где заодно подвел некоторые итоги совместно пройденного пути: «Глубокоуважаемый и дорогой Федор Кузьмич! Позвольте мне в высокорадостный для нас, Ваших почитателей, день присоединить свой голос к хору других, чтобы выразить Вам жаркую благодарность за все то, чем Вы дарили нас многие годы; на ритмах и образах Вашей высокой и мудрой поэзии мы, некогда молодежь, воспитывались; на поразительных страницах Ваших романов, повестей, рассказов крепло самосознание наше, чеканились наши вкусы; много лет Вы дарили нас образами Вашего изумительного художественного дарования. <...> Более двадцати лет стоите Вы перед поколением, к которому я принадлежу, как дорогое всем русским имя, в ряду других дорогих нам имен. Толстой, Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Тургенев, Гоголь, Федор Сологуб были, есть и будут всегда нашими учителями. Нашему поколению, Федор Кузьмич, Вы особенно дороги сочетанием смелости, полета, „новых путей“, которые Вы открыли нам, с лучшими традициями великой русской литературы. Вы дороги нам, как строгий страж заветов искусства, стойко отстаивавший и отстаивающий лучшие традиции литературной чести и литературной порядочности. Вы для нас самой судьбой избранный третейский судья в вопросах нашей литературной злободневности. Вы близки нам не как художник только, но и как всем дорогой, необходимый Человек в высшем значении этого Слова



(Чело Века). Вы – „мэтр“ формы и стиля – еще и учитель наш в дорогом, незабвеннейшем смысле этого слова. Бесконечно дорогой, любимый, уважаемый Федор Кузьмич, позвольте мне, Вашему старинному почитателю, во многом ученику, пожать заочно Вам руку и просто обнять Вас и пожелать в этот радостный для всей русской литературы день еще долгого, плодотворного труда».

Однако намеченное на 28 января торжественное заседание в Александринском театре пришлось переносить на февраль из-за смерти и похорон В. И. Ленина. Страна погрузилась в траур. Трагическое событие дало повод для откровенного обмена мнениями. Тон задал Иванов-Разумник, Ленина не любивший и считавший (с эсеровских позиций) происходящее в России отступлением от социалистических чаяний и идеалов (накануне решением Второго Всесоюзного съезда Советов Петроград был переименован в Ленинград):

«<...> Ленин – не болото, и не родник, но уже миф. Он – символ конца петровского периода русской истории; более того – символ конца наполеоновского, послереволюционного периода истории европейской. Переименование Петербурга в Ленинград – безвкусно и никчемно, – так же нелепо, как Петру было бы переименовывать Москву в Петербург. Новые города, так же как и новую жизнь, не переименовывают, а строят. Но вот памятник Ленину надо бы поставить рядом с Адмиралтейством, по другую сторону площади, где стоит памятник Петру. На одной площади были бы тогда два символа – начала и конца петербургского периода истории. Символ не считается с тем, каков был человек. Пусть Петр был таким вырожденцем, каким его довольно плоско и малоталантливо нарисовал в одном из рассказов Пильняк; миф о Петре от этого не потерпел ущерба. А история живет мифом. Чем был в жизни Ленин – все равно. История будет жить легендой о Ленине... <...>»

А. Белый ответил 6 февраля: «Все, что Вы пишете о Ленине, ставшем „мифом“, верно: мы не учитываем грандиозности того, что происходит в мире. Москва представляла собой в дни похорон невиданное зрелище... А жест остановки движения по всей России, а ревы гудков по всей России? Лица, бывшие у гроба Ленина, возвращались потрясенные; все было так устроено, чтобы вызывать впечатления физического бессмертия; с людьми делалась истерика у гроба... А обелиск (саркофаг. – В. Д.), внутри которого можно будет еще долго видеть лицо Ленина, – разве это не напоминает все о каком-то новом культе; не вступаем ли мы в какой-то новый период, подобный периоду египетскому (воздвижением пирамид и т. д.)... Да, – остается с удивлением смотреть на события мировой жизни, стараясь

вычитывать из них еще новые шифры. <...>»

В своем, как всегда, обстоятельном письме А. Белый сформулировал немало любопытных мыслей, в том числе и относительно политической обстановки в стране (оказывается, он очень внимательно следил по подробным публикациям и отчетам в газетах за разворачивавшейся партийной борьбой между сталинцами и троцкистами). Откровенно высказался он и по поводу своих былых надежд и сомнений, касавшихся настоящего: «<...> Я когда-то, в эпоху начала символизма, жил с чувством, что „великое будущее“ приближается, жил с чувством, что „серенькие, понятные будни“ – кругом; будущее казалось „непонятым, великим“; и это будущее пришло; и оно не обмануло; оно, может быть, иному будет казаться и мрачным, но оно – „велико“: живешь в „великом настоящем“; это – факт; но оттого, что оно настало, оно не стало понятнее, а наоборот: оно стало – непонятнее... <...>»

\* \* \*

В первых числах марта в Москву приехал Максимилиан Волошин, где он не бывал со времен Гражданской войны. Если бы дела не требовали личного присутствия в государственных учреждениях, еще неизвестно, когда бы Макс сдвинулся с насиженного места в Крыму. А так – из рук самого наркома просвещения А. В. Луначарского получил опальный поэт удостоверение, дающее право на организацию на базе коктебельской усадьбы бесплатного дома отдыха для писателей. Макса даже в Кремль пригласили, где он не без вызова прочел Л. Б. и О. Д. Каменевым свои «контрреволюционные стихи». Тем более отвел душу в кругу старых и новых друзей. Немаловажным следствием этого визита в Москву и дружеских встреч явилось приглашение А. Белого с Клавдией Николаевной на все лето в Коктебель.

Приглашение пришлось как нельзя кстати. Во-первых, на некоторое время снималась острота квартирного вопроса. Во-вторых, Белый надеялся, что в спокойном уединении он быстро справится с новым задуманным романом. Серьезно и основательно настраивался на упорный литературный труд: положил на дно чемодана увесистую пачку писчей бумаги, заточенные карандаши, ручки и даже пузырек с чернилами. Увы, не получилось – ни покоя, ни уединения. В Коктебель понаехало столько гостей, что вместительный двухэтажный дом Макса трещал по швам. Даровитая и веселая публика не давала ни скучать, ни работать. В

«творческом заповеднике» Макса ко двору приходились все – писатели и поэты, художники и музыканты, драматические артисты и балерины. С утра до поздней ночи – шум, гам, смех, стихотворные конкурсы «на заданную тему», декламация, музицирование, пение, всевозможные игры и розыгрыши, театрализованные действия, прогулки и вылазки в горы. За сезон 1924 года в Доме поэта в общей сложности перебивало до 300 человек (в следующий 1925 год – и того больше). Одни приезжали на несколько дней, другие (как Белый с женой) – на все лето. Жили «коммуной»: общий стол, общие обязанности, коллективная ответственность. Андрею Белому, например, доверили важную (в условиях скученности и столпотворения) роль *подметальщика мусора*.

Беззаботно-богемную жизнь восторженно описывали многие очевидцы, гостившие в Доме поэта. Сошлюсь на воспоминания поэта Всеволода Рождественского. С утра дом был тих и погружен в молчаливую работу. В выбеленных комнатках, скромностью своей похожих на монастырские кельи, сосредоточенно скрипели перья. Видны были в окнах лохматые головы, низко склоненные над рукописями или листом с начатой акварелью. Где-то в глубине двора слышалась виолончель или приглушенное расстоянием колоратурное сопрано. Живописцы уходили в горы с этюдником через плечо и длинной палкой в руке. Молчаливые мечтатели лежали на прибрежном песке, подставляя загоревшее тело легкому ветерку. Дети строили песочные города, то и дело размываемые набежавшей волной. Энтузиасты одиноких прогулок медленно шли босиком вдоль пенной черты прибоя, острым глазом выискивая разноцветные, обточенные морем камешки.

За обеденным столом собирались для беседы, шелестя страницами газет и свежих журналов. И почти каждый вечер завершался беседой под звездами или чтением новых стихов. В начале августа, в день рождения Максимилиана Волошина, силами обитателей дома ставился торжественный «спектакль-феерия». Так как все виды искусства были налицо, легко можно представить, в какой праздник веселья, остроумия и творческой выдумки превращалось это, заранее подготовлявшееся втайне представление. Специально для этого случая коллективно сочинялась сатирическая пьеса, рисовались примитивные декорации, кроились фантастические костюмы. Представление шло под оглушительный смех зрителей, часто узнававших себя в действующих лицах. Стихи на случай, эпиграммы, дружеские послания, как мотыльки-однодневки, вольно порхали в коктебельском воздухе. Всегда суховато-серьезный В. Я. Брюсов превосходно изображал на подмостках злодеев в духе французских

мелодрам. Андрей Белый превращался в исступленного клоунавесельчака. Бородатые светила науки уморительно подражали замашкам мальчишек-беспризорников. Знаменитые балерины с упоением кружились в старинном татарском танце. В духе одесского фольклора импровизированно пелись сатирические куплеты.

К восседающему на троне «Максу», которого изображал какой-нибудь толстяк, подходили один за другим с шуточными стихотворными поздравлениями условно загримированные «Гомер», «Овидий», «Данте», «Вийон», «Виктор Гюго», «Шекспир», «Протопоп Аввакум», «Игорь Северянин», вплоть до делегации футуристов с «Давидом Бурлюком» во главе. Читались приветственные телеграммы от «египетских фараонов», «папы римского», «буйной запорожской вольницы» и т. д. В заключение давался невообразимо сумбурный концерт, пародирующий все жанры тогдашней эстрады. И было все это пестро, шумно и заразительно весело, на высоком уровне профессионального мастерства.

Хотя А. Белого разместили в волошинском доме достаточно удобно – на втором этаже, рядом с мастерской самого хозяина, – о работе над романом пришлось забыть надолго. Первые пять недель он вообще не покидал пляжа, жарился на солнце, загорел как «*арап*» (собственные слова писателя) и увлекся собиранием камушков. Иванову-Разумнику торжественно сообщал: «Великолепны, воистину, окрестности Коктебеля: сухие, строгие линии берегов, холмов, скал; что-то от архаической Греции ввелось в самое очертание природы; мне Коктебель напоминает греческий архипелаг. И потом – солнышко и „жара“, настоящая „жара“, которую мы все, люди севера, забыли; все это соблазняет: хочу остаться здесь до конца августа: выжариться и просолиться в море. Сперва я хотел здесь пробыть с месяц, но, попав в эту природу, понял, что это „*мои места*“; и решил остаться на все лето; несколько недель ползал на животе, ошаривая коктебельский пляж и собирая коллекцию камушков, которые здесь порой изумительны. <...>»

Увлечение собиранием камушков (в действительности – самоцветов, коими в то время так богат был полупустынный морской берег) превратилось в настоящую «каменную болезнь». И это не было какой-то причудой или «впадением в детство». Составление коллекции сердоликов и других халцедонов не просто успокаивало нервы, но и упорядочивало мысли. В минералогическом пестроцвете и чарующей красоте камней, выброшенных морскими волнами на берег, Белый видел своеобразное отражение гармонии Вселенной. Коллекцию крымских камушков он привез в Москву, держал в своем кабинете и любил показывать гостям. П. Н.

Зайцев рассказывал, как однажды на квартире Бориса Пильняка Андрей Белый встретился с Сергеем Есениным и тот стал подтрунивать, озорно подмигивая: «Говорят, Борис Николаевич, вы летом на пляже всё камушки собирали, вместо того чтобы роман писать?» Но новоявленный коллекционер терпеливо объяснил, что он собирал камни не как курортник от скуки, а как увлеченный художник, обращающий внимание на оттенки и форму, что впоследствии превращалось в колорит «словесной живописи».

[53]

Уже после смерти Волошина, последовавшей 29 января 1932 года, А. Белый вспоминал: «Вся обстановка коктебельской жизни в доме, художественно созданном Волошиным, и в быте, им проведенном в жизнь, вторично выявила мне М. А. Волошина в новом свете, и я обязан ему хотя бы тем, что, его глазами увидевши Коктебель, его Коктебель, я душой прилепился к этому месту. Он учил меня камушкам, он посвящал меня в метеорологические особенности этого уголка Крыма, я видел его дающим советы ученым-биологам, его посещавшим; мне рассказывали, как он впервые предугадал особенности, вытекающие из столкновения и направления дующих здесь ветров; он художественно вылеплял в сознании многих суть лавовых процессов, здесь протекавших, он имел интересные прогнозы о том, как должны вестись здесь раскопки, и определял места исчезнувших древних памятников культуры; он нас лично водил по окрестностям; и эти прогулки бывали интересными лекциями не только для художников и поэтов, но и для ученых. Задолго до революции он ввел в своем уголке любовь к физкультуре. <...>»

Действительно, в Максе Волошине А. Белый нашел азартного партнера для игры в мяч. Гости бросали все дела и стекались понаблюдать за этой уморительной парой: маленький сухонький, живой, как ртуть, Белый и огромный, неповоротливый, апатичный Волошин. Художники делали зарисовки, остальные «болели» – кто за одну, кто за другую сторону. Тогда же известная «мирискусница» Анна Петровна Остроумова-Лебедева (1871–1955), также приехавшая на лето к Максиму, написала великолепный акварельный портрет Белого.<sup>[54]</sup> Не всё, однако, складывалось гладко. Сын Корнея Чуковского – Николай, начинающий писатель, оказавшийся в то время в Коктебеле, оставил подробные, хотя и неприятные воспоминания, где с фотографической (даже – кинематографической) точностью воссоздал живой словесный портрет А. Белого, каким он тогда был, и подробнейшим образом описал события, свидетелем которых он случайно стал.

Николай Чуковский не без легкого юмора описывает первое появление

Белого в сопровождении пяти (!) антропософок, отчества которых – всех пяти – по странному совпадению были Николаевны. Они держались замкнуто и обособленно, табунком ходили за Белым и получили у острой на язык братии Коктебеля укороченное собирательное прозвище – «Николавны». Чуковский, видимо, не подозревал, что сам Макс Волошин – в прошлом активный антропософ, участник строительства Гётеанума в Дорнахе – по-прежнему благоволил тайному учению Рудольфа Штейнера и оказывал всяческую поддержку его адептам, вынужденным вести воистину конспиративный образ жизни.

«Белый, – пишет Н. Чуковский, – несмотря на седину и лысину, был в то время еще сухощав и крепок. Лицом он казался значительно старше своих сорока четырех лет, но тело имел совсем юношеское, очень скоро покрывшееся коричневым загаром. Ходил он быстро, легко, был подвижен, деятелен и говорлив. Говорил торопливо, с присвистом, сильно жестикулируя, и маленькие голубенькие глазки его, как буравчики, вонзались в собеседника. Вставал он рано, шел на пляж, купался в стороне от всех, – потом много часов бродил по берегу, собирая камешки. <...> На мужской пляж он не ходил, и многое в тогдашних слишком свободных коктебельских нравах было ему, по-видимому, не по вкусу. Помню, каким раздраженным вернулся он однажды с берега моря и с каким возмущением рассказывал, как две незнакомые дамы подошли к тому месту, где он сидел, и стали раздеваться в нескольких шагах от него. Он долго не мог успокоиться, пришепetyвал и присвистывал от негодования, а Макс, поклонник античности и свободы, глядел на него, добродушно и хитро улыбаясь в бороду.

С женщинами Белый был учтив до чопорности. Вскоре оказалось, что он отличный и страстный танцор. Из Берлина привез он новый танец – фокстрот, о котором мы до тех пор никогда и не слышали. Он решил обучить фокстроту нас всех и в одной из больших комнат... <... > устроил танцевальный вечер. Явился он в домино, надетом на голое тело, – точно таким, какое описано в его романе „Петербург“. Танцевал он стремительно, пылко, самозабвенно и мою девятнадцатилетнюю жену явно предпочитал как партнершу всем своим пятерым антропософкам.

Антропософией он, по-видимому, увлечен был сильно. Вскоре после приезда он собрал нас и прочитал нам лекцию по антропософии. Говорил он быстро, со всеми внешними признаками вдохновения, присвистывал, ходил, жестикулировал, но из его лекции я не запомнил ни одного слова – настолько чуждо было мне все, что он говорил. В углу стояла черная школьная доска, и, в пояснение своих мыслей, он мелом начертил на ней

круг, пронзенный стрелой. Круг должен был обозначать „бытие“, а стрела – „сознание“. Впрочем, не помню, может быть, и наоборот. Слушали его почтительно, но сдержанно, и лекция ни на кого, кроме Николаев, впечатления не произвела. А Макс, тот откровенно посмеивался... <...>»

Далее Н. Чуковский рассказывает, как А. Белый постепенно завладел вниманием всех отдыхающих. Его стихи принимались слушателями восторженно. Слушать его под кокетельскими звездами было большим наслаждением. Читал он много и охотно. Говорил Белый не умолкая. По большей части ни о какой антропософии и намека не было, зато любил рассказывать что-нибудь забавное или страшное. Он знал множество страшных рассказов, передавал их мастерски, и в темноте под крымскими звездами они звучали особенно жутко. Впечатлительные дамы чуть ли не в обморок падали, когда рассказчик свистящим шепотом произносил: «Горло перерезано, бритва на полу!» Это «перерезанное горло», пишет мемуарист, окончательно отодвинуло Макса на задний план и довело его до ревности.

Размолвка между старыми друзьями произошла на глазах у всех. Случилось это после того, как Белый устроил чтение инсценировки романа «Петербург». Слушать его собрались фактически все гости Макса, до отказа заполнив мастерскую художника. Белый читал стоя, расхаживал под бюстом египетской богини Таиах, то кричал, то шептал, размахивал руками, вкладывал в чтение весь свой темперамент. Слушатели расположились где попало – на ступеньках деревянной лестницы, на тахте, на ковре. Макс сидел у окна, спиной к морю, за маленьким столиком, раскрыв перед собой большой альбом, разложив акварельные краски и кисточки. Слушая, он писал свои пейзажи, не глядя на натуру и сидя спиной к окну. Он настолько углубился в свои акварели, что нельзя было даже сказать, слушает он или нет. Ни разу не показал, что роман ему нравится.

Буря разразилась после чтения – когда началось обсуждение. Выступавшие поначалу говорили комплиментарно, – пока не выступил Макс. В его выступлении, внешне вполне корректном и очень добродушном, было несколько насмешливых колкостей. Это вывело Белого из себя. Он даже растерялся от неожиданности. Перебивая Макса, он возражал ему дрожащим от обиды фальцетом – и довольно невразумительно. В его выражениях были намеки на что-то давнее, присутствовавшим неизвестное и непонятное (скорее всего, касающееся Маргариты Сабашниковой). Один из выступавших стал защищать инсценировку с марксистских позиций, за что вызвал гнев и презрение Макса, который в то время, как и все ему близкие люди, считал марксизм

явлением дурного тона, свидетельствовавшим об отсутствии вкуса. Белый немедленно взял марксизм под защиту (в его уме каким-то таинственным образом марксизм уживался с антропософией). Страсти накалялись, началась общая сумятица, и кончилось это тем, что Белый решил немедленно уехать и пошел укладывать свой чемодан. Все пять антропософок «Николавен» вышли вместе с ним и тоже отправились укладывать чемоданы. Ссору эту Максу все же удалось уладить – они объяснились наедине, и Белый остался. Чувствовалось, однако, что между поэтами пробежала черная кошка...

За несколько дней до своего отъезда Н. Чуковскому довелось поговорить с Белым наедине. Тот сам подошел в сумерках к молодому писателю, лежавшему на песке и смотревшему на звезды. Белый сел рядом и неожиданно высказал одну из своих заветных космистских мыслей, которые, судя по всему, постоянно не давали ему покоя: «Сейчас установлено, что строение атома подобно строению Солнечной системы. Таким образом, мы вправе предположить, что все видимые нами созвездия – только атомы, составляющие, скажем, пятку какого-нибудь исполинского Ивана Ивановича, который сидит на балконе и пьет чай. Вот и ищи после этого смысла Вселенной»... [\[55\]](#)

«Гвоздем программы» летнего сезона в Коктебеле был приезд В. Я. Брюсова. С Белым с глазу на глаз он не встречался давно, с тех пор как еще до революции произошло досадное недоразумение с публикацией в журнале «Русская мысль» романа «Петербург». Изредка оба писателя, конечно, сталкивались на разного рода наркомпросовских мероприятиях, но быстро разбегались в разные стороны. И вдруг представилась идеальная возможность забыть старые обиды, восстановить дружеские связи, спокойно и наедине поговорить по душам, вспомнить нехудшие моменты общего символистского прошлого. («Мы примирились безо всяких объяснений», – скажет позже Белый.) Только вот где же оно – «спокойно и наедине»? Волошинский Дом поэта бурлил, как проснувшийся вулкан, втягивая всех в неповторимый ритм творческого отдыха. 26 августа вся коктебельская братия самозабвенно отмечала именины Макса Волошина. Каждый заранее подготовил шуточный сюрприз. Особенно отличились Белый и Брюсов. Совместно они разыграли сценку-пародию на тему какой-то мелодраматической киноленты: Брюсов изображал командующего французским аванпостом в Сахаре – «капитэна» Пистолэ-де-Флобера, а Белый – сомнительного авантюриста Барабулли. Оба проявили блистательные актерские способности и в какой-то мере наглядно продемонстрировали дух соперничества, который сопровождал их на



протяжении всего знакомства, особенно убедительно – в заключительной сцене, где, согласно сценарию, «капитэн» Брюсов с горячим воодушевлением арестовывал «мошенника» Белого и отправлял его в тюрьму... Веселились оба от души. Но спустя месяц А. Белому пришлось участвовать уже в печальной церемонии – траурной. Безмятежное и элегическое пребывание Брюсова в Коктебеле закончилось трагедийно. Перед отъездом Валерий Яковлевич попал под ураганный ливень у Карадага, сильно простудился и, возвратившись в Москву, через месяц (9 октября 1924 года) скончался.<sup>[56]</sup>

\* \* \*

Роман «Москва» по-прежнему не сдвигался с «мертвой точки». Но это вовсе не означало, что Белый только купался в море и загорал на солнце, собирал камушки, играл в мяч, участвовал в любительских спектаклях и занимался, как он сам выразился, «чесанием языком». И не только инсценировку «Петербурга» прочел он вслух на вечерних посиделках, но и поэму «Первое свидание», а также лекцию «Философия конкретного знания» и «Слово о Владимире Соловьеве» (в день памяти философа). В диспутах и дискуссиях по обыкновению участвовал горячо и запальчиво. Особенно запомнился спор с молодежью – «Россия и Запад», о сравнительной ценности русской и европейской культур, тогда Белому пришлось выступить в роли неославянофила, отстаивая самобытность русской литературы и искусства. В другой раз в ответ на выпад одного из гостей в адрес Максима Горького Белый демонстративно покинул раззадорившуюся компанию...

Мирил правых и виноватых спорщиков, как всегда, Макс Волошин – ему это удавалось идеально. Перед отъездом он подарил Белому и Клавдии Николаевне по акварели с видами Карадага. Надписи сделал такие: «Дорогая Клодя, мне бы хотелось, чтобы это небо, запечатленное на коктебельском камне, вновь привело вас сюда. Макс. Коктебель. 10. IX. 1924»; «Милый Боря, мне бы хотелось, чтобы эта моя земля стала и твоей землей. Вернись в Коктебель. Макс. 11. IX. 1924. Коктебель».

Через два месяца Волошин уже писал Белому в Москву: «Коктебель рано опустел и наступила ранняя зима. В доме тихо, тепло, уютно. Отъединено от всего мира. Если тебе нужно полной тишины и уединение для большой работы, то приезжай. <...> К концу лета я чувствовал себя смертельно усталым от того непрерывного потока людей, который шел

через меня с февраля месяца (моего отъезда на север), но теперь с глубоким чувством вспоминаю все, что было. Особенно наши вечерние беседы в самом начале лета, когда еще было не так людно». Еще на одной акварели, подаренной позже, Макс напишет: «Милый Боря, не забывай, что Коктебель тебя ждет всегда»...

По возвращении в Москву Белый вновь столкнулся с житейскими неурядицами и невозможностью полноценной творческой работы: «Вот внешние очертания моей жизни: за Москвою-рекой работа по 18 часов в сутки, бессонные ночи, одышка, головные боли; в Москве – неприятности, неприятности, неприятности; и – отдых у Васильевых». Неприятности заключались в основном в «квартирном вопросе» и обострившихся отношениях с хозяйкой «директорского домика». По характеристике Белого, сам приютивший его хозяин – милый и забитый человек, с утра до вечера пропадающий на своем химзаводе и полностью находящийся под каблуком своей скандальной супруги – Веры Георгиевны Анненковой, которую за необузданный нрав писатель окрестил *Горгоновной*, создавшей абсолютно нетерпимую обстановку в собственной квартире. В таких условиях доведенный чуть ли не до нервного срыва Белый работать совершенно не мог – даже по ночам. И Клавдия Николаевна, также принужденная жить в отрыве от любимого человека, принялась с присущей ей практичностью искать кардинальное решение вопроса. Выход нашелся, но не сразу: решено было снять комнату-две в ближнем Подмоскowie и переселиться туда для постоянного проживания...

12 октября 1924 года состоялись государственные похороны В. Я. Брюсова (умер он 9 октября). Многотысячная толпа проследовала от «дома Ростовых» на Поварской (где размещался Высший литературно-художественный институт имени В. Я. Брюсова) к Пречистенке. С балкона бывшей Поливановской гимназии (когда-то здесь учились и Брюсов, и Белый, а теперь располагалась Государственная академия художественных наук – ГАХН) надгробное слово произнес А. В. Луначарский, назвавший покойного «великим поэтом». Заплаканный Белый стоял под самым балконом, и когда выступавший вслед за наркомом президент ГАХН, известный идеологический приспособленец П. С. Коган,<sup>[57]</sup> в прошлом резко критиковавший Брюсова, принялся славословить по поводу творчества покойного, Белый не выдержал, громко, так, что слышали все вокруг, спросил: «А раньше вы что писали?» Расстроенного вконец писателя одернули, отчего он окончательно смешался и даже не смог последовать за процессией на кладбище, а только проводил гроб с телом вдоль тротуара, осознав, наконец, кем был в его жизни Брюсов – ЭПОХОЙ,

УЧИТЕЛЕМ, ПОЭТОМ (так он потом, описывая прощание с мэтром символизма, скажет в мемуарах «Начало века»).

К концу года Белый завершил первые две главы романа «Москва» и сдал их в издательство для решения вопроса о дальнейшей публикации. Друзья помогли также расторгнуть кабальный договор с И. Лежневым и заключить новый – с государственным издательством и на более выгодных условиях. Главную роль в положительном решении этого юридически и технически непростого вопроса сыграли Александр Воронский и Борис Пильняк. Последний попытался также реализовать блестящую по замыслу идею – получить разрешение на организацию журнала «3-х Борисов» (как он его в шутку именовал) – Бугаева (Белого), Пастернака и Пильняка, но на сей раз пробить бетонные укрепления твердолобых идеологических бюрократов не удалось...

Исключительно сердечные отношения сложились у «Бориса № 1» с «Борисом № 2» – Пастернаком (1890–1960), который с ранней юности преклонялся перед творчеством Андрея Белого. Сохранились воспоминания студенческого товарища Пастернака, слушавшего доклад Белого о Достоевском 1 ноября 1910 года в особняке М. К. Морозовой на заседании Религиозно-философского общества в присутствии Александра Блока. Просторный зал роскошного морозовского дома был заполнен до отказа, два студента едва нашли свободное место в проходе. Мемуарист пишет: «Я слушал, стоя в проходе и чувствуя, что возле меня кто-то, не безразличный мне. Оглянувшись, я прежде всего увидел глаза. Это было очень странно, но в тот момент я увидел только глаза стоявшего возле меня. В них была какая-то радостная и восторженная свежесть. Что-то дикое, детское и ликующее. Я припомнил фамилию и протянул руку. Мы уже встречались в кулуарах историко-филологического факультета. То был Борис Леонидович Пастернак».

В дальнейшем Борис Пастернак стал появляться на заседаниях кружков при издательстве «Мусагет», где и познакомился с А. Белым лично. Последний с теплотой вспоминал о Пастернаке тех лет: «<...> Помню я милое, молодое лицо с диким взглядом, сулящим будущее». Но более всего Белый ценил незаурядное поэтическое дарование поэта и однажды даже назвал «последним мерилем первичности» [в литературе]. Пути их пересекались до последних дней. Общаться приходилось в самых различных обстоятельствах. В конце января 1918 года, например, на квартире одного из московских поэтов вместе присутствовали на чтении Владимиром Маяковским поэмы «Человек». Теперь уже вспоминает Пастернак: «Он слушал как замороженный, ничем не выдавая своего

восторга, но тем громче говорило его лицо. Оно несло навстречу читавшему, удивляясь и благодаря. <...> Большинство из рамок завидного самоуваженья не выходило. Все чувствовали себя именами, все – поэтами. Один Белый слушал, совершенно потеряв себя, далеко-далеко унесенный той радостью, которой ничего не жаль, потому что на высотах, где она чувствует себя как дома, ничего, кроме жертв и вечной готовности к ним, не водится. Случай сталкивал на моих глазах два гениальных оправдания двух последовательно исчерпавших себя литературных течений. В близости Белого, которую я переживал с горделивой радостью, я присутствие Маяковского ощущал с двойной силой». (Белый, по собственному выражению, был в экстазе от стихов Маяковского и позже присутствовал на повторном чтении поэмы «Человек» в Политехническом музее, где принял участие в дискуссии.)

Позже в одном из писем Пастернаку Белый писал: «Дорогой, милый Борис Леонидович! Сильно порадовали меня своим письмом; и – главное: порадовали словами о себе; уезжая (накануне отъезда) я узнал о том, что у Вас – осложнение гриппа; и признаться: очень беспокоился. <...> Я ужасно беспокоичив (так!); не говоря о том, что я Вас глубоко ценю, как поэта и писателя, я очень-очень нуждаюсь в Вашем бытии, как человека. Хотя мы мало видимся и живем, каждый, в своем, очерченном рабочем круге, но я часто, откидываясь от письменного стола мысленно, так сказать, озираю горизонт друзей и перекидываюсь с ними мыслями. Очень странно: с некоторыми людьми я веду перманентный разговор не тогда, когда мы вместе, а именно тогда, когда я держу в воспоминании слова и жесты человека, – в воспоминании, вычерчивающем и углубляющем то, что броском сказано при встречах. Одни слова и встречи в воспоминании улечиваются; другие – орельефливаются (так!), перестав быть плоскостными; и вот встречи наши, пусть нечастые, всегда мне вырезаются в памяти, и я, иногда через месяц после нашего разговора, нахожу верные реплики к Вашим словам; а это– значит: подсознание крепко держит мир Ваших образов и мыслей. А когда я узнал перед отъездом, что Вам плохо, я испугался и затревожился, – и по этой тревоге впервые понял, насколько Ваш образ врезан в мое сознание».

Переписка и общение поэтов продолжалась до последнего дня. Пастернак неоднократно бывал у А. Белого в гостях, по рекомендации Белого ездил на Кавказ, после смерти поддерживал его вдову – Клавдию Николаевну. Подписал некролог в газете «Известия», вызвавший огромный резонанс, и в духе сформулированных там идей о Белом как *гениальном поэте* выступил на гражданской панихиде...

Упомянутую выше инсценировку романа «Петербург», прочитанную гостям Коктебеля и чуть не ставшую причиной размолвки с Максом Волошиным, Белый завершил давно. МХАТ 2-й (так тогда именовался филиал Московского Художественного Академического театра) взялся за постановку, попросив автора немного ее переделать. Активную роль в этом деле сыграл выдающийся русский актер и руководитель МХАТа 2-го Михаил Александрович Чехов (1891–1955) – племянник великого писателя. Популярность его в России (до того, как он в 1928 году навсегда покинул Родину) была огромной, уступавшей только Шаляпину. Помимо всего, Михаил Чехов являлся убежденным и активным антропософом (что не в последнюю очередь послужило причиной его разрыва с коллективом МХАТа и отъезда за границу). Именно на основе антропософии и произошло сближение актера с Белым еще до отъезда того в Берлин в 1921 году. Оба почувствовали друг к другу искреннюю симпатию и взаимную тягу.

После возвращения Белого из-за границы контакты продолжились и превратились в настоящую дружбу. Встречались часто – и в театре, и на квартире Чехова, и в других местах. Белый с удовольствием посещал спектакли, где играл Михаил Александрович (только на «Гамлете» с Чеховым в главной роли Белый побывал несколько раз и оставил блестящий разбор игры артиста). На квартире Чехова Белый выступал с антропософскими докладами, в частности, в течение полугода читал спецкурс из двенадцати лекций «История становления самосознающей души». И вот постановка «Петербурга»! Впервые А. Белый увидел ее на генеральной репетиции. Не все пришлось автору по душе – особенно в оформлении спектакля: чтобы изобразить петербургские туманы, всю сцену завесили полупрозрачной кисеей. Но исполнение Чеховым роли сенатора Аблеухова стало воистину гениальным. Под впечатлением увиденного Белый написал другу-актеру огромное письмо:

«<...> Несколько слов об Апол[лоне] Аполл[оновиче]. Я вышел сегодня из театра совершенно потрясенный фигурой сенатора; встала передо мною какая-то огромная фигура, которую я узнал, чуть ли [не] по снам; этот сенатор, человек в земном разрезе, помимо всего еще где-то сидит в царстве первообразов; „вечный“ старик: какая-то *космическая фигура*; когда он прислушивается к тиканью, то одним ухом он слушает с недоумением, а другим ухом все „знает сам“, ибо он сам сделал где-то в

„мирах“ эту сардинницу (консервная банка, в которую была помещена бомба с часовым механизмом. – В. Д.); и тиканье ему не удивительно; я легкомысленно раз выразил Вам отношение к этому „Старику“, что он умер до поднятия занавеса; „я не то хотел выразить“: не в смысле 2-й смерти он мертв, а в смысле прижизненного престуселения (так в оригинале. – В. Д.) через порог жизни и смерти; в каком-то смысле он давно уже вышел из себя и катит перед собой свое тикающее сердце, которое становится от этого его разрывающей (не его собственно) бомбой; я не знаю, кто „этот старик“, но он – „вечный“; Вам удалось сочетать воедино человеческий образ с *космическим* так, что в человеческом аспекте умирает лишь один минеральный состав, а пульсы жизни – продолжают тем стремительнее пульсировать из стихийного мира; и тогда „человек“ в сенаторе вторично рождается, но уже из отсюда в сюда он смотрит, мучаясь в защеме (так!) костей своих. Боюсь, что заговариваюсь, что – вполне непонятно, что хочу выразить; но очень трудно мне обложить словами то невероятно огромное впечатление от образа сенатора. Сейчас прочел в „Веч[ерней] Москве“, что этот образ ставят выше Вашего Хлестакова. Конечно! В образе сенатора Вы достигаете для меня предельной высоты. Образ сенатора, мной увиденный когда-то в романе, содержится внутри Вашего образа, как лишь часть его, лишь одно воплощение его. Вы даете *Urbild* (прообраз. – нем.), от этого „мой“ сенатор становится сквозным; в нем проступают непроизвольно для меня новые, углубляющие его безмерно смыслы» (выделено мной. – В. Д.).

Приведенный фрагмент бесспорно свидетельствует и о глубинной *космической* первооснове как самого романа и его персонажей, так и его инсценировки. Сама же премьера «Петербурга» во МХАТе 2-м состоялась 14 ноября 1925 года...

Только теперь можно было по-настоящему начать работу над эпопеей «Москва» – основным литературным произведением, над которым Белому предстояло трудиться в ближайшие годы. План очередного грандиозного романа (точнее, задуманного цикла из многих романов) менялся неоднократно – как и названия написанных частей. Успел написать три романа – «Московский чудак», «Москва под ударом», «Маски» (все три теперь как раз и объединены под общим названием «Москва»), доведя повествование до Первой мировой войны. А ведь главное (и, к сожалению, так и не осуществленное) планировалось далее – Февральская и Октябрьская революции, Гражданская война, советская Россия).

О чем же на сей раз писал А. Белый? Если говорить о фабуле, то она предельно проста, если не сказать – примитивна. Автор и сам это прекрасно понимал, пересказывая сюжет. В качестве центрального

персонажа романов выведен чудаковатый математик профессор Коробкин – в нем без труда угадывался отец Белого – Николай Васильевич Бугаев. Знаменитый ученый Коробкин сделал эпохальное открытие, лежащее на стыке математики и теоретической механики и применимое к военному делу: всепроникающие лучи невероятной разрушительной силы, предвосхищающие современное лазерное оружие.<sup>[58]</sup> Само собой разумеется, об этом пронюхали тайные агенты великих держав. Действуя через авантюриста Мандро (своего рода маркиза де Сада и Калиостро XX века, как поясняет сам Белый), они начинают выслеживать профессора с целью завладения его секретом.

Сам Мандро, однажды уже пойманный с поличным как немецкий шпион и как развратник, изнасиловавший собственную дочь Лизашу, вынужден скрываться. Припертый к стене, он решается на крайнее средство: силой вырвать у профессора все бумаги и записи, относящиеся к открытию, чтобы продать их заинтересованной стороне (в чем видит залог своей ненаказуемости). Загримированный Мандро проникает в пустую квартиру Коробкина, где тот ночует один, связывает свою жертву и устраивает изощренную пытку жертвы, во время которой в умоисступлении выжигает профессору глаз. Тот сходит с ума, но бумага, зашитых в жилете, не выдает.

У профессора есть друг, Николай Николаевич Киерко, революционер-подпольщик, большевик, разыгрывающий из себя шутника, шахматиста и бездельника. Он случайно узнает о бесчестии, пережитом Лизашей, у которой среди хаоса болезненных, чисто декадентских переживаний есть и нечто, роднящее ее с утопиями в духе социалистического города Солнца. Киерко дружески сближается с девушкой и старается поднять ее утопические представления до марксистских... Вот такое в общем-то «страшное кино»! «Позвольте, но где же здесь космизм?» – наверняка подумает докучливый и скептически настроенный читатель. Однако он явно забыл, что имеет дело не с реалистическим повествованием и даже не с сатирическим гротеском, а с романом, написанным автором, опирающимся на *символистский* опыт и отнюдь не изменившим своему эстетическому кредо.

Следовательно, и воспринимать последние романы Белого необходимо с точки зрения символистских (и отчасти антропософских) установок. Иначе вообще ничего не поймешь! В данной связи прежде всего обращает на себя внимание, что роман «Москва» (точнее – первая его часть) посвящен (как это имело место в прошлом) не очередной возлюбленной или близкому другу, а *«памяти архангельского крестьянина Михаила*

Ломоносова»! Белый пояснил однажды, что ни одно слово здесь не случайно: прилагательное «архангельский» и имя Михаил символизируют *архангела Михаила* (причем в антропософской интерпретации этого библейского персонажа). В качестве эпиграфа к роману также взята строка из знаменитой оды Ломоносова: «Открылась бездна – звезд полна» (пунктуация Белого. – В. Д.). Вот он и первый космистский аккорд!

Более подробно космическое содержание и космистский код романа (а заодно органическую увязку с ним эпиграфа, заимствованного у Ломоносова) Белый расшифровал в подробнейшем письме Иванову-Разумнику от 25 ноября 1926 года, где обстоятельно излагает литературный и философский процесс превращения его «личной космологии» во вселенскую *КОСМЭТИКУ* (*Космос + этику*).<sup>[59]</sup> На примере фабулы и главных действующих лиц романа «Москва» писатель обосновывает оригинальную философско-этическую (иначе не скажешь!) мысль: если проигнорировать «космический фон» романа, то это неизбежно приведет к одной из двух крайностей – либо к «безнравственной науке», либо к «нравственной мечтательности». «Первая, – пишет Белый, – ведет к попытке воспроизвести „человекоглавого“ удава; вторая вырачивает удавляющего человека, человека-палача, карающего и только карающего за проступки других».

Носителем второго типа «морали» в романе «Москва» выступает гротескный обыватель Грибиков – злобный старик «с видом скопца и старьевщика», олицетворяющий торжествующее мещанство, воинствующую пошлость и воистину сатанинское зло. Этот отвратительный персонаж потребовался писателю, дабы наглядно показать, даже самому неискушенному читателю, к чему может привести обывательская этика одномерного человека, сдавленного тисками тоталитарного режима: он становится трусливым мещанином, доносчиком, извергом и палачом. Нравственные «ценности» таких людей сливаются со *всемирным злом*, носителем которых является злокозненный демон Ариман – воплощение вселенского дьявола. В людях и литературных персонажах, подобных Грибикову, как в капле воды, отображена та воистину апокалипсическая ситуация, когда силы зла начинают одерживать победу над силами добра и превращаются в *принципы государственной политики*, с коей, увы, каждодневно приходилось сталкиваться и Белому, и его адресату – Иванову-Разумнику. Отсюда вытекает также высказанная Белым идея о необходимости *революционной борьбы «космэтики» с мировым мещанством*, коренящимся в мировом зле.

Свою абсолютно крамольную мысль автор «Москвы» формулирует



следующим, несколько абстрактным, образом:<sup>[60]</sup> «<...> Ведь образ урегулированного государства, „этического“, подсматривающего поступки других, доносящего и изыскивающего средства к их пресечению путем закона, и есть Грибиков, человек-паук, человек-удав; если хотите, Грибиков, т. е. мелкий мещанин, есть бредовой образ по всей земле водворившегося принципа государственности, построенного на „морали“ и только морали. Грибиков, конечно, – предел дегенерации „морали мещан“; но он и „мораль“, отрезанная от космического ритма, – одно и то же».

Упоминание в данном контексте «космического ритма» тоже не случайно. Эта тема занимала и глубоко волновала Белого на протяжении всей его жизни. *Проблема ритма*, как ее понимал Андрей Белый, – классическая философская *проблема ВРЕМЕНИ*. Просто *ритм* – не абстрактное, а конкретное смодулированное время, а *космический ритм* – упорядоченная гармония Вселенной. В обыденной жизни ритмика проявляется в конкретных и хорошо известных формах – музыке, танцах, пении, стихосложении, в «застывшем» виде – в орнаменте. При этом проблема заключается не только в том, как понять и определить ритм (здесь известны, по крайней мере, три взаимоисключающих подхода), но и в том, *кто и как* этот ритм создает. В земных, так сказать, координатах: ритм творит человек – от самых примитивных выражений (например, ударов барабана или бубна, плясок и танцев) до самых величественных (например, симфоний или церковных ораторий). Человек и есть *творец ритма* – это понятно без каких-либо разъяснений. Но кто, в таком случае, создает ритмику и гармонию Вселенной? Тоже Творец? Но, как известно, *природа творит самое себя*, она есть *causa sui* (является «причиной самой себя»). Следовательно, космическая ритмика и гармония заложены в самом фундаменте Мироздания и проявляются в творческой деятельности конкретных индивидов, являющихся неотъемлемой частью самого этого Мироздания.

Макрокосм (Вселенная) проявляется в Микрокосме (Человеке); это – прописная истина. А. Белый и раньше утверждал: «Появление Макрокосма в развешанном микроскопическом мире есть знак; <... > Макрокосм, к нам спустившийся, не обычный эмпирей, он есть эмпирей, или страна существа, обитающего под коростой понятийной мысли, где нет ни материи, ни мысли, ни мира в ветшающем смысле. <... > Макрокосм проступает во всем; передвигаются всюду пороги сознания к истокам познаний, где древним хаосом запевают в нас „физики“: Анаксимандр, Гераклит... <...>»

Но и Микрокосм творчески влияет на Макрокосм, создавая в нем

новые структуры и формы (здесь выводы А. Белого совпадают с идеями о ведущей роли Микрокосма по отношению к Макрокосму таких русских космистов, как Л. П. Карсавин и П. А. Флоренский). А. Белый же в данной связи писал: «Каждый человек должен выработать свой собственный ритм отношения к Космосу (это ближайшая задача); и потом уже выявится *ритм ритмов* (а *la* научный принцип)». Космический ритм Вселенной А. Белый чувствовал как никто другой, и уникальный дар этот обнаружился и развился в нем с раннего детства. Вселенскую временную ритмику он улавливал и в «застывших» стихотворных строках, совершенно справедливо полагая, что в них отображены числовые законы Мироздания, поддающиеся не только расшифровке и рациональному объяснению, но и целенаправленному, сознательному использованию в поэтическом творчестве. Эти идеи он внедрял в собственной практике и преподавании *ритмики*, в многочисленных печатных работах и устных выступлениях. В конечном итоге его размышления на эту тему получили свое систематизированное отражение в написанной чуть позже специальной монографии «Ритм как диалектика» (М., 1929). В полном соответствии с духом эпохи он видел в космической ритмике сущность четвертого измерения пространственно-временного континуума, коим выступает *время*.

Подобный подход сближал его с античным *пифагорейством* (величайший мыслитель древности – Пифагор – как известно, учил: *число правит миром, а в основе Вселенной заложены музыкальные ритмы*). В Новое время пифагорейская концепция вдохновила Кеплера, учившего, что вычисленные им эллиптические орбиты планет отражают музыкальную ритмику Космоса. А. Белый и сам признавал (все в том же письме Иванову-Разумнику): «Пифагорейские тенденции к ритму, к гармонии сфер и в древнем мире, и в эпоху Возрождения, и ныне (выделено мной. – В. Д.)... <...> бросают в лоб широчайшие перспективы». И, исходя из этого, провозглашал: «Я хочу быть пифагорейцем!» Он им и стал. Впрочем, космизм Белого всегда носил пифагорейский оттенок. В поэме «Первое свидание» о становлении своего философского мировоззрения он писал: «*Мне музыкальный звукоряд / Отображает Мирозданье...*» Это и есть чисто *пифагорейский* подход к пониманию сущности Вселенной.

Раньше Белый сосредоточивался в основном на первоматерии, охваченной космическими вихрями и слитой со вселенским духом. Теперь же его космистское миропонимание дополнилось строгим математическим анализом числовых, метрических и музыкально-ритмических закономерностей Макро– и Микрокосма, находящихся в неразрывном

единстве. С этой точки зрения числовые законы мироздания, преломляясь через сознание человека-творца, проявляются в стихотворных и прозаических формах и ритмах, в музыкальной гармонии и благозвучии, танцевальной пластике и эстетически оформленных жестах, в *эвритмии* (как говорили антропософы) – ритмизации, имеющей глубинную космическую природу, основанной на взаимодействии «физического», «эфирного» и «астрального» тел, другими словами – всюду, где являет свою ноосферную мудрость высший Космический Разум.

Одним из устоев пифагорейского учения является принцип *калокагатии* (единства нравственного и эстетического = «благолепия»), также ставший основополагающим в мировоззрении Белого. Вот что по данному поводу пишет в своих воспоминаниях о муже К. Н. Васильева-Бугаева: «У Б. Н. был жизненный идеал человека, заветный и тайно хранимый. Он открыл его мне не сразу, а только после нескольких лет близости, в одну из тихих интимных минут; и назвал его греческим словом *kalos k'agathos (kalos kai agathos)* – прекрасный и добрый или *kalokagathos* – прекрасно-добрый (благой), в одно слово, как оно звучало для греков.

Этот утерянный ныне эпитет показывает, что они умели еще не отделять красоту от добра и воспринимать их синтетически, одновременно, как внешнюю и внутреннюю сторону явлений.

В нашем сознании эти понятия разделились. И разделение произошло так давно и утвердилось так прочно, что теперь уже трудно представить себе их конкретную связанность. Их синтез утрачен. И как бы нет уже органа для восприятия того невыразимого качества, которое возникает от живого, жизненного соединения этих двух принципов.

Прекрасное стало самодовлеющим. И никому не придет в голову примешивать к нему мысль о добре. Слишком хорошо известно, что одно относится к области эстетики, другое же – к области этики.

А что общего между эстетикой и этикой?

Для нас – ничего, кроме непрекращающихся споров о значении содержания и формы в искусстве.

А между тем в греческом языке прилагательные *kalos* и *agathos* (буквально – изумительный. – В. Д.) не только сливались, но и мыслились как единство, образуя существительное: *kalokagathia*, означавшее совершенство – в словарях прибавлено: нравственное.

Но Б. Н. слышал в нем большее. Споры филологов и эстетов показали ему, что подлинный смысл *kalokagathos* утерян именно потому, что оно стало разломанным на две половины. И эти половины воспринимаются как простая и даже случайная сумма двух разных качеств. На самом же деле

это не сумма, а произведение, предполагающее действие бессознательного умножения. Это подобие умножения происходит в нашей душе, когда в ней пересекаются два рода воздействий, скрыто присутствующих в каждом восприятии: воздействие внешнего и внутреннего. На пересечении их и возникает *kalokagathos*, в котором прекрасное и доброе взаимно проникают, как бы химически окрашивают друг друга и являют собой совсем новое качество: прекраснодоброе.

Это значение скрыто звучит в настойчивых утверждениях Б. Н. принципа единства формы и содержания (как неразложимого формосодержания), – принципа, который лежит в основе его понимания символизма.

Еще в 1906 г. он писал: „Когда мы говорим о формах в искусстве, мы не разумеем чего-то, отличного от содержания“ („Символизм“).

А в 1932 г., уже подводя итоги прошлого, он пишет, что символизм есть „самосознание творчества, как критицизм“, он противопоставляет себя школам там, где эти школы нарушают основной лозунг единства формы и содержания („Между двух революций“).

И в „*Symballo*“, и в *kalokagathia*, и в учении о ритме в Б. Н. совершенно неожиданно и не узанная никем проговорила Греция.

В искусстве слова к безусловно прекрасно-доброму он относил прежде всего: Пушкина, Толстого, Диккенса (особенно „Давид Копперфильд“), Шекспира – творца „Гамлета“ и „Короля Лира“... <...>»

Остается добавить, что культ высокой нравственности и преклонение перед высшими эстетическими идеалами (куда, помимо всего прочего, входит возвеличивание всего живого, природных ландшафтов, всего окружающего мира – вплоть до бесконечного Космоса) не ограничивался у А. Белого только двумя составляющими *калокагатии* – «добром» и «красотой»; как и у Пифагора, сюда добавлялась еще и «истина». Получилась «золотая триада»: *истина – добро – красота*, которая прошла через всю мировую философию, особенно русскую, где она сделалась, к примеру, альфой и омегой учений Владимира Соловьева и Павла Флоренского.

*Космос* города Москвы (в романе «Москва») отличен от *космоса* города Петербурга (в романе «Петербург»). Если последний – *геометрически правильный* и беспрекословно упорядоченный волей Петра Великого спинозианский мир,<sup>[61]</sup> то патриархальная Москва – более походит на *вихревую* картезианскую Вселенную.<sup>[62]</sup> Помимо самого автора – А. Белого (слова «вихрь», «вихревой», «вихрево» – лексическое гнездо

его любимых понятий), – это осознали немногие. К их числу можно отнести известного литературоведа, профессионального революционера, главного редактора первого советского литературного журнала «Красная новь» Александра Константиновича Воронского (1884–1937). В 1928 году он опубликовал статью, посвященную творчеству А. Белого под названием «Мраморный гром», где чутко уловил космистскую направленность романов из эпопеи «Москва»: «В этом мире хаоса, стихии, невнятицы, бессмыслицы, огненных бредов, чудовищных кошмаров единственным надежным оплотом является наше „я“ с его разумом. Ураганы красного мира, *космические вихри*, черные пустоты и провалы разбиваются о твердь нашего „я“. Оно подобно духу Божию, который носился над бездной, слову, из которого все начало быть, свету, торжествующему над тьмой. Будущие *космические океаны* лижут порог нашего сознания, готовы затопить, поглотить его, но оно выдерживает этот гигантский напор; наше „я“ связует мир хаотических явлений, вносит в них порядок, гармонию, и из сумятицы жизни встает новый мир во всей своей прочной данности и непреложности» (выделено мной. – В. Д.).

Художественные же достоинства (на грани с поэтическими открытиями) «московской саги» А. Белого тонко подметил другой авторитетный критик и теоретик литературы Борис Михайлович Эйхенбаум (1886–1959): «<...> Роман А. Белого – событие огромной литературной важности, которое можно приравнять только к какому-нибудь научному открытию. Здесь А. Белый не только эволюционирует, развивая свои прежние принципы, но и смело вступает на путь, намеченный удивительной прозой Хлебникова. Это уже не просто „орнаментальная проза“ – это совершенно особый словесный план, это своего рода выход за пределы словесных тональностей: нечто по основным принципам аналогичное новой музыке. Уже нет „описания“ как такового (с разделением на „слово“ и „предмет“), как нет и „повествования“. Вы оказываетесь в совершенно своеобразной, чисто словесной атмосфере, которая кажется неразложимой. Откровенно метризованная (даже в диалоге!), проза эта, насыщенная новообразованиями и всевозможной словесной игрой, кажется абсолютно в себе замкнутой – абсолютным словом».

Представление об оригинальной стилистике А. Белого и «*вихревой космизации*» Москвы дают начальные абзацы романа «Московский чудак»:

«Москва!

Разбросалась высокими, малыми, средними, золотоглавыми иль бесколонными витоглавыми церковками очень разных эпох; под пылицы

небесные встали – зеленые, красные, плоские, низкие или высокие крыши оштукатуренных, или глазурью одетых, или просто одетых в лохмотья опавшей известки домин, домов, домиков, севших в деревья, или слитых, – колончатых или бесколонных, балконных, с аканфами, с кариатидами, грузно поддерживающими карнизы, балконы, – фронтонные треугольники домов, домин, домиков, складывающихся – Люлюхинский и Табачихинский с первым, вторым, третьим, пятым, четвертым, шестым и седьмым Гнилозубовыми переулками. <... >

Здесь человечник мельтешил, чихал, голосил, верещал, фыркал, шаркал, слагаясь из робких фигурок, вьюркивающих из ворот, из подъездов пропсаченной, непроветренной жизни: ботинками, туфлями, серозелеными пятками или каблучками; покрытые трепаными картузами, платками, фуражками, шляпами – с рынка, на рынок трусил; тяжелым износом несли свою жизнь; кто – мешком на плече, кто – кулечком рогожевым, кто – ридикюльчиком, кто – просто фунтиком; пыль зафетюнила в сизые, в красные, в очень большие носищи и в рты всякой формы, иванящие отсебятину и пускающие пустобаи в небесную всячину; в псине и в перхоти, в злом раскуряе гнилых Табаков, в оплеванье, в мозгляйстве словесном – пошли в одиночку: шли – по двое, по трое; слева направо и справа налево – вразброску, в откидку, враскачку, вподкачку.

Да, тысячи тут волосатых, клокастых, очкастых, мордастых, брюхастых, кудрявых, корявых пространство осиливали ногами; или – ехали».

Читать прозу Белого трудно, невероятно трудно – особенно в больших количествах. Но это лишь в том случае, если подходить к романам из незавершенного цикла «Москва» с позиций критического реализма. А вот этого как раз делать и не нужно, хотя и здесь у Белого есть великий и бесспорный союзник – Гоголь. Но относятся ли фантазмагорические шедевры последнего (например, «Ночь перед Рождеством», «Страшная месть», «Пропавшая грамота», «Вий», «Нос») целиком и полностью к реализму? Прозу Белого лучше всего воспринимать как возможность приобщения к *космическо-вихревой стихии*, чутким наблюдателем, летописцем и пропагандистом которой он был на протяжении всей своей многотрудной литературной и нелитературной жизни.

В романе «Москва» вновь проявилось также и провидческое дарование писателя. Описывая теоретические изыскания профессора-математика Коробкина, Белый предсказывает создание не только *лучевого*, но и *ядерного (электронного)* оружия и бомбы, которая «взорвет весь мир»... 1-ю часть трилогии «Москва» – «Московский чудак», где

содержатся эти провидческие идеи, писатель завершил 24 сентября 1925 года, а в середине июня следующего года читатели уже держали пахнущую типографской краской книгу в руках.

У романа сразу же появились искренние почитатели и среди них – Всеволод Мейерхольд, буквально загоревшийся желанием осуществить постановку романа в своем экспериментальном театре и немедленно заказавший автору инсценировку. Белый хорошо знал Мейерхольда еще с дореволюционных лет, когда тот тяготел к символистам и поставил на петербургской сцене блоковский «Балаганчик». Еще более близкие отношения сложились у Белого с женой Мейерхольда – Зинаидой Райх – еще с той поры, когда она была замужем за Сергеем Есениным (родившийся в этом браке сын Константин даже считался крестником Белого).

На протяжении многих лет близкие по духу Мейерхольд и Белый тесно общались, бывали друг у друга в гостях, обменивались письмами. Переписка сохранилась, она лучше всего свидетельствует об уровне доверия между режиссером и писателем. Так, 5 марта 1927 года А. Белый писал из Кучина:

«Дорогой Всеволод Эмилиевич, голубчик, не сердитесь на меня. И выслушайте; если выслушаете, то поймете меня вполне.

Здоровье мое – слабое; я уже давно еле передвигаю ноги; не будь кучинской жизни, я, вероятно, отправился бы на тот свет. Вы, вероятно, не представляете себе, что значит жить вне Москвы; иначе Вы меня не вызывали б с такой легкостью.

Опишу Вам мою жизнь. У меня сейчас две больших незаконченных книги; одна под заглавием „*История самосознающей души в пяти последних столетиях*“. Это ответственная книга, требующая усиленной разработки материала; я всегда в очередном чтении конспектов, в обросте мыслями; когда я обрастаю мыслями, я их таскаю всюду за собой. Но в обстании (так!) Москвы, ее спешки, ее совершенно иного ритма я со всеми *домыслами* попадаю в положение, заставляющее меня переживать боль *почти физическую*; именно: все, начиная от близких друзей, московским *ритмом* вынужденные стать в совершенно иное положение к жизни, пребывают вне того мира, который я таскаю с собой. И я оказываюсь в положении человека, влачащего огромный шлейф, не видный другим, но совершенно реально ощущаемый мною; и этот шлейф бывает весь *истоптан*.

Во-вторых: у меня другая книга, которой горит сердце; и она – не дописана; и над ней думы, как урвать время для нее.

В-третьих, – давно прошла крайняя пора во всех смыслах двигать второй том „*Москвы*“, а я, ушедший в другую обитель, в две обители двух задуманных книг, которые – два нежно любимых существа, и так терзаюсь саморазрывом: как связать 3 линии, требующие каждая *отдачи* до конца, так что и 48 часов в сутки не хватило бы, чтобы распределить материал дневных и ночных дум, в которых ушел и которыми держусь.

Знаете, как я писал первый том „*Москвы*“? Писал его мало, но медитировал, но жил, но вслушивался и вглядывался в образы, слова, краски – все время, развел огромную лабораторию эскизов, способов растирания красок; и жил *безотлучно* в этой лаборатории год; итог – первый том „*Москвы*“. Теперь предстоит другой том, т. е. такая же работа, а я все *не могу* приступить, ибо два *огромных мира* двух недописанных книг врываются в третий.

Еще: та внутренняя концентрация, которая нужна для года упорной работы и себя устранения из двух других миров, концентрация на год режима, строгого, вот уже 1½ месяца рвется, потому что то, что импульсирует месяцы, приходит в *неделях* упорного отшельничества. Отчего рвется?

От поездок в *Москву*, разрывающих ту атмосферу труда и осмысленных для меня переживаний, от зацепок за людей, живущих совсем в другом ритме, осмысленном и прекрасном в их пути, но – *ином*, не понимающих, что все, самые прекрасные их предложения, сталкиваясь с необходимым мне для моей работы ритмом, создают такие кричащие диссонансы, после которых в Кучине я днями замертво лежу, ибо мир мой растерзан самим воздухом *Москвы*.

Если бы я жил в *Москве*, если бы несколько лет тому назад меня грубо не вытолкали б из всех обителей русской культуры, если бы не закопали бы заживо *Человека*, который (это я знаю *хорошо*) может быть полезным, *имеет что сказать*, чего другие не имеют, я бы с головой ушел в ритм социального выявления и жил бы той атмосферой, которой некогда жил в „*Вольфиле*“: работой кружков, инсценировкой социальных заданий, курсами; я могу только *до дна* отдаваться работе; поэтому я никогда не мог жить, ведя одновременно две линии; я или вел художественную работу; в эти полосы жизни я бежал „*на берега пустынных волн*“. Или, годами я с головой окунался в работу кружков.

Так, как поступили со мной, хуже расстрела: живого, полного энергии человека, *заживо* закопали. Но он из своего гроба создал себе *новое воскресение*; он вышел из социального гроба в отшельничество, уселся за книги, за мысли. И стал *еще живей*, чем прежде. Но жизнь эта держится



одною ценой: поведением *своего ритма*, отшельнического: Толстой без Ясной Поляны – не Толстой; Вольтер, если бы не был „*Фернейским отшельником*“, не был бы Вольтером.

Некогда я, бросив монументальные творческие планы, весь ушел в деятельность общественную; и был там, как рыба в воде; но рыбу заставили жить в *воздухе*, лишили „*живой воды*“. Я стал жить воздухом; не зовите меня обратно в „*воду*“. Москва, поездки туда, все предложения, какие мне делают, отдаются мне *болью*. Ведь работать *во весь голос* с людьми мне *нельзя* (сами знаете!). И стало быть: надо работать без людей, но *для людей*: для будущего.

„*История самос[ознающей] души*“ – для всех: и для Вас она *где-то* нужна бы была. Я ее пишу себе в письменный стол; она будет в двух-трех экземплярах; но она вынырнет, когда нас с Вами уже не будет на этом свете.

Она – должна быть.

„*Москва*“, 2-й том – тоже.

Книга, рисующая образ, портрет, Штейнера, – мой священный долг.

Меня похоронили, связали руки и рот, а я воскрес, став отшельником. Я – „*Кучинский Отшельник*“ – беспрок (так!) для Москвы.

Это в принципе.

В частности: вдруг меня вспомнили; и каждый день получаю предложения появиться где-нибудь. Если бы откликнулся, должен бы был каждый день лететь.

Одни мечтают о „*Вольфиле*“ (праздно мечтают!); и тащат из Кучина; другие требуют, чтобы в „*Союзе писателей*“ читал о Гоголе: это я-то, „*мистик*“, должен читать?!?

И т. д.

Эта борьба за право сидеть в Кучине и работать ввергает в новую трудность; к 3-м трудностям 3-х работ присоединяется четвертая; иметь право сидеть в Кучине, куда я сослан судьбой и где жизнь моя процвела цветами, как „*Жезл Ааронов*“.

Милый, хороший, – ведь Москва отнимает у меня 2 дня; а *третий* пропадает в Кучине, когда лежишь замертво после депрессии московской жизни, разорвавшей мысли мои, которыми оброс и которые в Москве разорваны.

Мне всегда надо заранее знать, чтобы издали прицелиться приездом.

Вы и не подозреваете, до какой степени я в очередных делах, которые для меня важнее всего на свете.

Милый, не сердитесь: сегодня устал, измучен; должен намагнититься для работы. Вас очень хочу видеть. Буду у Вас в театре в субботу 13-го

вечером, на представлении, в воскресенье днем забегу к Вам. Передайте привет Прокофьеву и Чехову.

Остаюсь искренне преданный и любящий – Борис Бугаев».

Воспитанный на Ибсене и Метерлинке, А. Белый боготворил театр (как драматический, так и музыкальный), прекрасно осознавал его уникальные возможности. В Дорнахе участвовал в мистериальных постановках Р. Штейнера. Но сам для театра стал писать недавно, приобретя и удачный опыт инсценировки («Петербург»), и неудачный («Москва», которая по ряду объективных и субъективных причин так и не была поставлена). Неоднократно приходилось Белому также и выступать по вопросам театрального искусства (и даже, как мы помним, непродолжительное время работать в Театральном отделе Наркомпроса). Теперь же у него появилась прекрасная возможность поучаствовать в официальных и неофициальных обсуждениях спектаклей МХАТа 2-го и Театра Мейерхольда. Так, Белый решительно выступил в защиту постановки комедии Гоголя «Ревизор», осуществленной в Театре Мейерхольда и вызвавшей шквал разнузданной критики.

А. Белый несколько раз открыто выступал по поводу нашумевшего спектакля – на публичном диспуте, а также с докладами в клубе работников просвещения и на «Никитинских субботниках». В модернистском спектакле Театра Мейерхольда он прежде всего увидел органическую связь Гоголя с современностью. Не прошлое воспроизводил выдающийся режиссер на сцене, а изъяны *теперешней жизни*. Не канувшие в небытие персонажи первой трети XIX века, а новоявленную чиновничью камарилью вкупе со всякими там товарищами Добчинскими и товарищами Бобчинскими. Дерзкий и рискованный подход Мейерхольда навел и самого Белого на смелые и опасные мысли. В опубликованном тексте доклада можно найти такой, к примеру, пассаж: «Гоголь несется по России, которую заслонил морок, <...> несется прочь от нее. <...>» Из контекста же следует, что сказанное следует отнести не только – и даже не столько – к прошлому, сколько к настоящему.

Вдумайтесь только! Белый открыто говорит о *моробе, заслонившем Россию!* Похоже, те, «кому положено» – цензоры и литературные зоилы, – не вчитались в крамольную фразу. Ведь за такой «морок» даже в те, пока еще сравнительно терпимые, времена можно было угодить не в «прекрасное гоголевское далеко», а в «места не столь отдаленные». Тем более что между строк выступлений Белого в защиту Мейерхольда явственно проступает и другая крамольная мысль, а именно: хрестоматийный вопль Городничего: «Чему смеетесь? – Над собою

смеетесь!...» – относится не в последнюю очередь к ее современным зрителям... Не в меру же расхвалившимся критикам Андрей Белый еще раз напоминает слова самого Гоголя: его пьеса должна произвести «электрическое потрясение». Мейерхольд же всего лишь выполнил завет великого русского классика.

\* \* \*

Когда Белому не мешали, он писал быстро. Очень быстро! Просто молниеносно! Сравнить, пожалуй, можно разве что с поразительной работоспособностью Бальзака или Дюма-отца. Вот что писал в своих воспоминаниях хорошо знавший его советский писатель Владимир Лидин (1894–1979):

«Андрей Белый пишет. В свитере, который делает его еще более узким в плечах, весь какой-то взвихренный, словно вот-вот закрутится в спираль, с нимбом волос вокруг лысеющего черепа, он отбрасывает на пол, рядом с письменным столом, лист за листом, исписанные крупным, нервным, косо летящим почерком. Лист за листом вылетает из-под его руки с короткими промежутками, напоминая работу печатной машины. Тонкая, худая рука Белого не поспевает за выражением мысли. Сколько времени понадобилось, чтобы исписать это огромное количество бумаги, лежащей на полу? Неделю, месяц? Нет, одно утро. Словно приведен в действие необычайной стремительности аппарат. Техника писания рукописи старомодна, не поспевает за мыслью Белого. Ему нужна, может быть, диктовальная машина, но все равно, выраженная вслух мысль отстанет от ее полета. <...>

В комнатке с серым сумраком... <... > на Арбате работает невероятно сложная писательская скоропечатня Белого: огромную книгу в несколько десятков печатных листов он напишет за несколько месяцев, может быть, даже за несколько недель. Но это не потому, что Белый небрежен или не отделяет рукописи, – нет, таково его существо, стремительное, когда хлынул творческий поток. Ему не пером водить по бумаге, а нажимать клавиши линотипа, чтобы вылетали готовые строки набора». (Сегодня-то абсолютно понятно, чего так не хватало Белому – современного компьютера, позволяющего ускорить процесс создания любого текста в несколько раз.)

В марте 1925 года Белый и К. Н. Васильева поселились в дачном подмосковном местечке Кучино (по Нижегородской железной дороге)

неподалеку от станции. Сначала около месяца прожили в бывшем имении миллионера Рябушинского, где располагалась гидрологическая станция и на территории которой ее заведующий – профессор М. А. Великанов – предложил бездомному писателю временно две комнаты. Затем, оглядевшись, Белый с женой сняли на лето верхний этаж неподалеку расположенной дачи, а ближе к осени договорились о переезде на другую, считавшуюся зимней, дачу, где им суждено было прожить почти шесть лет. Хозяева двухэтажного дома – пожилая супружеская пара Шиповых – производили хорошее впечатление. Муж работал в Москве бухгалтером, жена – домашняя хозяйка – на первых порах взяла на себя заботы по обслуживанию жильцов, которым на втором этаже выделили две комнаты: столовая, где также спала Клавдия Николаевна, и кабинет писателя, работавшего по ночам.

А. Белый прозвал новое подмосковное пристанище «*таинственным островом – Кучино*» и несказанно радовался уединению, близлежащему заповедному лесу и предоставленной возможности спокойно работать. Впервые за много лет у него появился, как он любил выражаться, «свой угол». П. Н. Зайцев, часто приезжавший к Белому на правах добровольного литературного секретаря и державший его в курсе литературной жизни, рассказывает: «Жизнь в Кучине шла довольно размеренно. Еде уделялись строго положенные часы (завтрак, обед, ужин). После ужина Борис Николаевич уходил на полчаса в кабинет, чтобы „вытянуться“, как он говорил, на своем ложе, извиняясь перед гостями, если те приезжали вечером. Так он готовился к ночной работе. К половине одиннадцатого он усаживался за письменный стол, предварительно закусив и выпив стакан чая. Работал до 4 часов утра, порою, зимой, засиживался до 6–7 часов утра. Перед рассветом ложился в постель, но и во сне перед ним теснились образы персонажей и повороты сюжетов. Проспав до часу-двух дня, Борис Николаевич вставал не вполне отдохнувшим. При этом в часы ночной работы он выкуривал бесчисленное количество папирос. Как это действовало на него – нетрудно себе представить...»

Впрочем, от бытовых неурядиц никуда не деться. Кучинский дом был старый, холодный, зимой дуло во все окна и щели. Для печного отопления постоянно требовались дрова, их Борису Николаевичу приходилось рубить самому. Зимой в его обязанности входили также уборка снега возле дома и очистка дорожек. Но главная напасть и забота – керосин. По ночам в самый разгар писательской работы и без того слабое электричество периодически и надолго отключалось. Для керосиновой лампы требовалась «заправка», а керосин в ближайшую кооперативную лавку поступал нерегулярно.

Приходилось выстаивать огромную и медленнодвигающуюся очередь. Потому-то самым большим подарком, который однажды привез П. Н. Зайцев, оказался бидончик с керосином.

Жили непритязательно. Однажды зимой на площади Курского вокзала в ожидании трамвая с Белым столкнулся знавший его и ранее художник В. А. Милашевский. Белый предстал перед франтоватым рисовальщиком в потрепанном ватном пальто с потертым каракулевым воротником, поднятым до предела и перевязанным женским пуховым платком, в подшитых валенках и в нахлобученной до глаз шапке-ушанке псиного цвета. Но и в этом нелепом одеянии Белый выглядел неземным пришельцем. Из-под женского платка, пишет Милашевский, сверкал какой-то «серафический» взгляд, взгляд архангела или пушкинского пророка: «Он был одновременно и восторжен и восхищен и, как будто впервые „сошед“ с гонных высот, увидел „и вижд“, и этих людишек – муравьев, которые что-то все тащили, перли, продирались, волокли, какую-то не то труху, не то „едово“».

Клавдия Николаевна (Клодя, как ее обычно звали) теперь почти всегда находилась рядом, и Белого вновь стало посещать поэтическое вдохновение. Все его прошлые «музы» по-прежнему здравствовали: Маргарита Морозова – в Москве, Люба Менделеева-Блок – в Ленинграде, Нина Петровская и Ася Тургенева – за границей, и вот теперь Клодя Васильева – в Кучине под Москвой. Только она одна теперь его и вдохновляла. Музы – не вечны, вечна только поэзия. Но если нет музыки – нет и творческого порыва. И только муза способна вдохновить на создание подлинного поэтического шедевра – как бывало уже не однажды. Теперь лучшие свои стихи Белый посвящал Клавдии Николаевне:

Не лепет лоз, не плеск воды печальный  
И не звезды изыскренной алмаз,—  
А ты, а ты, а – голос твой хрустальный  
И блеск твоих невыразимых глаз...

Редееет мгла, в которой ты меня,  
Едва найдя, сама изнемогая,  
Воссоздала влиянием огня,  
Сиянием меня во мне слагая.

Я – твой мираж, заплакавший росой,  
Ты – над природой молодая Геба,

Светлеешь самородною красой  
В миражах заплававшее небо.

Все, просяив, – несет твои слова:  
И треск стрекоз, и зреющие всходы,  
И трепет трав, теплеющих едва,  
И лепет лоз в серебряные воды.

В подмосковном Кучине Белый сполна ощутил в себе поэта. Новых стихов писал мало, зато увлекся переделкой старых. Некоторые перерабатывал до неузнаваемости. Неспешно готовил к изданию стихотворный сборник из новых и старых (переработанных) стихов, подобрал нетривиальное название – «Зовы времени», но он так и не вышел в свет.

\* \* \*

28 декабря 1925 года Россию потрясло печальное известие: в Ленинграде в гостинице «Англетер» погиб Сергей Есенин... Хотя приходилось видеться им не столь уж и часто, общались как близкие друзья. Есенин всегда подчеркивал «громадное личное влияние», которое оказал на него Андрей Белый. А Александр Блок отметил в своем дневнике, что у Есенина *напевная манера* чтения стихов и даже в разговоре напоминает Белого. Когда позже вдова трагически погибшего поэта С. А. Толстая-Есенина пригласит Белого на вечер памяти, он скажет в устном выступлении:

«Мне очень дорог тот образ Есенина, как он вырисовался передо мной. Еще до революции, в 1916 (в действительности – в 1917-м. – В. Д.) году, меня поразила одна черта, которая потом проходила сквозь все воспоминания и все разговоры. Это – необычайная доброта, необычайная мягкость, необычайная чуткость и повышенная деликатность. Так он был повернут ко мне, писателю другой школы, другого возраста, и всегда меня поражала эта повышенная душевная чуткость. Таким я видел его в 1916 году, таким я с ним встретился в 18—19-х годах, таким, заболевшим, я видел его в 1921 году, и таким был наш последний разговор до его трагической кончины. Не стану говорить о громадном и душистом таланте Есенина, об этом скажут лучше меня. Об этом много было сказано, но меня

всегда поражала эта чисто человеческая нота. Когда я впоследствии встречал Есенина и в нетрезвом виде, я наталкивался на то же проявление застенчивости, но оно бывало иной застенчивостью. Я говорю о тоне наших отношений как о характеристической черте, как он относился к людям, когда они подходили, ну, просто с человеческими чувствами. <... >

Помнится мне, как Есенин появился в Москве. Это было весной 1918 года. <...> Тогда его бывшие друзья меня предупреждали, что у Есенина появились тревожные симптомы, нервная расшатанность и стала появляться, как исход, как больные искания, склонность к вину, и просили обратить внимание. Но что я мог сделать, не мог же я ходить по его следам и говорить все время, что не надо этого и не надо того. И образ Есенина стоял предо мной постольку, поскольку краска его идеологии и мотивы его поэзии менялись. Он то отходил от меня, то приближался. Я всегда в наших отношениях играл пассивную роль. Вдруг он начинал появляться, вдруг исчезал. И в исчезновении и появлении его всегда сопровождала та же нота необычной чуткости, деликатности, и доброты, и заботы. Он всегда осведомлялся, есть ли у человека то-то и то-то, как он живет, – это меня всегда трогало. Помню наши встречи и в период, когда я лежал на Садовой-Кудринской. Пришел Есенин, сел на постель и стал оказывать ряд мелких услуг. И произошел очень сердечный разговор, о котором упоминать нет никакого смысла, потому что разговор человека с человеком невспоминаем (так!).

Вскоре потом я его встретил в Пролеткульте, где я в то время был преподавателем и в это время там жили Клычков и Есенин. У Есенина не было квартиры, и он там ютился. И очень часто, после собрания, мы собирались в общую комнату, заходили к Клычкову и видели жизнь и быт Есенина. Я, хотя человек посторонний в Пролеткульте, наблюдал эту роль развернувшихся взаимоотношений Есенина с другими, которые не всегда были мне в то время симпатичны, и должен сказать, что он ждал чего-то хорошего от лозунга „смычки с деревней“, но отчаялся: этого в Пролеткульте того времени не было...

В результате случилось, что Есенин исчезает из Пролеткульта, для того чтобы потом объявиться в цилиндре. Ну, Есенин и цилиндр. Этот быт разлагающе действует на Есенина. Видя его мечущимся от одной группы к другой, я всегда на него глядел и думал: вот человек, как будто чем-то подшибленный. И понятны все эти метания, все эти жесты, которые нарастали на его имени, но в чем он не был повинен. И понятно психологически, когда человека с такой сердечностью жестоко обидели, то его реакция бурная, его реакция – вызов. Я, например, видел его и в очень

трезвом виде, и в очень повышенном, и очень больным. В разные периоды по-разному, то был он в полушубке, гордящимся своей крестьянской жизнью, то в цилиндре, чуть ли не смокинге, в виде блестящего денди, но и здесь и там, и в трезвом и в повышенном состоянии он неизменно проявлял ту же деликатность. И я, глядя на него и зная его репутацию в некоторых кругах, всегда удивлялся. Что может довести Есенина до скандала – что-нибудь что-то очень грубое, что этого мягкого сторонящегося человека доводит до скандалов. Может быть, я не прав, но Есенина другого не знаю, не видел его иным. Я видел чуткого, нежного юношу. Я думаю, что в Есенине была оскорблена какая-то в высшей степени человеческая человечность, потому что поэт, товарищи, есть наиболее социальное существо, наиболее протянутое, но только поэт – это есть существо, протянутое от сердца к сердцам, и хорошо это или дурно, может быть, в этот момент во мне говорит романтика, но каждый образ, если он художественный, он, как огонь, требует ветра, так и образ художественный – это итог происшедшего процесса сгорания, куда человеческая любовь входит и где в силу закона энергии переплавляется все. И как можно к этому продукту сердец относиться с точки зрения сухого ученого. И вот наряду со всем у всех периодов, у всех народов, у всех политических кругов мало изменить социальные условия, надо изменить социальные условия поэта. Поэт в социалистической стране только и попадает в ту атмосферу, в которую он протягивает нить, ибо он есть рупор коллектива...

Но пришло время точно определить, насколько осуществил в этой социальной области свой заказ Есенин. Несомненно: то, что создавала его душистая песня, это осмыслится тогда, когда придем к конкретизации каждого данного случая во всем, и прежде всего в искусстве, потому что искусство такой тонкий аппарат, построенный на сердцах... Есенин является перед нами, действительно, необычайно нежной организацией, и с ним нужно было только уметь обойтись. И когда он ушел из жизни, я невольно, постольку поскольку входил с ним в общение, виноват в том, что вместо того, чтобы способствовать его оздоровлению, я, можно сказать, не приложил ничего к тому, чтобы ему помочь».

Трагическая смерть молодого поэта постоянно не давала Белому покоя. В какой-то мере он даже оправдывал ее, ибо однажды признался, что при известном стечении *неблагоприятных* обстоятельств мог бы поступить точно так же...



## Глава 10

# СЫН НООСФЕРЫ

13 августа 1926 года Андрей Белый приехал в Москву по делам. После их завершения он намеревался отправиться в Кучино, но по пути на вокзал был сбит на Чистопрудном бульваре трамваем. В результате – легкое сотрясение мозга, временная потеря сознания, серьезный вывих плеча. Как говорится в таких случаях: могло быть и хуже... Но для Бориса Николаевича несчастный случай явился еще одной «встряской души». Она заставила его по-новому взглянуть на свою жизнь и попытаться понять скрытые пружины своей судьбы и в который раз попытаться уловить тайный механизм связи ее с судьбой Мира.

Белый не раз переживал подобные «пограничные ситуации». Первое судьбоносное испытание в его жизни пришлось на трехлетний возраст, когда он сначала заболел корью в тяжелой форме, а потом скарлатиной. Тогда в беспамятстве и бреде он провел два месяца (шестьдесят дней), но так, что, во-первых, навсегда запомнил многие из полубессознательных видений, а, во-вторых, после преодоления кризиса стал воспринимать окружающий мир совершенно по-взрослому и видеть в нем такие аспекты и глубины, которые были неведомыми или недоступными обычным людям – не только детям, но и взрослым. В первом томе мемуаров «На рубеже двух столетий» он так и напишет: «раздвоение между дионисической и аполлоновой стихиями» пережил в шестьдесят дней «скарлатинного бреда» и именно с этого момента *стал символистом!* (Аналогичный переворот в душе некогда пережил Эмиль Золя – правда, в юношеские годы. В 19 лет он заболел и чуть не умер от воспаления мозга. И именно после выздоровления юноша, доселе ничем не выделявшийся на фоне других, вдруг почувствовал в себе творческий дар и неотвратимую потребность писать книги.)

Так и Белый после несчастного случая ощутил потребность оглянуться на прожитые годы, еще раз выверить свой творческий и жизненный путь. Он как бы испытал новое духовное перерождение, обусловленное «волей Судьбы», или *Кармой* (если воспользоваться теософско-антропософской терминологией, заимствованной, впрочем, из древнеиндийского философского и религиозного лексикона). Вот почему в этот момент так неожиданно и кардинально изменилось содержание переписки Белого с

Ивановым Разумником, единственным, по существу, человеком, которого он мог посвящать в самые сокровенные мысли. В течение нескольких месяцев он передал ему через доверенных лиц четыре письма-исповеди («письмища», как выражался сам Белый), в которых изложил свое мало изменившееся *антропософское отношение к действительности*, высказав однако абсолютно неприемлемую для официальных властей идею – о возможности корреляции господствующей в ту пору в России марксистской идеологии с основополагающими антропософскими принципами. (Белый безуспешно пытался обосновать тезис «*антропософия = материализм*»).

О первом таком письме, написанном 24 и 25 сентября 1926 года, уже упоминалось в предыдущей главе в связи с философско-космистским анализом романа «Москва». Второе он писал с 25 по 30 ноября 1926 года; третье – с 18 по 22 февраля 1927 года, четвертое, самое большое – с 1 по 3 марта 1927 года. Это письмо Андрей Белый посвятил антропософскому и пифагорейскому анализу своей жизни и творческой эволюции. (О пифагорейском аспекте приходится говорить потому, что писатель попытался выявить в собственной биографии числовые и ритмические закономерности.)

На столь обстоятельное автобиографическое откровение Белого вдохновил сам Иванов-Разумник: в это же время он задумал издать (и даже нашел издателя) «Библиографию произведений Андрея Белого», которую должно было открывать его жизнеописание – очерк под названием «Об основных этапах творчества Андрея Белого». Иванов-Разумник попросил друга составить аналитическую хронологию этапов его жизни и творчества, которые заказчику рисовались как преодоление «*космического одиночества*». Белый с энтузиазмом откликнулся на эту просьбу и разразился целым философским трактатом на заданную тему. В автобиографическом письме-эссе он попытался представить свою жизнь и творчество в виде последовательной цепи событий, имеющих совершенно четкое числовое оформление, обусловленное непосредственным воздействием некоторых (не объяснимых пока) *космических ритмов*, имеющих вполне обоснованную математическую структуру. (По существу, это та же самая *биосферная и ноосферная* проблема, которая в те годы волновала и академика В. И. Вернадского, а спустя три десятилетия стала объектом исследований Л. Н. Гумилёва.)

Как и в юности, А. Белого по-прежнему притягивала пифагорейская *магия чисел*. Осмысливая их космические закономерности, он пытался найти «формулу» собственной жизни – и нашел! В основу этой формулы положено число «7». «Над последней темой, – писал он, – я много думал,

порой чрезвычайно удивлялся тому, как мудро устроена жизнь, что в ней есть подглядывания в ритм и что даже в моей жизни теперь из 46-ти лет мне явно видится *клавиатура*; <...>я сторонник „*семизма*“ в моей жизни, т. е. схемы семилетий, но иногда бываешь в затруднении, где подлинное семилетие. <...>» И далее он пытается расписать год за годом прошедшую жизнь, распределяя ее по семилетиям, отмечая взлеты и падения и связывая это с космическим противоборством Добра и Зла, Света и Тьмы, Ормузда и Аримана. Налицо все тот же древний арийский *дуализм*, слабой тенью которого (добавляю от себя) следует признать учение Рудольфа Штейнера: зыбкой – потому что в древности такой дуализм являлся открытым для всех мировоззрением великой цивилизации, а в XX столетии новой эры его исповедовала сравнительно небольшая эзотерическая секта антропософов.

В автобиографическом письме Белый не только рассчитал численно, но и изобразил графически вихревые, волнообразные и спиралеподобные линии своей жизни. На их основе с помощью Клавдии Николаевны он составил цветные диаграммы, которые назвал «Линия жизни» (они сохранились в целостности до наших дней и, как уже говорилось выше, частично демонстрируются в Мемориальном музее-квартире Андрея Белого на Арбате).

Попутно А. Белый углубился в теоретические проблемы современной физики. Его рабочий стол в это время был завален специальной литературой и периодикой (среди упомянутых в переписке авторов – Менделеев, Пуанкаре, Томсон, Резерфорд, Лоренц, Иоффе и др.). Выпускник физико-математического факультета Московского университета, Белый творчески осмысливал квантовую механику и теорию относительности, устанавливая аналогию между принципом соответствия Нильса Бора и стихотворением Шарля Бодлера «Соответствия»<sup>[63]</sup> и, наконец, самостоятельно пришел к выводам, предвосхитившим некоторые современные открытия: 1) кинетическая энергия тяготения неисчерпаема; 2) сила тяготения в замкнутой сфере распространяется мгновенно. (А. Белый сообщал, что на данную тему у него подготовлена рукопись, испещренная математическими формулами, и объемом 258 страниц.)

И все же его по-прежнему раздирали противоречия, так как новейшие экспериментальные данные и теоретические обобщения лишь частично объясняли большинство из волновавших его вопросов. В естественно-научной картине мира А. Белый отчетливо видел пробелы и недоговоренности, которые не могла заполнить современная наука – зато достаточно внятно можно было объяснить с позиций антропософии и других эзотерических учений. Это касалось и сущности космогенеза, и

структуры Мироздания, и основных стадий эволюционного развития (естественно, в рамках «вечного возвращения»), и причин появления человека, и механизмов мышления, и странствий «самосознающей души» по бесконечным мирам, и множества других, не менее захватывающих проблем. Потому-то те, кого тоже волновали подобные вопросы, так серьезно, внимательно и заинтересованно относились к антропософским откровениям Белого. В разное время среди его слушателей были многие известные писатели, в их числе – Вячеслав Шишков, Алексей Толстой и Максим Горький. Последний не только расспрашивал Белого о положениях оккультных учений, но даже опубликовал (еще в 1923 году) в первом номере берлинского журнала «Беседа» обстоятельную и содержательную статью, посвященную антропософии.

\* \* \*

Клавдия Николаевна в своих воспоминаниях попыталась описать те счастливые мгновения, когда Белый входил в контакт с ноосферой и его охватывало вдохновение (в тексте она обозначает мужа только инициалами – Б. Н.): «<... >

Он сидел совершенно спокойно, почти неподвижно. По временам только что-нибудь быстро записывал и опять застывал. Я ни разу не видела, чтобы он откинулся в кресле, ища нужное слово, или отбивал ритм ногой, отстукивал карандашом или пальцами или раскачивался в такт слагавшимся строчкам.

Никаких посторонних движений. Побледневший, весь стянутый в точку внимания, он, казалось, о теле забыл.

И только особенная, нараставшая вокруг тишина показывала, что он далеко, далеко от нашего домика. И там, в каких-то ему лишь открытых мирах, развивает теперь энергию своих действий, от которых тишина углубляется и непрерывно и странно растет.

Да, тишина... Но какая? Как передать ее качество? То необычное, что ее насыщает, что разливается в комнатах и вызывает в душе волнение до трепета, а сердце заставляет ускоренно и напряженно стучать. Так бывает во время горной грозы, где стихии подходят вплотную, где заряженный электричеством воздух отнимает дыхание.

Безмолвие комнаты колебалось гулом взволнованных ритмов. В сквозной немоте звучно гремели раскаты какихто нездешних органов. Разгорались и гасли вспышки нездешних зарниц.

А Б. Н. становился все тише. Сидел, как изваянный. Но казалось, что он теперь центр огромной сверлящей воронки, втянувшей в себя весь огонь его жизни, весь жар его слов и бросающей от себя вихревые спирали. [64]

Он затихал. А спирали летели все шире, все выше. Неслись, и неслись, и неслись. Уносились к пределам вселенной, к „стародавним огням Зодиака“. Там, в безмерной дали, все кружилось, роилось и реяло. Заплеталось в певучие хороводы анапестов, ямбов, хореев. Шло в торжественном строе молоссов (античный стихотворный размер, используемый также в русском силлабо-тоническом стихе. – В. Д.). Ассонансы сверкали причудливой нитью, как сквозящий узор драгоценной парчи, и нежно горели жемчужные отсветы „светов“ – бирюзовых, сиреневых, розовых, – будто далекое солнце играло на снежных, далеких венцах.

Все это готовилось хлынуть, залить своим звоном и радугой белый бумажный листок. Мне не хватало дыхания.

А Б. Н. был все так же спокоен и сосредоточенно строг. Только тени вокруг глаз углубились, и еще побледнело лицо.

Я не могла ни читать, ни даже думать. Садилась с ногами на постель против двери в комнату Б. Н., откуда видела его склонившийся над столом профиль.

Не хотелось ни шевелиться, ни двигаться. Самой замереть и притихнуть, чтобы не помешать, не спугнуть.

Смотрела и слушала. Что?

Припоминались слова: „Ток высокого напряжения. Не подходите. Смертельно“.

Эти слова Б. Н. прочел на одной из дверей в помещении ЗаГЭСа, где вдоль стен залегали, как молчаливые змеи, огромные сероватые кабели.

Б. Н. был поражен „адекватностью“ этого выражения: он знал, что ток высокого напряжения существует не только в машине. Он действует и в человеке.

И я видела его в человеке. Во мне твердилось невольно: „Не подходите... Смертельно...“ Но почему?

Ведь перед глазами был тот же склоненный, задумчивый профиль, отсвет лампы на бархате шапочки, легкий очерк плеча и руки с папироской.

Изредка он вдруг вставал, точно поднятый внутренним вихрем. Делал из кресла крутой поворот и шел по комнате волевым, решительным шагом, глядя прямо перед собой, но не видя. Шел с непередаваемым выражением лица, весь натянутый, как стрела, распрямившись и крепко сжав крест-накрест ладони несколько выдвинутых вперед рук, точно в них поставил

упор против охватившей его внутренней бури.

Делал два-три шага и, так же непроизвольно рванувшись на повороте, под острым углом бросался к столу. Еще на ходу наклонялся к бумаге, пристально вглядывался и так застывал, не разжимая рук. Потом, все еще стоя, начинал торопливо записывать. И только через некоторое время автоматически, как сквозь сон, опускался на кресло.

Иногда я спрашивала его после – зачем он вставал и куда так решительно шел? Он удивлялся: „Разве вставал? Да нет же! Совершенно не помню“. <... >

Он мыслил стихийно, как мудрецы Древней Греции, парадоксально, как Ницше, интуитивно, как Гёте. Но жест его мысли был отработан на Канте. Аристотель, Сократ, Вл. Соловьев, Лев Толстой вошли в нее как фермент.

Вот он начинал говорить. Лились волны света. И казалось, гигантское солнце всходило, озаряя ландшафты времен: „декалионы“ мировых километров – народы, культуры, века и вселенные – вплоть до начала начал, или атома, где предел снова стал беспредельностью и где – так учит химия – солнце протона с электронами лунных планет открылось в несуществующе-малой, глазу невидимой точке.

Он говорил. И вставали картины эпох. Оживали фигуры борцов и строителей знания. Звучали их голоса: „Сделано то-то, тогда-то“. Раскрывали, несли свои „вклады“. И вновь отступали, скрывались в тених убежавшего времени. А на смену им уже выходили другие: еще и еще – от Гераклита, Фалеса, Рожера Бэкона, Абельяра и далее, далее, к нам приближаясь.

Вот уже Возрождение. Вот 17 век... 19-й. Все ясней и отчетливей виделся мир человеку; все больше рассеивались „поэзии ребяческие сны“; все трезвей становилось сознание, высвобождаясь из облачной яркости мифов, где „мир размышлял и мирилось знание“... <...>; отрываясь от утонченной клавиатуры средневековых споров о *nominalia* (номинальном. – В. Д.) и *realia* (реальном. – В. Д.), переходя к опытной точной науке, чтобы... в результате всех опытов атом невидимый был научно объявлен центром солнечной новой Вселенной, смыкая конец с началом или размыкая его в бесконечность: „Материя – глубочайшая суть бытия...“

Б. Н. продумывал становление культуры. Единой и цельной рождалась она из веков в огне этой мысли; и слагалась в живой биографии растущего человечества как своеобразный „ритмический жест“, неповторимый на каждом отдельном отрезке, но повторявшийся в новом облики на огромных – многовековых – размахах исторического процесса, который Б.

Н. называл „спиралью истории“».

\* \* \*

8 апреля 1927 года Белый с женой поехали отдыхать в Грузию. Накануне исполнилось двадцать пять лет литературной деятельности писателя. В то время такие даты принято было отмечать официально. С какой помпой за три года до того в Ленинграде праздновался аналогичный юбилей Федора Сологуба, к коему официальные власти отнюдь не благоволили! Однако к Андрею Белому московская писательская организация отнеслась с пренебрежением и неуважением: юбилей старейшего писателя-москвича был демонстративно проигнорирован. Банкеты тогда не практиковались, и юбиляр устроил скромный «товарищеский чай» для немногих друзей-антропософов.

В Грузии Белый и Клавдия Николаевна поселились в курортном поселке Цихис-Дзири в 16 километрах от Батуми, на даче, принадлежавшей отставному полковнику царской армии (его вскоре арестовали – прямо в присутствии гостей). Супругам отвели две комнаты в башенке с двумя балконами, откуда открывался вид на море и горы. Дом стоял на склоне горы, и, чтобы спуститься на пляж, требовалось и время, и терпение. После нескольких погожих деньков зарядили унылые холодные дожди. Но Белого согревало сознание того, что он приехал в древнюю Колхиду, где разворачивались заключительные эпизоды плавания аргонатов за золотым руном. Нынешнее пребывание на родине золотого руна вполне можно было расценивать как *символ* еще не исчерпанных потенциалов собственного поэтического творчества, опиравшегося в далекой юности на эстетические принципы *аргонатизма*. Он читал кавказские стихи Пушкина и Лермонтова и вспоминал рассказы отца, родившегося под Тифлисом. К сожалению, это не спасало от хандры. Подлинное спасение пришло с другой стороны...

Однажды, когда Андрей Белый сидел на веранде и тоскливо созерцал нескончаемую пелену дождя и тумана, в доме появились Всеволод Мейерхольд и Зинаида Райх. Театр Мейерхольда гастролировал в те дни в Тифлисе (Тбилиси), и его руководитель вместе с женой специально приехал за Белым, чтобы на недельку забрать его и Клавдию Николаевну к себе в гости. Мейерхольд по-прежнему был увлечен инсценировкой романа «Москва». Режиссеру пришло в голову гениальное решение: декорация на сцене должна являть грандиозное зрелище – уходящую вверх

пирамидальную башню со спирально размещенными на ней семнадцатью площадками (в соответствии с семнадцатью картинами пьесы), что обеспечивало перманентность и единовременность действия. Белый сразу же оценил оригинальность режиссерской идеи «спирализировать», как он выразился, «Москву» и отныне стал называть эту инсценировку «*моей спиралью*».

Почти неделю прожил Белый в Тифлисе в одном гостиничном номере вместе с В. Мейерхольдом, побывал на спектаклях его театра, с удовольствием посмотрел еще раз постановку гоголевского «Ревизора». Но самым значительным событием Белый считал знакомство с выдающимися грузинскими поэтами Тицианом Табидзе, Паоло Яшвили и их окружением. Те, в свою очередь, считали Андрея Белого «живым классиком», гениальным русским поэтом,<sup>[65]</sup> а себя во многом – его учениками. Поэтому Белому вместе с Клавдией Николаевной был оказан самый радушный прием, на какой только способны восторженные и хлебосольные грузины. В Тифлисе в зале консерватории состоялись две публичные лекции Белого, ему предоставили автомобиль, и грузинские литераторы повсюду сопровождали его в поездках по республике.

В Россию Белый решил возвращаться по Волге. Добравшись по Военно-Грузинской дороге до Владикавказа и оттуда – до Сталинграда, они с Клавдией Николаевной сели на пароход «Чайковский» и поплыли вверх по реке, через Казань к Нижнему Новгороду. Эта поездка стала для Белого новым открытием России. Могучая река, бескрайние просторы, упоительная синева русского неба, которое ассоциировалось с бесконечными космическими далями, вновь пробудили в Белом целую гамму патриотических чувств. Он думал о Блоке (сожалел, что тот никогда не видел Волги), вспоминал Есенина и его космистскую поэму «Инония». Особенно запали в душу те строки, где Есенин шествует по небу, «свесясь головою вниз». Белый также пытался представить земной ландшафт отпечатком опрокинутого неба, и обычные овраги виделись ему не уродливой эрозией почвы, а следами перевернутого небесного «хребта».

Радостно делился своими впечатлениями и нахлынувшими философскими размышлениями с Ивановым-Разумником: «<...> Мы... с К[лавдией] Н[иколаевной] проплыли по Волге с Кавказа (от Царицына до Нижнего, 7 суток). Вам нечто открылось от воли России. Нам Волга открыла картину: Россия, как образ полей, берегов, земель, сел, городов. И это „чистое созерцанье“ (в терминах эстетики Шопенгауэра) тоже по-своему явило „Идею“ России. Сам образ России после Казбека, настраивающего на горную высоту, нам – образ низин и пространств



русских, разрезаемых Волгою, – впервые рассказывал очень огромные вещи; я жила в степях, полях и лесах; в „глушах“ (так!) и в пригородах России. Но это не то. Надо было семь дней вперять в пробегающие мимо пространства, с душой, настроенной горне, с душой, так сказать, сошедшей с Кавказского хребта, чтобы понять разлет шири русской. Боже мой! почему Блок не плывал по Волге! Многое сумел бы он тогда прибавить к сказанному им о России. <... >

С Волги открылось нам: река Жизни России, слагавшая в низовьях дух вольницы, в верховьях – дух раскола. Неуспокоенность в социальных и духовных исканиях России есть самая жизнь России. И оттого Волга – матушка Русская земля – течет, рассыпается, убегает из-под ног, образуя рельефы оврагов, потому что русская земля – не в земле, а в воде, стихии текучей, и в сходящем с воздухом небе, врастающим внутрь земли и образующим рельефы воздушно-небесных цепей, переполняющих овраги. В дне оврага – вершина неба... Обрываю себя. Мог бы без конца распространяться, социально, философски и религиозно углублять эту волжскую тему России. Но за отсутствием времени скажу лишь: Волга мне показала, что сквозь все расколы Земли и сознаний спускается к нам, русским, Глава небесного человека (Богочеловека). По-новому прозвучала тема „Инонии“ Есенина. В нем она – бунт, выродившийся в беспутье. Волга как бы приоткрыла возможность в самой этой „беспутьности“ ритма Пути Нового. И как странно: от волжских берегов я увидел по-новому некоторые особенности русской истории. – Но всего не расскажешь. Словом: увидели мы Идею = Образ России в этом чистом, свободном созерцании, в бездумном скольжении вдоль берегов. <...> Велика Россия. Она – Вода Жизни».

«Ширь русской земли, – говорил великий русский мыслитель-космист Николай Федоров, – порождает ширь русской души, которая, в свою очередь, становится поприщем для выхода человека в просторы бесконечного Космоса». Бескрайние волжские просторы пробуждали в душе А. Белого глубинное космическое и софийное чувство.

«Да, в родной, матерней стихии – в России – еще жива Жизнь. А во всех наслоениях верхних, в надстройках, в „общественностях“ – Ариман убил жизнь. Все – мертвое. Обоняю почти физическим носом гнилостные яды, инфицирующие наше сознание. Вспомните, как у Гёте сказано: черт не имеет доступа туда, где – „матери“. (А для меня – мать сыра земля, которая по Достоевскому что есть? – Богородица.) В этом – Мудрость. Она – мать – будет мудрой водительницей нашего строящегося сознания, когда сознание это возжаждет конкретности, и волю к строительству жизни

внесет в интеллект интеллигенции. Тогда-то „вера в веру“ апостола Павла станет воистину Верою, открывающей Надежду. Там же, где осязаема Надежда и Вера, там – в их контакте – вспыхивает Любовь. А для меня Любовь к стихии народа, к стержневому ритму этой стихии, и есть Любовь между нами в Любви нашей к Матери. Тут-то и открывается в наших индивидуальных попытках „слушать“ ритм жизни великих глубин, соединенных с целинами (так!) народной жизни, – тут открывается нам София, Мудрость. Пишу Вам это пожелание, чтобы мы из глубин матерней жизни вынесли Мудрость, в день Софии Премудрости (и стало быть: Веры, Надежды, Любви)».

\* \* \*

Кавказ произвел на Белого неизгладимое впечатление. Среди заснеженных пиков, в тенистых ущельях, на берегу лазурного моря, под ослепительным южным солнцем, в окружении радушных друзей – он чувствовал себя свободно и легко. Следующих два лета он тоже провел на Кавказе, побывав не только в Грузии, но и Армении, где гидом для него стал выдающийся армянский художник Мартирос Сарьян. Возобновил знакомство и со своей давней почитательницей Мариэттой Шагинян, ставшей теперь известной на всю страну писательницей. О симпатии к ней, о теплоте оживших воспоминаний лучше всего свидетельствует фрагмент письма Белого, написанного в Тбилиси 20 мая 1928 года:

«Милая Мариэтта, спасибо Вам за встречу; и все-таки: ощущение, что мы виделись меньше, чем могли бы; очень нас с К. Н. потянуло к Вам; хотелось бы еще говорить о многом; и – долге: не внешними словами, а всем существом; радостно было увидеть, что мы так долго не видались, и что в этом невидении и не слышанье внешнем мы созвучны в ритмах исканий и устремлений; и – даже: не только не разошлись, а как будто сошлись; это чувство „разошлись“ было у меня к Вам в эпоху скорей 15–21 годов; а сейчас, после нашей встречи, было радостно отметить: точно жизнь убрала между нами ненужные преткновения; мы ли более вызрели, отделясь от субъективного, слишком субъективного, жизнь ли историческая стрясла с нас сор субъекций и ненужных импрессий. Словом: нам с Вами было легко и хорошо; и спасибо за это хорошее; будем же перекликаться и словами, а не только мыслями и устремлениями. <...> Я всегда Вас внутренне знал и любил, но наши внешние встречи бывали какие-то подорожные, спешные (то – в Мюнхене, то – в Ленинграде); Вы – на север;

я – на юг; и всегда сквозь призму людей, и Вам, и мне близких, но с которыми были мучительные и невыясненные отношения. <...> Создавалось впечатление, что и Вы, и я, – в колючей проволоке „их“ слов и мнений о нас, а не „м ы“, взятые по прямому проводу: от „я“ к „я“; и это было не виной нас, а случайностью обстановки встреч, всегда поспешных и из поспешности „нервных“; зная и любя Вас, я не хотел прибавлять к нервным, поспешным встречам (как в Мюнхене, как в Ленинграде) еще новой встречи в этой же тональности: в Тифлисе. И лишь в Эривани я ощутил, что по-хорошему и доброму мы встретились – так, как когда-то (помните, когда я пришел к Вам на елку). В этом смысле я и досадовал в Эривани, что мы по-хорошему встретились; но – мало виделись... <...>»

\* \* \*

Между тем готовившаяся постановка в Театре Мейерхольда пьесы по роману «Москва» не нашла понимания в высоких партийных инстанциях. Цензоры расценили пьесу ни больше ни меньше как *«антиобщественную вещь»*: «Белый еще раз показал, как чужд он понимания того, чем мы сейчас живем. Его карикатуры на большевиков (и имена-то им даны с усмешечкой) показывают, что он не видал и не видит ни рабочих, ни революционеров». В самом деле, было от чего хвататься за голову. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять: выведенные Белым образы большевиков не имеют ничего общего с мифами, к тому времени уже сложившимися в литературе, живописи и кино. Куда, к примеру, прикажете девать 40-летнего большевика Николая Николаевича Киерко (настоящая фамилия Цицерко-Пукиерко), ведущего агитацию в рабочих районах (напомню, что действие романа происходит до революции) и в целях конспирации прикидывающегося тунеядцем (внешность же его такова: коренастый и лысеющий, с русой бородкой, рот кривит, плечом дергает, глаза – с «тиком»)?

Над Белым сгустились черные тучи. Даже такой «таран», как Мейерхольд, способный пробить всё и вся, переубедить самого твердолобого чинушу, не смог ничего сделать. От сценического воплощения «Москвы» с болью в сердце обоим – писателю и режиссеру – пришлось отказаться... (Одновременно «похоронили» и инсценировку «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина, ее, в соответствии с договоренностью, готовил Иванов-Разумник.) Но не только оголтелых недоброжелателей встречал на своем тернистом пути А. Белый. Немало

людей очень высоко ценили его талант. Поэтому вполне закономерно, что в конце 1928 года Ленотгиз (Ленинградское отделение государственного издательства [художественной литературы]) обратился к писателю с предложением – издать его трехтомные воспоминания «Начало века».

Объемистый том с таким названием он написал еще во время берлинской «командировки». Но из-за возвращения А. Белого на родину книга так и не увидела свет. Теперь предоставлялась возможность вернуться к этому замыслу при условии серьезной переработки материалов «в духе времени» и реалий советской страны. По существу, предстояло все переписать. Естественно, Белый не мог не согласиться и с присущей ему энергией взялся за работу. На первый, самый трудный для него, том (около 25 авторских листов) ушло чуть более двух месяцев (согласно дневнику, писатель принялся за дело 6 февраля 1929 года, а 11 апреля книга уже была завершена). Белый назвал ее «На рубеже двух столетий» (менее чем через год она увидела свет). Прежнее общее название «Начало века» перешло ко второму тому.

В целом же все три тома своих воспоминаний А. Белый по аналогии с известной автобиографической эпопеей А. И. Герцена в кругу друзей и близких именовал «Былое и думы». По правде говоря, ожидалось, что мемуары Андрея Белого произведут эффект разорвавшейся бомбы, ибо заранее можно было предсказать: книга воспоминаний ни при каких условиях не ляжет в прокрустово ложе изрядно поднадоевшей официальной концепции политической и идеологической истории России конца XIX – начала XX века. Ведь Белому предстояло писать о предреволюционной ситуации в стране, освободительном движении, разношерстных партиях, полярных настроениях в различных слоях общества, литературных течениях и новых формах искусства, наконец, о конкретных лицах – политиках, писателях, художниках, многие из которых к тому времени стали эмигрантами и непримиримыми врагами советской власти.

Параллельно Белый работал над третьим томом романа «Москва», названным «Маски». Здесь гротескно-сатирический стиль, выработанный в предыдущих двух романах («Московский чужак» и «Москва под ударом»), достиг своего апогея. Сам Белый понимал это как никто другой. «„Маски“ – драматичны по содержанию, – писал он в предисловии, – а драматические моменты нуждаются в темперировании их нарочито грубою солью народного языка: это – прием, мною взятый у Шекспира (Лир и шут, Гамлет и могильщики и т. д.). <...> Пишучи (так!) „Маски“, я учился: словесной орнаментике у Гоголя; ритму – у Ницше; драматическим

приемам – у Шекспира; жесту – у пантомимы; музыка, которую слушало внутреннее ухо, – Шуман; правде же я учился у природы моих впечатлений от Москвы 1916 года, поразившей меня картиной развала, пляской над бездной, когда я вернулся из-за границы после 4-летнего отсутствия. <...>»

\* \* \*

14 апреля 1930 года всю страну потрясло известие: застрелился Владимир Маяковский. По воспоминаниям П. Н. Зайцева, на Белого эта трагедия произвела ужасное впечатление: глаза его наполнились ужасом, он сник, долго молчал и точно мгновенно постарел. Позже он говорил Всеволоду Мейерхольду в присутствии Бориса Пастернака и Юрия Олеси, что смерть Маяковского прежде всего поразила его своей неожиданностью. Ему трудно было представить, что Маяковский именно *так* кончит. «Оглушающее впечатление, – сказал Белый. – Трудно было сразу поверить. Думалось, не злая ли это шутка обывателя-мещанина». О встречах с погибшим поэтом вспоминал:

«– Я был в экстазе от стихов Маяковского „Человек“, – так буквально выразился Борис Николаевич. – Хвалил его стихи. Был на диспуте и чтении в Политехническом музее.

Маяковский предложил Белому выступить в прениях. Борис Николаевич выступил и сказал, что, по его мнению, Маяковский – великолепный поэт. Затем Борис Николаевич вспомнил о встрече в Берлине в 1922 году. В каком-то баре, где бывали русские, сидели за столиком Маяковский, Белый и Пастернак. Сначала все шло хорошо и мирно. Но затем Маяковский встал и предложил выпить за Советскую Россию, протянув свой бокал Белому, чтобы чокнуться.

Борис Николаевич, не чокаясь, ответил:

– Я не стану пить в ЭТОМ ПЬЯНОМ МЕСТЕ за Родину, – встал и вышел из бара.

Маяковский выбежал за ним, но о том, что у них произошло, Белый не рассказал, а с хорошей интонацией заключил:

– Ведь внутри Маяковский был добрый, внимательный... <... > Я у футуристов, – задумчиво продолжал Белый, – многому научился. Маяковский, лично, далек был от меня. Но тем более объективно я ценю его творчество.

Борис Николаевич считал, что смерть С. Есенина закономерно вытекала из последних лет его жизни. Это был жест, predetermined

всей предыдущей музыкой, ритмом его жизни. А смерть Маяковского ошеломляла своей неожиданностью...»

\* \* \*

26 октября 1930 года Андрею Белому исполнилось пятьдесят лет. Круглая дата осталась незамеченной как в официальных кругах, так и в среде широкой литературной общественности. В числе поздравивших писателя с юбилеем были Иванов-Разумник, Борис Пастернак, Всеволод Мейерхольд, Зинаида Райх и несколько ближайших друзей-антропософов. В телеграмме Пастернака говорилось: «От души поздравляю и горячо благодарю за счастье которым дарили и дарите всех нас = радуюсь праву обращаться к Вам = торжествую при мысли что лучшая часть литературы шла Вашими путями = преклоняюсь и желаю ничем не омраченного здоровья = Пастернак = (пунктуация оригинала. – В. Д.)».

Белый ответил письмом: «Дорогой, милый Борис Леонидович! Спасибо Вам; радуюсь привету, не относя к себе, к – „между“ нами; и да будут „междуметия“, коли существительное развалилось, прилагательное – не приложимо, а глаголов еще пока нет. Я жив не собой; жив из глаз тех, кто с сердечностью взирая на меня тем самым меня строят, ибо сам я – нестрой (так!).

Ваша добрая память тем более радует, что Ваше бытие, как человека, и как художника, мне – утешение. Общаешься часто даже не внешним пожатием руки, а мысленным разговором издалека; в каждом из нас есть дальнее и ближнее; мы любим в себе дальнее, ибо ближнее наше часто нас мучит несовершенствами; и любя дальнего „я“, я как себя, люблю дальнее в „ты“, видимое из уединения; часто я в Кучине, откидываясь от стола, посещаю мыслями тех, кто близок в дальнем; а Вы мне не только близки в дальнем, но и близки, как ближний; и я часто хотел бы оказаться у Вас, или видеть Вас у себя.<...>»

Благодарность за поздравление В. Мейерхольду и З. Райх получилось более интимным и неформальным: «Дорогие Зинаида Николаевна и Всеволод Эмилиевич, сердечное спасибо за память; и – так стыдно: за что? Сам по себе факт, что на полстолетие ближе к смерти – радостен ли? Каждый прожитый год садится на горб воспоминаний; и я, горбун, с трудом уже перекрыхтываю (так!) сколько жизни – в жизни!

И порадоваться на себя – не могу: хорош, очень хорош!?! А мои эманации – так это пена, состоящая из мыльных пузырей, которые, перед

тем, как лопнуть, порадуют полмгновения. Таковы мои книги: сон сна!

А я – не прорадужен (так!)! Но радужусь светом, строящим меня, из добрых памятливых глаз: живу не собой, а друзьями; и вот, что Вы – друзья, за это – действительное спасибо.

Так мы, если еще „не есмь“, то – „будем“, пока строится это „между“ меж людьми. В „между“ – жив; в себе – мертв.

И да здравствует между(у) – метие, – *мет между* (так!) добрые „ау“, обращенных друг к другу.

Не принимаю Ваших хороших слов к себе; а на „ау“ откликаюсь: „Ау, Зинаида Николаевна, Всеволод Эмилиевич!“

Жив-жив Курилка, ужасно желающий Вас увидеть (и не только Вас, но и „Баню“ (комедия Маяковского, поставленная в Театре Мейерхольда. – В. Д.), которую ужасно люблю со слов Петра Никаноровича и которую не видел). Но бедный Курилка раздавлен прессом срочной работы: дострачиваю том воспоминаний к сроку; когда кончу – наотдыхаюсь; тогда прочно надеюсь с Вами повидаться.

Ужасно бы хотелось Вам почитать из „Москвы“ (2-й том), которую считаю лучшей своей книгой и которая бог весть когда выйдет (выйдет ли?).

Может быть, можно как-нибудь забраться к Вам, отняв у Вас вечер; я редко испытываю желание авторски делиться; а с „Москвой“ (2-й том) желаю очень; и именно с Вами, как с доброжелателями первого, который – хуже. <...>»

\* \* \*

Наступил 1931 год – один из самых трагичных в жизни писателя. Начался он, как уже случалось не раз, с бытовых неурядиц, обернувшихся непреодолимой проблемой. Хозяин подмосковного дома, где Белый вот уже шесть лет снимал две комнатки, неожиданно скончался, а хозяйка, не перенеся смерти мужа, как говорят в народе, «тронулась» головой и в одночасье превратилась из тихой и отзывчивой женщины в злобную и агрессивную мегеру. Жизнь в Кучине теперь походила на сущий ад. О нормальной работе не могло быть и речи. В Москве в перенаселенной полуподвальной квартире мужа Клавдии Николаевны (с которым и без того были сложные неурегулированные отношения) долго оставаться также было нельзя. Решили воспользоваться предложением Иванова-Разумника переехать пока что в Детское Село, где представилась возможность занять

две комнаты, и продолжить застопорившуюся работу над книгами.

Переезд состоялся 9 апреля 1931 года. Поначалу все шло хорошо. Две теплые комнатки в уютном домике с двориком. Добрые друзья: Иванов-Разумник, Петров-Водкин, Алексей Толстой, Шишков, Чапыгин. Весенний царскосельский парк, бронзовый Пушкин-лецеист на бронзовой же скамейке, на том самом месте, где когда-то впервые стала являться пред ним Муза. Гравиевые дорожки, по коим прогуливались цари и поэты. Совсем недавно здесь жили и творили Иннокентий Анненский, Николай Гумилёв и Анна Ахматова (впрочем, со всеми троими у Белого особо теплых отношений никогда не было). Сама природа, дворцы, памятники и вся окружающая обстановка способствовали здесь творческому вдохновению. Даже отсутствие продуктовых карточек – жизненно важный вопрос! – не могли помешать радужным надеждам на лучшее будущее. Казалось бы, остается только одно: скорее сесть за стол и – работать, работать, работать. Да, работать, конечно, вскоре пришлось в полную силу, но только не над стихами и прозой. 30 мая органы ОГПУ арестовали Клавдию Николаевну и безо всяких объяснений увезли в неизвестном направлении.

Так началась одна из превентивных акций карательных органов против идеологически чуждых элементов. Среди первых, кто попал под удар «карающего меча революции», оказались антропософы, они давно уже не давали покоя властям и ОГПУ. В самом деле, полуконспиративная организация с разветвленной структурой и регулярными секретными контактами за рубежом, где к тому же находился их руководящий центр; идеология – мистическая, занимаются черт знает чем, от сотрудничества с органами уклоняются, на допросах молчат как рыбы, – ну, чем не «пятая колонна»? Арестовывали по списку – подряд и без разбору; в окружении Белого – практически всех: Клавдию Николаевну, ее законного мужа – П. Н. Васильева, сестру – Е. Н. Кезельман и других. Вообще же антропософы явились всего лишь одними из многих: в то время репрессиям подверглись любые «подозрительные» организации – вплоть до краеведов и эсперантистов...

Нельзя сказать, что произошедшее явилось для Белого полной неожиданностью. Скорее, он мог удивляться, что «взяли», как тогда говорили, одну Клавдию Николаевну и, вопреки логике, не тронули его самого. Ведь первый звонок уже прозвенел. Стоило только Белому выехать в Ленинград (и далее – в Детское Село), как в московскую квартиру, где он пребывал до отъезда и остался его архив, нагрянули гэдэушники и произвели тотальный обыск. Они конфисковали почти все рукописи (в



основном неопубликованные работы и дневниковые записи, кои заполняли целый сундук) и не поленились увезти с собой даже пишущую машинку. Белый узнал обо всем от П. Н. Зайцева, незамедлительно приехавшего из Москвы.

У Белого имелось не так много рычагов, могущих повлиять на, казалось бы, безвыходную ситуацию. Он выбрал самый правильный путь – написал А. М. Горькому и попросил срочного вмешательства. Отчаянный демарш оказался не напрасным: в начале июля Клавдию Николаевну освободили под подписку о невыезде. О настроении Белого, остававшегося в Детском Селе, свидетельствует его душераздирающее письмо П. Н. Зайцеву: «Совершилось! Оттого не писал, что не стоило: ждал! Как только выяснится, что она [К. Н. Васильева] в Москве, – буду тотчас. <...> О себе не пишу. Ибо меня – нет; я с ней до такой степени, что ощущаю себя в Детском, как тело без души; вся ставка на твердость; не жизнь, а миллион жизней мне – она. После того, как взяли ее, сутки лежал трупом; но для нее в будущем надо быть твердым. <...> Письмо разорвите» (пунктуация оригинала. – В. Д.).

Почему не арестовали самого А. Белого, никогда не скрывавшего своих антропософских взглядов и увлечений, – остается загадкой по сей день. Многие задавались этим вопросом. Ответы возможны разные. Во-первых, неоспоримый авторитет: несмотря на 50-летний возраст, А. Белый считался *старейшим русским писателем* (именно с такой формулировкой ему вскоре вместе с Максом Волошиным и Георгием Чулковым будет назначена *персональная пенсия*). Во-вторых, Белого поддерживали Максим Горький и Всеволод Мейерхольд, имевшие в начале 30-х годов XX столетия неформальное влияние на шефа карательных органов Генриха Ягоду. В-третьих, маховик массовых репрессий в то время еще только набирал обороты; в полную силу он стал раскручиваться с декабря 1934 года после убийства С. М. Кирова...

Активное вмешательство Мейерхольда также вскоре дало свои результаты. Белого принял «правая рука» Ягоды, член коллегии ОГПУ Яков Саулович (Янкель Шевель-Шмаевич) Агранов (1893–1938). В просторном кабинете на Лубянке состоялся неторопливый полуторачасовой разговор между палачом и его потенциальной жертвой. Если бы Белый только знал, с кем имеет дело! Перед ним сидел убийца Николая Гумилёва. В 1921 году Агранов вел им же состряпанное и шитое белыми нитками «дело» «Петроградской боевой организации» профессора Таганцева, по которому проходил Гумилёв, лично допрашивал поэта и, по предположению некоторых исследователей, присутствовал при его расстреле (по меньшей

мере Аграновым был разработан и утвержден «сценарий» ликвидации безвинного поэта, от которого не осталось даже могилы). В отличие от карикатурного вида своего патрона Ягоды (оба были расстреляны спустя семь лет) Агранов имел артистическую внешность, нравился женщинам, многие из которых становились его любовницами (в частности, Лиля Брик – подруга Маяковского и секретный агент ОГПУ). С Белым у Агранова состоялся столь же высокоинтеллектуальный разговор на литературно-философскую тему, какой он когда-то имел с Гумилёвым. Скорее всего, в эти минуты сановный чекист даже сравнивал свою прежнюю жертву с новой. Но Белому повезло – на время его оставили в покое (скорее всего, по личному ходатайству Мейерхольда, а в дальнейшем – и по личному указанию Сталина)...

В Москве Белого ждали дальнейшие хлопоты, связанные с «делом антропософов». Подписка о невыезде не позволяла Клавдии Николаевне выехать из Москвы в Детское Село. Кроме того, постоянно возникали формальные трудности: официально она не считалась женой писателя А. Белого, и тот был вынужден во всех случаях именовать ее своим секретарем. Требовалось узаконить сложившиеся семейные отношения. Бывший муж Клавдии Николаевны П. Н. Васильев никогда не возражал против развода (тем более что у него тоже давно уже была гражданская жена). Против развода Клоди категорически возражала ее мать исходя в основном из «домостроевских» принципов. Но теперь свои условия диктовали не субъективные взгляды, а жестокая жизненная необходимость. По обоюдному согласию супруги Васильевы оформили развод, а 18 июля 1931 года (через две недели после освобождения) в районном загсе был зарегистрирован брак Клавдии Николаевны с гражданином Бугаевым Борисом Николаевичем (и она тоже стала Бугаевой). Одновременно А. Белый оформил завещание, по которому К. Н. Бугаева становилась единственной наследницей его скромного имущества, но главное – к ней переходило посмертное авторское право писателя на все произведения, как изданные, так и неизданные.

Следствие по «делу антропософов» тем временем шло своим чередом, и А. Белому вскоре пришлось давать письменные показания о своих идейных пристрастиях. Он направил в ОГПУ несколько заявлений, где не столько оправдывал себя, сколько разъяснял сущность и истинные цели антропософского движения, а также защищал своих арестованных друзей. В частности, он писал:

«<...> Считаю статьи, подобные напечатанной в „Советской Энциклопедии“ и характеризующие Антропософию, как „выявление

германского милитаризма“, безграмотным набором слов, и кроме того искажающим факты, могущие быть подтвержденными (травля Штейнера в милитаристических журналах, попытки фашистов нанести оскорбления действием, пожар „Гётеанума“ и т. д.); такие статьи создают легенды с неприятными последствиями для бывших членов „Русского [Антропософского] Общ[ества]“, не причастных к политике; если бы в ныне мне неизвестном „Международном [Антропософском] Общ[естве]“, насчитывающем более 10 000 членов, и оказались бы темные личности, так это печальная участь всех обществ, не повинных в искажении их духа единицами; и тем паче: ныне подследственные мои близкие друзья, не имеющие касания к конкретной жизни западного общества, – не ответственные за образ мыслей им неизвестных западных антропософов... <...>»

Позже письмо аналогичного содержания Белый направил в адрес прокурора, занимавшегося следствием по «делу антропософов». Но и этого оказалось недостаточно. Тогда Андрей Белый обратился в «высшую инстанцию» – написал И. В. Сталину. Это письмо настолько интересно, что его стоит привести полностью:

«Москва 31 августа 1931 года.

Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович! Заострение жизненных трудностей после ряда раздумий и бесплодных хлопот вызвало это мое письмо к Вам; если ответственные дела не позволяют Вам уделить ему внимания, Вы его отложите, не читая.

То, что я переживаю, напоминает разгром; он обусловлен и трудностью моего положения в литературе, которой начало – статья Троцкого, искажающая до корня мой литературный облик и раздавившая меня как писателя в 1922 году; до нее – деятельность моя не вызывала сомнений, ибо все знали, что я сочувственно встретил Октябрьскую революцию и работал с Советской властью еще в период бойкота ее: и в Пролеткульте (иные из моих бывших учеников – ныне видные пролетарские писатели) и в ТЕО (театральный отдел. – В. Д.) Наркомпроса, и в других советских учреждениях. Отрицая войну и разделяя многие лозунги „циммервальдистов“, я до Октябрьской революции имел ряд столкновений с тогдашними литературными группировками (Мережковским, Гиппиус, Бердяевым и др.) как слишком „левый“ для них. После статьи Троцкого я два года был, так сказать, за порогом литературы.

Книги мои приемлемы для цензуры и даже встречают одобрение; но отношение ко мне строится по статье Троцкого; отношение это и стало фоном, на котором углубляется в эти дни инцидент, ломающий здоровье,

самую жизнь и просто лишаящий возможности работать дальше.

Моя нынешняя жена, Клавдия Николаевна Бугаева (до „загса“ со мною – Васильева) с момента нашего с нею переселения в Детское Село и устройства жилища была арестована, как Васильева, в Детском 30-го мая 31-го года, а 3-го июля освобождена, и дело о ней прекращено; но с нее взяли подписку о невыезде из Москвы до окончания дела бывших членов „Русского Антропософского Общества“, заметив, что временное прикрепление есть просто „формальность“.

Бросив срочную работу, комнату, найденную с невероятным усилием, с риском ее лишиться для себя и жены, я приехал в Москву, где два месяца живу без помещения, возможности работать, в бесполезных шестинедельных хлопотах – заменить жене временное прикрепление к Москве временным прикреплением к Детскому. Сейчас мы с женою живем в помещении ее бывшего мужа, доктора П. Н. Васильева, в обстановке для нас весьма трудной.

Статья Троцкого, поставившая меня в фальшивое положение, сказала и в том, что шестинедельные хлопоты о замене жене места временного прикрепления (Москвы на Детское), или эта „формальность“, как ей сказали, – ничем не разрешились; а эта неразрешенность в силу стечения особенно неблагоприятных условий вынужденной жизни в Москве выбивает нас из всех норм жизни, грозит лишением крова и невозможностью мне работать в будущем; и особенно подчеркивает основной тяжелый вопрос о трудностях мне быть литератором.

Деятельность литератора становится мне подчас невозможной; и на склоне лет подымается вопрос об отыскании себе какой-нибудь иной деятельности, ибо каждая моя новая работа, даже признаваемая как нужная и интересная, вопреки спросу на мои книги, требует с моей стороны вот уже скоро десять лет постоянных оправданий и усилий ее провести; каждая моя книга проходит через ряд зацепок, обескураживающих тем более, что участие мне в журналах почти преграждено; на мою долю выпадает писание толстых книг (до 30 печатных листов), требующих огромных усилий; а они лежат чуть ли не до года до выхода в свет, что ставит в весьма трудное и моральное и материальное положение; написать толстый том, убить год на него, произвести большую нервную работу с мыслью, что она будет лежать года и что произведенная работа не вознаграждена, – в моем возрасте все тяжелее, ибо нервы истрепаны, здоровье расстроено, прежних физических сил уже нет и не может быть.

Возникает горестный вопрос: неужели таким должен быть итог тридцатилетней литературной деятельности? Случай с женой заостряет

мое положение уже просто в трагедию. Может быть, жест этого моего письма к Вам – вскрик отчаяния и усталости и недомогания; так и отнеситесь к нему, но, если бы Вы мне смогли помочь в инциденте с женой, для меня эта помощь была бы стимулом к преодолению и других трудностей, которых не мало.

Еще раз простите меня за беспокойство. Остаюсь с глубоким уважением – Борис Бугаев (Андрей Белый)».

Письмо Белого не может не восхищать! Прежде всего это – документ, свидетельствующий о его высоком гражданском мужестве и истинном человеческом достоинстве. В нем нет ни принятого уже в то время славословия в адрес вождя и тем более заискивания перед ним. Как будто не к всесильному Сталину обращается писатель, а к соседу по коммунальной квартире – спокойно, просто, по существу. Он не умоляет и не требует – всего лишь излагает неприглядные факты, которые не мешало бы знать руководителю правящей партии и фактическому правителю страны. Идеологические акценты также выбраны и проставлены грамотно: А. Белый удачно сыграл на лютой ненависти Сталина к Троцкому, спровоцировавшему в 1922 году разнузданную травлю писателя, объявившему его «покойником», а в конечном счете самому оказавшемуся «политическим трупом»...

Добившись формального разрешения на выезд жены за пределы Москвы, Белый с Клавдией Николаевной вернулись в Детское Село, где прожили до конца 1931 года. Здесь его навещали Всеволод Мейерхольд и Зинаида Райх, приезжали в гости и грузинские друзья – поэты Тициан Табидзе и Паоло Яшвили. Здесь же Белый узнал о решении Совета комиссаров РСФСР о назначении ему персональной пенсии. А вот дружба с жившим совсем рядом Ивановым-Разумником неожиданно дала трещину. У последнего давно вызывали настороженность вынужденные контакты Белого с разного рода официальными структурами и органами НКВД, его лояльность к советской власти и, в свою очередь, поддержка со стороны государства. Кончилось все тем, что после окончательного отъезда Андрея Белого в Москву (в последний раз он ненадолго приезжал в Детское Село в конце марта – начале апреля 1932 года) переписка между двумя друзьями и единомышленниками, продолжавшаяся без малого двадцать лет, более не возобновлялась. А в начале февраля 1933 года Иванов-Разумник был арестован по сфабрикованному делу «Идейно-организационного центра народнического движения», руководство которым убежденному и «не разоружившемуся» эсеру безуспешно пытались инкриминировать. Доказать что-либо следственные органы так и не смогли; тем не менее в

июне 1933 года постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ Иванов-Разумник был сослан на три года в Новосибирск, но вскоре переведен в Саратов, где и узнал о кончине Андрея Белого...<sup>[66]</sup>

\* \* \*

В трудные минуты лучшим лекарством от любых невзгод для него, как всегда, был Гоголь! Так было в юности, так стало и в пору зрелости. Если для всей остальной России «нашим всё» оставался Пушкин, то для Белого таким «всё» выступал Гоголь (хотя Пушкина он тоже ценил очень высоко и посвятил анализу пушкинской стихотворной ритмики несколько специальных работ). Еще до революции в романе «Петербург» Белый предвидел грядущие потрясения, ожидающие Россию в недалеком будущем. В романе-эпопее их символом, как мы знаем, стал Медный всадник – ожившее конное изваяние Петра Первого. Его-то он и сопоставил со знаменитым гоголевским образом «птицы-тройки», олицетворяющим Русь, устремленную в лучшее будущее. У Белого же вставший на дыбы и оживший бронзовый скакун с державным всадником в седле символизировал укрощение хаоса грядущих революционных перемен:

«Зыбкая полутень покрывала Всадниково лицо; и металл лица двоился двусмысленным выраженьем; в бирюзовый врезалась воздух ладонь.

С той чреватой поры, как примчался к невскому берегу металлический Всадник, с той чреватой днями поры, как он бросил коня на финляндский серый гранит – надвое разделилась Россия; надвое разделились и самые судьбы отечества; надвое разделилась, страдая и плача, до последнего часа – Россия.

Ты, Россия, как конь! В темноту, в пустоту занеслись два передних копыта; и крепко внедрились в гранитную почву – два задних.

Хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня, как отделились от почвы иные из твоих безумных сынов, – хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня и повиснуть в воздухе без узды, чтобы низринуться после в водные хаосы? Или, может быть, хочешь ты броситься, разрывая туманы, чрез воздух, чтобы вместе с твоими сынами пропасть в облаках? Или, встав на дыбы, ты на долгие годы, Россия, задумалась перед грозной судьбою, сюда тебя бросившей, – среди этого мрачного севера, где и самый закат многочасен, где самое время попеременно кидается то в морозную ночь, то – в дневное сияние? Или ты, испугавшись прыжка, вновь опустишь

копыта, чтобы, фыркая, понести великого Всадника в глубину равнинных пространств из обманчивых стран? <...>»

Новая книга «Мастерство Гоголя», к которой Белый по существу шел всю жизнь, всецело захватила его. Увидевшая свет уже после смерти писателя, она по праву считается одной из блестящих работ в литературоведении XX века. Выстраданные фразы ее – точно отлиты в ювелирной форме: «<...> Гоголь – сама эпопея прозы. Его сознание напоминает потухший вулкан. <...> Вместо *дорической* фразы Пушкина и *готической* фразы Карамзина – асимметрическое барокко. Фраза Гоголя начинает период, плоды которого срываем мы. <...>»

Книга о Гоголе писалась в исключительно неблагоприятных условиях – в перенаселенном полуподвальном помещении все того же дома 53 на Плющихе, где писателю уже неоднократно приходилось приткнуться колени бездомного скитальца. От планов насовсем перебраться в Детское Село пришлось отказаться, а собственного жилья у Белого попрежнему не было. Здесь его изредка навещали друзья и знакомые, оставившие колоритные воспоминания о коммунальном московском быте.

Прежде всего посетителя озадачивало окно под самым потолком, где взад-вперед мелькали ноги прохожих, идущих по тротуару и заслоняющих свет. Возникло впечатление какой-то сюрреалистической картины – ноги без туловища и колебание возникающих от них теней. Иногда ноги останавливались и выстраивались в очередь: значит, в соседнем молочном магазине появился какой-нибудь «дефицит» – творог или сметана. В оконное стекло под потолком произвольно начинали стучать бидонами. Белый не выдерживал, распахивал окно, высовывался и кричал: «Отойдите же от окна! Прошу. Умоляю вас, отойдите же от окна хотя бы на два шага. Здесь живет писатель! Не мешайте ему работать!» Толпа шарахалась в сторону. Но очередь продвигалась вперед, подходили другие люди и все начиналось сначала...

Художнику В. А. Милашевскому он жаловался: «Вы знаете, даже великому Босху не под силу было бы выдумать такие кошмарные ноги и их одеяния! Это грязный ад, без пламени, а только с подвальной сыростью! Вы знаете, иногда появляются какие-то ноги, совершенно фантастические по воплощенному в них „кошмару“, „мерзкому злу“. Ноги ведьмы долго стоят перед глазами, и кажется, что уже нет на свете ни Данте, ни Боттичелли, ни Шекспира, ни Пушкина. Одни эти ноги корявой ведьмы!»

Для улучшения быта советских писателей начали строить кооперативный дом в Нащокинском переулке. Дом существует и поныне, однако в начале 1930-х годов ввод его в эксплуатацию являлся еще не

близкой перспективой. Но иных путей для получения нормального жилья не предвиделось. Белый продал свой архив в Литературный музей и сделал необходимый взнос в кооперативное строительство. И все же главным событием литературной жизни той поры стало постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке писательских организаций», в соответствии с которым началась подготовка учредительного съезда Союза советских писателей. Идея объединения всех литераторов в единый союз давно витала в воздухе. Как бы ни страдали многие писатели от идеологического пресса, как бы ни возмущались им – без мощной поддержки со стороны государства и находящейся в его руках современной полиграфической базы, без солидной финансовой, хозяйственной, медицинской, просто бытовой помощи – и писательское дело, и культурная жизнь всей страны особых перспектив не имели.

Памятуя о пагубности писательской групповщины и постоянной грызни в пору своей символистской юности (да и сейчас – тоже), Белый с искренним воодушевлением воспринял решение, принятое в высших партийных кругах, и активно включился в подготовительную работу. В октябре 1932 года он выступил на пленуме Оргкомитета будущего союза, где сравнил планируемое создание Союза советских писателей со строительством Днепрогэса. Как старейший российский писатель он чувствовал за собой право высказаться по многим наболевшим вопросам: «Хочется высказать пожелание, чтобы мы оставили наши вчерашние взаимные счеты и говорили бы о том, что будет завтра, а не о том, что было вчера, – это нужно для создания наиудобных условий для общей работы. <...> Мы должны откликнуться на призыв к работе и головой и руками. Что значит откликнуться головой? Это значит провести сквозь детали работы идеологию, на которую указывают вожди. До сих пор трудность усвоения лозунгов зачастую усугубляла „банализация“ лозунгов со стороны лиц, являвшихся средостением (так!) между нами, художниками слова, и нашими идеологами. Одно дело – увидеть солнце, другое дело – иметь дело с проекцией солнца на плоскости; в такой банализации и луч света – незаштрихованная плоскость. <...>

Более, чем кто-либо, я знаю, как громадна потенциальная энергия творчества в рабочих массах. В 1918 году мне ведь приходилось работать с молодыми представителями пролетарской литературы в Пролеткульте; и я удивлялся тому, с какой быстротой они ощупывают тонкости наших классиков; но эта хватка к пониманию специфика искусства подобна потенци к электричеству в воде Днепра, в воздухе. Нутряных талантов хоть отбавляй. Детали разработанной идеологии уподобляемы учебнику



физики, дающему точные формулы электричества; но смешно было бы думать, что из только механического приложения формулы к Днепру родилась бы та культурная революция, в которой мы все одинаково заинтересованы. <...> Я пожелал бы, чтобы энтузиазм чувства стал энтузиазмом воли и сознания в процессах повседневной работы, которая должна нас всех связать и друг о друга перетереть».

\* \* \*

Август и сентябрь 1932 года Белый с женой провели в городке Лебедин (расположенном в верхнем течении Дона и описанном еще Тургеневым в «Записках охотника») у сестры Клавдии Николаевны – Елены Николаевны Кезельман, сосланной в провинцию за принадлежность к Антропософскому обществу. Среднерусские просторы, спокойная творческая обстановка благотворно повлияли на самочувствие и настроение Белого. Почти каждый день под вечер отправлялся он со своими двумя спутницами в длительные пешеходные прогулки, любясь закатами и выбирая все новые и новые маршруты. «Эта страна воздуха, – вспоминает Е. Н. Кезельман, – страна световых переливов, казалась его отчизной, откуда он пришел и в которой продолжал жить, черпая из нее свои творческие силы. <...> Порою он останавливался и голосом полным благодарности, любви, строгого благоговения, произносил, как бы обращаясь к кому-то живому: „Природушка. Природушка-матушка“».

Во все времена Природа для А. Белого была, хотя и немой, но самым отзывчивым «собеседником». Истинный сын ноосферы – он почти что на уровне подсознания ощущал самые глубинные течения ее собственных сакральных токов и вихрей, доходящих из самых глубин безграничного Космоса. Это началось еще в раннем детстве – в «эпоху Красных зорь». Это продолжалось и здесь – в заповедном крае Среднерусской возвышенности. Вечерние зори попрежнему влекли и очаровывали его, как когда-то гипнотизировали далеких арийских пращуров. «Когда солнце начинало садиться, – рассказывает Е. Н. Кезельман, – и по небу струями, вспышками света играли закатные краски, Б. Н. как-то больше еще затихал, наполняясь этим немой разговором с природой. Что-то тихое, строгое, очень, очень сосредоточенное и глубокое шло от него в такие минуты».

В каждой заре он видел нечто новое и неповторимое. Вечерняя заря, тающая на глазах и поутру возрождающаяся в своей новой ипостаси, всегда представлялась Белому *символом* непрерывных круговоротов в Природе и

Космосе, *символом* «вечного возвращения», *символом* постоянно возрождающихся космических процессов и явлений, *символом* циклического развития Вселенной и Человека. Точно так же и в прозе Гоголя он открывал такие тайники и сокровищницы, какие до него не удавалось увидеть никому другому. Белый называл это «наукой видеть» – слова, заимствованные у очень уважаемого им художника, соратника еще по «скифскому» и «вольфиловскому» периодам их жизни и деятельности – К. С. Петрова-Водкина. Тот тоже преклонялся перед Андреем Белым как писателем, поэтом, человеком и написал два его портрета: один – обычный, другой – «синтетический», где вместе изображены три лица – Пушкин, Белый и сам Петров-Водкин.

\* \* \*

11 и 27 февраля 1933 года в большом зале Политехнического музея прошли литературные «Вечера Андрея Белого». Первый «вечер» вел Всеволод Мейерхольд, второй – Сергей Эйзенштейн. С кинорежиссером, обессмертившим свое имя постановкой «Броненосца „Потемкина“», у Белого установилось полное взаимопонимание: в ритмических открытиях писателя Эйзенштейн улавливал революционные ритмы, воплощенные им в новаторских фильмах. О первом же из февральских «вечеров», состоявшихся в Политехническом музее, газета «Вечерняя Москва» писала:

«После долгого перерыва Андрей Белый снова выступил с чтением своих художественных произведений. Большой зал Политехнического музея переполнен до отказа. Среди присутствующих много представителей литературного и театрального мира. На трибуне Вс. Мейерхольд, Б. Пастернак, М. Пришвин, Вс. Вишневский. Председательствующий на вечере Вс. Мейерхольд делает краткое вступительное слово. Он характеризует А. Белого как писателя, который „сейчас активно включился в строительство нашей новой литературы и проделывает это с большим энтузиазмом и горячностью“. Сохранились тезисы вступительного слова А. Белого на обоих «вечерах».

*«1. Особенность моей прозы*

Объяснение особенностей моей прозы (она – интонационна); я пишу за письменным столом, а на ходу; мои романы – поэмы, в которых стихотворные строчки ради экономии места не означены; но фразы сочинены так, как лирический поэт сочиняет строчки; ему нужны ноги для отбивания ритма; и даже руки для жестов; меня надо декламировать, а не

читать: см. по этому поводу статью В. Маяковского („Как делать стихи?“ – В. Д.); он объясняет, как он сочиняет стихи (V-й том Собрания стихотворений В. Маяковского): кто меня читает глазами, летя по строчкам с быстротой курьерского поезда, а не произносит внутренне слово за словом, соблюдая показанные автором паузы, тот автора не поймет, сломав себе шею о ритм. Исполнение автора – демонстрация особенностей прозы.

## *2. Почему я так непонятен*

Непонятность моей прозы вытекает из вышесказанного; художественные вещи, где проработано каждое слово и где каждый знак препинания – не зря, хотя абстрактно глотать так, как авантюрные романы: огромными дозами; попробуйте скороговоркой отбарабанить „Евгения Онегина“; от эдакого чтения у читателя на лоб полезут глаза.

## *3. Живая книга и живой писатель*

Почему я не пишу за письменным столом, а произношу свои романы, записывая их на клочках бумаги – в полях, в лесу, на прогулках? Потому что я как бы говорю с читателем с эстрады; я писатель-исполнитель; и держусь мнения, что живая книга будущего – не книга вовсе, а аудитория, или звуковое кино. <... >

## *4. Как писать и как читать*

И писатель, и читатель учатся друг у друга; писатель учится понимать спрос, принимая его из рук в руки; читатель учится умению читать; искусство чтения, литграмота, должна быть так же распространена, как и политграмота; наряду с мобилизацией научных знаний должны быть мобилизованы и писатели; они должны учить читателей своим станкам (орудиям производства). <...>»

\* \* \*

Все это время писатель продолжал работать над мемуарами. Он как бы заново переживал далекое и недавнее прошлое, основные вехи истории символизма и события, связанные с литературной деятельностью наиболее ярких его представителей. Со смертью Федора Сологуба, последовавшей 5 декабря 1927 года, русский символизм как бы подвел окончательную черту под историей своего развития. Хотя за границей по-прежнему проживали и творили многие его видные представители – Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, Вячеслав Иванов и Константин Бальмонт, они были полностью оторваны от родины и обитали точно на другой планете. В России знаменосцами Серебряного века оставались Андрей Белый и

Максимилиан Волошин, Анна Ахматова и Осип Мандельштам. Однако последним защитником «символистской баррикады» мог считаться один Белый. Он и сам это прекрасно осознавал. Не далее как в марте 1928 года на одном дыхании написал важнейший (как он считал) и, по существу, программный трактат под названием «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть на всех фазах моего идейного и художественного развития»,<sup>[67]</sup> где не отрекся ни от одного своего некогда написанного или высказанного слова. (В первоначальном варианте этого эссе после слова «символистом» стояло еще «и антропософом»: от своих антропософских увлечений он тоже не собирался оторваться.)

С двумя отечественными представителями великой когорты поэтов Серебряного века ему еще предстояло увидеться и с обоими – в Коктебеле: с Максом Волошиным – в сентябре 1930 года и с Осипом Мандельштамом – в июне–июле 1933 года (уже после смерти Макса, последовавшей 11 августа 1932 года). Обе эти встречи стоят того, чтобы о них рассказать поподробнее. Летом 1930 года Белый с женой отдыхал в Крыму, в Судаче, где в бешеном темпе заканчивал вторую часть романа «Москва». Перед возвращением домой и по окончании срочной работы решено было в ответ на неоднократные приглашения Макса заглянуть в Коктебель. Поэт Всеволод Рождественский стал свидетелем общения старых друзей, о чем рассказал в частном письме:

«Здесь несколько дней гостил Андрей Белый, поразивший меня огненной молодостью своего духа, необычайной внешней оживленностью, парадоксальностью суждений и голубым пламенем совершенно юношеских, немного раскосо поставленных глаз. Рассказывая о своем пребывании на Кавказе, спорил с М[аксимилианом] А[лександровичем] о своей книге „Ритм как диалектика“, делился отрывками воспоминаний. От всей его личности веет и безумием и гениальностью. Давно уже, со времен Блока, не встречал я человека с такой яркой, взвихренной костром, душой. Эпоха Великого Символизма в последний раз наяву прошла перед моими глазами, опалив своим дыханием мои легкие, уже привыкшие к воздуху низин».

Спустя три года, снова приехав в Коктебель, Белый посетил на вершине горы Кучук-Енишар могилу давнего друга, которого называл «Орфеем, способным оживить камни». Здесь тоже лежал простой надгробный камень – свидетельство окончательного посмертного слияния Макса с боготворимой им Природой. По просьбе вдовы умершего друга Белый написал небольшой мемуарный очерк под названием «Дом-музей М. А. Волошина», в нем есть такие слова: «<...> Сама могила его, взлетевшая

на вершину горы, есть как бы расширение в Космос себя преобразующей личности...»

Тогда же Белый познакомился и с Мандельштамом. Оба писателя с женами приехали в Крым по путевкам Литфонда, им вчетвером даже пришлось сидеть за одним обеденным столом. Но полного сближения не случилось – по причине скептического отношения Мандельштама к антропософии: со свойственной ему прямоотой, граничащей с бестактностью, он отпустил несколько неуклюжих замечаний в адрес антропософов как таковых, но тем самым задел за живое и Белого, и Клавдию Николаевну. Отсюда и достаточно постное мнение о Мандельштамах, высказанное им в посланном из Коктебеля письме писателю Федору Gladкову (с ним Белый сблизился в последние годы жизни): «Из писательской братии кроме меня, Мандельштама с женой да Мариенгофа – никого; оба мне далеки; но с Мариенгофом относительно легко: он умеет быть любезно-далеким и легким. А вот с Мандельштамами – трудно; нам почему-то отвели отдельный столик; и 4 раза в день (за чаем, обедом, 5-часовым чаем и ужином) они пускаются в очень „умные“, нудные, витиеватые разговоры с подмигами... <...> и приходится порою бороться за право молчать во время наших тягостных тэт-а-тэт'ов».

И все же два крупнейших поэта Серебряного века – Мандельштам и Белый – не могли не найти общий язык. Они выкрадывали время, чтобы пообщаться без жен: уединялись где-нибудь на пустынном берегу моря и увлеченно делились друг с другом творческими планами. Мандельштам работал в то время над эссе «Разговор о Данте» и зачитывал Белому отделанные отрывки. В свою очередь, А. Белый рассказывал о своих изысканиях в области стихотворной ритмики, работе над словарем рифм, мемуарами и монографией «Мастерство Гоголя».

Тогда-то у Белого от перегрева на солнце и случился первый роковой удар – обморок, вызванный, как стало известно только потом, кровоизлиянием в мозг. Тошнота, слабость, мучительные головные боли, полная потеря работоспособности заставили писателя перебраться в «музыкальную комнату» волошинского Дома поэта (раньше он занимал соседствующий домик, также принадлежащий теперь Литфонду) и перейти на постельный режим. Когда спустя почти две недели самочувствие несколько нормализовалось, они с Клавдией Николаевной с величайшими предосторожностями вернулись в Москву и вновь поселились в полуподвале на Плющихе.

Собственной квартирой в строящемся кооперативном «писательском доме» в Нащокинском переулке, где Белый числился пайщиком, пока и не

пахло. Между тем приближался срок представления последней части мемуаров, к написанию которых он еще и не приступал. Писать приходилось через силу, прежней титанической работоспособности как не бывало, головные боли не отпускали ни на день. И тут Белому пришлось пережить новый удар, по существу, его доконавший. В конце ноября вышел в свет второй том его воспоминаний «Начало века», ему было предпослано предисловие, написанное Л. Б. Каменевым и явившееся полной неожиданностью для Белого (его никто даже не поставил в известность о таком «соавторстве»). Бывший председатель исполкома Моссовета и строптивый партийный оппозиционер ныне пребывал в жесточайшей опале и, по личному ходатайству М. Горького, возглавлял издательство «Academia». Тем не менее былой идеологической спеси у одного из «штрейкбрехеров революции» несколько не поубавилось, и он обрушился на воспоминания Белого с беспрецедентно разнузданной критикой. В чем только не обвинял Каменев автора, как только не изощрялся в «марксистской критике»:

«С писателем Андреем Белым в 1900–1905 гг. произошло трагикомическое происшествие: комическое, если взглянуть на него со стороны, трагическое – с точки зрения переживаний самого писателя. Трагикомедия эта заключалась в том, что, искренне почитая Себя в эти годы участником и одним из руководителей крупного культурно-исторического движения, писатель на самом деле проблуждал весь этот период на самых затхлых задворках истории, культуры и литературы. Эту трагикомедию Белый и описал ныне в своей книге „Начало века“. <... >

Литературно-художественная группа, описываемая Белым, по своему составу, по своей идеологии, по своей психологии есть продукт загнивания русской буржуазной культуры, а отнюдь не предшественница, не провозвестница сил, эту „культуру“ ликвидировавших. Гниение, как известно, может сверкать пурпуром и золотом, блистать „золотом в лазури“. Но это все же гниение, распад, перерождение и нежизнеспособная комбинация пораженных болезнью элементов. Загнивание русской буржуазной идеологии приняло, в силу ряда исторических причин, своеобразные формы. У русской буржуазной идеологии не было буйной молодости. Пораженная в детстве болезнью старческого маразма, она не дала ни Вольтера, ни Гёте, ни Байрона. Придавленная крепостническим государством, с которым с момента своего появления она была связана тысячью нитей и с которым всегда искала компромиссов, и до смерти напуганная социализмом, она в высшей области культуры, в сфере общих идей, философии, искусства и литературы оказалась способной лишь на

метания, в которых центральное место занимали поиски утешения и успокоения. В основном идейные конструкции, созданные русской буржуазной интеллигенцией в эпоху 1900–1917 гг., были системами самообороны против пролетарской революции. Ни сочувствие политическому освобождению от явно пережившего себя царизма, ни заигрывание с эсерами или – в меньшей мере – с меньшевистской социал-демократией, ни в коей мере не противоречат этому общему характеру идейной продукции буржуазной интеллигенции. Мережковский и Гиппиус могли заигрывать с бомбистами, Блок тяготеть к расплывчатому народничеству, Андрей Белый – к социал-демократии. Все это были частности и детали, метания и идейные судороги; генеральная же линия идейно-художественного творчества всей этой группы была направлена к созданию идеологии, которая охраняла бы основные буржуазные ценности от „грядущих гуннов“ или, в крайнем случае, лишь отражала смутное сознание непрочности и „неподлинности“ этих ценностей и ощущение надвигающейся катастрофы... <...>»

Как бы ни блистал Каменев эрудицией, как бы ни злобствовал он в желчном остроумии и классовой ненависти (хотя сам к пролетариату никогда непосредственного отношения не имел) – через три года сам он вместе со своим приятелем Зиновьевым был предан суду и расстрелян как злейший «враг народа». Но Белому от этого лучше не стало: спустя полтора месяца он умрет, и предисловие Каменева к «Началу века» станет той последней каплей, которая привела больного писателя на больничную койку, с которой он уже не поднялся. 2 декабря 1933 года у Белого случилось новое кровоизлияние в мозг, и день этот стал последним, когда он попытался взяться за перо и сесть за письменный стол. Через пять дней его перевезли в клинику, где он и скончался от паралича дыхательных путей – как будто уснул...

Клавдия Николаевна оставалась рядом с мужем до последнего вздоха. За десять минут до конца, подобно Гёте, говорил с ней *о свете*. Писатель и поэт, мыслитель и провидец навсегда расстался с миром, воспетым им в неповторимых стихах и прозе, 8 января 1934 года в 12 часов 30 минут... Даже на смертном одре, как отметил П. Н. Зайцев, лицо его «сияло улыбкой и было исполнено света и покоя. Это было лицо Дитяти и Мудреца, отрешенного от всего земного. <...>» Последними словами Андрея Белого, которые услышал преданный друг и помощник, были: «Удивительна красота мира...»

После медицинского вскрытия и освидетельствования пораженный многими кровоизлияниями мозг Белого перевезли в Институт мозга, где он

и теперь хранится рядом с мозгом других выдающихся людей XX века, среди них: ученые – Циолковский и Павлов, Мичурин и Выготский, Богданов и Сахаров; писатели и поэты – Горький, Маяковский, Анри Барбюс, Эдуард Багрицкий; общественные деятели – Ленин и Сталин, Луначарский и Менжинский, Киров и Калинин, Крупская и Клара Цеткин, а также – певец Собинов, режиссер Станиславский, дрессировщик Дуров, загадочный прорицатель Вольф Мессинг и ряд других известных лиц.

В некрологе, напечатанном в «Известиях» и подписанном Борисом Пильняком, Борисом Пастернаком и Григорием Санниковым, говорилось: «8 января, в 12 ч. 30 мин. дня умер от артериосклероза Андрей Белый, замечательнейший писатель нашего века, имя которого в истории станет рядом с именами классиков не только русских, но и мировых. Имя каждого гения всегда отмечено созданием своей школы. Творчество Андрея Белого – не только гениальный вклад как в русскую, так и в мировую литературу, он – создатель громадной литературной школы. Перекликаясь с Марселем Прустом в мастерстве воссоздания мира первоначальных ощущений, А. Белый делал это полнее и совершеннее. Джемс Джойс для современной европейской литературы является вершиной мастерства. Надо помнить, что Джемс Джойс – ученик Андрея Белого. Придя в русскую литературу младшим представителем школы символистов, Белый создал больше, чем все старшее поколение этой школы, – Брюсов, Мережковские, Сологуб и др. Он перерос свою школу, оказав решающее влияние на все последующие русские литературные течения. Мы, авторы этих посмертных строк о Белом, считаем себя его учениками.

Как многие гениальные люди, Андрей Белый был соткан из колоссальных противоречий. Человек, родившийся в семье русского ученого, математика, окончивший два факультета (в действительности второй факультет – историко-филологический – А. Белый не закончил. – В. Д.), изучавший философию, социологию, влюбленный в химию и математику при неменьшей любви к музыке, Андрей Белый мог показаться принадлежащим к той социальной интеллигентской прослойке, которой было не по пути с революцией. Если к этому прибавить, что во время своего пребывания за границей Андрей Белый учился у Рудольфа Штейнера, последователи которого стали мракобесами Германии, то тем существенней будет отметить, что не только сейчас же после Октябрьской революции Андрей Белый деятельно определил свои политические взгляды, заняв место по нашу сторону баррикад, но и по самому существу своего творчества должен быть отнесен к разряду явлений революционных. Этот переход определяется всей субстанцией Андрея Белого... <...>»



Те же мысли Пастернак, с трудом сдерживавший слезы, высказал и на гражданской панихиде, проходившей 9 января в помещении Оргкомитета Союза советских писателей. На другой день состоялась кремация. Гроб с телом до крематория везли на катафалке-дрогах, запряженных одной, еле шагающей лошадью. Приехавшая из Ленинграда Нина Ивановна Гаген-Торн двигалась вместе со скорбной процессией по таким любимым писателем московским улицам (где он тысячи раз проходил один или с друзьями) и как могла поддерживала ничего не видевшую от горя Клавдию Николаевну. Спонтанно родились стихи: в центре их два неразрывно связанных начала – ноосферный Космос и постигающий ее поэт, сын Матери-Земли:

Умер. Положили на дроги,  
Долго везли мостовыми...  
Сожгли... И немногие  
Помнят самое имя.

А был такой, что Вселенную  
В тонкой держал ладони...  
Травы над ним смиренные  
Спины зеленые клонят.

Спустя неделю урну с прахом писателя захоронили на Новодевичьем кладбище. *Самосознающая же душа* его и то, что теософы и антропософы именуют эфирным и астральным телом, стали частью разлитой в бесконечном Космосе *ноосферы*...

\* \* \*

Осип Мандельштам воспринял смерть Белого как событие апокалипсического значения. Тема эта не давала ему покоя, и в течение января поэт создал цикл из семи стихотворений (часть из них была не завершена, остальные до конца не отделаны). Весь цикл в целом и каждый из составляющих его элементов задумывались как традиционные русские «плачи» и как таковые воспринимаются по сей день. Вот лишь некоторые из фрагментов мандельштамовского «плача»:

Меня преследуют две-три случайных фразы,  
Весь день твержу: печаль моя жирна,  
О Боже, как черны и синеглазы  
Стрекозы смерти, как лазурь черна!

Где первородство? Где счастливая повадка?  
Где плавный ястребок на самом дне очей?  
Где вежество? Где горькая украдка?  
Где ясный стан? Где прямизна речей <...>

.....  
Ему солей трехъярусных растворы  
И мудрецов германских голоса,  
И русских первенцев блистательные споры  
Представились полвека в полчаса.  
<... >

\* \* \*

<... >  
Он, кажется, дичился умиранья  
Застенчивостью славной новичка  
Иль звука-первенца в блистательном собраньи,  
Что льется внутрь – в продольный лес смычка,  
И льется вспять, еще ленясь и мерясь  
То мерой льна, то мерой волокна,  
И льется смолкой – сам себе не верясь —  
Из ничего, из нити, из темна, —  
Лиясь для ласковой, только что снятой маски,  
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,  
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки,  
Крупнозернистого покоя и добра.

\* \* \*

Ему кавказские кричали горы

И нежных Альп стесненная толпа —  
На звуковых громад крутые всхоры  
Его вступала зрячая стопа.  
И европейской мысли разветвление  
Он перенес, как лишь могущий мог:  
Рахиль глядела в зеркало явлений,  
И Лия пела и плела венки.  
<... >

\* \* \*

Откуда привезли? Кого? Который умер?  
Где [именно]? Мне что-то невдомек...  
Скажите, говорят, какой-то Гоголь умер?  
Не Гоголь, так себе, писатель... гоголёк.  
Тот самый, что тогда невнятицу устроил,  
Чего-то шустрился, довольно уж легок,  
О чем-то позабыл, чего-то не усвоил,  
Затеял кавардак, перекрутил снежок.  
<... >

Особенно трогательно последнее стихотворение, где Мандельштам вспоминает прозвище Белого – Гоголёк, данное ему когда-то Вячеславом Ивановым...

## ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АНДРЕЯ БЕЛОГО [\[68\]](#)

1880, 14 (26) октября – в Москве в семье известного математика, профессора МГУ Николая Васильевича Бугаева и его жены Александры Дмитриевны Бугаевой (урожденной Егоровой) родился сын Борис.

1891, сентябрь – Борис Бугаев поступает в Московскую частную гимназию Л. И. Поливанова.

1895, конец года – знакомится с Сергеем Соловьевым и его родителями – Михаилом Сергеевичем и Ольгой Михайловной Соловьевыми, а вскоре и с братом Михаила Сергеевича – философом Владимиром Сергеевичем Соловьевым.

1897, январь – пишет романтическую сказку.

1898, осень – Бугаевы покупают имение Серебряный Колодезь в Ефремовском уезде Тульской губернии.

1899, сентябрь – Борис Бугаев становится студентом естественного отделения физико-математического факультета Московского университета.

1900, январь—декабрь – работает над «Северной симфонией» и циклом символистских стихов;

весна – начинает серьезно изучать философские труды и поэзию В. С. Соловьева.

1901, февраль – встречается с М. К. Морозовой на симфоническом концерте, начало «мистериальной любви» к ней и исповедальной анонимной переписки;

март—август – работает над «2-й драматической симфонией»; декабрь – знакомится с В. Я. Брюсовым, Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус.

1902, апрель – в свет выходит «2-я драматическая симфония»; она стала первой публикацией Бориса Бугаева, к тому же впервые подписанной псевдонимом Андрей Белый;

апрель—август – Андрей Белый пишет «3-ю симфонию»;

осень – знакомится с С. П. Дягилевым и А. Н. Бенуа, посещает студенческое филологическое общество, работает в университетской лаборатории органической химии, публикует статьи в журнале «Мир искусства».

1903, январь – начало переписки с Александром Блоком;

16 января – скоропостижно скончался М. С. Соловьев, в тот же день не

в силах перенести утрату застрелилась О. М. Соловьева;

февраль—апрель – поэтический дебют Андрея Белого в альманахе «Северные цветы»;

март – Белый знакомится с К. Д. Бальмонтом, М. А. Волошиным, Ю. К. Балтрушайтисом, С. А. Соколовым (владельцем издательства «Гриф») и другими символистами, пишет «открытое письмо» «Несколько слов декадента, обращенных к либералам и консерваторам»;

май – получает диплом об окончании университета;

29 мая – умер отец Андрея Белого – Н. В. Бугаев;

лето – Белый пишет статьи «Символизм как миропонимание», «О теургии», «Критицизм и символизм», углубленное изучение в подлинниках философии И. Канта, подготовка к изданию книги стихов «Золото в лазури»;

осень – формируется кружок «аргонавтов» и идеология «аргонавтизма», в свет выходит «Северная симфония (1-я героическая)»; начало «мистериальной любви» к Нине Петровской.

1904, январь – Белый знакомится с Александром Блоком и его женой Любовью Дмитриевной;

март – в свет выходит первый поэтический сборник Белого «Золото в лазури»;

апрель – Белый знакомится с Вячеславом Ивановым;

лето – поступает на историко-филологический факультет Московского университета, гостит у А. Блока в Шахматове;

ноябрь – выходит в свет «Возврат. III симфония».

1905, 9 января – Белый приезжает в Петербург к Блокам и Мережковским, становится свидетелем Кровавого воскресенья и участником последующих событий и акций протеста;

февраль – по возвращении в Москву получает вызов на дуэль от Брюсова, которая не состоялась после примирения поэтов;

февраль—март – пишет статью «Апокалипсис в русской поэзии»;

апрель – лично знакомится с М. К. Морозовой, участвует в проводимых в ее особняке собраниях Религиозно-философского общества имени Владимира Соловьева;

июнь – приезжает в Шахматово к Блокам, делает письменное признание в любви Любови Дмитриевне Блок;

август – пишет теоретическую статью «Луг зеленый»;

сентябрь – участвует в университетских митингах;

3 октября – участвует в похоронах Н. Э. Баумана;

ноябрь – знакомится с Асей Тургеневой.

1906, 26 февраля – объясняется в любви Л. Д. Блок;  
осень – подает прошение об отчислении из университета и отправляется в путешествие по Европе.

1907, 2 января – Белому делают операцию в парижской больнице;  
конец февраля – Андрей Белый возвращается в Москву;  
август – Блок вызывает Белого на дуэль; но при личной встрече конфликт улаживается.

1908, февраль – встреча с Асей Тургеневой;  
апрель – в свет выходит «Кубок метелей. Четвертая симфония»;  
лето – пишет стихи для сборников «Пепел» и «Урна»;  
осень – посещает теософский кружок;  
декабрь – мистериальное сближение с теософкой А. Р. Минцловой.

1909, конец марта – в свет выходит книга «Урна: Стихотворения»;  
апрель – начало романа с Асей Тургеневой;  
август—сентябрь – Белый участвует в организации издательства «Мусагет»;

сентябрь—декабрь – пишет статьи для сборника «Символизм»: «Эмблематика смысла», «Проблемы культуры», «Магия слов» и другие, завершает роман «Серебряный голубь».

1910, январь—март – живет в Петербурге на квартире («Башне») Вячеслава Иванова;

апрель – в свет выходит «Символизм: Книга статей»;  
май – в свет выходит отдельное издание «Серебряного голубя»;  
сентябрь – Белый пишет теоретическую статью «Мысль и язык (Философия языка А. А. Потебни)»;

ноябрь – читает лекцию в Религиозно-философском обществе на тему «Трагедия творчества у Достоевского», возобновляет дружбу с Блоком, после смерти Льва Толстого пишет брошюру «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой»;

26 ноября / 9 декабря (по новому стилю) – уезжает с Асей Тургеневой в заграничное путешествие.

1911, март – выходят в свет «Арабески: Книга статей»;  
22 апреля – Белый возвращается в Россию;  
октябрь – декабрь – пишет роман «Петербург».

1912, январь – редактор журнала «Русская мысль» П. Б. Струве отказывается печатать роман;

март – Белый передает написанные главы романа «Петербург» издателю К. Ф. Некрасову и уезжает с Асей Тургеневой в Европу;

май – встречается с главой антропософской школы Рудольфом

Штейнером и решает вместе с Асей Тургеневой встать на путь антропософского «ученичества».

1913, 11 марта – Андрей Белый и Ася Тургенева возвращаются в Россию;

май – в Петербурге Белый знакомится с Ивановым-Разумником, общается с Блоком, Вяч. Ивановым, Мережковским, Гиппиус, Бердяевым; с группой русских антропософов выезжает в Гельсингфорс (Хельсинки), где читает лекции Р. Штейнер;

август—декабрь – ездит вслед за Р. Штейнером по Европе, чтобы слушать его лекции, вместе с группой русских антропософов участвует в строительстве антропософского храма Гётеанум в Дорнахе (Швейцария);

октябрь – в альманахе «Сириус» начинают публиковаться главы романа «Петербург».

1914, 3 января – Белый посещает могилу Ф. Ницше близ Лейпцига;

март—декабрь – работает резчиком по дереву на строительстве Гётеанума в Дорнахе;

23 марта – в Берне официально оформлен гражданский брак Андрея Белого с А. Тургеневой;

20-е числа июля – у Белого ноосферное видение мировой войны и грядущей революции на месте древнеславянского храма Арконы на острове Рюген;

19 июля (1 августа по новому стилю) – началась Первая мировая война.

1915, январь—июнь – Белый пишет книгу «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности»;

февраль—август – работает на строительстве Гётеанума;

октябрь – начинает писать роман «Котик Летаев».

1916, январь—август – работает на строительстве Гётеанума;

апрель – в России выходит отдельное издание романа «Петербург»;

18 августа – 3 сентября – в связи с призывом на военную службу Белый возвращается в Россию (Ася Тургенева остается в Дорнахе);

сентябрь – получает трехмесячную отсрочку от военной службы;

октябрь – завершает роман «Котик Летаев».

1917, январь – вновь получает двухмесячную отсрочку от военной службы;

январь – начало марта – попеременно живет в Петрограде и Царском Селе у Иванова-Разумника, знакомится с С. Есениным, Н. Клюевым, другими «крестьянскими поэтами», а также с М. Пришвиным, Е. Замятиным, О. Форш, А. Чапыгиным, К. Петровым-Водкиным и др.;

28 февраля – в Петрограде произошла революция;  
9 марта – Белый возвращается в Москву;  
август – в альманахе «Скифы» публикуются главы романа «Котик Летаев», статья «Жезл Аарона» и цикл стихов Белого;  
декабрь – Белый сближается с К. Н. Васильевой.  
1918, январь—сентябрь – работает над эпопеей «Я» («Записки чудака») и циклом философско-публицистических этюдов «На перевале», пишет поэму «Христос воскрес»;  
июль – поступает на службу в первое московское отделение Единого государственного архивного фонда на должность помощника архивиста;  
август—декабрь – читает лекции в первом московском Антропософском обществе;  
сентябрь – публикует книгу «На перевале: I. Кризис жизни»;  
октябрь—декабрь – служит в московском Пролеткульте и в Театральном отделе Наркомпроса.  
1919, январь – участвует в организации Дворца искусств в Москве, публикует «На перевале: II. Кризис мысли», в Детском Селе вместе с Блоком и Ивановым-Разумником и другими учреждает Вольную философскую академию (в дальнейшем – ассоциацию) – Вольфила;  
апрель – выходит в свет поэма «Христос воскрес»;  
август – Белый уходит из Пролеткульта, его избирают в состав резиденции Всероссийского союза поэтов;  
сентябрь – служит (до марта 1920 года) в Отделе охраны памятников старины.  
1920, 17 февраля – 9 июля – в Петрограде работает в Вольной философской ассоциации (Вольфила), председателем совета которой его избрали; публикует «На перевале: III. Кризис культуры»;  
июль – декабрь – в Москве работает над книгами: «Лев Толстой и культура», «Кризис сознания», «Преступление Николая Летаева» («Крещеный китаец»);  
декабрь – в результате несчастного случая получил серьезную травму, потребовавшую трехмесячного лечения в больницах.  
1921, 31 марта – приезжает в Петроград, из-за Кронштадтского мятежа находящийся на осадном положении;  
25 мая – последняя встреча с А. Блоком в гостинице «Спартак»;  
19—20 июня – на одном дыхании пишет поэму «Первое свидание»;  
7 августа – умер Александр Блок;  
11 августа – Белый начинает писать воспоминания о Блоке;  
август – октябрь – попеременно живет в Петрограде и Москве,



выступает в разных аудиториях с лекциями и воспоминаниями о Блоке;  
октябрь – публикует поэму «Первое свидание», знакомится с актером М. А. Чеховым;

17 октября – состоялось заседание во Всероссийском союзе писателей, посвященное проводам А. Белого за границу;

20 октября – Белый уезжает в Берлин;

конец ноября – встречается с Асей Тургеневой, общается с Р. Штейнером.

1922, январь—октябрь – пишет «Воспоминания о Блоке»;

февраль—март – начинает сотрудничать с берлинской газетой «Голос России», готовит к изданию сокращенную и переработанную редакцию романа «Петербург», выступает на митинге, посвященном организации помощи голодающему населению России;

апрель – окончательный разрыв с Асей Тургеневой, в России выходит сборник стихов «Звезда»;

май – Белый сближается с Мариной Цветаевой, начинает работать над книгой стихов «После разлуки»;

июнь – в России выходит отдельное издание романа «Котик Летаев»;

сентябрь – Белый пишет статью «Максим Горький. По поводу 30-летнего юбилея»;

около 20 сентября – в Москве умерла мать Андрея Белого – Александра Дмитриевна Бугаева;

ноябрь—декабрь – Белый ездит к Горькому в Сааров (близ Берлина), пишет книгу воспоминаний «Начало века».

1923, январь – в Берлин приезжает К. Н. Васильева;

февраль—март – Белый сотрудничает в журнале «Беседа», выходящем в Берлине под редакцией Горького;

26 октября – возвращается в Москву.

1924, январь – пишет пьесу «Петербург» – инсценировку одноименного романа;

3—4 мая – читает пьесу «Петербург» у М. А. Чехова артистам МХАТа 2-го;

июнь – сентябрь – отдыхает с К. Н. Васильевой в Коктебеле у Максимилиана Волошина; последняя встреча с Брюсовым.

1925, конец марта – Белый и К. Н. Васильева поселяются в подмосковном поселке Кучино;

март—сентябрь – Белый пишет роман «Москва»;

октябрь – начинает читать на квартире М. А. Чехова курс лекций по антропософии и истории культуры под названием «История становления

самосознающей души»;

14 ноября – премьера пьесы «Петербург» во МХАТе 2-м;

май—июнь – Белый попеременно в Ленинграде и Детском Селе у Иванова-Разумника; в свет выходит «Московский чудак» – первая часть романа «Москва»;

конец августа – в один из приездов из Кучино в Москву с Белым происходит несчастный случай – его сбивает трамвай; выходит в свет «Москва под ударом» – вторая часть романа «Москва»;

ноябрь—декабрь – Белый перерабатывает роман «Москва» в драму, тесно общается с В. Э. Мейерхольдом;

в течение года – пишет воспоминания о Р. Штейнере.

1927, 3 января – выступает на диспуте в защиту постановки «Ревизора» в Театре Мейерхольда, в дальнейшем на основе своего выступления пишет статью «Гоголь и Мейерхольд»;

апрель—начало июля – отдыхает с К. Н. Васильевой в Грузии;

ноябрь—декабрь – пишет работу «Ритм как диалектика» и статьи по ритмике и метрике.

1928, 17–26 марта – пишет автобиографический очерк «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть на всех фазах моего идейного и художественного развития»;

апрель – публикует первую часть романа «Петербург»;

май—август – отдыхает с К. Н. Васильевой на Кавказе (Грузия, Армения);

июль – выходит в свет вторая часть романа «Петербург».

1929, январь – завершает книгу воспоминаний о Р. Штейнере;

февраль—апрель – работает над первым томом мемуаров «На рубеже двух столетий»;

апрель—август – отдыхает с К. Н. Васильевой в Армении и Грузии;

сентябрь—декабрь – работает над романом «Маски», третьей частью трилогии «Москва».

1930, январь – выходят в свет воспоминания «На рубеже двух столетий»;

1 июня – Белый завершает роман «Маски»;

июнь—сентябрь – отдыхает в Крыму в Судаче, в последний раз встречается в Коктебеле с М. Волошиным;

октябрь—декабрь – пишет второй том мемуаров «Начало века».

1931, 9 апреля – переезжает с К. Н. Васильевой на постоянное жительство в Детское Село;

30 мая – арест К. Н. Васильевой;

3 июля – освобождение К. Н. Васильевой;  
18 июля – регистрирует брак с К. Н. Васильевой (отныне – Бугаевой);  
31 августа – пишет письмо И. В. Сталину;  
сентябрь—декабрь – работает над книгой о Гоголе;  
30 декабря – уезжает в Москву.  
1932, январь—апрель – работает над книгой «Мастерство Гоголя»;  
9—10 июля – сдает часть своего архива в Литературный музей;  
сентябрь—декабрь – пишет третий том мемуаров «Между двух революций»;  
30 октября – выступает на пленуме Оргкомитета советских писателей.  
1933, январь – выходит в свет роман «Маски»;  
11 и 27 февраля – «вечера» Андрея Белого в Политехническом музее;  
середина мая—июль – Белый отдыхает в Коктебеле;  
15 июля – получает солнечный удар, испытывает сильные головные боли;  
август – возвращается в Москву и продолжает лечение;  
ноябрь – выходят в свет воспоминания «Начало века» с разгромным предисловием Л. Б. Каменева;  
8 декабря – из-за ухудшения самочувствия Белого помещают в больницу;  
29 декабря – ему ставят диагноз: кровоизлияние в мозг.  
1934, 8 января – в 12 часов 30 минут Андрей Белый скончался от паралича дыхательных путей в присутствии жены и врачей. Его прах захоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

## БИБЛИОГРАФИЯ

Андрей Белый. Александр Блок. Москва. М., 2005. Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. Андрей Белый: Публикации. Исследования. М., 2002. Андрей Белый: Pro et contra. СПб., 2004.

Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 1903–1919. М., 2001.

Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998.

Андрей Белый и антропософия: Материал к биографии (интимный); переписка с М. К. Морозовой // Минувшее: Исторический альманах. Париж, 1988. Вып. 6.

Андрей Белый и антропософия: Материал к биографии (интимный) // Минувшее: Исторический альманах. М.; СПб., 1992. Вып. 8, 9.

Асмус В. Ф. Философия и эстетика русского символизма // Избранные философские труды. Т. 2. М., 1969.

Белоус В. Вольфила [Петроградская Вольная Философская Ассоциация]: 1919–1924. Кн. 1. Предыстория. Заседания. Кн. 2. Хроника. Портреты. М., 2005.

Белый А. Антропософия и Россия // Новое литературное обозрение. 1994. < 9.

Белый А. Арабески: Книга статей. М., 1911. Белый А. Армения. Ереван, 1985.

Белый А. «Ваш рыцарь»: Письма к М. К. Морозовой (1901–1928). М., 2006.

Белый А. В эпоху моей работы в архиве... // Советские архивы. 1986. № 4.

Белый А. Ветер с Кавказа. М., 1928. Белый А. Воспоминания о Блоке. М., 1995.

Белый А. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке // Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1980. Белый А. Глоссолалия. Томск, 1994.

Белый А. Дневниковые записи // Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. (Литературное наследство). М., 1982. Белый А. Душа самосознающая. М., 1999. Белый А. Египет // Современник. 1912. № 6.

Белый А. Жезл Аарона: О слове в поэзии // Скифы: Альманах. СПб., 1917. Вып. 1.

Белый А. Записки чудака. Т. 1–2. Берлин, 1922.

Белый А. Золото в лазури. (Репринтное воспроизведение издания 1904

года). М., 2004.

Белый А. Из воспоминаний о Есенине // Сергей Есенин в стихах и жизни. Воспоминания современников. М., 1995.

Белый А. Из воспоминаний о русских философах // Минувшее: Исторический альманах. М., 1992. Вып. 9.

Белый А. Конспект введения к лекции «Блок» (Тифлис, 1927 г.) // Наше наследие. 2005. № 75–76.

Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. В 2 т. М., 1994.

Белый А. Луг зеленый: Книга статей. М., 1910.

Белый А. Мастерство Гоголя. М., 1934.

Белый А. Между двух революций. М., 1990.

Белый А. Москва. М., 1989.

Белый А. На рубеже двух столетий. М., 1989.

Белый А. На перевале. Т. 1–3. Пг., 1918–1920.

Белый А. Начало века. М., 1990.

Белый А. О смысле познания. Минск, 1991.

Белый А. О «России» в России и о «России» в Берлине // Беседа. 1923.

< 1.

Белый А. О Софии-Премудрости // Новый журнал. 1993. Кн. 190–191.

Белый А. Одна из обителей царства теней. Л., 1925.

Белый А. Петербург. («Литературные памятники»). Л., 1981; 2-е изд. испр. и доп. СПб., 2004.

Белый А. Письмо З. Гиппиус 7—11 августа 1907 г. // Минувшее: Исторический альманах. М., 1991. Вып. 5.

Белый А. Письмо И. В. Сталину 31 августа 1931 г. // Новый журнал. 1976. < 124.

Белый А. Письмо А. Тургеневой 11 ноября 1921 г. // Воздушные пути: Альманах. Нью-Йорк, 1967. Вып. 5.

Белый А. Правда о русской интеллигенции: По поводу сборника «Вехи» // Весы. 1909. № 5.

Белый А. Путевые заметки. Т. 1. Сицилия и Тунис. М.; Берлин, 1922.

Белый А. Ритм как диалектика. М., 1929.

Белый А. Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении и современности. Воспоминания о Штейнере. М., 2000.

Белый А. Серебряный голубь. М., 1990.

Белый А. Символизм: Книга статей. М., 1910.

Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.

Белый А. Собрание сочинений. В 6 т. М., 2003–2005.

Белый А. Социал-демократия и религия // Перевал. 1907. № 5.

- Белый А. Сочинения. В 2 т. М., 1990.
- Белый А. Старый Арбат. М., 1989.
- Белый А. Стихотворения и поэмы. («Библиотека поэта. Большая серия»). М.; Л., 1966.
- Белый А. Стихотворения и поэмы. В 2 т. («Новая библиотека поэта»). СПб.; М., 2006.
- Белый А. Стихотворения и поэмы. М., 1994.
- А. Белый и П. Н. Зайцев. Переписка// Минувшее. СПб., 1993–1994. Вып. 14–15.
- Блок в неизданной переписке и дневниках современников (1898–1921)//Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. («Литературное наследство»). М., 1982.
- Блок. А. А. Письма к жене. («Литературное наследство»). М., 1978.
- Богомолов Н. А. Русская литература начала XX века и оккультизм. М., 1999.
- Бугаев Н. В. Основные начала эволюционной монадологии // Вопросы философии и психологии. 1893. Кн. 3 (17).
- Бугаева К. Н. Воспоминания об Андрее Белом. СПб., 2001.
- Булич В. Четвертое измерение // Наше наследие. 2005. № 75–76.
- Валентинов Н. Два года с символистами. М., 2000.
- Волошин М. А. Лики творчества. («Литературные памятники»). Л., 1988.
- Волошина М. Зеленая Змея: История одной жизни. М., 1993.
- Воронин С. Д. Из писем Андрея Белого к матери // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1986. Л., 1997.
- Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993.
- Воспоминания об Андрее Белом. М., 1995.
- Воспоминания об Андрее Белом: Из отдела фонодокументов Московского государственного университета // Литературное обозрение. 1995. № 4/5.
- Гаген-Торн Н. И. Последняя встреча // Нева. 2000. № 11.
- Гиппиус З. Н. Дневники 1893–1919. М., 2003.
- Гиппиус З. Н. Дневники 1919–1941. М., 2005.
- Гиппиус З. Н. Живые лица: Воспоминания. М., 2002.
- Голощапова З. И. Кучинский остров Андрея Белого. М., 2005.
- Гречишкин С. С., Лавров А. В. Биографические источники романа Брюсова «Огненный ангел»//Ново-Басманная, 19. (Альманах). М., 1990.
- Гречишкин С. С., Лавров А. В. Максимилиан Волошин и Андрей Белый//Волошинские чтения. М., 1981.

Гречишкин С. С., Лавров А. В. Символисты вблизи: Статьи и публикации. СПб., 2004.

Долгополов Л. К. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988.

Долгополов Л. К. Неизведанный материк. (Заметки об А. Белом) // Вопросы литературы. 1982. № 3.

Жемчужникова М. Н. Воспоминания о Московском антропософском обществе (1917–1923) // Минувшее: Исторический альманах. Париж, 1988. Вып. 6.

Зайцев П. Н. Воспоминания об А. Белом // Литературное обозрение. 1995. № 4/5.

Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994.

Каждому свой черед: Письма Андрея Белого Г. А. Санникову: Из записей Г. А. Санникова // Наше наследие. 1990. № 5.

Лавров А. В. Андрей Белый в 1900-е годы: Жизнь и литературная деятельность. М., 1995.

Лавров А. В. Мифотворчество «аргонавтов» // Миф – фольклор – литература. Л., 1978.

Москва и «Москва» Андрея Белого. М., 1999.

Лидин Вл. Андрей Белый // Собрание сочинений. Т. 3. М., 1974.

Маковский С. К. На Парнасе Серебряного века. М., 2000.

Максимов Д. Е. Русские поэты начала века. Л., 1986.

«Меня удивляет этот человек...» (Письма Андрея Белого к Михаилу Чехову) // Встречи с прошлым. М., 1982. Вып. 4.

Мочульский К. В. Александр Блок. Андрей Белый. Валерий Брюсов. М., 1997.

Нива Ж. История русской литературы XX века. Серебряный век. М., 1995.

Николеску Т. Андрей Белый и театр. М., 1995.

Новиков Л. А. Стилистика орнаментальной прозы А. Белого. М., 1990.

Орлов В. Н. Перепутья. Из истории русской поэзии начала XX века. М., 1976.

Павел Флоренский и символисты: Опыты литературные. Статьи. Переписка. М., 2004.

Пайман А. Ангел и камень: Жизнь Александра Блока. Кн. 1–2. М., 2005.

Пайман А. История русского символизма. М., 2002.

Пинаев С. М. Максимилиан Волошин, или Себя забывший бог. («Жизнь замечательных людей»). М., 2005.

Письма Андрея Белого к матери Блока // Александр Блок:

Исследования и материалы. Л., 1991.

Письма Андрея Белого Н. И. Петровской // Минувшее: Исторический альманах. М.; СПб., 1993. Вып. 13.

Письмо Андрея Белого А. М. Горькому от 17 февраля 1931 г.; три заявления Андрея Белого в ОГПУ // Минувшее: Исторический альманах. М.; СПб., 1993. Вып. 12.

Путешествие на Восток: Письма Андрея Белого // Восток—Запад: Исследования. Переводы. Публикации. М., 1988.

Речь Андрея Белого памяти Блока (1921 г.) // Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 4. («Литературное наследство»). М., 1987.

Русская литература XX века. 1890–1910 /Под ред. С. А. Венгерова. М., 2004.

Серебряный век: Мемуары. М., 1990.

Соколина А. Архитектура и антропософия. М., 2001.

Спивак М. Л. Андрей Белый – мистик и советский писатель. М., 2006.

Спивак М. Л. Посмертная диагностика гениальности. Из коллекции Института мозга (материалы Г. И. Полякова). М., 2001.

Тургенева А. А. Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве первого Гётеанума. М., 2002.

Ханзен-Лёве А. Русский символизм: Мифопоэтическая символика. СПб., 2003.

Хорватова Е. В. Маргарита Морозова: Грешная любовь. М., 2004.

Чистякова Э. И. О символизме А. Белого // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 1978. № 3.

Чистякова Э. И. Эстетическое христианство А. Белого // Вопросы философии. 1990. № 11.

Шагинян М. С. Человек и время. М., 1982.

Эллис. Русские символисты. М., 1910.

Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура. Литература, музыка. М., 1999.

Юрьева З. О. Мифотворчество «аргонавтов» // Миф – фольклор – литература. Л., 1978.

Юрьева З. О. Творимый космос у Андрея Белого. СПб., 2000.



## **Примечания**

**1**

Теперь мемориальные музеи-квартиры Пушкина и Белого находятся рядом.

Ноосфера (от греч. noos – ум, разум + сфера) – в узком смысле, исходящем из допущения, что существует только один-единственный, человеческий разум – сфера его приложения; в широком смысле, предполагающем изначальную разумность Вселенной, – тесно взаимодействующее как с человечеством в целом, так и с отдельными индивидами энергоинформационное поле Вселенной. В настоящей книге понятие «ноосфера» используется в этом последнем смысле.

Александр Блок подчеркивал: «...Символист уже изначала – теург, то есть обладатель тайного знания, за которым стоит тайное действие; но на эту тайну, которая лишь впоследствии оказывается всемирной, он смотрит как на свою; он видит в ней клад, над которым расцветает цветок папоротника в июньскую полночь, и хочет сорвать в голубую полночь – „голубой цветок“. В лазури чьего-то лучезарного взора пребывает теург; этот взор, как меч, пронзает все миры: „моря и реки, и дальний лес, и выси снежных гор“ (слова Вл. Соловьева. – В. Д.) – и сквозь все миры доходит к нему вначале – лишь сиянием чьей-то безмятежной улыбки».

У Андрея Белого встречается и другое толкование понятия «белый», раскрывающее его как физическую, так и сакральную сущность: «Белый цвет – соединение семи цветов, семи светильников, семи церквей. Любовь должна быть ни эгоистической, ни социальной – ни красной, ни розовой, а безмирной, иоанновой – белой». Постепенно писатель все более и более космизировал белый цвет и свет, превратив их в конечном счете в «белое начало жизни» и растворив в явлении и сиянии Софии Премудрости. Александру Блоку он даже как-то скажет: «Белый цвет – символ богочеловечества».

Вполне типичным представляется такой эпизод, рассказанный В. Ходасевичем: «Однажды в концерте... Н. Я. Брюсова, сестра поэта, толкнув локтем Андрея Белого, спросила его: „Смотрите, какой человек! Вы не знаете, кто эта обезьяна?“ – „Это мой папа“, – отвечал Андрей Белый с той любезнейшей, широчайшей улыбкой совершенного удовольствия, <... > которую он любил отвечать на неприятные вопросы».

Действительно, как эстафету принял Андрей Белый философский завет Ницше о символической архитектонике окружающей действительности. Ведь это в знаменитом трактате «Рождение трагедии из духа музыки», которым зачитывался А. Белый, говорилось: «Существо природы должно найти себе теперь символическое выражение; необходим новый мир символов, телесная символика во всей ее полноте, не только символика уст, лица, слова, но и совершенный, ритмизирующий все члены плясовой жест. Затем внезапно и порывисто растут другие символические силы, силы музыки, в ритмике, динамике и гармонии. Чтобы охватить это всеобщее освобождение от оков всех символических сил, человек должен был уже стоять на той высоте самоотчуждения, которая ищет своего символического выражения в указанных силах...»

Картезианец – приверженец философии Декарта, чье латинизированное имя – Картезий.



Биосфера – «...существеннейшая составная часть общей жизни Земли как планеты, энергетический экран между Землей и Космосом, та пленка, которая превращает определенную часть космической, в основном солнечной энергии, поступающей на Землю, в ценное высокомолекулярное органическое вещество» (Н. В. Тимофеев-Ресовский).

Константин Бальмонт в одном из своих литературных манифестов писал: «В то время как поэты-реалисты рассматривают мир наивно, как простые наблюдатели, подчиняясь вещественной его основе, поэты-символисты, пересоздавая вещественность сложной своей впечатлительностью, властвуют над миром и проникают в его мистерии. Сознание поэтов-реалистов не идет дальше рамок земной жизни, определенных с точностью и с томящей скукой верстовых столбов. Поэты-символисты никогда не теряют таинственной нити Ариадны, связывающей их с мировым лабиринтом Хаоса, они всегда овеяны дуновениями, идущими из области запредельного, и потому, как бы против их воли, за словами, которые они произносят, чудится гул еще других, не их голосов, ощущается говор стихий, отрывки из хоров, звучащих в Святая Святых мыслимой нами Вселенной». Не менее категоричен другой теоретик символизма – Вячеслав Иванов: «Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении, когда он изрекает на своем сокровенном (иератическом и магическом) языке намека и внушения нечто неизъяснимое, неадекватное внешнему слову. Он многолик, многосмыслен и всегда темен в последней глубине».

Андрей Белый писал «зоря», а не «заря».

Эллис причислял себя к марксистам, и во время вооруженного восстания в Москве в декабре 1905 года его гостиничный номер превратился в филиал штаба краснопресненских дружинников, за что хозяин «явки» после разгрома восстания ненадолго угодил в тюрьму. И еще он обладал редким мимическим даром: умел перевоплощаться и шаржированно изображать любого знакомого, устраивая подчас настоящие моноспектакли.

В одном из писем Маргарите Морозовой он писал: «Люблю. Радуюсь. Сквозь вихри снегов, восторг метелей слышу лазурную музыку ваших глаз. Лазурь везде. Со мною небо!» Из другого письма: «Вы – лазурный полет неба, мне сияющий. Какое счастье, что Вы существуете».

После революции Поляков не бежал за границу, остался в России, но, лишенный всего своего состояния, умер в полном забвении и нищете.

Вечность являлась в поэтическом сознании Белого (как, впрочем, всё в бесконечной Вселенной) расцвеченной всеми цветами радуги. В письме А. Блоку в начале февраля 1905 года он напишет: «Милый, Милый – мир нас должен возненавидеть, потому что мы не должны быть от мира, но от золота, роз, лазури, снега и пурпура. – *Лазурно-золотые, снегопурпурные розы Вечности!*» (выделено мной. – В. Д.).

Опубликовано в январском номере символистского журнала «Новый путь» за 1903 год в виде анонимного письма, подписанного «студент-естественник».



Объективность в различных оценках и характеристиках оставляет желать лучшего – зато субъективность перехлестывает через край. Вот, к примеру, более чем субъективное мнение Анны Ахматовой. Лидия Чуковская, написавшая трехтомные воспоминания о великой поэтессе, как-то спросила ее, была ли Любовь Дмитриевна красавицей. И услышала в ответ: «Что Вы...с такой спиной! Она не только не была красива, она была ужасна! Я познакомилась с ней, когда ей исполнилось тридцать лет. Самое главное в этой женщине была спина – широченная, сутулая. И бас. И толстые, большие ноги и руки. Внутренне же она была неприятная, недоброжелательная, точно сломанная чем-то... Но он (Блок. – В. Д.) всегда, всю жизнь видел в ней ту девушку, в которую когда-то влюбился... И любил ее...» В другой раз Ахматова столь же безапелляционно добавила: «Люба была круглая дура. <...>»

Приведенные характеристики относятся к молодому А. Белому. Но и в зрелые годы он по-прежнему производил столь же неизгладимое впечатление. Е. К. Гальперина однажды встретила его – пятидесятилетнего – в самом центре Москвы, на Никольской улице: писатель не шел – летел по запруженной народом улице, и толпа инстинктивно раздвигалась перед ним. «<...> Глаза его, – рассказывает мемуаристка, – поражали своей одухотворенностью... полным отсутствием, так сказать, земных каких-то свечений. <...> Там ни зрачка, ничего не было – там шел свет из его глаз. <...> Свет совершенно поразительный – отрешенности от всего земного. <... > Когда он шел, то давали ему дорогу, не почему-либо, а потому что шел пророк. Ничего не сделаешь: хоть при советской власти, хоть во времена рыцарей... – если идет пророк, все равно все отстраняются».

Начало сибаритского пиршества и всеобщего разгула один из приглашенных гостей описывал так: «Посредине, в длину огромного стола, шла широкая густая гряда ландышей. Знаю, что ландышей было 40 тысяч штук, и знаю, что в садоводстве Ноева было уплачено 4 тысячи золотых рублей за гряду. Январь ведь был, и каждый ландыш стоил гривенник. На закусочном огромном столе, который и описать теперь невозможно, на обоих концах стояли оформленные ледяные глыбы, а через лед светились разноцветные огни, как-то ловко включенные в лед лампочки. В глыбах были ведра с икрой. После закусочного стола сели за стол обеденный...» В памяти участников грандиозного банкета сохранились не только подробности меню и перечень бесчисленных блюд, но и выразительные детали поведения перепивших гостей. Так, приехавшая из Парижа художница Е. С. Кругликова (где она проживала постоянно и держала художественное ателье, превратившееся в декадентский салон) – дама, мягко говоря, в возрасте – под влиянием выпитого уселась на колени к Андрею Белому, и никакие уговоры не могли заставить ее покинуть облюбованное место. Кстати, Елизавете Кругликовой принадлежит один из самых оригинальных портретов Белого, выполненный в виде черного силуэта: художнице удалось передать, казалось бы, непередаваемое в рисунке – нервные движения писателя, стоящего на лекторской трибуне.

«Голуборозники» не только считали символистов своими духовными отцами и наставниками, но даже пытались перецеголять их в своих художественных новациях, пытаясь, что называется, быть большими католиками, чем сам римский папа. А. Белый не без юмора вспоминает, как ему пришлось участвовать в совместном театральном проекте вместе с экстравагантным Сергеем Судейкиным, вызвавшимся оформить спектакль театра марионеток и, не задумываясь, объявившим: «Я вас понял... Занавес – взлетает; на сцене – рояль; на рояле – скрипичный футляр; он раскрылся, а из него – Мадонна с рожками: голая». На подобные режиссерские решения даже у терпимого к любой оригинальности Белого слов не хватало...

В 1918 году этот призыв эхом отзовется в гениальном постреволюционном шедевре «Двенадцать»: «Мы на горе всем буржуям /  
Мировой пожар раздуем, / Мировой пожар в крови – / Господи,  
благослови!»

В 1919 году он вместе с Бердяевым, по решению Совнаркома, на одном и том же «философском пароходе» был выслан из России. Булгаков также был включен ГПУ в «черный список» враждебно настроенных к советской власти и подлежащих выдворению интеллигентов. Но выбирался в Европу самостоятельно – через Крым и Константинополь (Стамбул).

Фактически С. Н. Тургенева оставила своего первого мужа, что и явилось причиной его преждевременной смерти от сердечного приступа. В итоге у нее сложились достаточно непростые отношения со всеми тремя дочерьми.

Прототипом главного героя явился ближайший друг – Сергей Соловьев, у него был серьезный роман с крестьянской девушкой, он собирался жениться на ней, но брак расстроился. Сергей же рассказал Белому об одной известной сельской секте, избравшей своим символом голубя.



В одном из каирских писем Белый писал Морозовой: «Как нравоучительно наше путешествие: ехали из России на Запад, а вернемся в Россию с Востока. Искали Запада, а нашли Восток. Боже, до чего мертвы иностранцы: ни одного умного слова, ни одного подлинного порыва, деньги, деньги и деньги и холодный расчет. Еду в Россию полемически настроенный против нашей мусagetской платформы. Культуру Европы придумали русские; на Западе есть цивилизация; западной культуры в нашем смысле слова нет; такая культура в зачаточном виде есть только в России. Возвращаюсь в Россию в десять раз более русским».

Ормузд и Ариман – искаженные имена двух главных персонажей древнеперсидской мифологии (так они писались примерно до 20-х годов XX века). Современное написание Ормузда – верховного бога зороастрийского пантеона – Ахурамазда, а Аримана – его главного антагониста, владыки и символа сил зла, тьмы и смерти – Ангро-Майнью.

Андрей Белый всегда писал фамилию доктора, на долгое время ставшего его Учителем и Наставником, через «е», хотя по-немецки она звучит как Штайнер (Steiner – дифтонг ei в немецком языке читается – «ай»). В данном факте, как в капле воды, отображаются труднообъяснимые и малопонятные перипетии русской фонетической трансформации немецких слов и фамилий (последних – в особенности). Можно привести десятки и сотни примеров, где немецкие имена и фамилии звучат искаженно. Например, фамилия знаменитого поэта Генриха Гейне укоренилась в русской традиции совсем не в той огласовке, какой она звучит на самом деле (немцы произносят Heinrich Heine – «Хайнрих Хайне»). В настоящее время традиционное русское искажение фамилии Штейнер пытаются преодолеть: в переизданиях его трудов и в антропософской литературе во многих случаях значитс я теперь Штайнер. В результате же возникает еще большая путаница: в библиотечных каталожных ящиках половина карточек оформлены на фамилию Штейнер, а другая половина значитс я под фамилией Штайнер и располагается отдельно от первой. Такое же недоразумение наблюдается в интернет-сайтах, где преобладает старое написание. В настоящей книге фамилия немецкого антропософа будет писаться так, как она принималась А. Белым. (Некоторые считают Штейнера австрийцем – по месту его рождения, но на самом деле родился он в Хорватии, входившей тогда в состав Австро-Венгерской империи.)

Э о н – очень продолжительный период времени в развитии Вселенной, в течение которого точка равноденствия проходит весь зодиак, то есть ровно 26 тысяч лет.

Так именовалась замысленная Белым трилогия, состоящая из «Серебряного голубя», «Петербурга» и ненаписанного третьего романа «Невидимый град».

Михаил Иванович Терещенко (1886–1958) – миллионер-сахарозаводчик, владелец (совместно с сестрами) издательства «Сирин»; впоследствии, в 1917 году – министр финансов и министр иностранных дел Временного правительства.

К примеру, такой чисто антропософский пассаж, который автор вложил в уста эсера-террориста Дудкина: «Не путайте аллегорию с символом: аллегория – это символ, ставший ходячей словесностью; например, обычное понимание вашего „вне себя“; символ же есть самая апелляция к пережитому вами там – над жестяницей; приглашение что-либо искусственно пережить пережитое так... Но более соответственным термином будет термин иной: пульсация стихийного тела. Вы так именно пережили себя; под влиянием потрясения совершенно реально в вас дрогнуло стихийное тело, на мгновение отделилось, отлипло от тела физического, и вот вы пережили все то, что вы там пережили: затасканные словесные сочетания вроде „бездна – без дна“ или „вне... себя“ углубились, для вас стали жизненной правдой, символом; переживания своего стихийного тела, по учению иных мистических школ, превращают словесные смыслы и аллегории в смыслы реальные, в символы; так как этими символами изобилуют произведения мистиков, то теперь-то, после пережитого, я и советую вам этих мистиков почитать...»

«Человек существовал, когда еще не было никакой Земли, – говорил и писал Штейнер. – Но этого нельзя представить себе... таким образом, как будто он раньше жил на других планетах и в известный момент переселился на Землю. Напротив, сама эта Земля развивалась вместе с человеком. Она прошла, как и он, три главные ступени развития, прежде чем сделаться тем, что мы теперь называем „Землею“. <...> Прежде чем мировое тело, на котором протекает жизнь человека, стало Землею, оно имело три другие формы, которые обозначают как Сатурн, Солнце и Луну. Таким образом, можно говорить о четырех планетах, на которых протекают четыре главные ступени человеческого развития. Дело обстоит так, что Земля, прежде чем стать именно Землею, была Луной, еще раньше – Солнцем, а еще раньше – Сатурном. <...>»



Перед отъездом из Дорнаха на Родину Андрей Белый писал жене (ибо формально, по швейцарским документам, она продолжала таковой считаться): «Последний, верный, вечный друг, – / Не осуди мое молчанье; / В нем – грусть: стыдливый в нем испуг, / Любви невыразимой знанье». Далее последовали другие стихи, все одинаково озаглавленные – «Асе» и с одним и тем же мотивом: «Опять бирюзеешь напевно / В безгневно зареющем сне; / Приди же, моя королева, – Моя королева, ко мне!» // [...] // «Ты вся как ландыш, легкий, чистый, / Улыбки милой луч разлит. / Смех бархатистый, смех лучистый / И – воздух розовый ланит». // [...] // «В давнем – грядущие встречи / В будущем – давность мечты: / Неизреченные речи / Незъяснимая – Ты!»

«Дневник» этот имеет заголовок «Материал к биографии (интимный)». Он не предназначался для посторонних глаз, хотя и был в свое время конфискован органами НКВД после ареста второй жены писателя – К. Н. Бугаевой. В конце 80-х годов XX столетия материалы за 1913–1915 годы, касающиеся пребывания А. Белого в антропософской общине в Дорнахе, были опубликованы в Париже в составе 6, 8 и 9-го выпусков исторического альманаха «Минувшее», а в начале 90-х годов переизданы в России.

Как бы это парадоксально ни прозвучало, но в марте 1914 года, Асе (Анне) Тургенева и Андрею Белому (Борису Бугаеву) пришлось официально оформить – нет, не развод (поскольку они жили в гражданском браке), – а, наоборот, самый брак. По швейцарским законам, право на совместное проживание имели только такие пары, кто мог предъявить документы о венчании (остальные подлежали выдворению за пределы страны). Так Ася и Белый, несмотря на переход их супружеских отношений в разряд платонических, вынуждены были пройти через церковный обряд бракосочетания для получения всех нужных документов (в Дорнахе их на сей счет уже неоднократно предупреждали).

Антропософский Ариман – «Дух лжи» – имеет мало общего с Ариманом авестийским, олицетворявшим в первую очередь Мировое начало Хаоса. Другим персонажем демонического соблазна, по учению Штейнера, является Люцифер – «Дух гордыни» и «Искуситель».

В новогоднюю ночь с 31 декабря 1922 года на 1 января 1923 года Первый Гётеанум, где имелось множество деревянных конструкций, сгорел, подожженный политическими и идеологическими конкурентами Штейнера. Возрождение и новое строительство Второго Гётеанума было надолго прервано смертью Рудольфа Штейнера, последовавшей в Дорнахе 30 марта 1925 года.

«Тетками» в антропософской общине звали зрелых, но эмоционально неуравновешенных последовательниц Штейнера (он сам и придумал это прозвище), походивших более на экзальтированных поклонниц какого-нибудь модного артиста, чем на приверженок серьезного антропософского учения. По разъяснению Белого, «теософских тетушек» (другой вариант того же прозвища) волновали главным образом «оккультно-мистические и житейские сплетни».

Сам роман Иванов-Разумник считал высшим достижением не только самого писателя, но и «всей русской литературы последних лет».

Друг детства Сергей Соловьев (1885–1942) к тому времени стал православным священником, а позже (и неожиданно для всех) изменил свою религиозную ориентацию, приняв католичество (что оттолкнуло от него ближайших друзей и знакомых). Занимался в основном литературными переводами, но, страдая с детства наследственным психическим заболеванием, нередко проходил курс лечения в соответствующих лечебницах. Неоднократно арестовывался; умер во время войны в эвакуации, мучаясь манией преследования.



Тогда же Есенин написал статью об Андрее Белом, но она ни при жизни, ни после смерти автора опубликована не была, а потом безвозвратно исчезла в годы Отечественной войны, когда во время оккупации Царского (Детского) Села немецкими войсками погибла значительная часть архива Иванова-Разумника.

А. Белый нашел в романе Льва Толстого фразу, под которой мог бы подписаться любой антропософ (правда, цитируя по памяти, допустил некоторые малозначительные отклонения от толстовского текста): «– Знаешь, я думаю, – сказала Наташа шепотом, – <...> что когда вспоминаешь, вспоминаешь, все вспоминаешь, до того довспоминаешься, то помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете... <...>»

В кратком изложении самого Белого «прощание» с теперь уже бывшими друзьями выглядит несколько по-иному: «<...> Кислейшая и последняя встреча с Мережковскими; ясно, что они меня проклянут; <...> я резко обрываю Гиппиус, когда она ругает Разумника».

С. Д. Мстиславский стал членом Президиума ВЦИК, членом первой Брестской делегации, направленной для заключения мира с Германией, позже – комиссаром всех партизанских отрядов и формирований РСФСР.

Декретом Петросовета от 7 ноября 1918 года Царское Село – летняя резиденция русских царей – было переименовано в Детское Село.

Дворец искусств под патронатом Наркомпроса начал свою работу в начале 1919 года, и А. Белый принял активное участие в его организации. Здесь устраивались литературно-музыкальные вечера, дискуссии, читались лекции, рефераты, новые произведения маститых и начинающих авторов; всего функционировало четыре отдела – литературный, художественный, музыкальный и историко-археологический. Дворец искусств располагался по адресу: Поварская улица, дом 52 и занимал роскошное здание, известное как «дом Ростовых», описанное Львом Толстым в романе «Война и мир». На самом деле это была усадьба князей Долгоруких, последним владельцем которой перед национализацией являлся граф Соллогуб. Сразу же после переезда советского правительства в Москву здесь некоторое время размещался Народный комиссариат по делам национальностей (Наркомнац) во главе с И. В. Сталиным, а после ликвидации Дворца искусств – учебное заведение – Высший литературно-художественный институт имени В. Я. Брюсова. В последние десятилетия XX века здесь располагалось Правление Союза писателей СССР, в настоящее время – Исполком Международного сообщества писательских союзов.

Напечатанная в 1888 году книга Л. Н.Толстого была запрещена цензурой и пущена под нож (уцелело всего лишь три экземпляра). Полное русское издание увидело свет только в 1891 году в Женеве, а затем в 1913 году в составе 13-го тома собрания сочинений Л. Толстого.

А. Белый следующим образом характеризовал советскую бюрократию: «Ужасно грустно: грустно и тяжело мне сейчас вообще; Москва – мертвый сон, канцелярщина и все увеличивающийся „идиотизм“ правительственной власти; „они“ разводят всюду свою отвратительную мертвечину. Порой негодование душит: негодуешь, разумеется, не на Революцию, ни даже на коммунизм (хотя – что „они“ сделали с коммунизмом!!). Негодуешь на хамство, мелочность, тупость и жестокою меднолобость руководителей».



В позднейших записях, сделанных спустя сорок четыре года, Ахматова восстановила собственные впечатления о панихиде: над гробом Блока стоял «солдат» – седой старик, лысый, с безумными глазами (это был Андрей Белый).

В парижском архиве А. Кусикова сохранились письма Аси Тургеневой; они не оставляют сомнений в том, сколь далеко зашли их интимные отношения. В одном из писем Ася откровенно говорит Кусикову о своих чувствах к А. Белому: «Ты спрашивал, люблю ли Анд[рея] Б[елого]. Как ребенка, который потерялся и плачет, – душа разрывается от жалости. И то, что мы с ним столько прекрасного вместе пережили. И то, что он не выдержал и отшатнулся – если не в основном, то все же в очень большой доле своей души, – этого я не могла ему простить. Но я сама поставила его в такие трудные условия. Ломаясь, он и меня надломил. Малейшее мужское в нем ко мне во мне вызывает негодование – чтобы не сказать больше. Жить – не с ним, – а просто рядом с ним – для меня было бы невыносимо. <...>»

Однажды Белый лицом к лицу столкнулся с Ниной в редакции одной из берлинских газет, где она подрабатывала мелкой и случайной работой. Они даже посидели в ресторане, но после этого расстались, как чужие, навсегда. (Через несколько лет в Италии, оказавшись в полной нищете, она покончит жизнь самоубийством.)

Постоянное злорадство у злопыхателей вызывало и случайное совпадение литературного псевдонима – Белый – с разгромленным в ходе кровопролитной Гражданской войны Белым движением, представители которого в обиходе попросту именовались «белыми».

На одном из писем того времени, отправленных А. Белым, указан следующий обратный адрес: «Бережковская набережная, Красный Луг, Дорогомиловский химический завод, добраться так: по 17-му до Девичьего монастыря; оттуда через реку (направо от Монастыря). На той стороне реки единственный белый 2-этажный дом смотрит окнами на Монастырь (я там живу). Не надо ходить на Воробьевы горы. Именно направо от Монастыря».

В целом же разговор тогда у Белого и Есенина состоялся очень и очень непростой. В тот раз поэты пришли к Пильняку – каждый по своему делу (у Белого решался вопрос о столь необходимом ему гонораре). Но хозяевам нужно было срочно куда-то отлучиться, и они оставили наедине двух старых и симпатизирующих друг другу знакомцев.

Двухчасовая беседа, однако, оказалась невеселой, несмотря на то, что Есенин принес с собой четыре бутылки вина. Вспоминали Берлин, где Есенин летом 1922 года прожил около месяца по пути в Америку. Сами они тогда не встречались (неудивительно для Берлина, где тогда проживало чуть ли не полмиллиона русских). Но зато Есенина в эти дни постоянно сопровождал его приятель Кусиков, а с ним – Ася Тургенева. Вот об Асе они и проговорили два часа. Есенин знал ее хорошо, общался тесно и, сам того не желая, подтвердил все худшие подозрения Белого, доведя его до слез.

Художница оставила и словесную зарисовку внешности А. Белого: «<...> У него оригинальная наружность. Жарясь на солнце, он так загорел, что походил на индейца, с темной, красно-коричневой кожей. И тем ярче выделялись на лице его голубые светлые глаза среди черных густых и коротких ресниц. Взгляд его был чрезвычайно острый и необычайный. Большой облысевший лоб и по бокам завитки седых волос. Он большей частью ходил в ярко-красном одеянии».

По воспоминаниям Е. К. Гальпериной-Осмеркиной, ту же космистскую тему затронул Белый однажды и на своем литературном вечере в Политехническом музее. Во время выступления он неожиданно воскликнул: «Мы суть суммы созвездий!» Аудитория замерла в недоумении, и в ответах на вопросы писателю пришлось пояснить: «Каждый атом нашего тела является уже какой-то галактикой».



Поразительно и то, что спустя десять лет пребывание самого А. Белого в Коктебеле также завершилось в конечном счете его смертью – от последствий полученного здесь солнечного удара.

В одном из писем А. Белый назвал Когана «курицей с коммунистическими крыльями».

Тема в то время исключительно модная и в разной форме активно обсуждаемая на страницах печати (свидетельством последнего, помимо эпопеи А. Белого, может служить также известный роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина»).

С точки зрения современных словообразовательных принципов лучше было бы сказать – «космоэтика», но мы будем употреблять лексему, придуманную и введенную в оборот самим писателем.

Трудно даже предположить, что бы могло случиться, попади эпистолярная исповедь Белого в руки репрессивных органов, однако, по счастью, письма, подобные процитированному, по почте никогда не пересылались, а передавались «с оказией», то есть через доверенных лиц.

Спиноза писал свои труды в соответствии с канонами геометрии; главное его философское произведение называется «Этика, доказанная в геометрическом порядке...».

Декарт (латинизированное имя – Картезий) утверждал, что Вселенная появилась из первичных вихрей вещества.

Согласно А. Белому, поэт и ученый описывают одну и ту же реальность различными способами; ему не могли не быть близки такие, к примеру, строки из упомянутого сонета Бодлера: «<Природа – некий храм, где от живых колонн / Обрывки смутных фраз исходят временами. / Как в чаще символов, мы бродим в этом храме, / И взглядом родственным глядит на смертных он. // Подобно голосам на дальнем расстоянии, / Когда их стройный хор един, как тень и свет, / Перекликаются звук, запах, форма, цвет, / Глубокий, темный смысл обретшие в слиянье. <...>»



К этому можно еще добавить воспоминания Н. И. Гаген-Торн. Проездом она посетила А. Белого и Клавдию Николаевну в Москве, чтобы поделиться сведениями о шаманах, ими она в то время занималась, работая в ленинградском Институте народов Севера. Ее рассказ привел Белого в полнейший восторг: он увидел в шаманских полетах в иные миры свидетельство «странствия души», которое испытывал сам в минуты контактов с ноосферой и творческих озарений.

Вот что, к примеру, писал Тициан Табидзе в центральной партийной (!) газете «Заря Востока» 1 июля 1927 года: «Андрей Белый и Александр Блок – „два трепетных крыла“ русского символизма. <...> Нередко Андрея Белого отмечают чертами гения – и это не только в узком кругу символистов, где впоследствии у него оказалось больше врагов, чем друзей, а совершенно в других писательских слоях. Роман Андрея Белого „Петербург“ до сих пор остается непревзойденным в русской литературе. <...> Влияние Андрея Белого на современную русскую прозу весьма велико, и вряд ли найдется сейчас писатель в прозе, который не прошел бы сквозь Белого, как раньше проходили сквозь Гоголя и Достоевского. <...>» И это когда в Москве официальные структуры вообще отказались отмечать 25-летие литературной деятельности писателя.

Иванов-Разумник пережил Андрея Белого на двенадцать лет. Постоянно подвергался репрессиям. Перед войной вновь вернулся в свое родное Детское (бывшее Царское) Село, в очередной раз переименованное – на сей раз в город Пушкин. Во время блокады Ленинграда оказался на территории, оккупированной фашистами, и вместе с женой (немкой по национальности) был вывезен в Германию, где скончался на другой год после окончания войны, не успев воспользоваться полученной визой на выезд в США. До конца своих дней продолжал считать своего друга Андрея Белого одним из самых выдающихся писателей XX века.

Ответ же был таков: «На вопросы о том, как я стал символистом и когда стал, по совести отвечаю: никак не стал, никогда не становился, но всегда был символистом (до встречи со словами „символ“, „символист“).  
<...>»

Использовано: Андрей Белый: Хронологическая канва жизни и творчества / Составитель А. В. Лавров // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988.